5.1972

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

5 МАЙ 1972

СОДЕРЖАНИЕ

НИКИТА СТЭНЕСКУ — Стихи *(Перевод К. Ковальджи, И. Кашежевой, Ю. Кожевникова. Вступление К. Ковальджи)* 3

АНДРЕЙ ГУЛЯШКИ — Романтическая повесть *(Перевод Т. Карповой и Л. Хлыновой)* 9

ЛУИС ПАСТОРИ — Стихи *(Перевод Евг. Долматовского)* 91

ДЖОН УЭЙН — Зимой в горах *(Роман. Перевод Т. Кудрявцевой и Т. Озерской)* 95

Критика

А. ЗВЕРЕВ — В поисках «мифотерапии» 172

Писатель и время

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ — Заметки о литературе и искусстве *Перевод Е. Кацевой. Вступление Е. Книпович)* 181

Культура и современность

Заметки на полях

Е. Амбарцумов — Вспоминая Галилея 214

Очерки

ФАРЛИ МОУЭТ — Лодка, не желавшая плавать *(Главы из книги. Перевод В. Воронина)* 222

Изобразительное искусство за рубежом

В. МИРИМАНОВ— Живые традиции (Искусство Меланезии) 256

Среди книг

Издано в СССР

Иштван Шимон — Петефи на русском языке в 300 000 экземпляров. А. Мясников — О некоторых вопросах современной литературы. А. Карлов — Многоцветная мозаика 261

Издано за рубежом

С. Востокова — Ярослав Гашек: миф и действительность. В. Ивашева — Пародии Уильяма Купера 267

Из месяца в месяц 272

Авторы этого номера 287

На обложке гобелен румынского художника ДИМИТРИЕ ГРИГОРАША «Сбор фруктов».

На цветной вкладке: искусство Меланезии.

НИКИТА СТЭНЕСКУ

С румынского

Никита Стэнеску стал одним из самых видных поэтов современной Румынии, он во многом задал тон поэтическому поколению, недавно вошедшему в литературу, стал его выразителем. Это поколение созрело одновременно со становлением социализма в стране, оно уже не застало монархии, угнетения, войны.

Здесь, на стройке, постигаешь,
какое счастье
все быстрей и быстрей
претворять будущее
в настоящее,—

пишет Никита Стэнеску в поэме «Песнь Румынии». Проблема будущего, проблема человека в сегодняшнем мире, проблема нравственной высоты и душевного богатства стали ведущими в его творчестве.

Произведения Никиты Стэнеску привлекли внимание во многих зарубежных странах. В «Иностранной литературе» не раз упоминалось его имя, цитировались и печатались отдельные его стихотворения. И все-таки, несмотря на то, что имя поэта в какой-то мере уже знакомо читателям, нелегко в журнальной подборке дать о нем целостное представление. Дело в том, что Стэнеску пишет, как правило, не отдельные стихотворения, а книги или, по меньшей мере, крупные циклы, объединенные единством замысла, интонации и приема. Даже по названиям его сборников («Земля по имени Румыния», «Хвала Птолемею», «В сладком классическом стиле») можно судить о тематической и стилевой их направленности. Никита Стэнеску владеет всем арсеналом современной поэтики — от фольклорных и классических традиций до самых сложных построений верлибра.

При всем разнообразии поэтических средств и форм у Никиты Стэнеску преобладает прием развернутой метафоры — образное олицетворение мыслей и чувств, в чем-то родственное непосредственному языческому мифотворчеству. Слово у Никиты Стэнеску имеет не столько буквальное, не столько повествовательное, а скорей метафорическое назначение. С этим надо, конечно, освоиться, настроиться на ту волну, на которой «идет передача». Такая настройка (иногда легкая, иногда требующая усилий) происходит всегда. Если у Блока «ветер» — это дуновение судьбы, вестник возмездия, грозовой порыв революции, у Бунина — это ветер русской природы, зябкий и пахучий, знойный или сырой, у Саши Черного — пыльный, городской, раздражающий, то у Никиты Стэнеску ветер, скорей всего, окажется эпическим, сказочным, легендарным.

Мне уже приходилось писать о том метафорическом складе, который свойствен румынскому фольклору, и высказывать предположение, что собственно национальными корнями (а не только воздействием европейской поэзии) объясняется нынешнее тяготение румынских поэтов к метафорическому языку. Не окажись этой народной подпочвы у современной румынской поэзии, она осталась бы просто модной, просто подражательной и не дала бы никаких плодов.

Никита Стэнеску был сначала недоуменно и недоверчиво принят критикой, потом он доказал с лихвой, что склад его художественного мышления действительно присущ ему. И читатели давно уже привыкли к его поэзии, полюбили ее. Поэт неустанно гро-

моздит свою гору — у нее свои вершины и провалы, гостеприимные высокогорные луга и малодоступные склоны.

Нам по мере возможности хотелось бы дать представление о разнообразии поэтического диапазона Никиты Стэнеску, рискуя при этом нарушить цельность его последовательных циклов — приходится черпать пригоршни из потоков. Тут и стихотворение о любимой («Моя») — наиболее, что ли, заземленное, личное, близкое к портрету и одновременно переходящее в метафору, тут и сквозной зрительный образ чувства родины, общности, преемственности («Толща земли»), тут и фантастически гиперболизированное изображение столкновения живой человеческой души (души поэта) с ненасытным потребительским здравым смыслом («Подъем вод») — поэт настолько чужд своекорыстным потребителям машинного века, что чувствует себя существом иной породы...

Метафорическое постижение мира — не возвращение вспять. При всем стремлении увидеть мир непосредственно эмоционально, в первозданной свежести и новизне, Никита Стэнеску — поэт богатой и тонкой (порою даже изощренной) культуры. Обнаженная, по-детски удивленная, ранимая душа и современный искушенный ум всезнайки — вот полюса того напряженного магнитного поля, в котором возникают токи его высокой поэтической частоты.

К. КОВАЛЬДЖИ

Толща земли

Под слоем земли с недавних лет
лежит костьми мой достойнейший дед,
а ниже нижнего слоя лежащего —
тени костей безымянных пращуров,
и в самом низу, где земля кончается,—
замысел начинается.
Вся земля снизу доверху — в предках,
держащих нас на плечах победных.
Гляжу на себя, гляжу на вас, люди,
и вижу деревья, которые будем
держать на земле, что будет над нами
там, где небо теперь течет облаками,
где встанут деревья с цветущими ветками
над нами —
потомков грядущих
живыми предками.

Перевод К. КОВАЛЬДЖИ

Не забывайте

О павшем на войне не забывайте,
пусть будет он среди живых живой,
и место за столом ему порою оставляйте,
как будто бы вернулся он домой.
Ведь, в сущности, все так оно и было:
он совершил немыслимый прыжок,
в тот миг, когда война его навек свалила,
он возвратился раньше тех, кто все-таки пришел.

Он сделал все, им путь до точки пройден.
Но жаром жжет его чело война,
которую все мы уже считаем прошлым...
Кропите землю каплями холодного вина!
Не забывайте никогда о павшем,
имя выкликайте, не оставляйте одного.
Тогда прибавится ко всем улыбкам нашим
невидимая,
не убитая,
его.

Перевод И. КАШЕЖЕВОЙ

Песня обожжения

Подобно тому, как гончар
ступает босыми ногами
по обожженным горшкам,
чтоб доказать их надежность и прочность
и годность к продаже,—
я сердце кладу на слова,
чтобы удостоверить их нерасторжимость,
и говорю:
благословляю женщину — рожать,
благословляю траву — зеленеть,
благословляю солнце — всходить!

Перевод К. КОВАЛЬДЖИ

Подъем вод

Я добрался до горной виллы.
Тут же явился сюда мой приятель, весь мокрый.
Снизу, с озера он пришел.
Озеро было внизу.

Он снял со щиколотки часы,
очень довольный, он снял их со щиколотки
и объяснил мне:
я плавал, а эти часы прицепились к ноге,
посмотри, какие они изящные.

Очень довольный, он держал их на ладони — он обожал
маленькие и совершенные изделия.

Он сказал мне:
там, на дне, полным-полно всяких заводных механизмов,
поэтому,
сказал он, глядя на меня в упор,
все обитатели озера вышли на сушу.

Невозможно там жить из-за тех заводных механизмов,
они завладели дном озера
и нижними слоями воды.

Поэтому рыбам, жукам и водорослям
пришлось выползать на сушу.
Лучшие из них добрались до виллы,
сказал он, глядя на меня в упор
с нескрываемым вожделением
и похлопывая меня
по плавникам, которые я прижимал
как можно плотнее
к чешуйкам.

Прошу тебя, не можешь ли ты вылить на меня ведро воды?
А как же, сказал он, я немедля пошлю
мою красавицу невесту,
чтоб она тебя облила,
окатила ведром воды.
Он вышел в другую комнату.
Она пришла.

Скорей погляди на мою сестру, она как раз в баньке,
давай загляни, сказала она,
давай загляни в щелку,
увидишь, какое у нее прекрасное тело!
Она окатила меня из ведра,
а я приблизился к щели.

Но там-то печь обжигала, пылая,—
припеклись на боку чешуйки,
выскочил волдырь на плавнике.

Зачем?— крикнул я.— Зачем ты сюда посылаешь? — я крикнул.
Зачем? — крикнул я.— Что ты надумала?
Зачем?
Какое мне дело до твоей сестры?
Плевать мне на ее купанье и ее прекрасное тело!
Нет уж, ответила она, тебя это не может не занимать,
немыслимо, чтобы это не занимало тебя!
И поглядела мне в глаза.
Поглядела в упор
с нескрываемым вожделением.
Поглядела пристально
и стала медленно, медленно расстегивать кофту,
потом рывком потянула молнию на юбке.

Что ты делаешь? — заорал я.
Я совершенно ничего не делаю, ответила она,
глядя на меня в упор
с явным вожделением, ненасытно и алчно.

Тут же вошел в комнату мой приятель.
В правой руке он держал червяка,
в левой руке нож.

Перевод К. КОВАЛЬДЖИ

Пятая элегия

Я никогда не упрекал
ни яблоки за то, что они яблоки,
ни листья за то, что они листья,
ни тени за то, что они тени,
ни птиц за то, что они птицы.
Но тени, птицы, яблоки и листья
вдруг разом ополчились на меня.
И вот я приведен на суд
в судебный зал округлый и воздушный,
прохладный и прозрачный,
где судят листья, тени, яблоки и птицы.
Я осужден за равнодушье,
за суетность, невежество и лень.
Все прегрешенья изложены на птичьем языке,
и почерк бисерный, как будто россыпь зерен,
акт обвинительный заполнил.
Вот я приговорен к холодному, глухому покаянью.
Стою я с обнаженной головой, расшифровать пытаясь:
к чему же присудили
меня за равнодушье ко всему...
Я ничего расшифровать не в силах,
и это полное бессилье
и злит меня,
и осуждает на бесконечное терпенье,
на то, чтобы стремиться
вникать настолько в суть понятий,
чтоб они приобретали форму
и яблок,
и листьев,
и теней,
и птиц.

Перевод Ю. КОЖЕВНИКОВА

Моя

В своей одиночке она ожидает меня.
Все самые нежные перебирает слова,
присутствию тени немую покорность храня,
рабыня с достоинствами божества.

В тоске одинокой она натирает полы,
и ценится блеск их в четырнадцать полных карат —
они драгоценны, они уникальны почти...
и все, чтоб скотина прошлась бы по ним в аккурат!

Сама — полотно у стены с вечной тряпкой в руке,
она вытирает пылинки с прекрасных картин,
чтоб, клич свой победный издав «э-ге-ге!»,
упал в это эхо беспутный ее господин.

Она ожидает прихода супруга домой,
и пальцы, волнуясь, свершают бессмысленный труд:
в своем нетерпенье, в своей лихорадке немой
тупому затылку мудреную ласку плетут.

Она приготовит на утро бодрящий рассол,
расстелит опять свои волосы черным ковром,
чтоб муж от дверей до постели, не сбившись, прошел.
Проследовал вновь предначертанным этим путем.

Перевод И. КАШЕЖЕВОЙ

Сон и пробуждение

Поскольку ничего еще не понимали
ни ты, ни я,
мы думали, что просто мы похожи.
И вот поведали друг другу
самую большую тайну:
мы существуем...
Но это было ночью, а поутру —
какое страшное зрелище:
проснулся я, прильнув к тебе виском,
сноп, желтизна пшеницы.
И я подумал: боже,
каким же хлебом я быть смогу
и для кого?

Перевод Ю. КОЖЕВНИКОВА

АНДРЕЙ ГУЛЯШКИ

Романтическая повесть

Перевод с болгарского Т. КАРПОВОЙ и Л. ХЛЫНОВОЙ

Небольшое авторское вступление

Я начну свой рассказ о людях, живущих в этом доме, с описания весьма странного события. Одни скажут, что событие это почти невероятное, другие — что оно выдумано. Лично я склонен отдать предпочтение вторым, поскольку жизненный опыт убедил меня, что в выдумках и фантазиях подчас содержатся весьма правдоподобные вещи. Например, было время, когда фантазировали, что икары и фаэтоны поднялись в воздух и летают вокруг Земли. А сейчас икары и фаэтоны летают не только вокруг Земли, но и значительно дальше.

Событие, о котором я вам расскажу, ни невероятно, ни выдумано, а совершенно подлинно, потому что в нем играет главную роль не кто иной, как человек, посвятивший себя благородной творческой задаче описать этот дом таким, каков он есть или каким он *представляется* населяющим его людям.

Поразительный случай сделал моего героя, художника Бояна Анастасова, причастным к чужим судьбам. И вот теперь, как бы надев шапку-невидимку, он старается, насколько ему позволяют силы, помочь другим добрыми делами, одним словом — старается быть добрым сказочным духом.

Небольшое предисловие главного героя

Не очень удобно говорить о самом себе, и не только из скромности — скромность я бы с грехом пополам поборол,— а потому, что мой автор сразу же рассердится (в этом отношении авторы весьма честолюбивы) и, насупившись, спросит: «А я на что?»

Да, авторы честолюбивы и порой только из честолюбия заставляют героев носить, к примеру, галстуки, которые тем совсем не по вкусу, а авторам нравятся. В таких случаях герои отказываются от галстуков, и тогда между автором и героями возникают трения.

Между мной и автором трений не возникло. Только в начале повествования, в нескольких первых главах, чтобы иные читатели не отнеслись ко мне с настороженностью, он попытался немного пригладить мою речь, а меня самого представить в более или менее общепринятом виде. Но, слава богу, вскоре он оставил меня в покое; то ли я вырвался из-под его влияния, то ли ему надоело влиять на меня — и все пошло как надо.

В конце концов мы стали очень хорошо понимать друг друга, даже советовались тайком, как представить то или иное событие.

Во всех особых случаях языкового или иного характера ответственность брал на себя я. Не для того, чтобы бить себя в грудь: «Посмотрите, какой я», а потому что люблю своего автора.

Ведь все в конечном счете сводится к этому главному чувству — любви.

■

Неделю назад, около восьми часов утра, спускаясь по лестнице нашего дома, я ненароком глянул в окно и вижу — на зеленой лужайке перед входом расцвела черешня! Хвастается красотой, своими белыми цветами, демонстрирует происшедшую в ней перемену и улыбается, радуясь белому свету. Всю ночь теплый ветер воевал над моей мансардой, шумел в трубах и переплетениях антенн, не давал заснуть, рассказывал о разных давних делах. А почки на деревьях ласкал чуткими и нежными, влюбленными ладонями. Смотрю я на черешню и говорю ей, про себя конечно: «Здравствуй, ты очень красива, в добрый час!» — или что-то в этом роде; когда прохожий видит фруктовое дерево в цвету, символ юности, что бы ему ни приходило на ум, слова, в которые он облекает свои мысли, кажутся всегда банальными: «Здравствуй, ты очень красива, в добрый час!... Ах, как чудеєно, здравствуй!..»

Киваю черешне, хочу идти дальше, но с площадки нижнего этажа доносятся знакомые голоса, и я прислушиваюсь. Останавливаюсь не ради того, чтобы, упаси бог, подслушать чужой разговор, но чтобы дать возможность людям спокойно поговорить, ведь утром они спешат на работу, времени остается немного, а я совсем не спешу. Мольберт от меня никуда не убежит, он привык терпеливо ждать, и свет, проникающий ко мне в окно с северной стороны, не зависит от времени дня.

Внизу, на площадке, разговаривают Юлия Антонова — она живет в квартире налево и Лозан Сюлемов — его квартира справа. Юлия изучает промышленную химию, в этом году оканчивает институт, у них с матерью комната и кухня по соседству с комнатой усатого пенсионера, в прошлом часового мастера. Лозан Сюлемов — молодой композитор, молодежь в последнее время очень его полюбила, но мне он не нравится, позднее скажу почему. Юлию я помню еще девчушкой, когда она готовилась к поступлению в гимназию и ходила в сатиновом переднике ниже колен; она напоминала серну с огромными любознательными глазами и длинными, тонкими ножками. В ту пору усы часового мастера были пышными, не нуждались в краске, и он очень гордился, что принадлежит к тем немногим мастерам, которые чинят *особые* часы — поющие, танцующие, чирикающие, с цепями и гирями. Теперь Юлия, темноокая красавица, знает себе цену и в грош не ставит тех, кто на нее засматривается, ищет ее взгляда, но я очень боюсь, не влюбилась ли она в композитора, хотя с чего бы мне, казалось, бояться — я ей совсем чужой человек, да и волосы мои давно поседели.

Внизу, на площадке рокочет самоуверенный баритон композитора. Слышится и сочный альт Юлии. Они говорят о чем-то, и, как бывало всегда до сих пор — это история старая,— двери между ними ни распахиваются полностью, ни закрываются совсем. Потом они спускаются

по лестнице и смеются, а я удивляюсь, почему им так весело, когда они не могут решить даже вопрос о двери, но внушаю себе, что мне это должно быть безразлично, нечего на них обращать внимание. В конце концов, существует много более значительных вещей, которые могут и должны волновать художника.

■

Итак, когда я остановился у дверей дома, они уже вышли во двор и направлялись по выложенной плитами дорожке на улицу. Они продолжали торопливо говорить, и это было вполне естественно. Ведь дверь между ними так и не открылась. Но меня огорчило полнейшее их равнодушие к черешне. Они прошли под цветущими ветвями, как, примерно, сытый, очень сытый человек проходит мимо булочной; посмотрели на ее белое свадебное одеяние с таким безразличием, с каким, скажем, очень богатый человек смотрит на витрину мелочной лавки. Ну что за люди! Кружевная ветка, прелестная, как «Помнишь ли?» Димчо[1], чуть не хлестнула композитора по глазам, но он вовремя наклонил голову и поморщился: какой, мол, дурак посадил это противное дерево так близко от дорожки!

Подойдя к ограде, они вдруг побежали, словно их преследовал шершень,— на улице показался автобус, чья остановка в десяти шагах от нашего дома. Юлия на ходу сунула руки в карманы пальто, вероятнее всего, чтобы проверить, там ли билет. Ведь автобусы стали ходить без кондукторов, не так ли? Когда Юлия вынимала из кармана изящную руку в белой перчатке, на землю упала смятая бумажка. Молодые люди исчезли в толпе, а я по-прежнему стоял у входной двери, раздумывал о черешне и вообще о красоте — о том, сколь преходящи ее критерии. Что было прелестным, праздничным для нашего поколения, нынешней молодежи представляется безликим и будничным, в лучшем случае чем-то вроде вышивки ришелье, пожелтевшей от времени, которую мать Юлии все еще хранит в ящике старого комода. Год назад я заставил Юлию прочитать стихотворение Димчо «Помнишь ли?» и спросил, что она думает о нем. Юлия ответила, что стихотворение звучит как музыка, удивительно по форме и в то же время чуждо сегодняшнему читателю. «Пропитано отжившей романтикой»,— сказала она. «Почему «отжившей»?» — удивился я. «А где сейчас домики в вишневых садах?» — снисходительно улыбнулась Юлия. Я пожал плечами и перевел разговор на другую тему. Если услышу от нее еще несколько подобных ответов, кто знает, может, в моем сердце совсем не останется ей места. Пожилой человек должен быть очень осторожным, задавая вопросы молодежи, осторожным, главным образом ради себя самого.

Помнишь ли, помнишь ли в тихом саду
Шепот и смех под цветущими вишнями?

Теперь влюбленные шепчутся и смеются, шагая по асфальту, среди толпы, на перекрестке — в ожидании зеленого сигнала светофора. А я к ним лезу с вишневыми садами. Рискованно!

Я поднял смятую бумажку: плиты дорожки чисто выметены, лужайка зеленеет — смятая бумажка могла все испортить.

Подойдя к киоску, я купил две пачки табака, газеты, нитки — оборвалась вешалка у плаща, да и всякие оторвавшиеся пуговицы давно ждали своей очереди. Дел у меня выше головы: работа над картиной, чистка палитры — уже две недели не соскабливал красок, починка одежды, обед какой-нибудь надо придумать, нелепо при такой занятости таскаться по ресторанам.

[1] Имеется в виду болгарский поэт Димчо Дебелянов (1887—1916).

Я двинулся в обратный путь. Вперед, к мастерской! В моей мастерской Кремиковский металлургический комбинат льет чугун в окружении кротких и сияющих вишневых садов, возле шагающего экскаватора девочка качается на серебряных качелях, усыпанная цветами ветка радостно приветствует гигантскую заводскую трубу... Кое-кто морщится: «Как можно? Что это за серебряные качели возле шагающего экскаватора?» «Можно»,— говорю я и даже думаю, а не написать ли возле серебряных качелей другую девочку, которая будет весело прыгать через веревочку.

Примечание автора

Вот он каков, мой герой: возле стального экскаватора хочет нарисовать девочку со скакалкой, да еще и серебряные качели — совсем как в сказке. Чтобы качели не были величиной с орешек—потому что экскаватор огромный, словно двенадцать верблюдов поставлены один на другого,— и чтобы девочка не казалась с булавочную головку, он сделает вид, будто не знаком с законами перспективы,— девочка вырастет до середины гиганта, а серебряные качели взлетят к самой его вершине. За склонность художника вводить болгарскую сказку в современную действительность (что начала проявляться у него в последние годы) некоторые критики стали называть его «отжившим романтиком». А другие критики, знакомясь с его рисунками, строгими и бесхитростными, изображающими болгар и болгарское небо, наклеили ярлык «устаревший реалист». Только устаревшие реалисты рисуют небо таким, какое оно есть,— синим. Современные, мол, художники, видят его в ином цвете. Я не искусствовед и потому не осмеливаюсь ставить моего друга на ту или иную эстетическую полку. Но если все-таки осмелюсь это сделать и помещу его на полке подобно книге, бутылке или какому-нибудь другому предмету, уверен, что тут же поднимется страшный вой. Реалисты-модернисты закричат: «Нам он не нужен, он — романтик!» — а романтики, в свою очередь: «Кого вы нам навязываете, не видите, что он вульгарнейший натуралист?»

Сам художник говорит о себе, что он на сто процентов социалистический реалист. Но ведь все говорят, что они на сто процентов социалистические реалисты. Дело трудное, и я полагаю — лучше не распутывать этот клубок, а дать опять слово самому герою.

■

В те годы, когда комиссии чаще покупали на выставках мои картины и у меня было неплохо с деньгами, хотя я никогда не вел им счет и мне в голову не приходило откладывать их, в те годы я приобрел за скромную сумму «воздушное пространство» над этим домом и построил себе мастерскую. Она не бог весть как просторна, да и потолок потрескался, что бывает в любой мансарде, но здесь светло — широкие стекла смотрят далеко на север, а на запад обращено круглое слуховое окно. На севере видна фиолетовая цепь Стара Планины, она будто плывет над землей, потому что подножие гор скрывает дым заводов и поездов — поезда снуют туда-сюда, выбрасывая клубы серого, лилово-оранжевого и черного дыма. На запад вид более скромный — море

крыш, пологих и плоских, но все-таки и с этой стороны достаточно много света. Прямо с неба.

Там, где потолок делает изгиб и начинает снижаться, у меня спальня — кровать, столик, лампа с абажуром в виде зонтика. Все это я отделил от остальной части мастерской ширмой из льняного полотна, нарисовал на ней виноградники, колодцы с журавлями, невест в подвенечном наряде, золотые подсолнухи. Когда-то я был сельским учителем, и все это сохранил в памяти, хотя новые времена давно могли бы развеять воспоминания. Где сейчас увидишь, например, колодец с журавлем? Теперь воду качают электрическими насосами. Это в тысячу раз удобнее и чище, а в те времена и колодцы делали свое дело, поили людей и скотину, в дни засухи поддерживали жизнь на бахчах. Для живописи колодцы, по сравнению с современными насосными станциями, более благодарный материал: одинокий журавль посреди алчущего поля грозит кулаком испепеленному зноем небесному куполу — проклятие и угроза богу за безутешное крестьянское горе. Насосная станция, как ее ни рисовать, не производит впечатления — четыре стены и крыша, смотреть не на что. А кулак, с угрозой протянутый к раскаленному небу, навсегда запомнится, такую картину нелегко забыть, она живет.

Чтобы закончить описание моей мастерской, нужно упомянуть еще об одной детали, которую в наши дни не в каждом доме встретишь,— камине. В углу я устроил сводчатый камин в старинном стиле — с цепью, на которую можно вешать котелок. Такие камины уже не делают, они исчезли из сельской жизни вместе с керосиновыми лампами, квашнями и глиняными формами для выпечки хлеба, но я нарочно смастерил именно такой старинный очаг. Многие коллеги смеются: романтическая блажь! Как им объяснить, что это не блажь, а любовь к живому огню! Если даже и попытаться объяснить, они все равно будут держаться своего, потому что и живой огонь для них — отжившее и ненужное. Поставив камин, я в известной степени обманул свое холостяцкое одиночество, скучные осенние вечера, когда льют дожди. Я слушаю треск и бормотание пламени, занимаюсь чем-нибудь возле огня и не замечаю дождя, бьющего в стекла.

На стенах мастерской я развесил пестрые домотканые ковры и картины на сельские сюжеты: черешневый сад в Рыждавице, лето в окрестностях села Ведрово, домик путевого обходчика на степном просторе, стадо буйволов, возвращающееся с пастбища. На полу постелил ковры из козьей шерсти, в нишах разместил книги, краски и разные предметы — тарелки, горшки, прялки с зеркальцами, настоящее мотальное колесо.

Ковры выгорели, вытерлись, многое с годами износилось, но все еще служит. Да и к чему менять? У новых вещей нет прошлого, а старые, как хорошие книги — перелистаешь такую книгу, всегда есть что прочитать, чему порадоваться и над чем задуматься. Смотрю, например, на колодец, что нарисовал на ширме. Где только я не видел таких колодцев, а вот добруджанские совсем иные. Вместо мотовила или вала у них колесо, потому что вода там на очень большой глубине — разве достанешь ее с помощью жерди и на какой вал можно намотать стометровую цепь? Я вспоминаю колодец на перекрестке дорог между селами Ведрово и Рогозино. Тощий конь крутит колесо, татарчонок Рашид подстегивает коня, ласково разговаривает с ним. Но конь, навострив уши, не слышит его слов, потому что над степью свирепствует холодный ветер, тысячеголовый змей ревет и бьет хвостом о землю, носятся снежные вихри. Темнеет, тяжелое серое небо прикрыло равнину, вьюга свистит, а по дорогам из Ведрова и Рогозина едут и едут

сани, нагруженные кадками и бочками,— все заиндевело, морды коней в сосульках, рога волов словно обвиты фольгой.

Так было в те времена, когда не существовало столь неподходящих для живописи насосных станций, и я живо вспоминаю их, взглянув на колодец, который некогда нарисовал на ширме. Так что нет смысла расставаться со старыми вещами.

Есть люди, которые снисходительно улыбаются, когда слышат некоторые слова, считая их отголоском времен кринолинов и шлейфов. Человек не смеет сказать, например, что любит старые вещи, потому что эти люди тут же обзовут любовь к старым вещам проявлением устаревшей чувствительности. Они надменно утверждают, что моя привязанность к старым предметам — «сентиментальный пережиток», мой камин — «романтическая блажь», рисовать цветущую черешню — «поэтический анахронизм» и вообще что я — человек старой формации.

Но я о себе совсем иного мнения. Не знаю, к какой стилевой номенклатуре следует меня отнести (для некоторых людей все в жизни непременно должно быть строго разграничено), во всяком случае, я себя никоим образом не вижу в старой папке. Никоим образом! И для доказательства приведу те же примеры, которыми пользуются строгие люди, о которых идет речь.

Начнем с «поэтичности». Считается, что эта склонность чаще и сильнее всего проявляется в юношеские годы. В эти годы поэтически настроенный художник непременно рисует цветущие фруктовые сады, синие и прозрачные небеса, весенние сияющие луга. И дальше все в том же духе: натюрморт, украшенный гвоздиками, окно, у которого сидит задумчивая девушка, ручьи и первые цветы.

Просматривая сейчас наброски и вспоминая свои рисунки тех далеких времен, я не вижу ни одного расцветшего дерева, никакого чистого неба, нет гвоздик, задумчивых девушек, не бегут ручьи, не согревает солнце первые цветы. Наоборот! На натюрмортах — пустые миски, на рисунках — полно покосившихся домов, городских и сельских, нависло свинцовое небо, сереют сырые, словно в оспинах фасады, в маленькие, узкие окна смотрят люди: одни затаили боль, немое страдание, у других глаза горят гневом, а иные словно бы прислушиваются к далекому гулу — приближается грозная, но спасительная буря. Какая уж тут поэтичность!

Очаги... Ну хорошо, где-то в сороковых годах я приводил их как пример безнадежной отсталости. В статье по поводу одной этнографической выставки, на которой очаг был представлен в виде национальной «святыни», я спрашивал: «Где во всем мире вы встретите такую «святыню»? В самых отсталых странах, где нищета заставляет человека жить так, как жили люди тысячу лет назад!»

Но что касается прялок, кувшинов, мисок, то тут, как видно, какое-то недоразумение, потому что все это не «мелочи», а реликвии старого быта. Народный мастер придал им красоту, которая никогда не устареет, потому что это наше, родное. Как же их не любить? Неужели любовь к родному, хотя и созданному давно,— всего лишь пустая блажь?

«Погодите, погодите,— скажут некоторые из моих молодых коллег,— а сейчас почему вы рисуете деревья в цвету? Что это за веселые подсолнухи, люди в свадебных нарядах, серебряные качели?»

Действительно, последнее время так много смеются над деревьями в цвету и вообще надо всем, что опьяняет и приносит радость, что остается взять в руки кисть и рисовать только листопад, похороны и густой туман.

Пусть смеются. Листопад я едва ли нарисую, а если когда-нибудь

это сделаю, то лишь затем, чтобы утешить себя, и виноват в этом будет только мой возраст. Но я еще непременно нарисую много весенних лугов и деревьев в цвету, словно убранных к венчанию девушек, что стоят перед зеркалом и, улыбаясь, прикрепляют фату к венчальному венцу.

Что еще сказать вам о себе в эту нашу первую встречу? Лицо у меня худое и скуластое, глаза зеленые, как трава в конце лета, волосы посерели (серые волосы и белые — все-таки разница!), руки длинные, рост высокий, плечи немного искривлены (это заметно, когда я наклоняюсь над очагом), потому что правое плечо прострелено полицейской пулей. Я всегда отдавал, да и сейчас отдаю предпочтение блондинкам, позднее расскажу вам почему. Я не пьяница (упаси бог!), но в уютной обстановке, в кругу близких друзей не прочь немного выпить. Люблю встречаться с людьми, но страшусь больших собраний — так было всегда, и это большой недостаток. Испытываю слабость к документальным книгам, биографиям, в последнее время пристрастился к физическим наукам, как любитель, разумеется, однако математическая подготовка у меня неважная, и я многого не понимаю. Взял было несколько уроков высшей математики, но оказалось, что я безнадежно забыл многое даже из элементарной алгебры, и учитель (инженер из нашего дома) посоветовал мне не забрасывать живопись.

Впрочем, наспех рассказывать о себе при первой встрече опасно: того и гляди, получится, что мелкое возьмет верх, существенного едва коснешься, а о самом важном, кто знает почему, умолчишь. По крайней мере со мной это случается часто. В прошлом году представил на Общую художественную выставку две картины, и впервые с тех пор, как участвую в таких выставках, мнение жюри разделилось: половина присутствующих была «за», другая — «против». Не хватало одного, решающего голоса. Решение вопроса отложили до повторного голосования. Понурый, брел я по улицам, ведь такая история случилась со мной впервые, смотрю — навстречу идет именно тот «голос», которого не хватало,— член жюри, коллега, сторонник моих картин и моих принципов. Он не был на заседании, потому что готовился к путешествию — намечена была его выставка в Советском Союзе.

Он сердечно пожал мне руку, спросил, как я себя чувствую.

— Чудесно,— ответил я,— никогда не чувствовал себя лучше!

— Очень рад,— сказал он.— А меня одолели заботы. Через два дня уезжаю, но еще и половины картин не успел упаковать!

— Ничего, успеешь! — ободряюще улыбнулся я.

Он внимательно посмотрел на меня:

— А ты, мне кажется, что-то не в духе?

— Тебе показалось... Хотя вообще-то,— добавил я тихо,— у меня большие неприятности.

Вижу — по лицу его пробежала тень: столько хлопот с этим отъездом, через два дня едет, половину картин не упаковал, где ему выкроить еще время для меня! В сутках ведь всего двадцать четыре часа.

— Что за неприятности? — спросил он сочувственно, но я уловил в его голосе легкую тревогу.

— Ты не сможешь мне помочь,— сказал я,— карниз над окном требует ремонта. Как только дождь — заливает.

Это было правдой — карниз давно обвалился.

— Только и всего? — рассмеялся приятель, и я различил в его смехе предательские нотки облегчения. Впрочем, может быть, мне это показалось.— Позови мастера, и все будет в порядке! — Он похлопал меня по плечу.

— За мастером я и иду,— уверил я его.

Мы еще поговорили о разных пустяках и разошлись. Я пожелал ему счастливого пути, а он мне — больших успехов.

Таким образом, мои две картины, разумеется, не были приняты. Но об этом позднее.

Вот что происходит, когда человек принимается говорить о незначительных вещах.

Примечание автора

Тут мой герой не прав, выводы его далеки от истины. В том, что случилось с его картинами, не виноваты никакие разговоры и никакие незначительные обстоятельства. И себя он напрасно корит за чрезмерную деликатность. Даже если бы он действовал нахальнее и сказал своему приятелю: «Послушай, друг, забеги в комиссию, мои картины могут полететь ко всем чертям!» — и приятель пошел и проголосовал за него, все равно ничего путного не вышло бы, потому что во время повторного голосования половина из тех, кто его поддерживал, переменила бы свое мнение и наверняка проголосовала против. Такие уж ветры веяли в этом жюри, что иного результата и ожидать было нечего.

Художник представил две картины: «Стотысячник» и «Каток». Лицо стотысячника — грубовато-мужественное, в складках возле рта и в морщинах на лбу словно бы оставили след бесконечные дороги, мороз и жара, крутые подъемы и спуски, нестерпимая жажда сна, гложущая веки. Он как бы прислушивается к размеренной работе двигателя и мысленно прикидывает угол поворотов, которые ему предстоит одолеть. Вместе со спокойной уверенностью в его темных глазах блестит легкая хитринка, желание испытать невинные приключения, выпить немного крепкой ракии после благополучного завершения большого дела, когда человек садится за стол, чтобы отдохнуть и повеселиться. Это портрет сильного фракийца, с широкими плечами и могучей шеей, хорошего мужа, откладывающего деньги, чтобы купить жене подарок, но и не упускающего случая перебросить шуткой с какой-нибудь молоденькой официанткой в придорожной закусочной. Этот человек любит свою работу, радуется ей, душой и сердцем привязан к своей машине.

Другое полотно представляло собой композицию из нескольких бытовых сцен, объединенных темой радости. Зимний день, вероятно воскресенье или какой-нибудь праздник, падает снег. Толпы сельских ребятишек наводнили каток — одни летят на санках с горки, другие карабкаются вверх. Крестьяне ставят защитные плетни — оберегают озимые от метели. На клубной сцене самодеятельный танцевальный ансамбль репетирует хоро. Музыканты дуют в трубы и тромбоны, щеки их, того и гляди, лопнут, увлекшийся ударник размахивает палочкой, как булавой. А над всем этим клокочущим миром молодецки несется дед Мороз верхом на круторогом олене. И все это в легких белых кружевах снега, щедро падающего с небесной вышины.

Свое отрицательное отношение к картинам их противники мотивировали примерно так: «Стотысячник» исполнен в стиле самого устаревшего реализма, описательно, по-бытово-

му, а «Каток» — невероятная мешанина грубого натурализма со сказочно-романтическим фольклором. Кроме того, на «Каток» критика обрушилась и в идейном отношении. Что это еще за дед Мороз на круторогом олене! Деды Морозы уместны только в детской тематике, а привнесенные в тематику для взрослых моментально, дескать, превращаются в какие-то наивные символы.

Таковы были доводы противников. Справедливые или несправедливые — все-таки это были доводы. Но почему-то обстрелу подверглись только картины Бояна Анастасова и еще двух или трех художников, в то время как на выставку были допущены весьма удивительные и странные произведения: полотна с замерзшими парками, по которым прогуливались не люди, а тени; попадались болгарские рабочие с мексиканскими лицами; в большом количестве, особенно в скульптуре, были представлены вытянутые, как веретена, юноши и девушки; мелькали улицы, погруженные в печальную мглу. Эти произведения жюри нашло весьма реалистическими.

Получается, что никакой приятель не смог бы спасти картины нашего героя. Впрочем, все это уже в прошлом, важно, что история эта закончилась благополучно.

Вот как все случилось. На третьем этаже того же дома жил инженер Михалаки Ставрев, специалист по электронно-вычислительным машинам. Когда наш герой увлекся физическими науками, Ставрев привел его на завод, где сам работал, чтобы тот постиг тайны алгоритмов и чудеса электронной памяти. Как и следовало ожидать, Боян Анастасов ничего не постиг, математическая логика оказалась недоступной его образному мышлению, но он подружился с людьми — членами заводского кружка «Друзья искусства» — и с готовностью согласился руководить секцией живописи. Большинство «друзей» было людьми с высшим образованием: инженеры, технологи, конструкторы, некоторые пытались рисовать, но в основном кружок организовывал посещение выставок, галерей и мастерских, обсуждение картин, беседы на творческие темы. Эти люди полюбили нашего героя, и он их полюбил, потому что они были искренни, чужды позерства и громких слов, хорошие товарищи каждому, кто им честно протягивал руку. Когда на следующий после истории с картинами день они увидели удрученного художника и узнали, что его угнетает, удивлению их не было границ, но поскольку они были людьми решительными, то моментально предложили ему принести картины в заводской клуб и сказали, что сами позаботятся об их дальнейшей судьбе.

Боян Анастасов принес картины в зал заседаний и повесил их в подходящем месте. «Друзья» распорядились, чтобы вынесли все стулья, так что помещение походило теперь на большой выставочный салон. Инженеры-электрики установили специальные лампы, чтобы в зале всегда было мягкое, дневное освещение. Девушки принесли вазы с живыми цветами, и сразу стало уютно.

К концу рабочего дня зал заполнился народом. Одна машина регистрировала число посетителей, другая собирала информацию о впечатлениях зрителей. Комсомолки преподнесли Бояну Анастасову цветы, пожелали ему успеха и все

по очереди его поцеловали. Он растрогался, то и дело вынимал платок, чтобы украдкой высморкаться. Появились репортеры из телевидения, навели камеры на картины и на публику, которая все подходила. В тот вечер Боян Анастасов пожал сотни рук, к нему было обращено множество добрых и восторженных улыбок; от всего этого сердце художника учащенно забилось, сжалось от умиления, пот выступил на лбу, и Михалаки Ставреву пришлось взять его под руку и вывести на свежий воздух.

У Михалаки Ставрева внешность типичного аскета: втянутые щеки, глубоко запавшие глаза, тонкие, едва различимые губы и острый костлявый подбородок. Но при такой внешности был он человеком бодрым, уверенным в себе, оптимистом, плохое воспринимал как исключительное, а доброе — как само собой разумеющееся и исконное. Именно этот Михалаки подошел к нашему герою, взял его под руку и любезно вывел из зала.

Моросил осенний дождик. Прохожих становилось все меньше, дождевые капли при свете уличных фонарей казались золотыми. Некоторое время друзья шли молча, потом Михалаки предложил зайти в первую попавшуюся закусочную. Там было почти безлюдно, несколько столиков и скудное освещение.

— Чудесный уголок,— сказал Михалаки.— Тихий, удобный и вообще приятный во всех отношениях. Я сюда заглядываю каждый вечер пропустить рюмочку ментовки. Официант меня знает и порой составляет мне компанию. Я ему рассказываю о нашей новой «элке» на полупроводниках, а он сообщает последние сведения о своей хозяйке, женщине довольно сомнительного поведения. Мы беседуем, не слушая друг друга, потому что он ничего не понимает в полупроводниках, а меня совершенно не интересует его сомнительная хозяйка. Если бы кто-нибудь со стороны послушал нас, он вполне мог бы подумать, что «элка» — сомнительная, а хозяйка — на полупроводниках, но беседа идет, а это главное, и мы всегда расстаемся очень довольные друг другом. Ты что будешь пить — ментовку или коньяк?

— Что? — вздрогнул Боян Анастасов. Он задумался о чем-то своем и не слышал вопроса инженера.

— Я спрашиваю, что будешь пить — ментовку или коньяк? — рассмеялся Михалаки. Он не был обидчив, два года назад жена бросила его ради какого-то работника внешней торговли, но если о жене заходила речь, он говорил о ней, как о самой добродетельной и примерной женщине в мире.— Ментовку или коньяк? — повторил он свой вопрос.

— Конечно, ментовку! — ответил Боян. Он не потреблял этого питья, но сказал это с такой убежденностью, словно пристрастился к нему с ранней юности.

Когда рябой официант поставил перед ними рюмки, Михалаки поднял свою и торжественно произнес:

— Сегодня было хорошо, а завтра будет еще лучше! Мы сделаем нашу полупроводниковую «элку», и ты увидишь, что она займет одно из первых мест в мире!

— Не сомневаюсь,— сказал Боян без особого убеждения.

— А за твой «Каток» мы будем сражаться с Национальной галереей, и картина останется у нас! Твое здоровье, дорогой!

Нашему герою тост показался напыщенным, он скептически улыбнулся и махнул рукой: к черту «Каток», неужели не о чем еще поговорить?

■

В тот же вечер в телевизионных новостях показали торжество на заводе электронно-вычислительных машин; камера задержалась на двух картинах и еще дольше — на восторженных улыбках публики. На следующий день поток посетителей удвоился, приходили журналисты, искусствоведы, общественники. Через день в газетах появились снимки с «выставки» — две картины и зрители, толпящиеся перед ними. Пророчество Михалаки сбылось: когда на четвертый день члены Государственной комиссии единодушно решили купить «Каток», директор завода в углу картины прикрепил картонку с надписью: «Собственность ЗЭВМ» — то есть завода электронно-вычислительных машин.

«Стотысячника» купил профсоюз транспортных рабочих. Было совершенно естественно, что стотысячник отправился к своим собратьям, но многие никак не могли понять, что общего у электронщиков с дедом Морозом, который весело мчался на круторогом олене, а внизу музыканты играли как одержимые, девушки и юноши плясали сумасшедшее хоро, а ударник так бил в барабан, словно вино всей земли собрано у него в погребе... Действительно, что общего могли иметь электронщики с этой переполненной радостью зимней картиной?

■

Теперь, когда я во всех подробностях описал вам свою мастерскую, пожалуй, следует хотя бы в самых общих чертах показать и наш дом.

Он находится на улице Шипки, с правой стороны, если идти по направлению к бывшему Военному училищу, напротив Докторского сада. В прежние времена это была «аристократическая» улица, дома — преимущественно в стиле позднего барокко, двух- или трехэтажные,— выглядывали из-за прикрытых ставен в тихие и спокойные палисадники, украшенные самшитом и летними беседками. В этих домах жили богатые люди — банкиры, крупные торговцы, высшие чиновники, министры. По утрам сновали по улице почтальоны, прислуга, мальчики на побегушках, а к обеду на прогулку выходили «дамы». Сейчас от этих домов ничего не осталось, давно исчезли и их обитатели, только два ряда старых каштанов помнят прошлое. Нынче эта современная, асфальтированная улица кишит спешащими людьми; гудят автобусы и троллейбусы, на месте особняков поднялись многоэтажные дома с широкими окнами и веселыми фасадами.

Наш дом не из самых новых, всего лишь трехэтажный, с мансардой — моей мастерской. Дом построен в военные годы каким-то спекулянтом, причем цокольный этаж был откуплен тогдашним столичным шахматным клубом и соответственно переоборудован в просторный салон с подсобным помещением для бара. Сейчас этот салон — наша общая собственность. Каждый из членов жилищного кооператива внес свою долю, на собранные деньги салон меблировали, купили пианино и телевизор, устроили, так сказать, домашний клуб. Здесь можно посидеть, почитать газету или журнал, поиграть в карты, а с тех пор, как наш композитор начал сочинять эстрадную музыку, все увлеклись

современными танцами; впрочем, лично я танцую только танго, а часовщик-пенсионер, мастер поющих часов,— только вальс.

На каждом этаже нашего дома по две квартиры: одна — налево, другая — направо. Теперь запомните:

В квартире слева на первом этаже живет мой друг Михалаки Ставрев. Он по профессии инженер, специалист по электронно-вычислительным машинам, один из конструкторов известной «элки-21», которая может производить не знаю сколько тысяч сложных математических операций в секунду. Квартира справа принадлежит ответственному работнику министерства внешней торговли, зовут его Недьо Недев, дочь его Веселина оканчивает в нынешнем году агрономический институт.

Квартиры на втором этаже — собственность двух профессоров. В квартире слева живет Борис Паскалев, а справа — Филип Максимов. В медицинском мире имена этих людей очень известны, они — микробиологи, Филип Максимов недавно стал директором Института эпидемиологии.

Третий этаж — самый населенный. Слева живет бывший часовщик Хрисим Бетлиев, мастер старинных часов. Юлия Антонова и ее мать — его квартирантки. Квартира справа принадлежит полковнику запаса Христо Сюлемову. Его жена — в прошлом учительница музыки, старший сын Лозан — композитор, младший, Юри,— студент последнего курса филологического факультета.

Обычно при первом знакомстве я не люблю много говорить ни о себе, ни о своих знакомых. Но чтобы это мое описание не выглядело сухим, добавлю еще несколько слов. Мать Юлии — пенсионерка; чтобы дочь могла покупать нужные ей книги по специальности и прилично одеваться, мать за недорогую плату вяжет шерстяные свитера. А свитера ее великолепны, со спортивным рисунком. Что касается Парашкевы, супруги полковника запаса Сюлемова, то она всегда одета в черное, хотя все ее близкие, насколько мне известно, живы и здравы. А если сядет за пианино, обязательно заиграет печальную песню Сольвейг.

Мне кажется, что с тех пор, как Филип Максимов стал директором Института эпидемиологии, его коллега Борис Паскалев чем-то удручен, хотя и старается выглядеть веселым. Максимов же, наоборот, держит себя все надменнее, ходит важно, порою не удостаивает меня даже кивком. Словно бы все государственные заботы легли на его плечи и он денно и нощно погружен в эти заботы. С вечно увлеченным, кротким и улыбчивым Паскалевым они до недавнего времени были неразлучными друзьями — ведь именно поэтому и решили купить квартиры на одной лестничной площадке.

Веселое и грустное всегда идут рядом, и если отношения между двумя известными профессорами натянутые, то отношения между Михалаки и семьей ответственного работника Недьо Недева с каждым днем становятся все задушевнее. А следовало ожидать как раз обратного, поскольку именно в доме Недьо Недева появился обольститель, который в свое время соблазнил супругу известного инженера. Но, как говорит мастер поющих часов, в людской жизни много разных пружинок, одни вертят стрелки налево, другие — направо, нет строго установленного порядка, как у часов, где все движется в одном направлении. Случаются такие выверты, что только диву даешься. Элементарная логика требовала, чтобы Михалаки головы не поворачивал в сторону квартиры соседа. Но если элементарная логика имеет власть в мире чисел, то в поведении человека она порой всего лишь пустой звук. С некоторого времени Михалаки зачастил в дом Недьо, даже видели его с букетом, причем несколько примятым — он прятал цветы под

пиджаком, потому что солидному математику и конструктору, видите ли, не пристало расхаживать по улицам с букетами.

Но я изменил своему правилу не рассказывать ни о чем наспех, в особенности при первой встрече.

Так уж получилось, ничего не поделаешь. Для наглядности нарисую наш дом, как говорится, в «поперечном разрезе», и на печальные стороны жизни буду взирать веселыми глазами, а на веселые — грустными. Так мне, по крайней мере, хотелось бы. Потому что грустное приходит и уходит, побежденное самой нашей жизнью, а к веселому надо относиться с осторожностью: порою оно как искусственный сироп — цвет у него красивый, рубиновый, а на самом деле — просто подкрашенная вода.

■

Возвращаясь от киоска домой, я просмотрел газеты. Перестрелки на берегах Суэцкого канала не стихают, в космосе летает новый советский «Космос», с порядковым номером 373, метеорологическая сводка обещает во второй половине дня облачность и дождь. Я взглянул на небо — его синеву словно бы припорошили, оно походило на немытое синее стекло.

Уже на лестнице я спохватился, что прошел мимо черешни, даже не взглянув на нее. Вот, сказал я себе, обвиняю композитора в снобистском равнодушии, а выходит, сам одного с ним поля ягода. Он даже может мне сказать: «Таковы все вы, приверженцы разных народных и традиционно-реалистических направлений — рисуете сцены из народного быта, пишете о народе, а в своей личной жизни ко всему народному поворачиваетесь спиной. Мы, модернисты, откровеннее вас — сочиняем космополитическую музыку, потому что дух современного человека космополитичен и при нынешнем высоком уровне информации иначе и быть не может...» Нечто подобное скажет композитор, который не очень-то расположен ко мне, как, впрочем, и я к нему. «Подожди, любезный»,— скажу я, и между нами начнется очередной, не знаю, какой уж по счету, довольно резкий спор...

Вернулся я в мастерскую, сел перед мольбертом и потянулся за палитрой — пора соскоблить засохшие краски, давно я не занимался этим. На палитре еще сохранилось серебро качелей, золото, что блестело в косах девочки. Я протянул руку, но вместо палитры снял с рамки мольберта кисет с трутом, огнивом и табаком — с тем, нарезанным, что подарили мне месяц назад в одном струмском селе,— набил трубку и закурил. Этот табак никто ничем не ароматизировал, запах у него был естественный, здоровый, мужской, он не размягчал душу, не располагал к лени и зевоте. Так я некоторое время сидел, попыхивая трубкой, потом взял палитру — вот черт, опять она осталась нечищеной! — аккуратно разложил краски, кисти и, делая вид, что не спешу, жадно принялся за работу.

К пяти часам вечера на полотне уже кое-что появилось. Была видна часть площади того села, где мне подарили табак. Перед еще недостроенным клубом красовалась цветущая черешня; возле черешни весело танцевали девушки, взявшись за руки, а за ними открывались необозримые луга, озаренные мягким светом улыбающегося весеннего солнца; немного в стороне от черешни, в правой половине картины, стояла, опираясь на палку, старуха, она никак не могла решить, на что смотреть и чему больше радоваться — огненному хоро девушек или зеленому ковру за ними, что лежал в фиолетовой дали.

Я внимательно оглядел картину, выкурил еще одну трубку, взял большую кисть и все покрыл нежно-зелеными и золотисто-желтыми пятнами, так что не осталось ни лугов, ни здания, ни старухи. Осталась

белая черешня. Она пела, а девушки, танцуя, подпевали ей. «Так лучше!» — сказал я себе и отбросил кисть. Прислушался — по стеклам стучал дождь.

Надев плащ, я вышел на улицу. Моросило — ни сильно, ни слабо, как раз по моему вкусу. Тот, кто будет судить о моем характере по цветовой гамме моих картин, непременно ошибется. На картинах у меня южное солнце, все ярко, все фракийское. А любимая мною погода — дождь, тихий дождь. Если выдался солнечный денек — мне не работается, как-то печально и скучно. А вот если небо нахмурилось — становится весело, сразу же охватывает жажда действий, чувствую себя так, словно выпил доброго вина. И работа спорится.

Тихую и ясную, солнечную погоду люди называют праздничной. Да ну ее к чертям, хотя во всех моих картинах последнего времени погода солнечная и очень ясная. Стоит взять кисть, как светлые, яркие и теплые краски словно бы сами просятся мне в руки и попадают на картину еще до того, как я решил, что же мне надо. Но если день сам полон таких красок, я мрачно курю трубку и лежу, повернувшись к окну спиной, или углубляюсь в чтение чьих-нибудь мемуаров или увлекательных исторических книг. В такие «праздничные» дни я, как суслик, прячусь в своей мастерской, бездельничаю. Омрачатся «праздники» — работаю. А начнет моросить — будь то весенний или осенний дождь, значение не имеет, время года меня не беспокоит,— не выдерживаю: надеваю старый плащ, старую широкополую шляпу и скорей на улицу. Маршал будет принимать парад войск, влюбленный встретится с любимой, жаждущий выпьет кружку холодного пива. Да здравствует плохая погода!

Выхожу на улицу и бреду, как говорится, куда глаза глядят: к парку, к центру или сажусь в какой-нибудь автобус и выхожу на последней остановке. У Дворца пионеров — когда-то здесь была семинария, или у Центральной тюрьмы — этот квартал остался таким же, каким я его помню с давних пор, или возле Крытого рынка, где всегда гудит спешащий люд, а на прилавках есть все, в чем нуждается обыкновенный, неприхотливый человек. Хожу, смотрю, припоминаю старые дома и улицы, которых давным-давно уже нет, любуюсь новыми, возникшими нежданно-негаданно, как в сказках — по мановению волшебной палочки.

Подойдя к парку и углубившись в центральную аллею, я расстегнул плащ и сдвинул шляпу назад. Какое блаженство бродить в дождливую погоду по этим аллеям: никто на тебя не глазеет, никто не толкает, не отвлекает внимание пустой болтовней и глупым смехом, гуляй себе на просторе, улыбайся, думай — редкое удовольствие! И всем этим ты обязан только плохой погоде, дождю. Большинство людей находит дождливую погоду неподходящей для прогулок: одни боятся насморка, другие берегут свои наряды, а третьим просто неприятно — дождь! Поэтому в дождливую погоду каждый спешит — на работу или домой, в театр или кино, а иные в пивнушку, но из ста человек едва ли найдется десяток бродящих по паркам и улицам без всякой цели, просто так, ради собственного удовольствия. И эти десять душ, дерзнувшие бродить,— счастливцы, потому что они никуда не спешат, не боятся куда-нибудь опоздать, могут спокойно наблюдать, созерцать, размышлять, если, конечно, склонны к размышлениям; пасмурная погода — облака, дождь, слякоть — этому очень помогает; не случайно мрачный и холодный север более богат философами и мыслителями, чем сверкающий юг!

Что касается меня, то я вспоминаю прошлое, но чаще всего ни о чем не думаю и ничему не удивляюсь. Просто радуюсь тихому дождю.

■

На этот раз я долго бродил по аллеям Охотничьего парка. Там было мрачно и глухо, только дождь шелестел в ветвях деревьев, пахло хвоей. Если бы не шум автобусов, который время от времени доносился со стороны Драгалевского шоссе, можно было подумать, что этот маленький лесной мир лежит бог знает как далеко от городской черты.

Возвращаясь домой, я сверил часы по Астрономической обсерватории. Это я делаю регулярно, хотя никогда не испытывал необходимости быть точным. Часы не играют особой роли в моей жизни, не говоря уже о минутах, но я всегда. вот уже около тридцати лет, сверяю время с хронометром обсерватории.

Через четверть часа я вышел к Орлиному мосту. На углу задержался у витрины гастронома. Коробочки с брынзой, разные сорта колбас и сала притягивали взор, я почувствовал волчий аппетит — ведь за целый день, увлеченный хоро вокруг черешни, выпил лишь кофе с печеньем, поэтому переступил порог магазина с намерением купить еды по меньшей мере на троих. Но, остановившись перед кассой, заплатил всего за двести пятьдесят граммов ветчины. Ни к чему швырять деньги на ветер.

Дождь шел не переставая, капли его стучали по стеклам, из камина веяло холодом. Одиночество и холод — плохое сочетание, они не располагают к веселью. Поэтому, развесив плащ для просушки, я подложил дровец в камин и быстро развел огонь. Вот, совсем другое дело, когда пламя шепчет и бормочет,— это жизнь и тепло, и стук дождя по окнам не так уж неприятен, вполне можно терпеть. Поздней осенью или зимой мне случалось проводить и более грустные вечера. Тогда я частенько звал в гости часовщика, поил его коньяком и рассказывал до полуночи что в голову взбредет, всякие глупости. Бывало — опять-таки в те ветреные и промозглые ночи,— что я вскакивал с постели, поспешно одевался и устремлялся на улицу, словно перед домом остановился и нетерпеливо гудел международный автобус, готовый отвезти меня прямо в Лувр. Торопись, чтобы не опоздать, прыгай через ступеньки, беги! На улице меня встречали ветер, слякоть, снег с дождем, а то и метель, но это все-таки было веселее, чем мой безлюдный холостяцкий дворец. И ничего, что автобуса не было! Я поглубже засовывал руки в карманы и шел куда-нибудь, чаще всего на окраину, где заводы, как дворцы Аладдина, блестят своими стеклами. На заводах работали, кипела жизнь, фонари на улицах разгоняли мрак. Подкатывали автобусы, привозили к утренней смене спешащих людей, светились огоньки сигарет, стучали каблуки, бодро звенели молодые голоса. Кто сказал, что ночи печальны? Ветер воет, а люди смеются, спешат. И никто не обращает внимания на ветер.

Вот какие выпадали ночи, а нынешний вечер был спокойным, не предвещал ничего особенного, шелест дождя наводил на мысль о книжке, в которой говорилось бы о давних событиях: прислушайся и припомни — прошлое не так уж весело, но и не так грустно.

Вроде бы у меня был волчий аппетит, однако половина ветчины осталась, и я бросил ее в камин. Жир шипел в огне, языки пламени окрасились в желтый цвет, а я, набивая трубку, раздумывал над тем, какую из книг снять с полки, как вдруг вспомнил о том листочке, что утром случайно выпал из кармана Юлии. Между трубкой, желтыми язычками пламени и этим листочком не было непосредственной связи, желание мое заняться увлекательным чтением также не имело ничего общего с листочком, но тем не менее я вспомнил о нем в результате неких таинственных «ассоциативных связей», как теперь принято говорить. «Cherchez la femme,— быть может, воскликнут снобы, запозда-

лые защитники устаревшего Фрейда.— Ты подсознательно думал о Юлии, ведь этот листочек выпал из кармана ее пальто!» — «Ах,— скажу я им,— глупые вы люди, о Юлии я думал приблизительно столько же, сколько вы о Магомете!» Я всегда злюсь, когда говорю со снобами. «Что касается подсознания,— скажу я им,— никакая Юлия и ничего похожего на нее не появлялось в нем, а вот старое мое пальто где-то в его тайных уголках мелькало, потому что мне было холодно и хотелось накинуть пальто на плечи, да и весна частенько напоминает мне о моем суставном ревматизме!»

Я набил трубку, накинул пальто, удобно уселся возле огня и достал из левого кармана смятую бумажку. Не ожидая никакого сюрприза, я медленно, без особого интереса, разворачивал листок, испытывая даже некоторую неловкость, потому что все это казалось мне похожим на подглядывание в чужое окно. Наконец, расправил бумажку и разгладил ее на колене — это был лотерейный билет.

■

«Старый лотерейный билет»,— подумал я и хотел уже бросить ненужную бумажку в огонь, но тут меня взяло сомнение: а если не старый? Лотереями я не интересовался, билеты не покупал, всегда презирал упование на случайность — откуда мне было знать, разыгрывались номера этого выпуска или нет. Правда, здравый смысл подсказывал, что билет, на который возлагают надежды, не комкают, как ненужную бумажку. Юлия, конечно, проверила свой билет, увидела, что выигрыш на него не пал, скомкала его — небольшая месть за утраченные иллюзии — и сунула в карман, чтобы при удобном случае выбросить. Воспитанные девушки не бросают бумажки где попало. Даже несчастливые лотерейные билеты.

Рассуждая таким образом, я вдруг вспомнил, что в сегодняшних газетах мне как будто попадалась таблица розыгрыша. Я был уверен, что этот билет ничего не выиграл, но тем не менее подошел к полке, взял одну из газет и взглянул на последнюю страницу; когда человеку нечего делать, он один, никого не ждет и ему надоело слушать шум дождя, можно заняться доказательством того, что дважды два действительно четыре. Я нашел то, что мне требовалось,— тираж относился к третьему выпуску лотереи, то есть к тому, который включал и мой, вернее — Юлин, билет. Так. у него серия «А». Я взглянул на пятизначное число, повторил его в уме и начал искать в тиражной таблице против буквы «А».

Вот это да! Если я скажу, что принялся щипать себя или тереть глаза, чтобы убедиться, не во сне ли мне привиделось, это будет старо и банально, а самое главное — неискренне, потому что человек, узнав потрясающе радостную для него новость, может вскочить, пуститься в пляс, завопить или сделать еще что-нибудь в этом роде, но никогда не будет тереть глаза и щипать себя. Все это я говорю к тому, что на билет выпал выигрыш — двухкомнатная квартира.

Убедившись в том, что серия и номер билета совпадают с серией и номером в тиражной таблице, я вдруг почувствовал, как в ушах зашумело, мне стало жарко, даже пришлось сбросить пальто. Потом я кинулся искать сигареты, которые уже много лет не курю, но всегда держу в письменном столе пачку-другую для гостей. Достав сигарету, я с жадностью затянулся. Значит, мой билет выиграл квартиру!

Я устроился на лавке и лежа выкурил сигарету. Это весьма вредно — курить лежа, но я был взволнован и о таких мелочах не думал. А волнение пришло от мысли, что было бы, если б слепой случай не вложил этот билет мне в руки. Могло случиться, что никто не обратил бы внимания на смятую бумажку и ее унесло ветром. Билет мог попасть

в руки какого-нибудь типа, который продал бы квартиру, пропил деньги или растратил их на женщин. Все могло случиться! Я представил себе, что бы произошло, попади билет моему приятелю — часовщику. «Был бы у меня просторный зал,— как-то поведал он мне свои мечты,— я бы во все четыре стены вбил по сто гвоздей и на каждый гвоздь повесил часы — одни бы кукарекали, другие заливались соловьем, третьи играли вальсы, четвертые трубили боевые марши, пятые били, как церковные колокола, шестые палили будто пушки. Я так отладил бы эти многоголосые диковины, чтобы они звучали хором! На смертном одре будешь лежать — и то вскочишь!..» Этот человек действительно мог превратить квартиру в приют для взбесившихся часов. Его комнату и так загромождали часы всех эпох, только солнечных не было. Там всегда что-то хрипело, шипело, трубило, чирикало и пищало, слышались менуэты и мазурки. Хорошо, что лотерейный билет не попал в его руки! Какая удача! Будь благословенна красавица черешня — ведь ради нее я вышел во двор!

Было около восьми. Я побрился, надел темно-синий костюм, повязал ярко-желтый галстук и спустился этажом ниже. Позвонил два раза. Вышла тетушка Катерина, мать Юлии.

— Юлия дома? — спросил я.

Тетушка Катерина с удивлением глянула на меня сквозь толстые стекла очков. По привычке — так как постоянно вязала — она держала руки согнутыми в локтях.

— Юлия? — Она явно ждала от меня другого вопроса. С какой стати меня интересует ее дочь? Мне бы скорее следовало интересоваться свитерами. Или, может, мне надо было к часовщику, а я по ошибке позвонил два раза.

— Да, Юлия,— повторил я.

— Ее нет,— произнесла женщина. Она не только не сожалела, но, наоборот, явно радовалась, что ее дочери в этот момент не было дома. Часовщик сказал как-то в шутку, что застал в моей мастерской обнаженную девушку — она курила сигарету, пила чай, а я рисовал ее в довольно безобразной позе. Тетушка Катерина не уловила шутки, приняла все за чистую монету и с тех пор стала относиться ко мне с откровенной неприязнью, смотрела на меня подозрительно — такому типу, зарабатывающему на хлеб с помощью разных бесстыжих девиц, не место в ее почтенном доме.

— А скоро придет? — спросил я.

Она пожала плечами и протянула руку, чтобы демонстративно захлопнуть дверь перед моим носом, но тут в прихожей показался Хрисим Бетлиев, великолепный мастер поющих часов.

— Анастасов! — радостно воскликнул он.— Я только что собирался на твой чердак, заходи, увидишь такое, что тебе и не снилось! — Порывисто говоря все это, он не особенно деликатно отстранил тетушку Катерину и широко распахнул дверь.— Я только что поставил на плитку кофейник, проходи!

Делать было нечего, я вошел — нельзя огорчать человека, к тому же, может, тем временем вернется Юлия. С торжеством взглянув на тетушку Катерину, чей подбородок дрожал от возмущения, я снисходительно улыбнулся ей — какая наседка не охраняет своих цыплят?— и зашел в комнату часовщика. Если бы она знала, что лежало в моем бумажнике, в бумажнике того, кто заставляет девушек раздеваться догола, наверняка встретила бы меня как святого.

Комната часовщика (как и другие комнаты в этом старом доме) была довольно просторная, потолок высокий, стены достаточно толстые, чтобы не слышать соседей; человек не чувствовал себя так, будто попал в спичечный коробок. Но это теоретически, а на деле поло-

жение было несколько иным, потому что комнату загромождали и вширь и ввысь самые удивительные часы, они заполняли столы и столики, были развешаны по стенам или на крюках, спускавшихся с потолка. Здесь были часы в стиле рококо из потрескавшегося фарфора, в стиле барокко из посиневшей бронзы, попадались лесные домики, выглядывали соловьи, чернели гири, струились цепи, лоснилась ветошь давно ушедших времен.

Мне кое-как удалось примоститься на краю койки: мастер сварил кофе, подал мне большую чашку, а себе налил в миниатюрную чашечку. Пили мы молча, потом он показал мне «чудо». Действительно, чудо! Вокруг пузатых часов вертелся металлический диск, под диском «поющий» механизм, задыхаясь, наигрывал «Дунайские волны», а наверху, в такт мелодии, покачивалась пара, одетая по моде конца девятнадцатого века. Обе куклы были сделаны из папье-маше, уже успевшего побелеть, у кавалера не хватало левой руки, у дамы вообще отсутствовала голова; судя по всему, костюмы меняли им бог знает сколько раз, бальное платье было сшито из прозрачного нейлонового лоскута, а сюртук кавалера напоминал туристическую куртку. Некоторые зубцы на цилиндрах выкрошились, поэтому «Дунайские волны» порой затихали, доносилось лишь беспомощное шипение — словно семидесятилетний тенор пел арию Каварадосси. Выглядело все это довольно грустно, а Хрисим только всплескивал руками и восхищался: «Превосходно, чудесно!» Даже предложил мне завести механизм еще раз.

— Слушай и смотри, сколько душа пожелает, это большая редкость!

Не знаю, что было более грустным — старые часы со сломанными куклами или эта его восторженная радость. Но все мое хорошее настроение сразу улетучилось.

— Да,— кивнул я и попытался улыбнуться, надо же было разделить радость человека.— Часы великолепные!

Помутневшие синие глаза Хрисима просветлели — далекое солнце показалось из-за облаков,— он положил мне руку на колено и откашлялся.

— Знаешь,— сказал он,— даже если мне предложат за них сто левов, я не продам!

— Ну, конечно,— согласился я. За этот мусор ему бы и десяти левов не дали, даром вряд ли бы взяли, но я произнес весьма категорически:— Какие сто левов, бай Хрисим, это ведь настоящая драгоценность!

При свете лилового абажура его лицо казалось восковым, синюшным, загробным, такой же вид имела и его комната. Он сидел неподвижно, уставившись на часы, словно еще слушал давно отзвучавшую музыку, потом внезапно наклонился к моему уху и таинственно прошептал:

— Хочешь, поведаю тебе об одной интимной подробности моей жизни?

— О! — вздрогнул я, испугавшись этой охоты исповедаться.— Что за подробность, бай Хрисим?

— Веселая,— сказал он.— На моей свадьбе играл граммофон марки «Колумбия», тогда ведь еще не было проигрывателей. Гости заводили разные пластинки, а кто-то возьми и поставь этот вальс — «Дунайские волны». Я пригласил на вальс свою жену — она была в свадебном белом платье, со свадебным венком на голове, и мы танцевали, пока вертелась пластинка, а потом я крикнул: «Еще!» И кто-то снова поставил пластинку, и мы снова танцевали. Помню, мне все казалось, что мы топчемся на одном месте, а комната вертится вокруг нас. С тех пор я запомнил этот вальс.

— Вальс что надо,— глупо изрек я.

Он глянул на меня из-под побелевших мохнатых бровей и пожал плечами. Со шкафа дважды фальцетом прокукарекал петух. С другой стороны раздался колокольный звон, прогремели два выстрела — словно лопнули воздушные шары.

— Бай Хрисим,— сказал я,— если бы ты выиграл по государственной лотерее квартиру, что бы ты сделал?

— Этого не может произойти, потому что я не покупаю билетов.

— Скажем, случайно найдешь счастливый билет. Что ты сделаешь с квартирой?

— Мне квартира не нужна, у меня есть.

— Ну,— я начал сердиться,— к примеру, спрашиваю. У тебя что, нет воображения?

Бай Хрисим нервно ответил:

— На этот счет у меня нет воображения! Я всю жизнь чинил часы, и мое воображение в них. О другом и не думал, если не считать нескольких лет, что прожил со своей женой. Эту квартиру я купил сразу после Девятого сентября, получил кое-какое наследство и купил ее, чтобы пожить как люди. Да не вышло, жена через год умерла, и из жизни, о которой я мечтал, ничего не получилось. Я продал мастерскую, поставил на могиле жены красивый памятник, а сам вступил в первый кооператив часовщиков — там трудился до пенсии и вот уже два года не работаю. Какие только часы я не чинил, а душа все насытиться не могла; если б руки не дрожали, до сих пор бы работал. Потому что молодые мастера, едва завидят старые часы, машут руками, им не хочется тратить время на старину, да и расчета нет — возни много, а оплата пустячная. Им и дела нет, что люди любят старые часы, сохраняют их как память о прекрасном прошлом — например, вспоминают, как смотрели на них, уходя на первое свидание. В нашей мастерской не принимали в починку старые часы, но я не отказывал клиентам, я чинил эти часы после работы и почти бесплатно. А ты мне говоришь о какой-то квартире! Зачем она мне? Но если уж хочешь все знать, вот что тебе скажу.

Если бы я выиграл квартиру по лотерее, сразу бы продал ее, взял деньги и поехал в родное село. И поставил бы на площади башню, а на самом ее верху — большие часы. Раньше люди на селе не очень-то интересовались временем, потому что все их время было заполнено одной заботой — о хлебе насущном. Сейчас такой заботы не существует, оканчивается рабочий день — и часы бьют. «Бом, бом! — разносится по селу из края в край.— Пожалуйте, хозяин, в кино, в библиотеку, в новый ресторан, что светится огнями, как дворец, в универмаг — туда привезли такие товары, что голова кругом идет! Бом, бом, пожалуйте!» Мои часы будут приглашать людей на щедрую трапезу, циферблат будет улыбаться, как молодуха, которая в праздничный день встречает дорогих гостей. «Бом, бом, пожалуйте, добрые люди, веселитесь, радуйтесь жизни!..» — Хрисим покрутил тронутые сединой усы и некоторое время, улыбаясь, смотрел перед собой.— Если ты мне предложишь квартиру, я превращу ее в часы с боем. В противном случае она мне и не нужна. Зачем она мне?

Так говорил Хрисим, а я его слушал и про себя улыбался: «Какая наивность! Надумал построить башню с часами на площади в своем селе! Только ведь такие дела не делаются по чьей-то прихоти, существуют планы по благоустройству. Может, как раз на том месте, где Хрисим хочет воздвигнуть башню, окружной совет уже решил поставить колонку — современную, с корытцем и никелированным краном. Так что хорошо, сказал я себе, что лотерейный билет не попался ему на глаза». Я поблагодарил его за кофе. Мне было немножко стыдно,

что я не оценил исторический часовой музей. Хрисим собирает старые часы, чинит их, радуется им, но мечтает построить в честь новой жизни башню с часами, которые будут весело бить, с циферблатом, улыбающимся, как молодуха, которая в праздничный день ждет дорогих гостей. «Бом-бом, пожалуйте, добрые люди...»

Кто мог предполагать, что в грустном и притихшем мире мастера Хрисима, под этим саваном безжизненного лилового света, гнездятся такие жизнерадостные замыслы!

■

Выйдя на площадку, я принялся медленно набивать трубку табаком — выигрывал время и обдумывал дальнейший план действий. Билет принадлежал не мне, а Юлии, и я должен ей его передать, но в особой обстановке, ведь в конце концов речь шла не о каком-нибудь чайном сервизе, а о квартире. Но дело усложнялось тем, что Юлия все не возвращалась и, кроме того — какое дьявольское чувство,— билет, лежавший в моем бумажнике, словно бы источал жар, который доходил до сердца, просто физически меня мучил — не билет, а факел. Нажав на кнопку лестничного освещения, я собрался было зажечь трубку, как слышу — снизу поднимается человек. Поднимается с трудом, совсем не похоже на Юлию. Я даже обрадовался, что это не Юлия, а радоваться-то было нечему, потому что, будь это она, я бы передал ей билет и факел постепенно бы угас. Но как бы там ни было, я положил спички в карман и улыбнулся — навстречу мне поднимался мой добрый приятель Борис Паскалев, профессор микробиологии, который жил, как уже упоминалось, на втором этаже, в квартире по левую руку.

Хотя это, как говорят французы, и maladroit [1], я хочу в отличие от маститых писателей, постепенно и подробно описывающих внешний облик своих героев, представить вам его сразу, еще здесь, на лестничной площадке, пока на ней не погас свет. Этот неутомимый исследователь мельчайших живых организмов — крупный мужчина, ростом сто девяносто сантиметров, и притом весьма упитанный. Лицо у него добродушное, щеки пухлые, голубые глаза смотрят ласково и как-то печально; он стеснителен и неловок, руки его напоминают корявые лопаты, они словно понимают, что неуклюжи, и не знают, куда деться. Он подобен великану, который, получив приказ перенести гору, не на шутку встревожился: «Хорошо, я легко перенесу ее, это для меня пустяк, но вдруг, когда я ее понесу, какой-нибудь неоперившийся птенец выпадет из гнезда — ведь он расшибется?» И чтобы уберечь птенца, великан осторожно вскинул гору на плечи, следя за тем, чтобы кроны деревьев не качались. А вообще-то Борис Паскалев талантливый ученый, ему принадлежит ряд открытий и книг, о которых говорят во многих странах. Но едва зайдет речь о его успехах в науке, он опускает глаза, морщится и сопит. Сила Паскалева в вирусах, и все его успехи относятся к ним, но, как и каждому смертному, ему свойственно заблуждаться — он считает себя великим врачом. Докторской практики у него не было и нет, единственным его пациентом, которого два года назад он вылечил от ларингита, был сын привратника. Незначительный случай, о котором и вспоминать нечего, но у моего профессора вошло в привычку повторять: «Эту вакцину я открыл до того ларингита... эта статья написана через два месяца после того, как я вылечил мальчика» — и так далее, все в том же духе. Тут нечему удивляться, в своей жизни я написал, между прочим, несколько хороших картин, две из них в Национальной галерее, но самое большое удов-

[1] Неловко, невпопад (*франц.*).

летворение испытал, починив электрический утюг. Полагаю, что если б я посвятил себя точным наукам, из меня несомненно вышел бы способный инженер-электрик.

Примечание автора

Здесь мой художник совершенно прав. Я сужу по себе. Бывает, например, что сломается мельничка для размола черного перца — трет зерна, но не мелет. Я принимаюсь за ее починку, а жена говорит: «Оставь, это работа не для тебя!» Я тем не менее упорствую, но, как всегда в таких случаях, ничего у меня не выходит, мельничка по-прежнему трет зерна, а не мелет. Жена берет мельничку из моих рук, снисходительно улыбается: «Что могут сделать руки, умеющие держать только карандаш!..» — и за одну-две минуты все исправляет, мельничка начинает превращать зерна в порошок. Все мои технические опыты сопровождает это обидное мнение о возможностях моих рук. И когда я чиню пробки, и когда вбиваю гвоздь в стену, чтобы повесить картину, и когда пытаюсь вникнуть в сложные тайны замка в шкафу, который не желает отпираться.

Но однажды мне повезло — я починил лампу! Жены не было дома, никто мне не мешал, все свое внимание я сосредоточил на работе, и в конце концов мои усилия увенчались успехом: настольная лампа засветилась, словно ничего и не произошло. Вряд ли вы сможете представить, какое торжество охватило меня. Вернувшуюся жену я встретил так, как, вероятно, Наполеон встретил своего дьявола Фуше после блестящей победы под Аустерлицем.

Спустя некоторое время сломалась наша швейная машина.

— Ничего,— сказал я жене,— я ее починю.

Она на меня как-то особенно взглянула. В ее глазах читалось и удивление, и недоверие, и очень меня зливший кроткий упрек. Машина у нас электрическая, сложная, выполняет уж не знаю сколько операций, но ведь у меня уже был опыт ремонта электроприборов! Поэтому я довольно резко сказал жене:

— Ты разве не помнишь, что я починил лампу?..

Мой художник прав. Если он может гордиться своим утюгом, я — лампой, почему бы профессору не гордиться тем, что он вылечил мальчика?

■

Стоя на лестничной площадке, я сделал вид, будто целиком поглощен своей трубкой. В противном случае перед этой недвусмысленно запертой дверью Юлии я походил бы на коня у пустых яслей. Был бы я еще молодым конем — куда ни шло, ведь молодые могут позволить себе всякие глупости, и это выглядит забавно, но на старости лет приходится следить за собой, чтобы не оказаться в смешном положении. Вот почему я весьма усердно занялся трубкой, выжидая, пока профессор обратится ко мне.

— Добрый вечер! — улыбнувшись, кивнул он. В этот момент погас свет, и у меня перед глазами осталась только его улыбка, немножко грустная, как всегда смущенная, словно он в чем-то виноват.

— Рад тебе, дружище,— сказал я, снова нажимая на кнопку. Мы давно с ним подружились и перешли на «ты».—Куда направляешься?— спросил я, хотя виноватая улыбка ясно указывала на то, что направлялся он в мою мансарду.

— Я думал, что ты дома,— сказал профессор.

— А я дома. Только спустился к бай Хрисиму проверить часы и вот возвращаюсь. Прошу!

— Мне бы не хотелось тебя задерживать,— он покачал головой.— Суббота, может, ты собрался куда-нибудь.

— Глупости!— сказал я.— Куда я, к черту, могу деться?

— Но ты в вечернем костюме.

— Это я был на официальной встрече,— солгал я.

Он помолчал.

— Ну, если я тебе действительно не помешаю... Я ненадолго, всего на несколько минут. Ты правда никуда не собирался?

Я покачал головой.

Он сказал, что не будет мне надоедать, что, в сущности, намеревается лишь попросить немного кофе, ведь у меня всегда найдется настоящий, чистый кофе, вот он и хотел одолжить граммов сто, в понедельник обязательно вернет; нынче ему придется работать допоздна, а чувствует он себя несколько усталым, так что без тонизирующего действия одной-двух чашечек кофе работать будет трудно.

После всех его извинений и предисловий (за это время электричество гасло дважды) мы молча поднялись в мою мансарду. Там я усадил гостя перед камином, подбросил поленьев и занялся приготовлением кофе. Борис, обычно разговорчивый, опустившись в кресло, тут же умолк. Он сидел притихший, пристально смотрел на огонь, но казалось, думал о чем-то постороннем. Ко мне он заглядывал часто, и я видел его в разном настроении: и веселом и подавленном. Иногда от усталости он просто падал в кресло. В этот вечер он походил на больного. Руки висели как плети, голова опустилась на грудь, на плечи словно давил какой-то груз. Когда гигант попадает в нокдаун, картина на ринге бывает очень грустной. Я спросил его:

— Уж не болен ли ты?

Он покачал головой. Слегка поседевшая прядь упала на его высокий лоб, но он даже руки не поднял, чтобы поправить волосы.

Я подал ему полную чашку кофе, он жадно выпил ее и немного оживился.

— Сколько раз просил жену,— он горько усмехнулся и махнул рукой,— сколько раз я ее просил спрятать подальше пакетик кофе, чтобы был неприкосновенный запас для такого вот случая, как сегодня, когда мне придется работать всю ночь.— Он опять махнул рукой.— Вот и нынче сказал ей об этом, а она рассердилась: «Я всю жизнь потакала твоим капризам, надоело!» А почему всю жизнь? Мы живем вместе только семь лет. Семь лет — разве это вся жизнь? Разумеется, я ей не возразил, только мое молчание всегда раздражает ее еще больше. «Молчишь как мученик, строишь из себя страдальца!» Я ей говорю, что ничего подобного и не думал, зачем мне изображать из себя страдальца. Тогда она придирается к моей улыбке: «Улыбаешься как Христос на кресте: боже, прости им, не ведают, что творят!.. Неужели ты не понимаешь, до чего противна эта улыбка морального превосходства?!» Ну что ей на это сказать, я ведь и не думаю ни о каком моральном превосходстве, даже в голову не приходит! Но раз она не может переносить мою улыбку, я отворачиваюсь, чтоб лица не было видно. Отправляюсь в кабинет, она хлопает дверями, бегает по комнатам, словно за ней кто-то гонится, и в конце концов уходит из дома. Я не сержусь на нее, зачем? В конце концов, она не обязана целый день

торчать у моих пробирок и смотреть, как я склоняюсь к микроскопу, слушать мои рассуждения о том, что вирус «А» похож на прутик, а вирус «Б» на спираль и что «А» подвижен, а «Б» ленив. В свои тридцать лет она вправе негодовать и требовать иного, наука ее не интересует. Тут наши пути расходятся, и я бы презирал себя, если бы стал навязывать ей свой образ жизни. Пусть живет, как ей хочется; когда она весела после прогулки, и мне становится весело. Но почему все-таки она не может припрятать пакетик кофе? Неужели это так трудно? И почему при малейшем моем замечании заявляет, что терпеть меня не может? Могла бы этого и не говорить.

Он вытер ладонью лоб, покрытый испариной. Я был более чем уверен, что дела у них на лад не пойдут, но не мог найти в себе сил открыто сказать ему об этом. Жена Бориса на двадцать лет моложе его, она весьма легкомысленна, избалована и деспотична. Вокруг нее всегда созвездие поклонников, преимущественно из артистической богемы, но был ли кто-либо из этих типов ее любовником — трудно сказать, даже тетушка Катерина и самые злостные сплетники не могли утверждать ничего определенного. А богема, составлявшая ее свиту, не была случайной, она сама принадлежала к артистическому миру, окончила режиссерский факультет ВИТИСа, и порой ее приглашали ставить пьесы в «Театре-209».

Она была честолюбива, а он смотрел на это с добродушной улыбкой — пусть позабавится! Он был согласен на все: и признавать талант Ольги, и надуманные сценические решения называть остроумными, только бы иметь покой, только бы она была довольна и дома царил мир. Но этого-то и не получалось, потому что Ольга требовала сопричастия, настаивала на том, чтобы он увлекался ее «новаторскими» экспериментами, а как он мог это делать, когда вообще был чужд театральному искусству, а ее новаторские планы и в грош не ставил. В глубине души он признавал только одну драматургию — классическую, хорошо знал один мир — вирусов и только один источник вдохновения — чудодейственную вакцину против гриппа.

Так или иначе, к ее легкомысленным претензиям он относился великодушно и терпеливо и, хотя не разделял их, даже пальцем не шевелил, чтобы ей помешать. Она могла по полдня не появляться дома, возвращаться поздно — он встречал ее всегда ласково, кротко, не приставал с расспросами, только осведомлялся о здоровье, удовлетворенно покачивал головой — все-таки она вернулась — и снова отправлялся к своим пробиркам. Сначала его благодушие баловало ее, а потом, неизвестно почему, стало озлоблять. Равнодушие, с которым она первое время относилась к его научной работе, перешло в неприязнь. Она называла вирусологию грязной наукой, морщила нос, когда он прикасался к ней, твердила, что от него пахнет отварами и вакцинами, а на третий год совместной жизни посоветовала перебраться в кабинет. Он купил кушетку, одеяло и постепенно восстановил свои холостяцкие привычки.

У них не было детей, но он боялся заговорить об этом. Старался со всем примириться. И поэтому со стороны казалось, что их жизнь протекает гладко. Она ставила пьесы, он искал вакцины. Она созывала полон дом гостей, он приготовлял свои отвары в кабинете и затыкал уши ватой — гости поднимали адский шум. Правда, иногда он не выдерживал и потихоньку выскальзывал на улицу или пробирался ко мне в мансарду, и я принимал его как дорогого гостя.

В последнее время все чаще и чаще стали набегать тучи. Если Ольга возвращалась поздно, он не делал ей замечаний, потому что знал — театр это нечто вроде мельницы, поглощающей время; он хватался за иллюзии, как за спасательный круг. Замечания делал, да еще

трагическим голосом, когда, к примеру, обнаружит, что баночка из-под кофе пуста. Тут уж никакие иллюзии не помогали. Как будто пустая банка неожиданно открывала ему с жестокой ясностью, что в этом доме он и вправду лишний. Человек, который не заслуживает ни малейшего внимания, даже чашечки кофе. Он начинал кротко, но с горькой улыбкой упрекать жену: «Ну, хорошо, может быть, я в этом доме ничто и для тебя только тень, но ведь моя работа полезна? Если ты меня в грош не ставишь, то по крайней мере должна ценить мою работу!» А жена его, то ли оттого, что не привыкла к упрекам, то ли его кроткий голос стегал ее больнее кнута, взрывалась, теряла контроль над собой. Запальчиво кричала она, что профессия его скучна до смерти, что микробиология — наука для людей с микродушами и что улыбка его противна, он относится к жене и к другим людям как милосердный самаритянин, а в его милосердии, слава богу, никто не нуждается.

Вот так обстояли у них дела.

Он долго сидел, пристально глядя на огонь, потом обернулся, и губы его скривились в страдальческой улыбке.

— Ты меня не слушай,— сказал он,— мне сегодня не по себе. Потому и болтаю глупости о жене. Не обращай внимания, ничего особенного не случилось.

— Так я и думал,— сказал я,— да и что может случиться!

— То, что я наговорил ей, это из-за укола,— продолжал профессор.— Я боялся, как бы не произошло чего-нибудь в этом роде, и вот на тебе!

— Какого укола? — спросил я, подавая ему рюмку коньяку.

Он покачал головой, невесело улыбнулся и поставил рюмку на пол.

— Мне нельзя пить,— сказал он.— Два часа назад я ввел себе в кровь инфекцию гриппа. Я провожу эксперимент с одной вакциной и решил испытать ее действие на себе.

— Но зачем ты это сделал? — удивился я.— Разве уже нет мышей, морских свинок, кроликов?

— Это будет долго, да и результаты относительны. А на человеке проще и удобнее. И всего вернее. Ведь времени терять нельзя! В этом году, в начале зимы, ожидается из Азии очень неприятный грипп. Особенно он опасен для людей с ослабленным организмом и поражением сердечно-сосудистой системы. Возможны двусторонние воспаления легких и токсические менингиты, инфаркты, параличи...

— И этот-то грипп ты ввел себе? — воскликнул я. Мне тут же захотелось отодвинуться подальше — ведь у него изо рта вылетали смертоносные бациллы! Но мне стало стыдно, и я не сдвинулся с места.

— Я заразился так называемым «С-перевоплощением» вирусов, которые вызывают грипп типа «Б». Тот грипп, что мы сейчас ожидаем, относится к типу «Б», но в этой группе столько различных видов, столько разных перевоплощений уже знакомых нам вирусов да плюс еще неоткрытые, так что...

— Господи,— прервал я его,— неужели ты решил испытать всю эту гадость на себе?

— Всю — нет, это невозможно! — снисходительно засмеялся профессор.— Даже при самом большом желании невозможно! Но некоторые я должен испытать во что бы то ни стало. Введу их себе в кровь, а потом буду искать эффективные средства для их уничтожения. Это самый верный и самый испытанный способ. Ты спросишь — почему? Потому что у вирусов будет отличная среда — кровь человека. Потому что я — экспериментатор — смогу непосредственно наблюдать за различными фазами войны, которая ведется во мне самом между вирусами и естественными защитными силами моего организма, за той по-

мощью, которую я оказываю этим силам извне в форме различных вакцин, сывороток и так далее. Вот я и впустил армию злодеев в свою кровь, и эти негодяи бросились грабить и бесчинствовать, но против них вышло войско защитников, и в этот момент идет ожесточенный бой. Я чувствую, что у меня повышенная температура, а это означает, что боевые действия в разгаре. Так и должно быть. Но дело еще и в том, что вследствие, так сказать, военных действий моя нервная система напряжена, а в таких ситуациях человек может болтать разные глупости и из-за какого-то там кофе устраивать недостойные сцены. Сейчас-то я об этом сожалею, но что толку!

Он махнул рукой и замолчал.

— Гм! — произнес я.— Но не можешь ли ты подзатянуть уздечку своей жене, не считаешь ли, что очень ее разбаловал? Чтобы люди не валились, как перезревшие груши, от разных там гриппов, человек уже в годах жертвует собственным здоровьем, обрекает себя на муки, превращается в подопытного кролика, а она, лентяйка, не может приготовить ему кофе! Ты должен поставить ее на место.

Он с изумлением смотрел на меня, в глазах его была неуверенность — шучу я или говорю серьезно?

— Что же, по-твоему, я должен делать? — тихо спросил он.

— Заставь ее подавать домашние туфли, когда возвращаешься домой, ходить на цыпочках мимо твоего кабинета и каждый час спрашивать, не нужно ли тебе чего-нибудь. С этого надо начинать!

Я был очень зол, и мне не приходило в голову, что, например, должна делать жена, когда ее муж натолкал себе бациллы в кровь для того, чтобы другие оставались здоровыми и веселыми.

— Это несерьезно,— сказал профессор.— Как это я заставлю ее подавать мне туфли? Ведь и она человек, и у нее есть достоинство. И почему это я должен требовать, чтобы она подавала мне туфли, когда сам могу их взять?

Я ничего не ответил. Пожал плечами и занялся камином. Мы помолчали, потом профессор, словно о чем-то вспомнив, собрался уходить.

— Посиди еще! — пытался я его удержать.— Что ты будешь делать один, в своей конуре отшельника?

— Я забыл кофейник на плитке, вода уже, наверно, выкипела.

— Жена, может, выключила плитку,— попробовал я его успокоить.

— Как это выключила? — удивился профессор.— Она же собиралась уходить, когда я направился к тебе. Надевала перчатки.

У двери он кивнул мне:

— Спокойной ночи.

■

Я вышел вслед за ним, воинственно настроенный против его жены-лентяйки. Попадись она мне на лестнице, я бы ей такого наговорил...

Неподалеку от нас есть кафе, там я собирался переждать дождь, а может, и сделать какой-нибудь набросок. Но спустившись вниз, услышал шум, доносившийся из салона, мне даже показалось, что среди других голосов звенит голосок Юлии. Я вошел в салон и, хотя она сидела в дальнем углу, сразу ее заметил. Ее окружало несколько молодых людей, в их числе кудрявый композитор. Какой ужасный вкус у этого человека — на нем был зеленый пиджак и серые брюки! Я небрежно кивнул Юлии и направился к бару. Времени у меня достаточно, билет никуда не денется.

Привратник, выступавший сейчас в роли буфетчика, тут же налил мне рюмку. Он меня очень уважал — ведь я был другом Бориса Паска-

лева, который два года назад вылечил его сынишку от острого ларингита. Я одним духом выпил водку, чем его весьма поразил, а когда попросил еще рюмку, в его водянисто-синеватых глазах промелькнули недоумение и страх: как знать, что со мной случилось, коли я ударился в разгул. Я успокаивающе подмигнул ему — дескать, занимайся своими делами — и великодушно отстранил сдачу с двух левов.

Около стойки на высоких круглых табуретах сидели знакомые и незнакомые мне люди. После второй рюмки я внимательно огляделся и заметил толстенького Недьо Недева, ответственного работника министерства внешней торговли. Его ноги, не доставая до пола, висели по обе стороны табурета, но вообще-то он выглядел очень солидно, даже золотая булавка блестела у него на синем шелковом галстуке. Он крутил вокруг пальца изящную серебряную цепочку и внимательно слушал собеседника, а им был не кто иной, как сам директор Института эпидемиологии профессор Филип Максимов, начальник и сосед моего друга Бориса.

Филип Максимов — небольшого роста, но хорошо сложен, все в нем выглядело строго, я бы даже сказал, чересчур строго и начальнически: и официальный темный костюм, и властное замкнутое лицо, и серые холодные глаза, которые время от времени вспыхивали, будто кусочки стали, и слегка посеребренные, гладко зачесанные волосы. У Бориса Паскалева были руки мясника, а у Филипа — руки тонкие, чувствительные и нервные, как у пианиста и скрипача. А вот губы у него — почти незаметные, сжатые — будто не умели улыбаться, будто никогда не произносили мягких и ласковых слов. Одним словом, на вид это был суровый и педантичный человек.

Встретившись со мной взглядом, Недьо Недев поднял руку с цепочкой и кивнул мне. Глаза его смотрели с привычной благосклонностью, но в этот миг казались рассеянными, его внимание было разделено: он слушал профессора, наблюдал за своей дочерью Веселкой, которая разговаривала у окна со специалистом по электронно-вычислительным машинам Михалаки Ставревым, и в то же время ждал кого-то — этот кто-то должен был, видимо, появиться в дверях. Я стал четвертым объектом внимания Недьо Недева, и то, что он все-таки сумел меня заметить и кивнул, бесспорно, доказывало его умение справляться сразу с несколькими задачами. Во время своей последней командировки в Италию, например, он вел долгие и трудные переговоры с представителями различных монополий и крупных торговых фирм — дело касалось импорта товаров на миллионы валютных левов — и в конце концов заключил выгодный для нашей страны договор, а наряду с этим успел купить новую, никелированную, очень удобную батарею для своей ванной.

Я отодвинул рюмку и занялся своей трубкой. Около меня шел оживленный разговор. Юри, брат композитора (он оканчивал в этом году филологический факультет) увлеченно спорил с двумя молодыми людьми, должно быть, однокурсниками. Он говорил, что четвертая скорость «москвича» только осложняет дело, один из парней, тот, что пониже, с ним не соглашался и хвалил машины с пятью скоростями, а его товарищ, дылда с желтоватым, нездоровым лицом, твердил, что все эти скорости — средневековье, что самые современные автомобили управляются одной лишь педалью газа.

— Но, Сашо, если такая машина забуксует где-нибудь на снегу или в грязи — конец! — горячился Юри.

— Верно! — воскликнул низенький. И чтобы показать, насколько Юри прав, он согнулся, протянул руки к воображаемому рулю и затряс плечами:— Нажимаешь на педаль... колеса у тебя фиу-у-у!.. Фиу-у-у!.. Все трясется, гремит, брызги летят... Еще немного! — Он оставил

руль, снял ноги с педали и, сокрушенный напрасными усилиями, в отчаянии добавил: — А машина стоит на месте и ни на сантиметр не продвигается вперед!

— В этом отношении «джипы» — короли,— восторженно говорил Юри.— Хороши! Едешь на первой передаче со скоростью пять километров в час. А вы знаете, что это значит? Все равно что запрячь пять пар волов. Я готов ехать в «джипе» хоть на край света!

— Дикость! — презрительно пожал плечами Дылда.— Как это машина забуксует на асфальтированном шоссе! И что за деревенский вкус — «джип»! Вот ты мне дай «ситроен» и попробуй догнать!

Низенький выпалил:

— «Ситроен» ничто перед «мерседесом»!

— Ха!— Дылда чуть не подавился.— Что ты сказал?

— Оба вы профаны! — грустно заметил Юри и вздохнул.— Самая лучшая машина в мире — «пежо».

Я залпом выпил то, что оставалось в рюмке, и направился в другой конец салона. Но не успел дойти до столика с газетами — кто-то по-свойски положил мне руку на плечо. Это был Михалаки.

— Будь нашим арбитром,— сказал он и повел к своей даме. Курносое личико Веселки напоминало какую-то птицу, но какую именно, я не мог вспомнить. В ее огромных карих глазах светилось больше ума, чем тепла. А вот у Юлии больше сердца, чем ума.

Веселка протянула мне тоненькую руку, приветливо улыбнулась. И немедля сработала одна из клавишей в машине времени — я вернулся более чем на три десятилетия назад, вновь увидел свою учительницу по математике, худенькую и красивую, улыбавшуюся вот так же приветливо, когда я погибал в трясине уравнений. Она улыбалась и ставила мне двойку с плюсом. Никогда она не оценивала моих знаний просто на двойку.

— Я ей доказываю,— начал объяснять Михалаки,— преимущества специального устройства для программирования полеводства по отраслям для всей страны, а она...

— Ты априорно навязываешь различным районам постоянные виды культур,— прервала его Веселка.— Превращаешь страну в специализированный завод, а округа — в цеха. Я же хочу, чтобы заводом был каждый округ, а цехами — отдельные районы.

После автомобильных тропиков я попал в арктическую зону математического программирования.

— Двойка с плюсом,— произнес я, пожав плечами.

Они с удивлением посмотрели на меня.

— Это он нам обоим ставит неуд,— предположил Михалаки.

Они рассмеялись. Что я понимаю в математике, чтобы ставить оценки!

— На дворе чудесный дождь,— заметил я. Они уныло покачали головами.— Ладно, продолжайте,— сказал я.— Пойду просмотрю газеты, а потом мы опять потолкуем о программировании.— И я направился к столику с газетами.

Пусть продолжают интересный разговор, мне не надо вмешиваться. Как хорошо, что я вовремя сбежал от автолюбителей. Если б меня спросили, какая машина лучше — «мерседес» или «пежо», что бы я им сказал? Признался, что мне нравится коляска? Подумают еще, что над ними издеваются.

Раньше, в детстве, я очень любил ездить на телеге, запряженной волами. Вытянешься на ней и глядишь в синеву. Или, если дело к ночи, смотришь, как месяц появляется из-за косматых горбов гор, а вверху звезды блещут, словно россыпь золотых монет. А ведь эти почитатели

«мерседесов» и «пежо» даже и не поднимали никогда глаз к небу. Зачем оно им?

Погруженный в эти мысли, я незаметно для себя очутился перед Юлией и ее композитором. Как знать, то ли я хотел заговорить с ней просто так, то ли искал подходящей обстановки, чтобы передать лотерейный билет, но только без этого лохматого додекафониста.

— О, маэстро! Прошу, очень приятно! — Лозан Сюлемов тут же встал, чтобы найти для меня стул. Усадив меня между собой и Юлией, он улыбнулся, словно действительно рад был моему внезапному появлению. Я же не сомневался в его притворстве. И что ему радоваться — в отношении к искусству мы с ним занимали противоположные позиции. Я — сторонник образа, мелодии, он называет это «ветошью».

Я украдкой взглянул на Юлию, она казалась рассеянной. Ведь она и подумать, разумеется, не могла о таком чуде, что через несколько минут сможет положить в сумочку целую квартиру. В белой блузке, с белым блестящим бантом на груди, с девичьими, еще угловатыми плечами, чистая и светлая, она походила на расцветшую черешню. Я смотрю на нее и думаю, волнуясь: как прекрасна весна, и становится мне грустно.

Композитор — что этот додекафонист понимает в чувствах? — начал первым.

— Погляди-ка на нашего маэстро,— сказал он, обращаясь к Юлии,— ведь он потонул в романтических грезах, словно юноша старых времен. Вроде бы смотрит на тебя, а грезит Гретхен и Офелиями. Или разными там Викториями из романов Гамсуна. Я читал один его роман — это любимый писатель моей матери — и очень смеялся. А когда она спросила: «Тебе нравится?»— я ответил: «Ужасно!» Книга скучнейшая, в ней рассказывается о романтической любви какой-то полоумной девицы.

Мне показалось, что вообще-то он так не думает, а нарочно болтает глупости, чтобы позлить меня. Я спросил:

— А откуда ты знаешь юношей старых времен, чтобы сравнивать меня с ними?

Он засмеялся.

— Из книг! Раньше, когда мне нечем было убить время, я читал книги. Дюжину целую прочел.

— Плохо читал,— сказал я.— Или книги были плохие. Но все равно ты получил какое-то представление, ошибочное или правдивое, о людях того времени. А какое представление о нашем брате получат будущие поколения, если обратятся, например, к твоим музыкальным опусам?

— Они будут обращаться к моим музыкальным опусам так же, как я обращаюсь к цилиндру и жакету питекантропа.— Он выпустил колечко сигаретного дыма и насмешливо взглянул на меня.

Я пожал плечами — что еще оставалось после такой жестокой, но справедливой самокритики?

— Начинал ты отлично,— сказал я,— но додекафония тебя сбила с толку.

Я заметил, что по лицу Юлии пробежала тень и она слегка притопнула ногой.

— Маэстро,— заявил Лозан,— сегодня у меня нет настроения вести серьезные разговоры. Мне хочется шутить, а чтобы покончить с серьезными темами, позволю себе сделать маленькое дополнение к твоим словам. Ты сказал, что я начал отлично, но додекафония сбила меня с толку. Что поделать! Одни хорошо начинают и плохо кончают, а другие всю жизнь живут плохо, даже не начав хорошо.

Это явно был камень в мой огород. С тех пор как Лозан стал заклятым врагом мелодии и объявил себя «модерным», он не упускал

случая посмеяться надо мной, обозвать мое искусство «ветхозаветным», а меня самого «пережитком истории». И нынче, разозлившись, что я сказал ему правду, он цинично намекнул, что я всего-навсего неудавшийся художник и с самого начала рисовал плохо. Ну, сказал я себе, я в долгу не останусь, и, стараясь казаться очень спокойным, заметил, что мнение сбившегося с правильного пути меня интересовать не может.

— Вот,— сказал я,— и Штраус сочинял танцевальную музыку, и ты в последнее время сочиняешь ее, но мелодии Штрауса живы, их играют и поют, а твои блюзы и разные там шейки отдают богу душу через несколько месяцев после появления на белый свет. Почему так получается, как ты думаешь?

— Потому что Штраус был талантливым композитором, а я обычный сочинитель.— Он положил мне руку на плечо и улыбнулся.— Продолжай в том же духе, маэстро, только еще злее и смелее. Юлия любит громкие слова и с удовольствием послушает тебя, а я отлучусь на минутку,— он повернулся к Юлии:— Ты что будешь пить — виски или коньяк?

— Мне все равно,— покачала головой Юлия.

Когда он отошел, Юлия посмотрела на меня взглядом, в котором вряд ли можно было прочитать восторг.

— Знаете,— голос ее звучал холодно и официально,— некоторые его композиции включены в постоянный репертуар радио. А в прошлом году *его* произведение получило вторую премию на международном конкурсе в Варне.

В тот миг она меня ненавидела, в этом я убежден,— ведь я огорчил ее возлюбленного. Эх, черешенка, черешенка, и почему вы, легкомысленные, так склонны принимать медь за золото, а медный грош — за золотую монету? Ведь вроде бы живете вы в такое время, когда, по мнению некоторых вдохновенных сторонников «рацио», чувства отмирают и уступают место холодному рассудку. Почему же и в нынешнее удивительное время электроники и математического прогнозирования ваши сердечки так часто ошибаются? Твой возлюбленный представляется тебе благородным творцом, новатором, открывателем новых истин в искусстве, а он сноб, даже более того — сноб-добытчик: чтобы прослыть «современным», он пошел по пути атональности, хотя поначалу его явно влекло в мир мелодии, а чтобы получить побольше денег, стал писать для эстрады, на это сейчас спрос — люди с бóльшим аппетитом едят кебапчета, когда джаз наигрывает им что-нибудь о море и дельфинах. Это твое дело, черешенка,— принимать ли медь за золото; осел Апулея вечен, несмотря на электронику и кибернетику. Только мне грустно, даже очень грустно из-за всех этих «мерседесов» и «пежо», из-за жалких опусов твоего композитора и, как знать, из-за чего еще,— может, из-за весеннего дождя, который Михалаки и Веселка даже не удостаивают внимания. Очень мне грустно, и надо поскорее отдать тебе лотерейный билет, ты, наверно, улыбнешься и во взгляде твоем неприязнь сменится радостью, а это все-таки кое-что значит.

Я протянул было руку за бумажником, где лежал выигравший билет, и спросил Юлию как бы между прочим:

— Юлия, если на твою долю вдруг выпадет крупный выигрыш по государственной лотерее, например квартира, что ты будешь делать?

В этот вечер все шло не так, как я ожидал. Она посмотрела на меня безо всякого удивления, точнее — просто скользнула взглядом, которым искала своего композитора, моего друга Лозана Сюлемова. А тот с рюмкой в руке стоял у стойки и оживленно разговаривал с Недьо Недевым.

— Что буду делать? — тихо повторила она мой вопрос.

— А я знаю,— сказал я. Мои пальцы уже нащупывали бумажник, даже стали влажными. Мне показалось, что я улыбнулся.— Трудно ли догадаться?

— Если бы у нас была удобная квартира, мы бы поженились,— спокойно сказала Юлия.

Я помолчал, потом спросил:

— А что ты понимаешь под «удобной» квартирой?

— Ничего особенного,— ответила Юлия,— у *него* должна быть отдельная комната для работы, просторная, чтобы поместился рояль. Сейчас у *нас* нет рояля, но мы купим. Пианино останется здесь, его мать дня прожить не может без своего инструмента. Да оно разбитое, ему уж лет тридцать, а то и больше.

Все шло не так, как я ожидал, в моем сердце ничто не шевельнулось, наоборот, в нем вдруг воцарилась невозмутимая тишина.

— Прекрасно! — кивнул я, не зная, говорю я это ей или самому себе.— Прекрасно! — И потихоньку вытащил бумажник.

В этот момент из угла, где стояло пианино, раздался залп, на наши головы обрушился град звуков. Я чуть не подскочил и инстинктивно обернулся, чтобы увидеть, кто стреляет такой шрапнелью... Оказалось, за пианино сел один из автолюбителей, Дылда, признававший только педаль газа.

— Он играет новый танец Лозана! — крикнула мне в ухо Юлия.

Она пыталась объяснить, что это за танец, но я не слышал — шрапнель свистела у меня над головой, взрывалась с убийственным грохотом, оставалось только наклонить голову. И в тот момент, когда я искал спасения, я почувствовал на своей щеке ее теплое дыхание. Мне запомнилось, что это ощущение не было неприятным, ведь даже на войне можно испытать что-то хорошее.

Появился сам автор танца, он торжественно шествовал, улыбаясь под треск снарядов, махнул рукой Юлии, и она порхнула к нему с безрассудством смелости. Женщины поддаются экстазу и в такие моменты не очень раздумывают.

В разгар шрапнельного и минометного обстрела они принялись танцевать, и это была потрясающая картина. Мой вкус воспитывался в «стародавнее» время танго и фокстротов, тогда, например, танцевали чудесное танго «О, розы, красные розы!». Мы танцевали увлеченно, закрыв глаза. Теперешние танцы, когда партнеры не обнимаются, а прыгают друг против друга, выделывая какие-то движения руками, плечами, бедрами, просто возмущают мое эстетическое чувство. Юлия все же танцевала сдержаннее, но композитор выделывал чудеса — наверно, чтобы уподобиться своему пращуру, жившему сто тысяч лет назад. Господи, я так и видел Лозана завернутым в шкуры и украшенным птичьими перьями, он только что не бил себя кулаками в грудь и не выл во всю глотку победную песнь волка...

Не знаю отчего, может быть, из-за духоты, но у меня защемило сердце, закружилась голова. Я пробрался между столиками к выходу, едва не столкнувшись в дверях с Недьо Недевым. Он провожал какого-то важного типа, сгибал перед ним спину и почтительно кланялся. Без промедления Недьо потащил меня к нему.

— Разрешите представить,— сказал он,— моего хорошего друга, известного художника Бояна Анастасова, заслуженного деятеля культуры.

Даже не назвав себя, важный тип небрежно подал мне руку, благосклонно пожелал спокойной ночи и удалился.

— Это директор очень крупного внешнеторгового объединения,— сказал Недьо Недев, довольно потирая руки.— Хорошо, что ты вовремя

появился, его милость увидела, что я поддерживаю связи с миром интеллектуальных людей. Да, братец, когда деловой человек дружит с художниками и писателями, это производит впечатление, ведь мы же культурное общество!— Он снова потер руки.— А знаешь, приятель, сколькими миллионами валютных левов ворочает его милость?

Я повернулся к нему спиной и вышел.

На улице моросил дождь — погода совершенно в моем вкусе,— но настроение у меня было как у побитой собаки, и я решил зайти в соседний бар. Там было пусто, только один посетитель, прилепившийся в углу стойки, сидел, подперев голову рукой, и задумчиво курил. Я чуть не вскрикнул от неожиданности — Михалаки, да еще без пальто и шляпы!

— Ты зачем тут? — спросил я. Мое неожиданное появление не вызвало у него ни малейшего интереса. Он отхлебнул ментовки и кивнул мне: садись, мол.— Почему ты оставил Веселку?

Он махнул рукой.

— Безнадежный случай!

Мне было не до разговоров, но я пересилил себя:

— Поругались?

— Почти. Она настаивает на своем цеховом планировании, а это же гиблое дело. Я старался убедить ее — напрасно. И слушать не хочет!

— Пустяки! — сказал я.— Кому нужно ваше мнение, чтобы спорить не на жизнь, а на смерть!

Он посмотрел с таким изумлением, словно у меня на голове выросли ослиные уши. «Господи,— подумал я,— да он спятит со своей математикой и программами, спасайся кто может!» И не говоря ни слова, выскочил на улицу.

Через квартал был расположен другой бар.

■

Вернулся я поздно, часов в двенадцать.

В баре пробыл недолго, взял только рюмку коньяку, ведь перед этим я уже выпил водки,— и все же чувствовал, что голова моя налита свинцом, а в душе скулит побитая собака, жалуясь, что ее незаслуженно обидели. Я побрел по улицам, дождь затих, подул влажный ветерок. Наверно, вверху он дул гораздо сильнее, потому что временами завеса облаков разрывалась и в широкие щели выглядывала умытая и блестящая луна.

Тяжесть в голове постепенно исчезала, а побитая собака сбежала ко всем чертям. Я помнил грязь на этих улицах, лавки, рулетку, подгулявших лавочников, комиссионеров иностранных фирм, помнил весь этот мусор, а теперь здесь все блестело, от прошлого не оставалось и следа — откуда же тут взяться побитым собакам! Одним словом, я пришел к заключению, что раскисать не из-за чего и настроение у меня должно быть хорошим. Я порылся в памяти, припомнил мелодию тех времен, когда эстрадные песни были мелодичны и легко запоминались. «Рамона, когда услышишь колокольный звон», «О, розы, розы, красные розы» — какие это были песни! В умилении я принялся насвистывать. И со стороны, вероятно, казался очень счастливым.

Так я подошел к нашему дому с цветущей черешней. Бедная, ее первый свадебный день был невесел, она мерзла под дождем.

В окнах нижнего этажа темно — наверно, гости давно разошлись. Я вошел в холл и, пока в темноте пытался попасть ключом в замочную скважину, невольно прислушался — из раскрытых дверей салона доносилась музыка, она струилась в душном и еще задымленном воздухе, словно перламутровый поток. Я подошел на цыпочках и остановился в

дверях, сияние невидимой луны делало продолговатые окна опаловыми, несколько мазков белой краски разряжали темноту. Я слушал «Лунную сонату» много раз, мой додекафонист часто играл ее в те добрые времена, когда еще не изменил классике, но в этот вечер он играл ее с каким-то особым вдохновением, очень искренне, словно сам блуждал среди звездных и печально-красивых миров. Может, блудный сын раскаивался в своих атонических прегрешениях, кто знает? Разумеется, я ему не верил, ему нельзя было верить, потому что он не раз очищал душу чистой музыкой, а потом снова грешил, причем самым бессовестным образом. Нет, говорил я себе, ты заблудшая овца, а мне уже поздно играть роль доброго пастыря. Сочиняешь музыку, достойную лишь предков, живших сто тысяч лет назад, танцуешь, как танцевал твой косматый прародитель, и думаешь, что если теперь играешь «Лунную сонату», то все поправится и я поверю в твое светлое творческое будущее?

Я ожесточал свое сердце — мне не хотелось, чтобы Юлия связала жизнь с этим человеком. Если бы зависело от меня, я бы вообще не позволил ей связывать ее с кем-либо. Зачем ей спешить!

И еще я вспомнил, что выигравший лотерейный билет только ускорит несчастье, ведь они ждали «удобной» квартиры, чтобы пожениться. Билет решал этот вопрос. Решал — вот откуда моя тревога: я не хотел содействовать, хотя и косвенно, этому злополучному браку, но с другой стороны, билет принадлежал Юлии, его нужно передать ей, я совершал преступление, пряча его в своем бумажнике.

Близился финал сонаты. Напрасно гений протягивал руки за синей птицей счастья, она даже не глядела на него, равнодушная и безучастная сидела на серебряной ветке. Отжившая романтика, разумнее было бы снисходительно пожать плечами и повернуться спиной — какие там синие птицы, сейчас радостями жизни стали вопросы правильного прогнозирования, электроника выбирала самый верный и короткий путь к цели.

По лестнице я поднялся в темноте. Матовый отблеск заливал мансарду — через окна струилось лунное сияние. Огонь в камине давно погас, пахло теплой золой.

Я лег на кровать и отвернулся к стене — блестевшее в потолке стекло походило на большой раскрытый глаз, гнало сон. Только от ветра некуда было спрятаться, он шумел в трубах, фыркал и ржал, как отвязанный конь.

Когда-то, прислушиваясь к вою ветра, я представлял себе многое из того, что должно было явиться мне в будущем,— вот я несусь на коне по полям, вот с альпенштоком и мотком каната карабкаюсь по неприступным горным кручам. А когда начал мужать — открывал новые пути в искусстве, размахивал красным знаменем на баррикадах, бросался в смертный бой. Все эти видения были бесконечно прекрасны, опьяняли душу, как молодое вино, которое капало из узкой медной воронки старой дедовской бочки. Сейчас, спустя три десятилетия, когда начинает выть ветер, меня иногда тоже посещают видения. Сюжеты, замыслы картин, ретроспективная выставка в одном из крупнейших залов. О чем только не думает человек, когда к нему подступает старость, а сумасшедший ветер воет над головой и не дает спать! Ему даже видятся шубы на меху, украшенные бобровыми воротниками, и домашняя работница, которая будет приходить три раза в неделю, чтобы прибрать в квартире и принести из погреба дрова... Но чаще всего в часы, когда сон едва коснется ресниц, вновь вспоминается прошлое. Соберутся старые друзья выпить, и все приходят им на ум случаи из времен подполья, встречи на конспиративных квартирах, перестрелки с солдатами и жандармами.

И когда сидишь со старыми друзьями за рюмкой вина или лежишь вот так у себя в мансарде, а над головой воет ветер, былые годы возвращаются и нежданно-негаданно говорят мне: «Здравствуй!»

...Впервые я увидел Юлию, когда сдавал вступительный экзамен в художественную академию. Мой отец был сельским учителем, преподавал рисование в школе, а мать — портнихой. В столицу я приехал в грубошерстных брюках, смахивавших на две чугунные трубы, и в отцовском пиджаке, который мог вместить еще одного такого тощего парня. На квартиру я устроился у студента-односельчанина, мы с ним делили комнату в полуподвале — солнце в нее не заглядывало, окна выходили в широкий внутренний двор, выложенный гладкими плитами, с черешней посредине и зеленой скамейкой под ней.

Было начало сентября, в этот день мы сдавали экзамен по свободной композиции. Я взял рамку с прикрепленным к ней листом бумаги, коробку с акварельными красками и выскочил из дома. На улицу нужно было пройти двором, до экзамена еще оставалось время, и я направился к скамейке выкурить сигарету, волновался; естественно,— ведь через три часа должна была решиться моя судьба.

Во дворе я так и застыл на месте, мне показалось, что я вижу сон: на скамейке сидела Белоснежка, а может, та сказочная девушка, что родилась в цветке бузины и превратилась в писаную красавицу, когда солнышко приласкало ее. Волосы девушки блестели, словно сами излучали свет, и я не знаю, что было синее и чище — небо или ее глаза. В своем белом платье она была похожа — хотя сравнение это так избито — на цветущее деревце.

В удивительных лабораториях, которые называют нервными клетками, происходит много интересного. До бесчисленных вещей дотрагивается человек, переживает миллионы волнующих минут, а в книге памяти порой не остается никакой записи. Но случается увидеть лицо, поддаться какому-то сильному чувству, и память зафиксирует это на всю жизнь. В мою Белоснежку я был влюблен недолго. Любовь ушла так же быстро, как и пришла. Потом другие женщины появлялись в моей жизни, некоторых из них я любил, как говорится, всей душой, но образ девушки, «рожденной в цветке бузины», запечатлен в моем сознании сильнее всего — чудесная бабочка в стеклянном шкафу памяти блестит ярким разноцветьем.

Свободная композиция на тему «Весна» — таким было экзаменационное задание. Профессор словно заглянул мне в душу, где щебетали птицы, веял весенний ветер, звенел «гимн арфы златострунной». Вряд ли я сам мог придумать более благодатную тему. Я набросал карандашом контуры: черешня, скамейка, Белоснежка с книгой на коленях мечтательно смотрит перед собой. Но только хотел взяться за краски — кровь у меня в жилах часто-часто пульсировала,— как в открытые окна зала, где проходил экзамен, ворвался шум, послышались крики, свистки полицейских, тупо ударило несколько револьверных выстрелов. Мы вскочили и бросились во двор, на улицу. У ректората нас встретили конные жандармы, нагайками они стегали всех, кто попадался под руку.

Позднее мы узнали, что студенты — члены Общенародного студенческого союза — устроили демонстрацию протеста против оккупации Чехословакии гитлеровцами.

Пульс у меня по-прежнему был частым, но птицы в душе больше не щебетали, златострунную арфу растоптали копыта полицейских лошадей. Я схватил кисть и поверх нежных контуров нарисовал грозовое небо, накрывшее своей тенью ярко-зеленую поляну. По ней шествовала весна — тревожная и вселяющая надежду, украшенная алыми цветами, больше походившими на рубиновые пятнышки крови. От Бе-

лоснежки осталось совсем немного — белое платье, развевающееся под порывами ветра, и цвет волос. Остальное, хоть мне и хотелось этого, сохранить не удалось.

Вернувшись, я застал своего соседа Методи с холодным компрессом на голове. На лбу у него вскочила шишка величиной с яйцо.

— Ты с демонстрации? — спросил я. Он похвалил меня за догадливость.

Настроение у него было бодрое, а услышав о моем рисунке, он и вовсе повеселел.

— А если ты срежешься из-за этой твоей «красной» весны, будешь жалеть? — поинтересовался он.

— Мне будет обидно,— пожал я плечами,— но жалеть не стану.

— Вот это ответ! — Поднявшись, он сбросил компресс, подошел ко мне и отечески поцеловал в лоб. И дыхание его, и щеки, и губы — все обжигало. У него был жар.— О чем жалеть,— продолжал он,— там ведь только покалечат тебе душу! Еще превратят в чистого эстета. Пустяки, если не примут! Запишешься на филологический, а что до рисованья — разве среди наших мало художников? Будешь ходить к ним, они тебе помогут!

В это время во двор вышла Белоснежка. Теперь на ней было синее платье в белый горошек, синяя лента стягивала волосы. Подойдя к скамейке, она облокотилась на ее спинку. Сердце мое затрепетало, как пойманная птица.

Методи положил мне руку на плечо:

— Нечего тебе глазеть на нее, тунеядку! Она из сверхбуржуазной семьи, отец ее — юрисконсульт Торгового банка, классовый враг!

Солнечный луч упал на волосы девушки, словно золото вспыхнуло. Я где-то видел репродукции с картин Боттичелли — «Рождение Венеры», «Мадонна». Белоснежка напоминала тот тип женщин. Она казалась ожившей репродукцией, а ее социальное происхождение меня совершенно не волновало. Методи это явно злило. Он показал на стол:

— Садись-ка лучше и восстанови тушью картину, которую нарисовал утром! У меня есть знакомые в одной редакции, могут напечатать, если им понравится.

Его черные глаза лихорадочно горели, он смотрел на меня так, что отказать ему было невозможно. Я сел за стол, а он вытянулся на кровати и через несколько минут забылся в каком-то болезненном полусне, часто дышал, временами что-то бормотал. Я вдруг услышал «тунеядка», обернулся и страшно удивился: вместо презрительной гримасы на его губах играла нежная и грустная улыбка — верно, он думал обо мне.

■

Еще больше я удивился, когда через несколько дней увидел свою «Весну» на первой странице еженедельника «Литературни новини». Я читал и перечитывал свое имя под рисунком, мне все не верилось — эта газета помещала материалы видных прогрессивных писателей и художников, а я был никто. Даже результатов конкурса еще не объявили.

Я постепенно приходил в себя от изумления, газета дрожала в моих руках. Методи похлопал меня по плечу, потом вытащил из шкафа бутылку вина, налил две рюмки. Его рука тоже дрожала — ведь это он отнес рисунок в газету.

— Ну,—воскликнул он,—да здравствует революция, новый талант появился на горизонте, по этому поводу полагается не только выпить, но и напиться!

— Спасибо,— только и пробормотал я.

Но едва мы собрались чокнуться, как Методи отвел руку:

— Погоди, за какую же революцию мы собрались пить, когда нас только двое? Что за индивидуализм!

Он весело рассмеялся, поставил рюмку на стол, подал мне знак — потерпи, мол,— и выскочил из комнаты.

Был полдень. Ярко блестело солнце, и черешня радовалась, только вот скамейка казалась грустной и очень одинокой.

Методи вернулся в сопровождении двух своих однокашников-филологов. Они принесли еще бутылку вина, хлеб, колбасу. Друзья Методи поздравляли меня с успехом, хлопали по спине, шумно выражая свою радость, словно это был их успех. Мы сели, я занял место против окна: но только принялись за еду, как Методи еще что-то пришло в голову — вскочив, он задернул занавески, даже заколол их английской булавкой. Двор, дерево, скамейка — все исчезло, и мне показалось, что померк белый свет.

Вскоре я увлекся разговором и забыл про все остальное. Мы говорили об искусстве. После революции оно будет действовать как эликсир на сознание людей, звать их на путь чистой и бескорыстной красоты. Пусть все станут добрее, пусть исчезнут подлость и зависть — все, что порождено ненасытной жаждой собственничества! В будущем социалистическом обществе искусство научит людей любить и уважать друг друга, ненависть будет обращена только на классового врага. Человек человеку будет братом и товарищем — один за всех и все за одного, никто не будет подставлять другому ногу. Деньги? Человек постепенно потеряет вкус к ним. Таким нам представлялся будущий мир.

Потом мы заговорили о книгах, о поэзии, начался горячий спор, кто значительней — Маяковский или Есенин. Не закончив с поэзией, переключились на изобразительное искусство. Методи, такой ярый защитник революционных начал, вдруг занял капитулянтскую позицию: человеку при социализме нужны не «поучающие» картины — на кой черт они ему! — а картины, на которых отдыхает глаз и душа, которые переносят в чудесный мир природы и побуждают мечтать о какой-то еще более совершенной красоте.

— Если они заставят мечтать о более совершенной красоте,— вмешался я,— они и будут «поучающими». Стремление к прекрасному — своеобразный двигатель человеческого прогресса.

— Он совершенно прав,— сказал один из друзей Методи,— но при одном условии: если вложить в понятие «красота» классовый смысл, ее социалистическое понимание.

Так мы говорили, спорили, пока не стемнело.

Выйдя из дому, отправились гулять по парку — тогда он назывался Борисов сад — и с холмика у озера любовались расстилавшимся перед нами морем мигающих огоньков.

Близились важные события, мир был полон тревоги. И нас не покидало романтическое настроение, мы ждали, что скоро придет наш час.

Где в те времена не было прогрессивно настроенных людей! Даже в академии их можно было найти, так что моя бунтарская «Весна» не провалилась, и я стал студентом. Методи отвел меня к главному редактору «Литературни новини», на вид весельчаку, но с беспокойными глазами — казалось, он каждую минуту ожидал дурных известий. Он мне обрадовался и сразу назначил редакционным корректором. «Назначил» звучит слишком громко — о каком назначении могла идти речь, когда за свою корректорскую работу я должен был получать по двадцать пять левов за номер, на эту сумму можно было три-четыре раза пообедать в самой скромной столовой. Но и главный редактор отнюдь не процветал, у него была куча долгов, он курил третьесортное «Солнце» и частенько перехватывал пятерку взаймы у заведующего

редакцией, который одновременно был и экспедитором, и курьером. В душе я благословил Методи, потому что даже три-четыре обеда — это немало, к тому же у газеты было доброе имя, и хотя выпускали ее только три человека, на ее страницах блистали созвездия известных прогрессивных авторов.

Методи — я вижу его и сейчас, словно на пожелтевшей от времени фотографии,— черноглазый красавец, со слегка вьющимися волосами, всегда жизнерадостный, ласковый и добрый. Насколько в разговорах он был горяч, настолько в своих литературно-критических статьях казался спокойным и уравновешенным; можно было даже подумать, что они выходят из-под пера человека преклонного возраста. Я говорю «был», потому что его давно уже нет в живых.

С помощью авансов и небольших гонораров — да и Методи кое-что подкинул — я собрал деньги на костюм. Теперь в наших взаимоотношениях с Белоснежкой мог произойти сдвиг. До этого по утрам, когда она шла в гимназию, я выходил во двор и молча кланялся ей. Она кивала в ответ, правда, сдержанно. Теперь, надев новый костюм, я решил, что наконец-то наступило время заговорить с ней.

— Добрый день, как вы себя чувствуете? — поборов смущение, начал я.

Она пожала плечами, дескать, «да как вам сказать?» — и тут же спросила:

— Вы учитесь в художественной академии?

При этом она глядела влево, хотя я стоял справа. Она отлично знала, где я учился, не раз видела меня с красками и холстами, но каждый разговор начинается обычно с чего-то незначительного. Только я хотел ответить: «О, да!» — и уже думал, какие рисунки ей покажу, конечно, непременно «Весну», как она неожиданно спросила:

— Ваш сосед последнее время, кажется, очень занят, все спешит, спешит, может, готовится к последнему экзамену?

И почему это мой сосед пришел ей на ум? Я было пожал плечами, повторяя давешний ее жест, но тут же одернул себя.

— Готовится,— ответил я.— А в свободное время пишет статьи, он действительно очень занят.

— Лучше бы он ничего не писал, а думал об экзаменах,— назидательно проговорила она.

Белоснежке такой тон совсем не шел, зачем ей было входить в роль моей учительницы по математике, которая наставительно говорила: «Хватит вам читать разные книжки, пользы от этого нет, изучайте формулы, формулы!»

Что ей ответить? Мне ничего не приходило в голову. Она и не стала ждать ответа, повернулась ко мне спиной и ушла, даже забыв сказать «До свиданья!».

Но все же мы поговорили, и это было так чудесно!

А потом начались дожди, погода мешала нашим встречам. Я рисовал, читал корректуру, ходил на собрания, писал листовки, устраивал нелегальные явки. Несколько моих работ появилось еще в одной прогрессивной газете. А я думал: когда же у меня будет возможность показать их Белоснежке?

В нашей комнате было холодно и мрачно, печку мы топили редко — на дрова не хватало денег. Методи уходил в городскую библиотеку или ложился в постель, укрывался с головой и так занимался. Однажды в воскресенье около полудня мы встретились с Белоснежкой во дворе. Я возвращался от газетного киоска, в новом номере журнала «Воля» был напечатан мой рисунок. Белоснежка шла с катка, на ней была красная шапочка, через плечо висели коньки. Она сияла красотой.

— Смотрите,— сказал я, показывая рисунок. Сердце мое билось, словно за мной гнались, теперь нам было о чем поговорить.

Падал снег. Он стелился тихо, как во сне.

Она мельком взглянула на рисунок, поинтересовалась названием журнала и тут же сморщила красивый носик:

— Левое издание. У вас, наверно, есть талант, но зачем вы его растрачиваете по таким журналам?

Сердце мое, бившееся сильно-сильно, вдруг замерло.

Больше она ничего не сказала, ушла, и белые нити снега, как занавес, опустились за ней.

Когда я ее встречал потом, мне казалось, что передо мной не живой человек, а прекрасная кукла. Чувство ушло раз и навсегда. Мало ли приходится переживать человеку! Сколько таких переживаний было у меня с тех пор — и более глубоких, и более длительных,— а это наивное увлечение, кто знает почему, я все еще ношу в своей душе как воспоминание — прекрасная бабочка блестит за стеклянной витриной.

Когда над головой завывает ветер, я смотрю на витрину, и разное приходит на ум.

Несколько слов от автора

Белоснежку звали Юлия. Так же, как девушку с третьего этажа, обладательницу выигравшего билета.

Мой художник утверждает или думает, это все равно, что Юлия с третьего этажа удивительно похожа на ту, давнишнюю Белоснежку.

■

Я встал в дурном настроении — не выспался.

Заснул я только на рассвете, и какой-то сюжет все мелькал у меня в голове, кажется, это был железнодорожный вокзал. Все как будто выглядело очень ясно, пути походили на строки, стрелки — на запятые, семафор предупреждал: внимание! Но слов не было, пути оставались пустыми, и я думал, что семафор отпугивает слова, они из-за него не смеют появиться, боятся его растопыренных рук. Тут же я решил убрать его, для этого достаточно одного мазка кисти, но что за станция без семафора! Левый план и так получался облегченным — с правой стороны темнело что-то огромное, наверно локомотив, к тому же типа современных аэродинамических экспрессов. Поэтому семафор должен оставаться на своем месте, но тогда трудно словам, и зачем эти строки, если на них нет слов!..

Вот почему я проснулся в дурном настроении, этот проклятый сюжет измучил меня.

Я открыл окно, впустил прохладный утренний ветерок, немного отдающий бензиновым перегаром. Что же, нынче на каждого десятого жителя Софии приходится «средство передвижения». Люди работают, копят деньги, покупают машины и ездят на них, и только те, кто постарше, вздыхают о прежнем свежем воздухе Витоши. Но кто будет спрашивать стариков — тогда воздух был свежим, а хлеба не хватало!

Пока на плитке закипала вода для кофе, я снова вспомнил о треклятом лотерейном билете. С точки зрения справедливости, то есть с правовой точки зрения, как выражаются юристы, я должен немедленно передать его Юлии, ведь закон даже государству запрещает присваивать собственность, приобретенную на трудовые доходы и не про-

изводящую прибавочной стоимости. Этот лотерейный билет был куплен на деньги тетушки Катерины, она заработала их своими спицами, а двухкомнатная квартира никак не могла производить прибавочную стоимость. Следовательно, даже если бы я был облечен правами государства, и то не мог экспроприировать билет Юлии.

Но это с позиции частного права. А с точки зрения будущего Юлии все представлялось мне совершенно иным. Ну, хорошо, я отдам билет, а она скажет своему ветреному модернисту: «Ура, у нас есть квартира!»

И последуют одна за другой беды и несчастья, в соответствии с железными законами цепной реакции дело стремительно двинется к катастрофическому концу. Действительно, что хорошего можно ожидать от такого человека, как Лозан Сюлемов, который для собственного удовольствия тайком играет «Лунную сонату», а публике ради крупицы дешевой славы предлагает бездушную атональную музыку? Люди его типа — эгоисты по природе, склонные к шумной, но легкой жизни. Ведь что это за стиль: виски в Клубе композиторов, издевки и насмешки в адрес тех, кто еще не отказался от «ветхих традиций» классической музыки; потом вечер в ресторане «Ропотамо» или в другом подобном заведении, где он с великим наслаждением слушает свои произведения; далее — танцы вроде тех, что танцуют на Самоа и Маркизских островах. И после всего этого он с тяжелой головой и пустой душой возвращается к Юлии. Она кажется ему увядшей и подурневшей, ребенок, видите ли, нервирует его своим плачем. Он садится за пианино, стучит по клавишам и думает, до чего же бессмысленна жизнь и как безнадежно устарел семейный быт. Но ведь на виски, на «Ропотамо», на Солнечный берег — подходит лето, где же еще отдыхать? — нужны деньги, и вот он слюнявит карандаш, черкает по нотному листу. Он еще может изобразить какой-нибудь дивертисмент или сочинить музыку на текст из десяти слов — щепотка розовой краски и миллимикронная часть подобия человеческой мысли...

Я снял кофейник с плитки и, пока пил кофе, продолжал думать: «Единственное, что им мешает пожениться,— отсутствие подходящего помещения для рояля. Чудесно! Если дело с квартирой затянется, время будет само работать на Юлию. Весьма возможно, что она ему надоест или на его пути встретится другая, с готовым помещением для рояля. Да, но кто дает мне право лишать Юлию квартиры?..»

Я сменил трубку на сигареты, сигареты на трубку, в мастерской уже не продохнуть было от дыма. А все черешня!

Такая уж моя судьба — из-за этих цветущих деревьев молодые критики постоянно обвиняют меня в романтическом уклоне. Упомянули раз, упомянули другой, да таким тоном, словно терпение у них, того и гляди, лопнет и они вообще вычеркнут меня из рядов художников-реалистов.

Схватив кисть, я закрасил черным деревце и детей вокруг него. У меня даже в глазах стало черно, я положил палитру и полез в шкаф за коньяком. Пока думал о критиках и деревцах, какой-то невидимый обруч угрожающе сжимался вокруг моей головы, и тут... Господи, какая мысль!.. Я выпил рюмку коньяку, потом еще одну, мысль стоила того: оформить билет на Юлию. В специальном примечании к нотариальному акту указать, что квартира получена в качестве выигрыша по государственной лотерее, это собственность Юлии Антоновой, студентки, и что билет представлен Бояном Анастасовым, художником. Вот и все!

Ради такой счастливой мысли я налил еще коньяку. Мне стало весело. Может, судьба думает, что мы не в состоянии выкинуть такой номер? О-го! Надо только захотеть — ко всему найдется ключ.

Я надел темный костюм, повязал самый новый галстук и даже взял зонт. По синему прямоугольнику окна бежали облака, снова собирался дождь.

■

Кто сказал, что странные совпадения и случайности бывают только в плохой приключенческой литературе? Я считаю, что они встречаются и в жизни. Вот послушайте, что получилось с адресом квартиры Юлии.

В документе, узаконивающем собственность, была вписана улица, название которой я слышал впервые. Тридцать один год живу в Софии, но подобного названия не встречал — наверняка из тех старых улиц, которые зачем-то понадобилось переименовывать. Оказалось, что она находится в Лозенце. «Смотри-ка,— обрадовался я,— ведь об этом квартале у меня сохранились чудесные воспоминания — моя первая софийская квартира, Методи и еще кое-что». Я пустился на розыски улицы, и волнение мое усиливалось с каждым шагом. В большинстве дома здесь были новые — массивные, многоэтажные; появились и новые площади, большие современные магазины, но в общем пейзаж остался прежним, потому что на юге все так же синела Витоша и трамвайная линия пробиралась через поредевший уже сосновый лес. Разумеется, не было старых двориков, фруктовых деревьев, зеленых полянок, где дети зимой катались на коньках и лепили снежных баб, но это все мелочи, главное осталось нетронутым.

Волнение мое достигло апогея, когда я обнаружил, что нужная мне улица — именно та, на которой я жил тридцать лет назад. Еще немного — и номер квартиры Юлии окажется номером моей старой квартиры, если, конечно, она еще существует! Тогда здесь стояло два дома — один выходил на улицу, другой прятался за ним. Они исчезли, и на их месте поднималось современное четырехэтажное здание, нарядное, с зелеными балконами и желтым фасадом, его широкие окна по-юношески бодро смотрели на синий контур Витоши. Узкий дворик — чистый, выложенный плитками, огороженный низким парапетом — отделял здание от улицы.

Я постоял на тротуаре, будто ждал кого-то. Так мне казалось, а ведь это было лишено всякого основания. То, что было, ушло с годами — и деревце, и скамейка под ним, прошлое кануло в Лету. Я курил трубку, глядя на этот веселый дом, он смеялся, а мне было не до смеха; небо снова потемнело, и, неизвестно почему, я чувствовал себя не в своей тарелке. Но ведь не вечно тут стоять, надо посмотреть квартиру — для этого же я и явился.

Привратница дала мне ключи, я вошел в лифт и нажал кнопку четвертого этажа. Взлетая вверх, подумал, что шахта лифта находится именно на том месте, где когда-то стояла черешня. Белоснежка сидит на скамейке, а я поднимаюсь в коробке лифта с зонтом в руке — мог ли я такое представить себе тогда, тридцать лет назад?

Квартира Юлии была двухкомнатная, с холлом посредине, одна комната выходила на юг, другая — на запад, кухня — на север; через балконную дверь виднелось море домов, расплескавшееся до отрогов Стара Планины, купола храма Александра Невского блестели, словно позолоченные бакены.

Прислонившись к окну, смотревшему на синий контур Витоши, я подумал: здесь стоял дом юрисконсульта — уж не получил ли он за него квартиру в новом здании? В таком случае...

Что могло произойти в таком случае, мне не удалось представить, да это в общем и не требовалось. Я еще раз прошелся по комнатам,

пофантазировал, как тут можно все устроить. Неожиданно появилась привратница:

— Товарищ, вы когда собираетесь переезжать?

Я пожал плечами.

— Если у вас хорошая квартира, конечно, незачем спешить. Да, дела-дела! Добро идет к добру, а к таким, как мы, и не заглядывает. Где работает ваша жена, дети есть?

Я сказал, что холост.

Упершись руками в узкие бедра, она недоверчиво уставилась на меня. Глаза у нее были водянистые, веки покрасневшие, словно она только что резала лук.

— Я родственник хозяйки этой квартиры,— сказал я.— Зашел только посмотреть. А хозяйка — студентка, она переедет после государственных экзаменов.

— Вот оно что! — вздохнула привратница, склонив голову набок, как делают куры, созывая цыплят.— Еще студентка, и на тебе — квартира! Одни в рубашке рождаются, всю жизнь им везет, а другие стараются, стараются и под конец — ничего. У нас в селе дом что твой дворец, в два ската, погреб, балкон на улицу. С таким трудом мы его построили, сколько пота пролили, он нам не в наследство достался. Живи в свое удовольствие, как говорится, так нет же! Старший сын уехал работать в Мадан, там женился, дочь с вертопрахом-шофером мотается со стройки на стройку, за хвост не поймаешь, бродячие цыгане. Младший сын окончил металлургический техникум и поехал работать в Кремиковцы. Что нам одним в селе делать? Для чего и для кого убиваться? Приехали к сыну сюда — вроде бы помочь, а на самом деле только стеснили. Мы у него на шее не сидим, муж сторожем в парке устроился, я кусок хлеба зарабатываю, но все мы в одной комнате, это же не жизнь! Когда в селе дом строили, думали: наверху дети будут, а мы со стариком внизу, в большой комнате при кухне. Кухню сделали широкую, вдесятером за стол сесть можно, и для гостей место найдется, и для внуков. А теперь там мыши да крысы бегают. И почему все так? Земли в хозяйстве сколько хочешь — и поля, и луга, и сады, работой бог не обидел, а молодежь все в город смотрит. Ведь не один наш дом остался мышам да совам, таких домов в каждом селе по десятку. Молодые бегут, старики перебьются кое-как одни соберут пожитки и за ними следом! А что за жизнь в городе! Человек без корня — он же совсем пропащий.

— Ты, тетушка, уж очень трагически смотришь на вещи, так не годится,— сказал я.— Жизнь меняется, и многого, что было вчера, сегодня уже нет, а завтра придет новое, не имеющее ничего общего со вчерашним...

На этом месте своей речи я остановился. Мне стало ужасно неудобно, может, чувство неловкости вызывали ее глаза — взгляд их был отчужденным, пустым, такие глаза я наблюдал на выставках: вроде бы вглядываются в картину, а ничего не видят и не воспринимают.

Потом мы поговорили о практических вещах — натирке паркета, мытье подоконников, о других мелочах. Она ушла, и снова в квартире стало тихо и глухо, как в каждом пустом доме.

Уходить мне не хотелось. Разве этот дом пуст? Я распахнул окно, и ворвавшийся южный ветер забросил в него горсть знакомых запахов — влажной травы, набухающих почек, горных полян, по которым несутся шумные потоки. Все это он принес с поля, синевшего вдали, с Витоши, над чьим гребнем неслись косматые облака.

А разве пуст был тот дом? Мы с Методи опираемся на подоконник и смотрим в небо. А оно уже лиловое, солнце уходит за горы. Над нашими головами золотится прозрачный надувшийся парус. Мы

смотрим в небо и молчим. Может, завтра будем смотреть на него через зарешеченное окно того здания, что левее Львиного моста. И всю нашу теперешнюю жизнь закроет плотиной железная дверь, а впереди будет серая, мертвая пустыня... Через полтора часа мы должны быть на улице Одрин, встретиться с одним человеком, который скажет, где и когда нам собраться. Нам поручено провести важную операцию: завтра Первое мая, мы с Методи будем разбрасывать листовки, выпустим стаи белых птиц, которые возвестят миру, что скоро, очень скоро настанет наш час. Рабочий взмахнет железным молотом — и рабская цепь царя Капитала разлетится на жалкие кусочки.

Листовки — от имени комсомола, так что, если полиция нас схватит, нас ждут десять лет тюрьмы. Следствие, побои в зловещем здании у Львиного моста — с этим не считаешься.

Мы распространяли листовки и ночью, расклеивая по стенам фабрик и складов, на заборах и фасадах домов. Ходили по двое: один следит, нет ли полиции, другой клеит. Чуть покажется кто-нибудь в форме или вообще какая-нибудь сомнительная личность, мы пускались наутек; несколько выстрелов раздастся в тишине, но это пустяки, кривых переулков и проходных дворов сколько угодно, да и темнота помогала, на окраинах фонари на каждом шагу не светили.

На этот раз мы должны разбросать листовки во время демонстрации, а у нас с Методи уже был опыт, мы знали — сколько демонстрантов, столько и полицейских, явных и тайных, плюс кордоны конной жандармерии, запрудившей соседние улицы. Ораторы и распространители листовок — самая лакомая добыча для них, за каждого пойманного давали отпуск и денежную награду.

Итак, опершись о подоконник, мы с Методи смотрим в небо. Золотистый парус над нашими головами постепенно исчезает, свод делается фиолетово-синим, мягкий сумрак заливает двор, черешня с только что распустившимися листьями готовится ко сну. Каждый из нас в душе глубоко убежден, что завтра наш двор, деревце и скамейка под ним станут воспоминанием; мы казались себе пассажирами на перроне вокзала, паровоз пыхтит, пора по вагонам, начальник поезда уже поднял флажок.

Сказать, что мне не жаль картин, дворика, моих красок и Белоснежки, корректур в газете «Литературни новини» и тысячи других чудесных вещей,— значит солгать. Жаль, да еще как!.. Но я говорю себе, что нельзя быть сентиментальным, в конце концов, цепь не может быть порвана просто так, за это надо кому-то расплачиваться. Подойдет моя очередь, и я, конечно, не струшу.

От грустных мыслей у меня есть противоядие. Не знаю, как у Методи, а мое противоядие неплохое. Вот я представляю себе: с улицы доносится музыка, бренчат гитары, в наш дворик заходит группа юношей и девушек; все веселы, беззаботно смеются. Из окон выглядывают те, кто постарше, им приятно смотреть, как веселится молодежь; мужчины повязывают галстуки, женщины наряжаются, готовясь на прогулку — машины и автобусы, украшенные флажками и лентами, ждут их на улице. И я прыгаю из окна — или это кто-то другой, очень похожий на меня, да разве это имеет значение! Белоснежка в белом платье и с белой розой на груди ждет меня. Мы выходим со двора. На площади играет духовой оркестр, сотни людей, взявшись за руки, танцуют радостное хоро, всюду счастливые лица и счастливые улыбки. Кто сказал, что жизнь не стала песней?

На автобусах, украшенных цветными лентами и красными флажками, мы приезжаем на аэродром. Пилоты приглашают: «Добро пожаловать, товарищи, добро пожаловать!» Как тепло и по-родному звучит это слово — «товарищ»! Нельзя обижать пилота, в этом мире обиды

так непривычны и несвойственны людям! Мы садимся в один из самолетов и летим над городом.

Под нами — заводы, они выглядят как дворцы. В воздухе никакого дыма, о нем давно забыли. Пестрыми коврами расстилаются поля, сверкает гладь озер, раскинулись леса. Мы опускаемся на ровной поляне. Крестьяне радушно встречают нас, угощают вином, предлагают виноград. Разве можно отказать виночерпию, это же омрачит весь праздник! Мы пьем с Белоснежкой рубиновое вино, отрываем по кисти янтарного винограда, веселый усач подает нам кусок жареного барашка:

— Ешьте, дорогие!.. На здоровье! Угощайтесь!..

— Будь здоров, товарищ!

И вот мы уже снова летим и кружим над нашим городом, потонувшим в праздничных разноцветных огнях.

Такой представлялась мне жизнь после того, как мы разобьем рабские цепи царя Капитала.

Но чтобы разбить их...

Методи толкает меня локтем:

— Пора идти!

— Пошли,— говорю я.

■

Сейчас я стою на том же месте, но дом другой, и нет двора, и черешня — под клетью лифта.

Спустившись вниз, я прошел мимо комнаты привратницы. Через полуоткрытую дверь на меня пахнуло стиркой и луком.

■

Через несколько дней мы будем праздновать Первое мая.

Дожди прекратились, погода стояла чудесная, небо, похожее на гигантский зонтик из великолепного синего шелка, ласково улыбалось.

Я купил красок, лаков, туши и отправился к своим, на завод электронно-вычислительных машин.

— Дайте мне бумаги для плакатов!

Мне дали целый рулон.

— Что вам нарисовать?

Они сказали, что прежде всего надо изобразить конструкторов их новой машины, гордость и славу завода. Чудесно! В эпоху технической революции не обойтись без электронно-вычислительных машин. Для современного общества эти машины как скафандр для водолаза — поди-ка нырни без скафандра. Я с энтузиазмом принялся за портреты. Михалаки не пришел мне позировать, стеснялся или считал это потерей времени, но я нарисовал его по памяти, и вышло даже лучше.

Рисовал я с большим усердием, и мое хорошее настроение поддерживали громкоговорители — из рупоров все время неслись бодрые марши и песни, торжественные сообщения о перевыполнении планов и нерифмованные, как принято теперь, стихи.

Нарисовал я и другие картины. Больше всего мне самому понравилась та, где сказочный конь парит во вселенной, среди разных там галактик. И поскольку конь сказочный, голова его несколько походила на кибернетическую машину, уши напоминали антенны, а глаза — те таинственные линзы, которые улавливают солнечный свет и преобразуют его в полезную энергию. В седле восседал наш усатый дядя в неизменной меховой шапке, он явно выпил в честь праздника, вселенная ему как бы по колено, летит он, зажав узду левой рукой, а в правой развевается алый флажок.

Потом наши устроили предпраздничный вечер, и я сидел в президиуме, рядом с директорами, партийными руководителями и конструкторами. Главный директор сказал, что сейчас идет работа над более совершенной моделью — подобной нет даже в некоторых развитых западных странах — и что эта работа близка к завершению. Все в зале поднялись, восторженно аплодировали, кричали «ура», а у меня из-за духоты закружилась голова, запершило в горле, и на глазах выступили слезы, но я притворился, что кашляю, чтобы не подумали, будто это от волнения.

Потом вручали награды. Михалаки получил золотой значок; пока директор прикалывал ему значок, вид у него был как у человека, страдающего от зубной боли. Вот так кибернетик! Да я бы на его месте смотрел победителем, а может, раскашлялся, кто знает. В последнее время духота часто выводит меня из строя.

Сижу, значит, я в президиуме, а когда начали вручать награды, и мое имя упомянули. Точнее, оно было в списке тех, кому по случаю праздника делали подарки — людям, близким заводу, друзьям коллектива. Но списки — это мелочь, важно, что меня упомянули, а ведь я не бог весть что сделал. Мне стало как-то неловко, словно я представил академическому жюри картину с обратной перспективой. Я покраснел, потому что совесть моя говорила: «Смотри, люди тебя уважают, а что ты такого для них сделал? Разные там портреты, лозунги да еще беседы с Михалаки в баре, если их вообще можно назвать беседами, потому что большую часть времени вы смотрите в рюмку и молчите».

Я до того смутился, что поцеловал девушку в белом платье, вручавшую мне подарок, не в щеку, как полагается в торжественных случаях, а в губы. Стоит мне подумать об этой девушке, я глупо улыбаюсь и начинаю вспоминать.

...Да, девушку в белом платье я знал уже очень давно. Мы встречались с ней на улицах в канун больших праздников и беседовали о разных вещах... Звонко цокают копыта коней, верх у фаэтонов откинут — видны мужские фетровые шляпы, дамские зонтики с кружевами; лошадиные хвосты украшены разноцветными ленточками. Порой проедет лимузин, и мы недружелюбно смотрим ему вслед: мир богатых, люди по ту сторону баррикад — ничего, их время кончится.

Мне страшно хочется взять девушку под руку, и, наконец, я решаюсь.

— Кстати, мы забыли самое важное,— говорю я, наклоняясь к ней. Кудряшки у нее на лбу золотятся, она поворачивает ко мне лицо, я смотрю ей в глаза — они синеют, речные омуты.— Самое важное,— говорю я.— Как твое имя?

— Надя.

— А мое Боян.

— Боян,— повторяет она словно про себя.

Мы заходим в маленькое кафе, всего три столика, я заказываю девушке мороженое, а себе лимонад, на большее у меня нет денег. Она медленно ест мороженое, оно ей нравится, Надя подмигивает мне и смеется.

Урочный час приближается. Я расплачиваюсь, и у меня остается несколько стотинок. Бросаю их в стоящую на столике стеклянную вазочку с тремя белыми розами, беру одну из роз и прикалываю ее девушке к платью.

Потом мы отправляемся в Ючбунар.

Демонстрация началась. Мы возвели трибуну, раздались песни, но тут затрещали выстрелы, появилась полиция, из соседних улиц налетел конный эскадрон. А мы схватились за камни — на этом месте

мостили улицу и поэтому были свалены в кучи булыжник и крупный щебень. Бой продолжался минут пятнадцать, потом перенесся на соседние улицы, в аллеи парка, во дворы. Какое-то время девушка в белом была рядом со мной, потом вихрь погони отбросил ее. Конные полицейские окружили несколько человек, я швырнул последний камень, бросился через отворенную калитку и притаился за какими-то низкими дощатыми строениями.

Там я пробыл около получаса. Оправил на себе одежду, вытер платком руки и тихо выскользнул на улицу.

На углу полицейский подозрительно посмотрел на меня:

— Ты где был, куда идешь?

Я вытащил из кармана блокнот и подал ему.

— Вот, рисовал в Булином сквере, возвращаюсь домой.

Он недоверчиво раскрыл блокнот, перелистал, видимо, узнал те места, потому что, поворчав, вернул его мне.

Вечерело, мелькали редкие прохожие. Я прошел шагов десять и остановился, мне показалось, что какой-то белый цветок растоптан на мостовой, вроде бы та роза, что я приколол к груди девушки. Как знать, уже темнело, может, мне только показалось.

■

Я вспомнил эту девушку, когда шел с торжественного вечера. А ту, что вручала мне подарок, поцеловал в губы. Так делать не следовало, но это получилось не нарочно.

Мне подарили коробку для табака из кавказского серебра. Я открыл крышку — с внутренней стороны она зеркальная. На меня глянул человек со скуластым, усталым лицом и поседевшими волосами. Кавказское серебро явно преувеличивает: ну, волосы — куда ни шло, но чтобы я так постарел — вряд ли.

■

Все, что делается перед праздником — подготовка к торжеству, собрания, где отмечают передовиков, концерты, литературные чтения и так далее,— все это наполняет мою душу праздничными чувствами, я сижу за обильной трапезой и пью из черпака старое вино, гремят барабаны и цимбалы, гобои и фанфары, марширует железная гвардия в красных доспехах, украшенных пестрыми галунами и павлиньими перьями, мне весело, я молодецки сдвигаю шапку набекрень, присоединяюсь к хоро. А придет сам праздник — нос у меня повисает, видно, перебрал накануне крепкого вина, меня раздражает шум, словно я попал в огромный универсальный магазин, где пахнет одеколоном и пудрой, а мне нужен ватман и масляная краска. Но стоит где-нибудь сказать, что мне скучно и пусто, тут же в ответ: «А что ты хочешь?» Господи, ничего не хочу! На демонстрации я прошел мимо главной трибуны с коллегами-художниками, в этот день надо быть со своими. Потом мы вместе обедали, каждый поднял тост за своих и, наконец, разошлись, пожелав друг другу больших успехов.

И сейчас я лежу на кровати, плотно закрыв окно, потому что сладенькие песенки про дельфинов, моря и зонтики, кажется, летят даже с неба, а эта напасть особенно неприятна в праздничный день. Я смотрю на стену и вспоминаю. Вспоминаю, например, как мы когда-то отмечали Первомай. Мы праздновали, не зная, где будем ночевать — в преисподней полицейского участка или в небытии, а может, сначала в преисподней, а потом в том здании, что у Львиного моста. От него и Центральная тюрьма, и кладбище неподалеку, как говорится, рукой подать. Нынче мы выходим, прицепив значки и медали, и, пока ждем очереди влиться в ряды демонстрантов, раздумываем при-

мерно о том, будем ли есть на обеде ягненка теплым либо уже остывшим и где проведем вечер — в ресторане своего квартала или подадимся на вершину Витоши в «Копыто». А если в «Копыто», то ехать ли туда на машине или на фуникулере... Ничего подобного нам в те годы и не снилось, мы не могли представить себе тогда, что после революции в самых живописных местах Витоши — на Копыте и Золотых мостах — будут построены такие чудесные рестораны. В тех местах мы собирались на тайные конференции, читали, мечтали. Но действительность, как говорится, превзошла мечты. В добрый час! Важно, что жизнь идет вперед.

■

Несколько дней прошло без особых событий, если не считать вчерашнего собрания нашей организации Отечественного фронта. Мы заслушали доклад о последнем партийном пленуме. Некоторые уже слушали доклад по партийной линии, другие по профсоюзной, да и в газетах каждый день появлялись статьи, так что в общем материал этот был знаком. На коленях у меня лежал блокнот, я делал зарисовки — изображал в разных ракурсах своих соседей, потом стал фантазировать, и, может быть, по созвучию с некоторыми положениями доклада на белых листах появились башенные краны, стальные балки и тяжелые панели, начали взлетать ввысь солнечные качели, усатый молодец на вороном коне старался перегнать солнце, а оно прятало добродушную улыбку за серебряным облачком.

Прения продолжались недолго, в докладе намечались пути к будущему, а кто же против прямых и ясных путей! Молодец, перегонявший солнце, предоставит воспевать это дело поэтам и живописцам, а сам спустится к башенным кранам и засучит рукава.

Потом дошла очередь до «разного» в повестке дня, и по рядам словно бы пропустили сильный разряд тока. Две семьи жили в одной квартире, с общей кухней. Одна семья отравляла жизнь другой, видимо, старалась оттягать жизненное пространство в свою пользу. Но преследуемая семья сопротивлялась и, как полагается, попросила помощи и содействия у организованной общественности. Такова суть драмы. Когда дело дошло до подробностей, мне показалось, что солнце вырывается из моего блокнота и направляется к двери, и я тут же двинулся вслед. Вышел, чтобы подышать воздухом,— окна в зале были закрыты, и голова у меня внезапно стала тяжелой.

Во второй раз я уходил с собрания, не спросив разрешения у председателя. Год назад я сделал то же самое на собрании художников. Член правления, расхваливая картины своего коллеги, хватал с неба самые лучезарные звезды и сплетал из них венок над его головой, а всего несколько дней назад прошептал мне на ухо, что, если говорить по справедливости, картины эти гроша ломаного не стоят. Какое совпадение — и тогда окна зала были закрыты и от духоты у меня закружилась голова.

Рассказ о Юри

Я побродил по улицам и вернулся домой уже около десяти. Настроение у меня испортилось, и, по правде говоря, не хотелось оставаться в четырех стенах своей мансарды. Откуда мне знать, какими вопросами будет меня мучить одиночество и смогу ли я ответить на них как следует? Поэтому я подумал, а не завернуть ли мне в бар. Может, найду там Михалаки с его ментовкой и вздохами по поводу навязчивых идей Веселки о региональном программировании. Такие

идеи могут и на самого веселого человека нагнать печаль. Я не буду препираться с этим львом электроники, пусть беседа течет гладко и без потрясений до тех пор, пока не закроют бар. А потом предложу Михалаки продолжить монолог в своей мансарде. Я уже почти решил свернуть к бару, как вдруг увидел свет в нижнем этаже. Кто-то из наших был там, может, и мне присоединиться, бар от меня не уйдет.

В нашем салоне много гостей собиралось по субботним вечерам, в воскресенье или под праздник, тогда торжественно сверкали две большие люстры, а в обычные дни посетители зажигали только лампу, освещавшую стойку. Лозан вообще не зажигал огня, садился к пианино и играл в рассеянном свете уличного фонаря — таким он мне запомнился еще с того времени, когда учился в консерватории.

Я рассчитывал, что среди поздних гостей могут оказаться знакомые, тогда можно будет поговорить о чем-нибудь важном. В последнее время, например, много говорили о возможности выхода из ближневосточного кризиса, да и над дальневосточными районами нависли тучи. Вопросы нашей внутренней жизни тоже стучались в дверь: дальнейшая концентрация производства, превращение сельскохозяйственного труда в промышленный. Словом, есть о чем поговорить до полуночи, а может, и позднее, если, конечно, собеседники окажутся стойкими людьми.

Итак, я вошел в зал и еще с порога почувствовал, как сердце у меня сжимается,— перед стойкой сидели Юри и его приятель, которого я прозвал Дылдой. Они с мрачным видом пили вино. Жаль, но поворачивать назад неприлично — в конце концов, с Юри и его семьей мы жили под одной крышей уже два десятка лет, и если с его братом Лозаном у нас были кое-какие разногласия, то в области эстетики, а в основных идейных вопросах мы были единодушны.

Я вежливо, но несколько холодно кивнул им и направился в глубину зала с видом человека, намеревавшегося всего лишь выкурить трубку и уйти. Молодые люди приветливо мне улыбнулись.

— Маэстро,— сказал Юри,— почему бы вам не присоединиться к нам? Место есть. Мы с Ванкой художников не едим. Окажите честь!

Видно, парень выпил, но насмешливых ноток в его голосе не было слышно.

— Места у нас на четверых хватит,— глубокомысленно изрек Дылда, или Ванка, как его назвал Юри. В отличие от небрежно одетого Юри, он походил на человека, вырядившегося для официального визита,— галстук безупречно завязан, манжеты рубашки ослепительно белые.

— А я не возражаю,— сказал я, улыбнувшись с добродушным снисхождением,— с большим удовольствием сяду с вами, если только компания пожилого человека не будет вам в тягость.— Я расположился между ними, вынул кисет с табаком.— Выкурю трубку и пойду, просто хотел посмотреть, что тут делается, я уже собрался к себе на чердак, в это время обычно ложусь спать.

— Ну, время еще есть,— сказал Ванка.— Для всего есть время: и для сна, и для разных других дел, только надо двигаться осмотрительно и с умеренной скоростью. Я, например, ниже восьмидесяти километров не спускаюсь даже на самой плохой дороге, но вам ни в коем случае нельзя превышать шестьдесят.

Я даже вздрогнул. Вот, сказал я себе, поделом тебе, нечего было ввязываться.

— Это он в символическом смысле,— пояснил Юри,— имеет в виду жизнь и путь человека по жизни.

— Это точно,— подтвердил Дылда.

Юри потянулся к бутылке, плеснул себе в рюмку, а мою наполнил доверху.

— Ванке не наливаю,— сказал он.— Стоит ему выпить больше одной рюмки, как он путает педали — вместо тормоза нажимает на газ и летит ко всем чертям. А к чертям ему нельзя, он хороший филолог, у него большое будущее.

— Самый лучший среди филологов — ты! — Дылда с завистью посмотрел на мою рюмку.— В ралли ты первый, а я только еду за тобой.

Юри неожиданно помрачнел. Он и так выглядел печальным, напоминая карточного игрока, проигравшего в последней ставке все свои деньги — даже те, на которые рассчитывал купить полкило колбасы на ужин. А при словах Дылды о каком-то ралли прямо-таки повесил нос. Даже не чокнувшись, как того требовали приличия, он выпил одним духом вино, поморщился и отвернулся.

Я подумал: вот, в сущности, праздный молодой человек, в голове у него одни акселераторы да тормоза, круг его интересов ограничен разными там ралли, не удалась поездка в «Копыто» или «Лебедь» — и он уже смотрит на мир сквозь черные очки. Он первый студент на факультете? Ничего не значит! И в наше время были такие, а потом становились самыми безликими преподавателями или превращались в оголтелых мракобесов. Успехи в учении — дело хорошее, но еще не гарантия, что после окончания курса наук непременно станешь в ряд хороших людей, тянущих повозку вперед. Вот хотя бы брат его Лозан. Закончил консерваторию с отличием, а бросился в мутный омут додекафонизма, сочиняет музыку, которая никого не волнует, и никто ее не понимает. Их отец, старый Сюлемов, и в тюрьме когда-то сидел за «антигосударственные» идеи, и на смерть был осужден, и партизанским командиром был в Среднегории, а посмотрите-ка на его сыновей — один «модернист», творит на потеху кучке ветреных снобов, а второй помешан на автомобилях.

Рассуждая так, я отпил из своей рюмки, но вино показалось мне невкусным. Настроение, испорченное на собрании, все ухудшалось, и я почувствовал желание поспорить.

— Ну что вы за молодежь,— сказал я,— у вас и разговоры-то лишь об автомобилях да о ралли! Разве так можно? Неужели у вас нет других интересов, вы не читаете книги, не ходите в театры, вас не волнуют дела народные?

Я ожидал, что им станет неудобно. Но они только молча переглянулись, Юри зевнул, хотя видно было, что спать ему не хочется, а Дылда как-то криво и многозначительно усмехнулся и уставился на лампу над стойкой. Наконец, Юри сказал:

— Ну, вы поговорите, а мне пора на стоянку, голова раскалывается, и в глазах туман.

Он встал, поежился, словно его била лихорадка, и тяжело направился к выходу.

«Не выйдет из тебя человека»,— подумал я и полез в карман за сигаретами.

Дылда предложил мне из своей пачки, я жадно затянулся.

— Сегодня Юри нервничает,— сказал он.— Вы к нему не очень придирайтесь. Он как перегретый мотор. А вы с вашей взыскательностью только масла в огонь подливаете. Температуру нагоняете.

— Знаете,— заметил я,— перестаньте выражаться автомобильными терминами, это раздражает. Вы что, не можете говорить по-человечески? Значит,— продолжал я,— Юри похож на перегретый мотор, а я со своей взыскательностью только нагоняю температуру. На каком же это подъеме он так перегрелся?

Дылда искоса взглянул на меня и, видно, хотел свистнуть, но воздержался. Вместо этого он стал рассказывать:

— Не знаю, известно ли вам, но у нас есть университетская газета, называется «Студенческое слово». В основном она печатает материалы на литературные темы, статьи, рецензии и прочее, уделяет также место нашим студенческим делам, жизни комсомольских групп и так далее. Юри вот уже два года член редколлегии, а три месяца назад его сделали заместителем главного редактора. Надо вам сказать, что он пописывает статьи, рецензии на книги и театральные спектакли — он особенно силен в вопросах театра. Ни одной премьеры не пропустит, обязательно напишет рецензию. А вы только что его упрекнули, что он не читает книг и не ходит в театр! Ну, ладно. Неделю назад кто-то с нашего факультета приносит статью, в которой восхваляет пьесу «Холода», ее играют в Театре комедии. Юри в это время в редакции не было, ведь он участвовал в комсомольском ралли София — Варна. Главному редактору статья нравится, он благодарит автора и подписывает ее в печать. Юри возвращается после ралли, читает статью в корректуре и хватается за голову. По его мнению, «Холода» фальшивая пьеса, автор старается доказать, что в нашей жизни для простых людей нет тепла. Такова идея пьесы, но Юри говорит, что она хитро прикрыта разными шуточками да песенками. Не знаю, сам я комедию не видел, только слышал, что о ней много спорят: одни превозносят до небес, другие низвергают в тартарары. Юри — мой друг, я его люблю как брата, но с его мнениями не соглашаюсь, пока сам не увижу и не разберусь. Потом, правда, я чаще всего соглашаюсь, но только после собственной проверки. Ну, так вот, читает он, значит, хвалебную статью, которая уже набрана, и, не сообщив главному, идет в типографию и приказывает изъять ее из номера. Можете себе представить удивление главного, когда на следующее утро он берет в руки газету, а статьи-то и нет, на ее месте материал о какой-то комсомольской группе, скука зеленая!

Главный разбушевался, налетел на Юри: как это ты снимаешь материал, который я подписал в печать! А Юри и не думает давать задний ход. Как же не снимать, говорит, материал, если он пронизан самым правым оппортунизмом! Ну, словом, на узкой дороге встретились две машины, и никто не хочет свернуть в сторону! Но главный, на то он и главный, имеет преимущество. Он созывает редколлегию и предлагает наказать Юри: выговор с последним предупреждением, если Юри выступит с самокритикой, а если откажется, вывести из редколлегии. «Выступать с самокритикой,— сказал Юри,— это все равно что впустить правый оппортунизм в дверь». И отрезал: ни в коем случае. Красивый жест! Но последствия были такие, что у моего друга земля под ногами загорелась. Собралось комсомольское руководство. «Если каждый заместитель начнет плевать на решения главного,— сказал секретарь,— что будет с дисциплиной?» Два часа толковали и в конце концов решили вывести Юри из редколлегии. Да еще вынести ему выговор с последним предупреждением. Одним словом: Юри не дал «задний», заупрямился, но ГАИ быстро навела порядок.

Вы, наверно, спросите: почему он получил такое тяжкое наказание? Последнее предупреждение! Обычно, когда наказывают впервые, судьи проявляют хоть немного снисхождения, помните, что «эраре гуманум эст»[1] и что за последние две тысячи лет безгрешных можно пересчитать по пальцам. Но дело в том, что у Юри в личном деле уже есть выговор, опять же за нарушение дисциплины,— это когда год

[1] Errare humanum est (*лат.*) —человеку свойственно ошибаться.

назад мы были в студенческом отряде, собирали урожай яблок в одном крупном ТКЗХ [1].

Может, вы думаете, что Юри был против студенческих отрядов, возражал против работы в селе, как поступают некоторые несознательные молодые люди? Наоборот! «Кто,— говорит он,— справится с тысячами тонн богатого урожая, когда самые крепкие мужчины ушли из сел работать в промышленности?» Одним словом, к этому вопросу у него государственный подход.

Вы скажете: одно дело агитировать, а другое — работать. Так вот, Юри и в труде такой же горячий. Он был первым на уборке яблок — и в сортировке, и при подноске. Благодаря ему наше звено почти всегда выходило на первое место. А если нам случалось занять второе место, то причина была в ком-нибудь из нас — мы просто не могли выдержать темп Юри, он гнал всегда на самой высокой скорости.

«Юри,— просили мы,— остановись немного, у нас головы кружатся!»

«Ничего,— отвечает,— сначала покружатся, потом привыкнете, станете настоящими мужчинами!»

Под «настоящими мужчинами» он понимал людей, которые регулярно перевыполняют нормы, а по вечерам поют у лагерного костра. Надо вам сказать, что вечером у лагерного костра обычно сидело человек пять-шесть, а остальная сотня спала мертвым сном. Кстати, из этих бодрствовавших у костра один Юри был действительно «настоящим», остальные — разные там начальники да учетчики, сгибавшие спину только ради того, чтобы удостоить вниманием какое-нибудь зрелое яблоко. Зато они строго следили за нашей трудовой дисциплиной и поведением.

Юри был образцовый — в самом комсомольском смысле слова — бригадир. Каковы источники его энтузиазма: политическая сознательность или вдохновение, чувство дисциплины или стремление быть первым — не знаю. Может, это любовь к работе; есть люди, которые обожают что-нибудь делать и, уж если начнут, вкладывают всю душу, горят на работе. Мне кажется, для Юри важно последнее — за что ни возьмется, делает от всего сердца, не жалеет сил, и не из-за какой-то личной выгоды или честолюбия, а потому что находит удовлетворение в постоянной жажде достигнуть чего-то, чего другие до него не достигли. Я ему по-хорошему завидую, должен честно признаться, что в этом отношении он стоит выше меня. И в то же время за меньший труд я получил значок отличника, а он, несмотря на самоотверженность, навлек на свою голову большие неприятности и заработал выговор.

Наша бригада располагалась в школе, современной, из стекла и бетона, а наше звено занимало один из классов на втором этаже. Спали мы с открытыми окнами, постелью нам служили матрацы, набитые ароматным свежим сеном.

Итак, без четверти десять лагерный костер гас, а в десять ноль-ноль все без исключения должны были лежать на своих матрацах. Наши начальники отличались строгостью, требовали дисциплины — немного опоздаешь без разрешения, утром перед строем получаешь выговор.

Конечно, в какой-то степени это оскорбляло наше чувство свободы и независимости, но с государственной точки зрения такая мера очень разумна: во-первых, предотвращалась возможность халтуры и участия в легкомысленных авантюрах, а во-вторых, известно, что отдохнувший человек лучше работает и труд его более эффективен.

[1] Трудовое кооперативное земледельческое хозяйство.

Матрац Юри был рядом с моим. Хорошо, когда друг близко, но у Юри была противная привычка будить меня каждый раз, когда он возвращался с лагерного костра. Только я засну, он меня толкает под ребра: «Ты спишь?» Как же иначе! Я целый день таскал ящики, а дома даже чайную чашку с полки не сниму. «Сплю»,— отвечаю я возмущенно и поворачиваюсь к нему спиной. «Какая ночь! — говорит Юри, и я уже знаю, что он положил руки под голову и смотрит в потолок круглыми, как у кота, глазами.— Белая ночь, будто день!» Я ему говорю, что это от луны, и натягиваю одеяло на голову. Но не думайте, что от Юри так легко отделаться. Это только начало. От светлой ночи он перескакивает к луне, от луны — в космос, а из космоса по неведомым путям ассоциативного мышления, как в книгах некоторых современных авторов,— прямо в закусочную на площади Славейкова: «Тебе хочется супа из рубцов?» Я отвечаю, что был бы не прочь, мы оба вздыхаем и начинаем думать о самых обыкновенных вещах — о ливере в печке, о девочках, о «джипах» с двойной передачей и «ситроенах» с поднимающимся шасси; я скидываю с головы одеяло, и мы болтаем, неизвестно до какого времени, тихонько, чтобы не помешать остальным. Последствия этих ночных разговоров я чувствую днем: усталость подбирается рано, хочется спать, приходится хитрить, чтобы выиграть время. Когда я уже совершенно «дохожу», на помощь приходит Юри — он выполнил свою норму и берется за мои ящики.

Однажды ночью я просыпаюсь от дальних раскатов грома. В раскрытые окна врывается ветер, лампа качается. Гляжу — Юри нет, одеяло аккуратно сложено, видимо, его не трогали с вечера. Смотрю на часы и ужасаюсь — скоро полночь. Между тем раскаты грома усиливаются, молнии так и полыхают, начинается проливной дождь. Где же Юри? Засиделся за бокалом вина? Вряд ли, не с кем. Загулял? Я знаю Юри, он и в Софии не мог найти себе девушку, а не то что в селе. Уж не заблудился ли он в этой грозовой тьме? Мне хочется вскочить и бежать в штаб: «Юри нет, поднимайте тревогу!» Но я колеблюсь, откуда мне знать, случилось ли что-нибудь серьезное или это какая-нибудь небольшая авантюра, после которой он вернется живой и здоровый. И вместо добра я причиню ему зло — может, он решил проскользнуть потихоньку, чтобы его не заметили те, из штаба. Но как же он вернется тайком, если дежурные всю ночь на страже?

Видите, какие мучительные вопросы обуревали меня. Даже Цезарю было легче, когда он сомневался, перебираться ли через какую-то там речушку Рубикон. Ему не так уж трудно было сказать: «Алеа якта эст», то есть «Жребий брошен», потому что и речушка была мелкой, и легионы у него за спиной, вооруженные до зубов. А что у меня за спиной? Храпящие ребята, которых даже гроза не смогла разбудить. Ну, а штаб, который изо всех сил наводил дисциплину, посерьезней, чем десяток Рубиконов, вместе взятых.

Кстати, о штабе. Он состоял из трех человек: секретаря комитета комсомола, аспиранта и представителя районного центра. С нашими еще можно было жить, но тот, из района, был человеком трудным. Лицом кроткий, женственный, почти безусый, а посмотришь ему в глаза — вздрогнешь: острые как бритва, напоминают подсиненные кусочки льда. Он закончил техникум по деревообработке и причислял себя к передовому отряду рабочего класса. К нам относился недоверчиво, даже подозрительно. «Интеллигенты — как буйные кони,— говорил он,— если их крепко держать в узде, творят чудеса, а если отпустишь, могут и в канаву тебя опрокинуть». Откровенный был человек. С вечера он выставлял сторожей дежурить посменно около школы, и сам, надев что потеплее, среди глухой ночи выходил

проверять. Осмотрит классы, коридоры, если увидит, что кто-нибудь сбросил во сне одеяло, укроет его, а дежурному погрозит пальцем: «Это так ты, прохвост, следишь, чтоб они не простудились?» Утром он поднимался первым, контролировал поваров. А начнем работать на участке, снует повсюду, и каждый из нас словно чувствует его взгляд на своей спине. Вот какой чудак был представитель районного центра. Звали его Ангел, а мы между собой величали Архангелом.

Итак, дождь хлещет, молнии сверкают, гром гремит, а матрац подо мной словно бы не ароматным сеном набит, а колючками. Даже сердце у меня стало биться учащенно, явно смесь в цилиндрах сгорает неравномерно. Одно не шло у меня из головы: вдруг с Юри случилось что-то плохое. Может, на него напал классовый враг и сейчас он, раненый, лежит под дождем без всякой помощи? Или он поскользнулся, когда перепрыгивал через ту речушку, что течет между полями и селом, разбился и нет у него сил подняться наверх?..

И тут Юри появляется в дверях, оглядывается, отряхивает волосы от воды и тихонько пробирается в наш угол. Он не ранен, вид у него совсем нормальный. Только мокрый он, как утопленный котенок.

Я сажусь на матраце и пристально смотрю на него. Сердце мое работает на больших оборотах.

«Ты почему не спишь?» — шепчет Юри, загадочно улыбаясь.

В голове моей копошится рой слов, и ни одно из них не может выбраться вперед, другие его отталкивают. А Юри, порывшись в своем чемодане, достает сухое белье и начинает переодеваться.

«Где ты был?» — спрашиваю и удивляюсь своему голосу, словно это вовсе и не мой.

«Прогулялся немного»,— пожимает плечами Юри.

«Как это так,— говорю,— до полуночи?»

«Ничего, бывает!» — небрежно отвечает он, и странная улыбка снова скользит по его губам.

«Архангел тебя видел?»

Юри утвердительно кивает головой.

«Ну?»

«Дал мне рюмку коньяку».

«И только?»

«Остальное отложил на утро».

«Не поздоровится тебе! — говорю я и думаю, что он это заслужил. Меня злит, что он напускает таинственность, ничего не объясняет. И я повторяю: — Здорово тебе влетит».

Юри небрежно машет рукой.

«Послушай,— говорит он, открыто и спокойно глядя на меня, будто ничего особенного и не случилось,— удивляюсь, чего это тебе не спится. Завтра как тень будешь таскаться по полю. И смотреть умоляюще: помоги мне! Но я тебе помогать не буду. Плохим детям, которые не спят ночью, помогать не следует. Их нужно приучать к порядку».

Он смеется и, повернувшись ко мне спиной, с головой укрывается одеялом. А через несколько минут я слышу его глубокое и ровное дыхание. Спит, как младенец!

Я тоже стараюсь заснуть, но мне почему-то так обидно, что даже глаза щиплет.

Смотрю — входит Архангел, крадется между рядами соломенных матрацев. Он тащит толстое одеяло, укрывает им Юри. Потом так же тихо, на цыпочках, удаляется.

Утром Юри не вызвали перед строем, а потребовали для объяс-

нений в штаб. Он получил строгий выговор без занесения в личное дело.

«Как это они проявили такое снисхождение?» — спросил я.

«Я им сказал, что заснул под сливой и проснулся, только когда загремел гром и пошел дождь».

«И они поверили?»

«Сделали вид, что верят».

«И Архангел?»

«Он тоже».

«А все же, может, ты скажешь, где был».

«Заснул под сливой,— засмеялся Юри,— и проснулся, только когда загремел гром и пошел дождь».

Я отвернулся и дал себе слово не делиться секретами с этим человеком. Даже самыми обычными. Какой, оказывается, скрытный и неискренний!

Только этим выговором дело не ограничилось. Юри наказали опять, за неделю до нашего возвращения, и на этот раз Архангел не проявил снисхождения. Как его наши ни просили, он остался непреклонен, заявил, что не собирается отвечать за снисхождение к какому бы ни было интеллигенту.

Вы спросите, а что, в сущности, сделал Юри? Уж не отнесся ли он небрежно к работе? Ничего подобного. Он постоянно перевыполнял норму, а после второго выговора три дня подряд давал по две нормы — рекорд, перед которым даже Архангел, его жестокий судья, был вынужден снять шляпу.

Напрасно я говорю «жестокий судья». Потому что если оргработники не будут настаивать на суровых взысканиях, к чему это приведет? А вы знаете, что во второй раз Юри вернулся в два часа ночи? Да, пришел в два часа. А ночь была светлая, звездная, чудесная ночь. И снова:

«Где ты был?»

«Задремал под сливой».

«Врешь»,— говорю я.

«Если знаешь, что вру, зачем спрашиваешь?» — И смеется весело, не притворяется.

«Архангел тебя видел?»

«Как он мог меня не видеть?»

«Ну?»

«Ничего, пока притаился. Завтра мне душу вынет...»

На этот раз ему дали строгий выговор с занесением в личное дело.

Теперь вам ясно, мне кажется, почему наша факультетская организация так строго наказала Юри. Когда человека уже раз наказали, ему надо быть начеку, начальству не противоречить, спокойно и терпеливо ждать его распоряжений. Потому что в конце концов за все отвечает начальство: и за хорошее и за плохое, а помощники всегда остаются в тени. Вы видели, чтоб когда-нибудь наказывали помощника главного? Да никогда.

Вы скажете: а святая истина? Ведь все за нее в ответе, а не только главные? Прекрасно, не возражаю. Высказать откровенно свое мнение по такому-то вопросу — разве это не борьба за правду? Высказываешь свое мнение, совесть твоя спокойна. И все тут!

Честно признаться, в душе я не согласен с этим принципом пассивной борьбы, он мне не по сердцу. Но я и не сторонник авантюр. Человек должен учитывать обстановку и свои возможности. Если твое личное дело чистое и у тебя есть общественный кредит — воюй, черт бы всех побрал, рискуй! Но если у тебя выговор, действуй сдер-

жаннее, не лезь на рожон, как говорится, а используй возможности пассивной борьбы.

Извините, что я отклоняюсь от темы и излагаю свои мысли, я это делаю, чтобы вы поняли, что за человек Юри. В сущности, вы еще не смогли этого понять, потому что я не рассказал самого главного.

Вернулись мы, значит, из села, я — со значком отличника, а он с выговором. Но как бы там ни было, жизнь шла своим чередом, ведь это последний год нашей учебы, предстоят серьезные экзамены. Но, конечно, мы не с утра до вечера зубрим. Я, к примеру, бренчу на пианино, это наша семейная традиция. Отец у меня аптекарь, когда-то у него была собственная аптека, он отлично играет и классиков, и современную музыку. Я предпочитаю современную, мое хобби — эстрада. Так вот, мы часто собираемся, я играю — остальные танцуют, потом Юри играет — я танцую. Он хоть из музыкальной семьи — ведь у него брат такой композитор! — но слабости к музыке не питает, его страсть — литературная критика, а хобби — автомобиль. И я люблю автомобиль, но не до такой степени.

Итак, мы учимся и развлекаемся, как можем, а у меня все не выходит из головы загадка: куда это Юри тогда ходил? Мне бы хотелось верить, что тут замешана девушка. Но потом, как подумаю, говорю себе: не может быть! Нет такой девушки! Разве шило в мешке утаишь? Ведь что-нибудь да стало бы известно — в городе ничего не скроешь, а тем более на селе. Ладно, не было девушки, а что же было? Видно, не пустяк, раз он очертя голову кинулся. Это все равно что дать задний ход на узком мосту, а мост высотой примерно метров сто. Вы бы дали на таком мосту задний ход?

И вот однажды, когда мы были в отличном настроении, я попросил его открыть правду, иначе, говорю ему, нашей дружбе конец, раз мы не доверяем друг другу и между нами тайны. И, представьте, он мне все рассказал. Только взял с меня честное слово, что я не буду болтать об этом с местными, если придется снова побывать в тех краях, да и перед нашими комсомольскими руководителями должен быть нем, как могила. Я его заверил, и он мне все рассказал. Как вы сами увидите, о любви в этой истории не будет ни слова.

В том селе был свой естественно-исторический музей, скромная коллекция, которая размещалась в двух комнатах клуба. Крестьяне очень гордились этой культурной достопримечательностью. О музее упоминалось в окружной газете, а если в село приезжал гость — наш или иностранец,— ему обязательно показывали экспонаты.

Основателем музея был бывший учитель по имени Стоян. Он преподавал в школе историю, а в свободное время бродил по окрестностям, разыскивал и собирал разные вещи: старинные монеты, черепки, мелкие украшения, острия стрел, изъеденные ржавчиной ножи и так далее. Много лет трудился, а когда пришло время идти на пенсию, сказал в общинном совете: «Все это я дарю селу, устройте в клубе музей, пусть люди знают древнюю историю нашего родного края». Коллекцию приняли и разместили ее в клубе, а дядюшку Стояна назначили директором, причем даже выговорили ему небольшое — на табак да на ракию — месячное вознаграждение.

Время шло, дядюшка Стоян продолжал бродить по полям и холмам и все что-нибудь прибавлял к коллекции, так что две комнаты в клубе были битком набиты. Приезжали разные люди, читали надписи, которые дядюшка Стоян делал собственноручно, дивились на этот самодеятельный музей, хвалили общинных советников за их живой интерес к культуре и истории.

Но у времени нет тормозов, сам Ламартин сказал в одном своем стихотворении: «О время, останови свой ход, и вы, сладкие часы,

остановите ваш бег!» А поскольку тормозов-то нет, время летит и летит, а с ним и годы дядюшки Стояна. Несколько лет назад привязался к нему суставной ревматизм, мало он, что ли, копался в земле, лазил по ямам! А при суставном ревматизме археологией не очень-то займешься, он держит человека дома, в постели. Дядюшка Стоян, когда-то вольная птица, не хочет, чтобы его считали больным, тайком глотает аспирин и, опираясь на палку, ежедневно ходит в свой музей. Ходит он по трем причинам: во-первых, дома ему не сидится, он вдовец, у него есть дочь, но живет она в городе; во-вторых, не может он без своих старинных вещей, они стали его жизнью, без них он чувствует себя как бы вне мира; в-третьих, ведь он получает ежемесячное вознаграждение от общины, люди не должны зря платить ему деньги. Таковы были мотивы, по которым дядюшка Стоян каждый день ходил в музей, несмотря на болезнь, и какой из них был самым сильным, вряд ли он ясно себе представлял.

Но вот в общинный совет пришли новые люди, требовательнее прежних; они просматривают каталог коллекции и видят, что уже два года она не обогащалась ни одним глиняным черепком или там куском ржавого железа. Некоторые предлагают даже ликвидировать коллекцию, тем более что некому бродить по полям и собирать старинные вещи, или передать ее в окружной центр, там есть настоящий музей и специалисты, это их работа — рыться в исторических пластах и искать остатки древности.

К тому же это соответствует теперешней линии на централизацию, сказали эти люди. Сейчас отраслевые предприятия укрупняются в целях достижения более высокой эффективности!

Услышав это, председатель совета готов был уже отказаться от естественно-исторической коллекции; в глубине души он даже обрадовался: ведь в клубе освободятся две комнаты, одну можно отдать ТКЗХ, а вторую — самодеятельным танцорам.

Но с решительным протестом выступили учителя, ветеринарный врач, пастухи с овцеводческой фермы, которые кое-что понимали в археологии, поскольку не раз встречали в полях древние могильники. Большое впечатление произвел и отчаянный протест дядюшки Стояна.

«Послушайте,— сказал он сторонникам централизации,— подождите годик-другой с укрупнением. Я вам торжественно обещаю, что к осени пополню нашу коллекцию новыми экспонатами. У меня на примете несколько мест с множеством удивительных старинных вещей. Я напишу в газету, и вы увидите, сколько народу бросится в наше село. Даже из-за границы будут приезжать. Вот я думаю, где мы разместим столько народу. Уж не пристроить ли нам небольшую гостиницу к клубу?»

Эта идея вызвала энтузиазм даже у самых упорных приверженцев централизации.

«И как знать,— продолжал дядюшка Стоян,— может, через несколько лет, поскольку мы идем от хорошего к лучшему, нас объявят городом!»

Предположение о том, что село может стать городом, еще никому не приходило в голову и поэтому произвело на общественность потрясающее впечатление, председатель даже побледнел. Он махнул рукой, глубоко вздохнул и сказал:

«Хорошо, дядюшка Стоян, даем тебе срок до осени — умножай старину, что собрал до сих пор. Если справишься с этой задачей, мы воздержимся от подарка окружному городу».

Упоминая об археологических находках, дядюшка Стоян имел кое-что в виду. Правда, он упустил из виду суставной ревматизм,

рассчитывал, что к лету будет в форме, но человек предполагает, а бог располагает. Ревматизм не только не оставил его в покое, а приковал к постели. И вот в такой драматической обстановке появился наш Юри. Он осмотрел музей, потом навестил старика, понял его трудное положение.

«Могу ли я чем-нибудь помочь?» — спросил Юри.

Старик помолчал, повздыхал, а под конец сказал:

«В трех километрах отсюда — там, где река делает поворот, есть курган с вязом наверху. В свое время, лет двадцать назад, там работали археологи, я им помогал. Что поценнее они забрали, остались куски терракоты, разбитые горшки и разная мелочь из меди. Эти вещи могут теперь пригодиться: сделаю к ним надписи, склею кое-что, отчищу какой-нибудь медный обломок, и, глядишь, будут считать, что музей обогатился. Тогда его не подарят, он останется нашей славой, да и мне будет где заняться, чувствовать себя живым человеком. Беда только, что ноги меня не держат, я и полпути до кургана не прошел, как они подкосились».

Дядюшка Стоян замолчал, а Юри улыбнулся своей чудесной доброй улыбкой и сказал:

«Это непорядок — грустить на старости лет, человек ты заслуженный, и для меня большая честь помочь тебе. Нарисуй мне точно место — я притащу те вещи. Все останется в полной тайне, пусть думают, что это ты их нашел...»

У Юри слово не расходится с делом. Голову заложит, но сделает. На этот раз он рисковал комсомольским билетом.

Вы меня спрашивали, за что он получил строгий выговор. Вот я вам рассказал, а вы судите, на чьей стороне справедливость!

■

С этими словами друг Юри закончил свой рассказ, и поскольку от долгих речей горло у него пересохло, он залпом выпил рюмку вина. При этом многозначительно улыбнулся, словно хотел сказать: «Вот как обстоит дело в действительности, а не так, как ты, старик, думаешь». Потом лицо его приняло прежнее добродушно-легкомысленное выражение — дескать, мы молоды, давайте потанцуем и посмеемся, а для сложностей будет время, нам их не избежать. «Вы судите, на чьей стороне справедливость!..» Хитрец! По тому, как он рассказывал, по иронии в отношении одних, шутливому сарказму в отношении других видно, на чьей он стороне, но зачем нужно скрывать это?

Он вытер рот и посмотрел мне в глаза.

— Итак,— сказал он,— что вы теперь думаете о Юри?

Теперь! Я разозлился и резко ответил:

— Я думаю, что в отличие от вас Юри открытый и смелый парень. В прежнюю эпоху он наверняка стал бы революционером и, может, не дожил бы до наших дней. А вы бы тайно симпатизировали революционерам, не больше.

Он задумался.

Я взглянул на часы. Пора было пожелать Дылде спокойной ночи.

■

Но для меня ночь не была спокойной. Я ворочался на своей солдатской койке — очень мешало проклятое окно. Это матовое стекло, прикрепленное тонкими проволочными нитями к толстой железной раме, мне казалось огромным немигающим глазом, далеким и грустным. Я чувствовал тяжесть его взгляда, он давил на меня, словно свинцовая или каменная рука. Говорю себе, что завтра обязательно закрою

окно полотняной занавеской, которую можно отодвинуть днем, когда матовое стекло делает освещение спокойным и естественным. А вечером — к черту, не нужно мне никакого глаза.

Потом начинаю думать, что этот глаз пропускает через себя свет звезд, а я всегда любил этот небесный виноградник, гроздья из янтаря, золота и серебра. Впрочем, бог с ними, со звездами — это романтика, присущая молодости, а сейчас лучше подумать о том, на чьей же стороне справедливость.

Я зову Юри, усаживаю его в большое кресло у камина. Он не кажется смущенным, держится свободно, с любопытством рассматривает слинявшие рисунки на ширме и улыбается — кто знает, каких глупостей по моему адресу наговорил ему брат! Он улыбается, но брови его сдвинуты, и глаза невеселы. Губы смеются, а в глазах таится горечь. «Вот,— думаю,— так выглядит человек, которого наказали, но не смогли внушить, что он действительно ошибся!»

— Ты считаешь себя правым? — спрашиваю я его.

— А как же иначе? — Юри разводит руками.— Ни минуты не сомневаюсь. Разве это грех — поддержать доброе дело? Помочь достойному человеку, полезному для общества? Какие же мы коммунисты, если не протянем руки хорошему человеку, попавшему в беду?

— А случай со статьей о пьесе «Холода»?

— К черту «Холода»! Это дрянная пьеса. Мое мнение неизменно.

Юри держится за свою правду — глубоко верит, что в обоих случаях поступил как настоящий коммунист.

Я провожаю его и зову Ангела.

— Ну, Ангел,— говорю,— почему вы так жестоко наказали молодого человека?

— А разве можно иначе? — Ангел разводит руками так же, как только что Юри.— Он дважды нарушил правила внутреннего распорядка, просто пренебрег дисциплиной. Если бы он самовольно ушел днем, наказание, конечно, было бы мягче. А ночью! Представляете, что бы случилось, если бы его друзья решили последовать его примеру? Да в том селе десятки молодых женщин, чьи мужья работают в промышленности, в городах, женщин одиноких, соскучившихся по мужской ласке. Я ничего не хочу сказать против этих женщин, но у природы неписаные законы — там, где нет мужчин, появляется любовный голод, а голод, как известно еще с незапамятных времен, плохой советчик. Если бы за этот проступок мы не наказали Юри — конец дисциплине! А так и дисциплина осталась на высоте, и с урожаем справились, нас проводили с песнями и благодарностями. Вот как надо поступать в подобных случаях. Во всем должен быть порядок.

Я по-мужски пожал ему руку, и мы расстались. Затем я пригласил в гости главного редактора. Держался он учтиво, сказал, что рисунки на ширме и на стенах интересны, старые вещи выглядят очень мило, а камин просто уникален. Не знаю почему, только тепло мне от этих комплиментов не стало, даже показалось, что я читаю статью о своих работах — вроде бы любезную и благожелательную, но между строк ее проскальзывает высокомерие и холодок. Поэтому я задал ему вопрос прямо — выслушаю и пусть уходит.

— Итак,— спросил я,— не считаете ли вы, что потребовали слишком сурового наказания для своего заместителя?

Он развел руками, как только что те двое, и по его тонким губам скользнула почти страдальческая улыбка.

— Вы ошибаетесь, товарищ,— я *ничего* не требовал, решение об этом было принято вышестоящей инстанцией. Я только изложил там факты. Как в каждой редколлегии, так и в нашей, заместитель главного редактора имеет право на совещательный голос, он может выска-

зывать свое мнение на заседании редколлегии, спорить с главным редактором, предлагать свое решение. Но после того как вопрос решен главным редактором, заместитель и другие члены редколлегии *должны* подчиниться. Несоблюдение установленного порядка влечет санкции, и, по-моему, это очень справедливо. Во что превратится редколлегия, если каждый будет считать себя начальником?

— Так-то оно так,— сказал я,— но речь идет о статье по поводу пьесы «Холода».

Главный редактор снисходительно улыбнулся и покачал головой:

— Вы снова ошибаетесь, речь идет о дисциплине, а не об этой статье. Извините, но вы смешиваете главное с второстепенным.

— Может быть,— сказал я и вдруг почувствовал, как бессмысленны все эти разговоры; то, что случилось, случилось, и дискутировать тут — пустое и безнадежное дело. Пока я думал об этом, главный редактор потихоньку выскользнул из комнаты.

Напрасно я терял время, исследуя вопрос о выговоре, который получил Юри. У Юри было основание считать наказание несправедливым, он боролся за свою правду и защищал ее изо всех сил. Но и у Ангела были основания защищать свою правду и у главного редактора — тоже. Каждый имел для себя право, каждая правда в отдельности была разумной — так, кажется, говорят юристы. Подумав так, я почувствовал, что мне становится жарко: ведь и Дылда занимал ту же позицию — дескать, каждый прав в отдельности и не надо становиться на чью-либо сторону,— а я его отругал.

Я скинул одеяло на пол. Повернулся к окну, и снова мне показалось, что оттуда смотрит огромный глаз, далекий и грустный и к тому же ужасно упорный.

Какой там глаз! Оттуда струился тихий рассеянный свет звезд.

■

Проснулся я ни свет ни заря и в отвратительном настроении, как часто бывало и раньше. Солнце светит в окно, серебряный зайчик весело прыгает по стене, со двора, от Белоснежки, плавно льется какой-то венский вальс, а я вдруг вспоминаю, что остался без гроша в кармане. Тогда я утешал себя тем, что на свете бывают и худшие пробуждения, например, когда предстоит удалить зуб без замораживания или вести диалог с хозяином комнаты, которому ты задолжал за столько-то месяцев.

Сейчас, слава богу, я не сижу без денег и никакой хозяин меня не заботит, а если случайно заболит зуб, пойду к самому знаменитому врачу. Вообще, многое из того, что когда-то омрачало по утрам мое настроение, давно перестало влиять на мое житье-бытье. Просто удивительно, как это я просыпался в плохом настроении, когда надо было задыхаться от смеха.

Я сварил кофе, потом взялся за палитру и, соскабливая краски, вспомнил о картине на софийскую тему. Сюжет ее мне до сих пор не ясен, а прошло уже столько месяцев! То, что я задумал нарисовать дом, еще ничего не значит. Мало ли прекрасных идей, а возьмешься за кисть — пустыня и туман, потому что образ не родился. Таких домов, как наш, сколько угодно, но из какого именно смотрит то, что, попросту говоря, называется «сегодняшней жизнью»?

Как будто я думал о картине, а между тем мысленно снова вернулся к квартире Юлии. Совесть меня мучает: честно ли я поступил, скрыв билет, а точнее выигрыш, хотя бы даже и временно? Мною, конечно, руководили какие-то разумные соображения, но что они, в сущности, такое? Разве не разумны по-своему соображения Ангела — Архангела и главного редактора?

Бросив недочищенную палитру, я начинаю ходить взад-вперед по мастерской. Потом подхожу к окну, за которым просыпается город. Золотистый утренний туман покрывает прозрачным муслином равнину за лесом, вершины Стара Планины опоясала блестящая малиновая лента. Город просыпается шумно, уверенно, без ленивого потягивания и зевоты, на улицах призывно гудят автобусы, снизу, с ближайшего угла, доносится говор и стук ящиков — в наш магазин привезли молоко, булочки, теплые пирожки с брынзой. Я смотрю на блестящие крыши, ощетинившиеся антеннами, которые ловят в эфире марши и песни, чтобы людям было весело начинать свой рабочий день.

Я вижу, как готовится к нему молодой человек в синем комбинезоне — символ жизни. Когда-то у него в руках был железный молот, а сейчас он вынимает из кожаного футляра логарифмическую линейку. Когда-то в его глазах горел огонь разрушения, ведь он должен был сокрушить цепи, которыми царь Капитал сковал его ноги, а сейчас его ясные глаза спокойно и сосредоточенно всматриваются в знаки на логарифмической линейке. Он будет строить дома для людей, и заводы, и электронные машины, он пойдет гигантскими шагами вперед, ноги его свободны, на них нет цепей.

И я улыбнулся, может, оттого, что блестящая малиновая лента на вершинах Стара Планины была удивительно прекрасна, или потому, что не мог насмотреться на прозрачный, покрывший ее золотистый муслин, или почувствовал, что мои представления о символе, о человеке в синем комбинезоне устарели и были романтически наивны?

Я улыбаюсь — все не так уж плохо на этом свете. В конце концов, когда засидишься на одном месте и набегут годы, а по разным причинам ты остался старым холостяком, всякое может прийти в голову — и веселое и грустное.

А все-таки я придумаю сюжет, говорю я себе, для того небольшого софийского дома, из которого смотрит, попросту говоря, новая жизнь; и квартира Юлии не убежит — в один прекрасный день сосчитаю до десяти и скажу ей: «Пожалуйста, Белоснежка, входи, этот дворец твой! Нравится тебе?»

И тут мне в голову пришла мысль, которая так меня изумила, что некоторое время я стоял, словно прислушиваясь к какому-то долгожданному звуку. Гляди-ка! — покачал я головой и взволнованно прошелся между мольбертом и подсолнечником на ширме. Ну и ну!

Мне уже не сиделось на месте. Автобусы призывно гудели, стука ящиков не слышно, наверно, товар уже разгрузили, а из магазина приятно пахло молоком и теплыми пирожками. Я сунул в карман кисет, трубку и, прежде чем выйти, выглянул в окно. Уже не было блестящей малиновой ленты и прозрачного муслина — сияло обычное солнечное утро, улыбающееся и спокойное.

Тихонько насвистывая, я спустился по лестнице, вышел на площадку перед домом, кивнул черешне — с добрым утром! Смотрю, наш привратник тоже куда-то собрался, сдвинул кепку на затылок и сердечно мне улыбается. Мы с ним большие друзья, часто болтаем о разных вещах, ведь мы по целым дням дома, работа у нас такая.

— Доброе утро, бай Танас,— улыбаюсь я в ответ,— ты куда собрался в такую рань?

— В дорогу,— говорит бай Танас,— к себе в село.

— Да ну? — удивляюсь я.— Ты ведь совсем без вещей, уж не за Витошей ли ваше село?

— Какое там за Витошей,— машет рукой бай Танас,— мое село в горах, возле Врацы, от станции до площади, где почта, автобус идет полчаса. А без вещей я нарочно, потому что думаю кое-что оттуда привезти. В селе мне все родня — и по отцовской, и по материнской ли-

нии, так что с пустыми руками не отпустят. И не из жалости, они знают, что у меня жена работает, да и как привратник я кое-что имею, так что живем неплохо, да только они богаты, все у них есть, вот и приятно им делать подарки.

— Зажиточное, значит, село! — Я, как полагается, цокаю языком и уже намереваюсь пожелать ему доброго пути, но тут он вносит чудесное предложение:

— Поедем со мной, на людей посмотришь и себя покажешь. Сегодня День овцевода,— может, что нарисуешь, возьми блокнот и толстый карандаш. Туда мы доберемся часам к десяти, а вечером есть восьмичасовой поезд — последний автобус еще не вернется в парк, а мы уже будем дома.

Я было хотел поразмыслить над его предложением, но появился автобус, и бай Танас решительно сказал: «А ну, давай!» Он выбежал на улицу, припадая немного на правую ногу, и я бросился вслед за ним.

Мы сели в поезд за несколько минут до отхода. Я расположился у окна, еще с трудом переводя дыхание. Все-таки каким динамизмом наполнена наша жизнь! Ведь только что я бродил по мастерской в дурном настроении, запутавшись в туманных суждениях о правде человеческой, а сейчас очутился в гуще жизни, всматриваюсь в то, что проносится передо мной — толпы спешащих людей, группы рабочих у заводов, трамваи и машины, тяжело нагруженные самосвалы,— и испытываю такое чувство, будто попал из одного мира в другой. В сущности, я никогда не стоял в стороне от главного. Обоз никогда не был в моем вкусе. До революции я выставлял свои картины вместе с прогрессивными художниками, писал листовки, делал фальшивые паспорта для нелегальных. Потом учительствовал в Добрудже, и пока смешивал краски, собираясь рисовать старые колодцы с журавлями, пришли бригадиры и началось строительство насосных станций. Как предмет живописи насосные станции не привлекали моего внимания, но люди, делавшие их, были интересны, и у меня сохранилась целая галерея портретов, относящихся к тому вдохновенному времени. Кто говорит, что я не шагал в ногу с жизнью? Но я рисовал новое не только так, как оно выглядело в действительности, а так, как видел его когда-то в своих снах, и потому несколько иначе, чем другие. Более молодые мои коллеги поджимали губы. Это, мол, какая-то романтика. Я посмеивался про себя — в конце концов, они ведь не видели моих тогдашних снов.

Я сидел у окна вагона, радовался солнцу, лужайкам, которые пролетали передо мной, а Танас спокойно дремал в уголке. Вот, думал я, человек, которого не так уж тревожит сложность вещей, он выработал привычку сводить всевозможные житейские неурядицы к нескольким определенным группам, и для каждой группы у него есть готовые решения. Он похож на тех старых докторов, которые все простуды, ларингиты, ангины, трахеиты и прочие хвори лечили одним аспирином, изредка прибегая еще ко все исцеляющему йоду. Всю жизнь я завидовал людям типа Танаса! Идут, черт их возьми, насвистывают веселые хоро, а если нужно, возводят заводские трубы прямо до небес. Однажды я поднялся до верха такой трубы, по внутренней лесенке, разумеется, и как глянул оттуда — голова закружилась. Спросил строителей: «А вам не страшно работать на такой высоте, ведь голова может закружиться и упасть недолго?» А они в ответ: «Мы следим, чтобы кладка велась как полагается, все наше внимание в работе, когда же нам думать о головокружении?»

Два года назад Танас еще работал токарем на софийском заводе, и судя по значкам, которые он надевает на первомайские парады,

можно заключить, что был передовиком. Но однажды случилось несчастье: после работы он копался в машине, и какие-то зубцы или катки прижали кисть его левой руки, порвали сухожилие. По характеру человек смелый — в молодости, будучи пастухом, он выходил с топориком против двух волков,— Танас тем не менее страшно боялся хирургов, проявил малодушие и потому не долечился, как полагается, вот пальцы его левой руки и остались неработоспособными.

На заводе встревожились, решили направить его на комиссию, чтоб получал пенсию, ведь несчастный случай произошел на работе. Пенсия была у него уже в кармане, по крайней мере, так выразился цеховой профсекретарь, но в последний момент Танас испортил все дело. «Это,— говорит,— неправильно, потому что, когда все случилось, я оставался не для того, чтобы выполнить заводскую работу. Иначе я бы сказал, чтобы мне записали сверхурочные. Разве их так упускают? А я надумал смастерить шарик из бракованного железа. Попросил нашего сменного мастера: так и так, говорю, есть у меня племянник, хочу ему игрушку сделать, можно? Мастеру, хоть он и поморщился, неудобно было мне отказать. Ну, принялся я мастерить, а на душе у меня нехорошо, мастер-то ведь поморщился, я человека на незаконный поступок толкнул. Что-то точит меня внутри, а когда с таким чувством работаешь, обязательно беда придет. Вот как было дело — игрушку я делал, а теперь государство должно мне платить пенсию? Это непорядок!»

Таким вот образом Танас испортил все дело с пенсией; парторг цеха привел его поступок как пример сознательности, потом задумался: сознательность, конечно, дело похвальное, но она ни в коей мере не решает вопрос о пропитании. Решили нашего Танаса трудоустроить. С изуродованной рукой нельзя быть токарем, но ведь что-то делать можно, например, толкать тележку, собирать в нее куски бракованного металла и стружку. Танас согласился, даже глаза у него заулыбались — как важно, чтобы человек не остался без дела, занят был чем-то полезным, находился среди товарищей.

Раз-другой Танас провез тележку мимо своего станка, на котором работал его бывший ученик. Негромко насвистывая, усердно собирал то, что полагается собирать. Но когда в третий раз прошел мимо того места, где так часто алел переходящий флажок передовика цеха, Танас вдруг всхлипнул и стал сморкаться, словно его одолевал сильный насморк. Те, что находились поблизости, сделали вид, будто ничего не замечают. Со всяким может случиться, что привяжется сильный насморк. Уехал Танас со своей тележкой, высыпал отходы, а потом прямо к инженеру.

— Не могу,— говорит, снял фартук и аккуратно сложил его.

Инженер какое-то время молча смотрел на него — зачем расспрашивать, когда и так все ясно.

— Не могу я больше,— повторил бай Танас и почувствовал, как лоб его покрылся испариной, столь мучительным было его смятение.

— Ну, это твое личное дело,— посмотрев прямо ему в глаза, сказал инженер.— Потому что,— назидательно продолжал он,— зазорной работы нет, и тебе не следовало бы стыдиться своей новой должности.

Инженер был молод и, очевидно, не знаком с тем типом людей, которые, например, ведут кладку заводской трубы на большой высоте, насвистывая «Боряна, Боряна, только ты одна», и при этом не испытывают головокружения, потому что целиком поглощены работой. Танас, полагаю, относится именно к этому типу людей, но инженер по молодости лет смотрел на него другими глазами, думал, что дело в уязвленном самолюбии квалифицированного мастера. Поэтому все,

что ни говорил инженер относительно разных видов труда, у Танаса отклика не встретило. Он выслушал это рассеянно и отчужденно, потом покачал головой и, не проронив ни слова, вышел. Покинул завод.

О том, что с ним случилось, мне рассказал профессор-бактериолог, в свое время вылечивший его сына от ларингита. Для Танаса профессор — олицетворение понятий «доброе» и «великое». Он и не подозревает, что профессор всего лишь слабый человек.

■

В десятом часу утра мы прибыли на нужную нам станцию. Автобус, что должен был отвезти нас в село, еще не пришел, бай Танас отправился в буфет за сигаретами, а я нашел удобное местечко на насыпи, присел и положил на колени альбом.

На севере, со стороны Дуная, простиралось холмистое поле, зеленое вблизи и синее там, где земля соединялась с небом. На северо-западе — и не так уж далеко — поднималась синяя громада гор, над ней тихо плыло в воздушном море облако, очень похожее на перламутровую ладью под парусом. Края ладьи и паруса блестели, словно украшенные тонкой лентой серебряной фольги.

Теплое весеннее солнце пригревало, дул ветерок, принося запах разбуженной влажной земли, сочных трав. И над всем этим лежала спокойная тишина, но не мертвая и холодная, а наполненная светом и жизнью. Я отложил альбом: что может схватить карандаш? Здесь должны говорить краски.

Я растянулся на мягком ковре, подложил под голову руки и закрыл глаза. С детства у меня сохранилось это чувство: лежишь — и тебе кажется, что ты становишься единым целым с землей, со всеми ее травами и букашками, с небом, которое ощущаешь на своем лице как ласковую материнскую ладонь, и с солнцем, чье тепло проникает в твою кровь. Я запомнил это чувство с тех далеких, ушедших времен. Гуси пасутся на лугу возле речушки, пахнущей болотом, пчелы жужжат в накаленном воздухе, а я лежу в тени под ивой возле зарослей бузины и не могу преодолеть лень, поискать более глубокий поток с чистой и холодной водой. Мне больше хочется лежать под ивой, чувствовать, как букашка щекочет мое ухо, и думать о том, каким сладким будет пирог, который мама разрежет вечером, когда все мы соберемся за столом.

Хорошо было на этой насыпи возле шоссе — перламутровая ладья плывет по океану, ни о чем не хочется думать, погружаясь в безмятежный сон. А бай Танас кричит из буфета: «Идем, Боян, пора!»

Пришел автобус, запыленный и разболтанный. Мы сели на свободное заднее сиденье, кондуктор затворил двери, и машина снова понеслась по асфальтированной дороге, словно старая, но ухоженная кобыла. Сквозь запыленные стекла поле выглядело чуть посеревшим и усталым, небо лишилось прозрачной синевы, но виноваты были в этом только стекла, и мое хорошее настроение не омрачалось. «Эй, спешащие к праздничным столам гости,— хотелось мне сказать пассажирам,— этот автобус не старый рыдван, не старая кобыла, этот наш автобус — расписная карета, и впряжены в нее крылатые, быстрые как вихрь кони, напоенные буйным вином, накормленные золотым зерном, а вы все — посланники Солнца, отправившиеся за его невестой, что с месяцем во лбу и звездами в глазах и с двумя алыми гвоздиками на груди. Кричите все «г-е-е-й!», насколько хватит сил, чтобы через горы и долы по всему миру разнеслась весть о том, что сегодня у Солнца свадьба!»

Это или что-нибудь в том же роде мне хотелось сказать людям, а почему мне так весело, я не понимал, может быть, из-за бузины, что

приснилась мне наверху, на насыпи. У цветущей бузины сладкий и одурманивающий запах. Если задремать под кустами цветущей бузины, обязательно приснятся веселые сны.

«Г-е-е-й!.. Слышите, люди?.. Через горы и долы к старому Дунаю, туда, куда ночью спускается с небес Большая Медведица, чтобы испить воды... Надевайте белые рубахи, подвязывайте пестрые фартуки, украсьтесь зеленой геранью, собирайтесь на свадьбу! Вас приглашают посланники Солнца! Г-е-е-й! Ликуйте! Сегодня праздник овцевода!..»

Я вовремя вспомнил о празднике — наша старая кобыла уже неслась по главной улице села. По обе стороны стояли новые белые дома, преимущественно двухэтажные. Автобус затормозил на площади, где уже играл духовой оркестр, собралась масса людей. Дирижера не было, но музыканты хорошо знали свое дело — дули изо всех сил, молодецки гремел барабан, а площадь ходила ходуном от крутящихся в вихре хоро мальчишек и девчонок в пестрых праздничных нарядах. Юноши и девушки и люди постарше стояли группами неподалеку, смотрели на хоро, но не включались в него, их час еще не настал. Главное хоро начнется позже, вслед за праздничной трапезой.

Когда мы сошли с автобуса, к нам приблизилось несколько мужчин. Весьма сердечно, но сдержанно, как принято на селе, они поздоровались с Танасом. Указав на меня, он что-то сказал им, мужчины стали по очереди протягивать мне руку, а Танас, словно конферансье, представлял их: председатель ТКЗХ, председатель сельсовета, зоотехник, бригадир первой овцеводческой бригады, старший животновод. Только председатель сельсовета был одет официально и по-городскому. Остальные — кто без галстука, кто без куртки, а на бригадире первой овцеводческой красовалась огромная мохнатая шапка. Бай Танас объяснил им, что я большой художник, заслуженный деятель культуры, и люди говорили, что они очень рады такому гостю. Потом Танас отлучился, чтобы повидать своих, а мы с председателем решили пройти по главной улице — он собирался показать мне кое-что интересное.

Интересного было предостаточно: новая нарядная школа, клуб с залом на четыреста мест, большой магазин хозяйственных товаров и тканей, а возле него просторная кондитерская. Председатель рассказал, что в этом селе стояли в прошлом одни лишь глинобитные мазанки, а под школу была отведена хибара из трех комнатушек. Председатель — еще молодой человек, ему едва ли исполнилось сорок лет, красавец, здоровяк — говорил весьма энергично. Раньше он был адвокатом во Враце, а родом из этого села и трудится здесь вот уже шесть лет. Я спросил, женат ли он. Кивнув головой и улыбнувшись, он спросил, не заметил ли я, проходя по улицам, чего-либо особенного. Я замялся — кто знает, что у него на уме. Он показал вниз, чем озадачил меня еще больше.

— Тротуары,— сказал он. И на лице его расцвела торжествующая улыбка.

— Ах, да! — Мне стало неловко, что до сих пор я не обратил внимание на новые плиты.— Действительно, великолепные тротуары!

— Сейчас наше село достаточно богато, многое может позволить. Даже тротуары с парапетами и гранитными плитами. Мы в основном животноводы,— пояснил он,— и много зарабатываем на поставках мяса. Предполагают,— он остановился и поднял палец,— наше кооперативное хозяйство сделать центром целого животноводческого района.

— Великолепно! — порадовался я вместе с ним.

— А знаете, когда я приехал сюда, улицы утопали в грязи.

Отчаявшись найти брод, топаешь, бывало, напрямик. Была у меня тогда невеста — учительница во Враце. Давай, говорю ей, поженимся, зачем терять время. Какой бы напряженной ни была работа на селе, но если человек один — ему скучно. А она мне в ответ: «Чтобы потерять туфли в грязи? Воображаю, каково там поздней осенью и ранней весной!» А вообще-то она была очень красивой и писала стихи. Некоторые стихотворения печатали и в столичных газетах. Вот тогда и подумал я об этих тротуарах. Условия уже позволяли. Я внес предложение в совет, и люди просто воодушевились. Два года нам на это понадобилось. Только два года, представляете?

— В самом деле,— сказал я,— совсем небольшой срок!

Улыбка его стала какой-то рассеянной, и я спросил:

— Ну, а после того как появились эти тротуары, она приехала?

— Она? — Председатель помолчал.— Нет. За два месяца до того, как мы достали плиты, вышла замуж за моего коллегу из окружного суда... Стояла дождливая осень, конец октября, каждый день лил дождь и очень мешал работе. Да и рабочих рук не хватало — наши бросили все силы на уборку кукурузы. У нас животноводческое хозяйство, и кукуруза важнее хлеба... А того парня, за которого она вышла замуж, перевели в Софию. Сейчас они оба в Софии. Месяц назад я узнал, что она работает в каком-то издательстве, но не понял в каком. Я ведь упоминал, что она писала стихи.

Мы помолчали, уставившись в плиты тротуара.

— Все-таки,— сказал я,— достижение великолепное.

Он посмотрел на меня, не сразу поняв, о каком достижении я говорю.

— Да, всему свое время. Стали зажиточными, скопили деньги и сделали тротуары. Теперь даже поздней осенью можем и в домашних туфлях пройти, а когда-то...— Он только махнул рукой.

■

Мы пришли в клуб, где нас ждал обед. За столиками сидели знатные овцеводы, свиноводы, доярки. Меня посадили между двумя председателями, а напротив сели зоотехники, краснощекая молодуха и бригадир первой овцеводческой. Разлили по рюмкам ракию, председатель хозяйства поздравил людей с праздником, и все выпили. Ракия была просто огненная. Снова налили, председатель сельсовета поднял тост за будущие успехи, и все его поддержали: ведь успехи — залог чудесного будущего. Я тихо спросил своего соседа, кто эта молодая женщина напротив. Он ответил, что она у них самая знатная доярка, а вот муж у нее ничтожество, удрал на строительство в южной Болгарии, влип там в какую-то грязную историю, и теперь они должны развестись. Это, может, и к лучшему, потому что муж ее человек никчемный, а она — золото. Я потянулся через стол, чтобы приветствовать эту чудесную женщину. Мы чокнулись, к нам тотчас присоединился ее сосед, бригадир первой овцеводческой. Это был человек-гора, но глаза его из-под мохнатых бровей глядели мягко и добродушно. Мы выпили, и председатель мне сказал, что бригадир вдовствует. Он чокнулся со мной очень осторожно, а с дояркой так сильно, что я удивился, как это ее рюмка осталась цела. Я заметил, что, говоря с бригадиром, доярка еще пуще залилась краской.

Мы ели и пили, а потом вышли на площадь танцевать хоро. Все были веселы. Я оказался рядом с дояркой, и мы плясали, обняв друг друга за талию. Но тут откуда ни возьмись на площадь притащился запыленный рыдван, и одновременно с ним появился бай Танас с двумя корзинами — пришло время покинуть великолепное торжество.

■

Вечерело, до прибытия поезда оставалось еще более часа. Сумерки были лилово-синими, воздух напоен сладким ароматом, мы присели на насыпь и прислушались — где-то неподалеку пел скворец.

Но меня не покидало какое-то недовольство, и я раздраженно сказал Танасу:

— Нехорошо, что ты тащишь эти корзины, только и думаешь о материальных благах. Ты бывший токарь, должен бы стремиться к более возвышенным сторонам жизни, а поступаешь наоборот. Когда тебя определили на новую работу, ты слезу пустил, потому что оказался рангом ниже. Так ведь? Какой же ты новый человек?

— Тот, кто тебе сказал такое,— враль! — огрызнулся Танас и зло посмотрел мне в глаза.— Верно, я пустил слезу, но не из-за ранга, а из-за станка! Сердце мое не могло выдержать, он мне дорог как близкий человек, как жена или сын, с ним я славные дела делал, знамена завоевывал, и вдруг — прощай, приятель! Прохожу мимо него, словно чужой, словно ничего и не было. Поэтому и заплакал — товарища потерял, а ты толкуешь о каком-то там ранге! Сил моих не было. Вот и ушел с завода. А что касается корзин, ты и тут ничего не понимаешь! Знаешь ли, почему я подрабатываю где только можно? Потому что решился на операцию, мне пришьют сухожилие — это рискованно, и если операция будет неудачной, я совсем лишусь руки. Задвигаются пальцы — снова к станку, кто меня остановит? А коли вовсе потеряю руку — и работы привратника мне не видать! Потому за оставшееся время я и хочу собрать побольше денег, чтобы хоть поначалу жене не так тяжело было. А ты...

Не докончив, он сплюнул и полез в карман за сигаретами. Я промолчал. Прислушался к песне скворца.

■

Настроение в тот день у меня было прекрасное, в душе еще с утра звучала песня кавала, я услышал ее сквозь сон, она доносилась издалека, от излучин Кральового дола, куда на заре мы выгоняли скот. А может, песня неслась от кошар, что за рощей, у подножия обросшего грабами и буками холма, где горы наступают на равнину. Там была кошара моего дяди, примостились в тихих уголках и домики других пастухов, сплетенные из прутьев и обмазанные глиной, с соломенными крышами и двориками, окруженными высокими изгородями из терновника. Трава на лугах была густой, сочной и пахучей, с гор веял прохладный ветерок — когда бы я ни слышал звуки кавала, мне всегда кажется, что песня летит из тех мест.

Мне было весело с самого утра. Я быстро привел себя в порядок, сварил кофе, потом открыл окно, чтобы впустить утро. Но разве можно сравнить этот мой прямоугольник неба с синевой, в которую я вглядывался вчера, лежа на насыпи возле автобусной остановки? Впрочем, сейчас не до сравнений — скорее за работу! Надо использовать время, пока не умолкла песня, что мне приснилась.

Писал я долго, потеряв представление о времени. Наконец, положил кисти, расправил плечи и отошел от мольберта на несколько шагов. В верхнем левом углу картины дули в трубы музыканты, барабанщик бил в огромный барабан, внизу кружилось хоро, его вел бригадир первой овцеводческой, он размахивал алым платком, а на переднем плане красовалась моя вчерашняя знакомая — доярка, хотя сходство с ней было не очень большое. Доярка на картине словно бы и не слышала музыкантов, ей будто бы и дела не было до ведущего хоро, она сосредоточенно и кротко смотрела перед собой, держа в руках белого кудрявого ягненка.

Над картиной надо будет еще много работать, инструменты музыкантов должны засверкать золотом, алый платок ведущего хоро — загореться огнем. Эх, подумал я, если кавал несколько дней подряд станет будить меня песней, непременно окончу картину за неделю!

Подумав так, я отворил шкаф, налил рюмку коньяку и поднял тост за мою передовую доярку. Сейчас на дворе май, а она уже доит овец в счет июня. Через полгода ее хотят перевести в коровник, чем она очень довольна, потому что там работать выгоднее. Это хорошо, сказал я себе, очень хорошо, потому что тогда она не будет постоянно на глазах у бригадира первой овцеводческой. Не знаю почему, к этому человеку я не испытывал особых симпатий, но поместил его на полотне, и не где-нибудь, а ведущим хоро. Все-таки это был знатный овцевод.

Я налил себе еще рюмку, затем надел свой лучший светло-серый костюм и спустился вниз. В цветочном магазине купил несколько красных гвоздик, самую маленькую прикрепил к петлице, а остальные подарил цветочнице. Она, смеясь, приняла мой подарок.

На улице Раковского я зашел в галерею, где уже вторично выставил свои картины один нашумевший молодой художник. Посетителей было не очень много, и это меня удивило, потому что об этом художнике часто писали в газетах и журналах, даже на телевидении устроили его творческий вечер. Все наперебой его хвалили, утверждая, что он вывел наше искусство на путь современности. Я придерживался другого мнения, но те, кто его хвалил, с многозначительной улыбкой замечали, что иного от меня и не ждали.

Я несколько раз обошел зал, но, к сожалению, не увидел ничего такого, что могло бы хоть как-то изменить прежнюю мою позицию. На одних картинах люди были какие-то застывшие, удлиненные, вымазанные с головы до пят рыже-коричневой краской. На других — походили на тени, призраки, появившиеся из сумерек и тонущие в непроглядной мгле. На третьих — были изображены как плоскости, но с объемно нарисованными глазами; движения этих странных людей были переданы параллельно направлению строительных лесов, бетонных сооружений, над которыми сверкали стрелы кранов и длинные шеи экскаваторов. Надо полагать, эти люди участвовали в социалистической стройке.

Выставка несколько подпортила мое настроение, а мне хотелось, чтобы день окончился празднично, и поэтому решил пойти в театр: давно там не бывал. Театр находился неподалеку от галереи, я купил билет и вошел в зал за несколько минут до начала спектакля. Давали пьесу о Сопротивлении. Мне это было интересно, хорошо бы увидеть на сцене что-нибудь из пережитого. В первой картине показали, как два подпольщика — студент и трубочист — получили приказ убрать фашистского палача. Трубочист влюблен в студентку, тоже подпольщицу, и, прежде чем отправиться на операцию, декламирует своей любимой грустные стихи Есенина. Во второй картине тихая лунная ночь, герои приходят к дому, где живет палач, они увлечены спором о ницшеанской философии и фрейдизме. Трубочист считает, что в наш жестокий век борьбы мы могли бы использовать некоторые положения этих буржуазных философий, но студент решительно против. Он говорит: ницшеанство — куда ни шло, но что касается фрейдизма — ни в коем случае! Они долго спорят, потом мы видим их на крыше дома, откуда они должны спуститься в квартиру фашистского злодея. Но сразу они не спускаются, а продолжают спор: студент упорно отрицает фрейдизм, не видит, какая польза революции от поисков сексуального начала. Потом герои заряжают пистолеты, обмениваясь мнениями о преимуществах «вальтера» по сравнению с маузером. Трубо-

чист говорит, что предпочитает браунинг. Затем они снова возвращаются к философскому диспуту — палач может и подождать, все равно его судьба решена, гораздо важнее вопрос обогащения революционной философии.

Пока они спорят на крыше, охрана злодея выслеживает их. Спасает наших героев пристрастие главного шпика к шекспировским трагедиям — прежде чем застрелить свою жертву, он всегда произносит первые слова известного монолога «Быть или не быть...». На этот раз шпик увлекся и произнес весь монолог. И слава богу, потому что тем временем герои успевают спуститься на землю по водосточной трубе.

Не дождавшись окончания второй картины, я поднялся со своего места и вышел. Сделать это было нетрудно — большая часть стульев пустовала. Но кое-какие зрители все же были, и я услышал, как один из них достаточно громко бросил мне вслед: «Ортодоксу не нравится. Догматик!»

Моего хорошего расположения духа осталось с наперсток, поэтому я поспешил в Клуб журналистов — может, стакан доброго вина вернет ушедшую радость. Завидев меня, портье сердечно улыбнулся: «Давненько вы нас не навещали». Официанты тоже улыбнулись — у меня не было обыкновения давать им на чай, но перед уходом я всегда угощал их вином. А иногда оставлял на память по рисунку, которые набрасывал карандашом на счете.

Я поискал глазами свободное место. По неписаному закону здесь были столики художников, и столики, вокруг которых обыкновенно собирались писатели. При этом около каждого группировались единомышленники по школе и направлению, непримиримые к приверженцам школ и направлений, сидящим за другими столами. А как же со мной — ни романтиком из прежних романтиков, ни новатором, подобным сегодняшним модернистам? Мне трудно было найти подходящий стол, поэтому обыкновенно я подсаживался то к одним, то к другим. Разумеется, принимали меня любезно — все-таки автор нескольких картин в постоянных экспозициях,— но и те и другие совершенно определенно давали мне понять, что не считают меня своим.

И вот, пока я глазами искал свободное место, кто-то крикнул:

— Прошу, товарищ Анастасов, присоединяйтесь к нам!

Обернувшись, я увидел за одним из столов в середине зала молодого нашумевшего художника, выставку которого только сегодня посетил, а возле него — художественного критика Иларионова, большого почитателя новаторских поисков.

Меня не очень обрадовало это приглашение, но делать было нечего.

— Спасибо,— ответил я и сел напротив них.

— И к нам пришел большой человек! — засмеялся Иларионов. Он кивнул на соседа: — Молодые очень вас уважают, а вот вы сторонитесь их! Так ведь, товарищ Тахов?

— Может быть, и так,— уклончиво ответил Тахов.

Он не спешил соглашаться с мнением критика, уважение — монета большой стоимости, не следует ею разбрасываться без всякого повода.

— Иметь три картины в постоянной экспозиции Национальной галереи — это немало! — сказал Иларионов без особого, впрочем, воодушевления.

— Да, конечно,— кивнул Тахов и рассеянно отпил из бокала,— хотя это не всегда мерило подлинной величины таланта. Я думаю, например, что в мастерских есть много картин, достойных постоянной экспозиции, но по той или иной причине им еще не нашлось там места. И, вероятно, не скоро найдется. Но все равно рано или поздно они не-

пременно попадут в национальный фонд. А некоторые картины, что сейчас в национальном фонде, наверняка будут переданы в архив, их забракуют. Критерии — вещи весьма относительные, и мне кажется, что время справедливее всего рассудит, что подлинно талантливо и что только создаёт видимость таланта.— Он сделал несколько глотков и добавил: — Время отсеивает конъюнктуру — и слава богу!

Все эти камни явно были в мой огород, и поэтому тактичный Иларионов почувствовал себя неловко.

— Полагаю,— сказал он,— что за нашим столом нет фальшивых знаменитостей. Ты согласен, Анастасов?

— Нет,— ответил я,— не согласен. Я полностью поддерживаю мнение моего молодого коллеги Тахова — время отсеет модное и конъюнктурное так же, как уходит в небытие всякая пустая, дешевая слава. На своем веку,— продолжал я, внимательно изучая меню,— я знавал много мод и легких успехов, каких только имен новаторов не вспыхивало — и от всего этого, и от славы, и от имен, не осталось ничего, блеснули и исчезли, подобно так называемым «падающим звездам».

Заказав официанту ужин, я повернул голову к своему молодому собеседнику — по его лицу пробежала тень, тонкие губы силились растянуться в снисходительной ухмылке:

— У вас вообще нет вкуса к поискам в живописи. Вы никогда не одобряли ничего нового.

Что сказать этому взъерошенному щенку? Я пожал плечами и улыбнулся

Иларионов сидел словно на раскаленных углях: ему очень хотелось взять сторону своего любимца, но было неловко сделать это — мешали мои картины из постоянной экспозиции. То было официальное признание, а он работал в академии и полагал, что не должен, хотя бы внешне, подрывать мой престиж. Со мной он воевал с помощью другого вида оружия, для него самого безопасного,— молчания. В газетах, где он имел влияние, в академических изданиях и обзорах, в комиссиях по отбору и покупке мое имя им почти не упоминалось. Он забывал мое имя, все вертелось у него вокруг пяти-шести молодых художников, к ним были обращены его преувеличенные похвалы: они-де двигают наше искусство, обогащают его новыми изобразительными средствами. Чего уж там, видел я эти «новые» средства в картинах самого известного из молодых! Только что он заявил, что у меня нет вкуса к поискам в живописи. Да пусть его болтает! А та картина с серебряными солнечными качелями и шагающим экскаватором? А «Зима в деревне», «Житель земли в космосе», «Праздник овцевода»?! Я не ищу нового? Я ищу его и пытаюсь передать в нашем, национальном духе, а у тебя — побрякушки по чужой моде, и, кроме того, дорогой, даже в рисунке ты слаб!

Я не сказал ему этих слов, а засмеялся, и он, черт его возьми, должен был понять, что означал мой смех.

— Прошу вас,— сказал Иларионов,— вы оба углубляетесь в серьезные темы.— И он попытался пошутить: — Вы не только меня грабите — всем, о чем вы спорите, я зарабатываю свой хлеб,— но оказываете плохую услугу и пищеварению!

Плоская шутка. Даже его друг Тахов не счел нужным улыбнуться.

Пока я ужинал, Иларионов расспрашивал молодого человека, как ему пришла в голову идея изобразить движения рабочих параллельно горизонталям строительных элементов, а сверху пересечь все вертикалями стрел кранов и экскаваторов.

— Мне интересно: как ты нашел это изобразительное реше-

ние? — спросил Иларионов.— Решал ли ты эстетическую задачу открытия нового ритма или хотел в более условном плане передать определенную социальную идею?

— И то и другое,— ответил Тахов.— В нашу социалистическую эпоху интересы рабочего класса совпадают с развитием техники, поэтому руки моих рабочих вытянуты параллельно бетонным балкам, доскам лесов и трансмиссиям машин. Вертикали экскаваторов и кранов показывают, насколько это единство между рабочими и техникой безусловно и постоянно. А кроме того, вдохновленный динамикой нашей технизированной жизни, я искал и более современный ритм.

Подняв глаза от тарелки, я взглянул на Иларионова — слова Тахова вызвали на его лице умильное выражение: набожный богомолец слушал воскресное нравоучение проповедника, под куполом церкви звучала речь, раскрывающая грешному миряшину скрытый смысл божьих деяний.

— Да,— задумчиво сказал Иларионов, на губах его расцвела многозначительная улыбка,— значит, мы избавляемся от старого и традиционного понимания образа как воплощения внутренней жизни, психологии. Теперь мы удовлетворяемся некоторыми более внешними чертами. Но за счет сложной психологии достигаем большего охвата, за счет типизации — изображения многопланового движения, сотрясающего наш сегодняшний день.— Он помолчал и обратился ко мне:— А вы что думаете об этом, товарищ Анастасов?

Я только что допил свое вино, радость, которая могла уместиться в наперстке, и та испарилась. Подозвав официанта, я расплатился, а когда тот ушел, повернулся к Иларионову.

— Все, что было сказано, пустая болтовня, так я думаю. А его горизонтали и вертикали, и рыже-коричневые фигуры, и бесплотные тени — ничего не стоящая малярная работа. Он попросту не умеет рисовать.

За столом воцарилась ужасающая тишина.

Я поднялся и ушел.

Автобус догнал меня только на остановке перед Народным театром. Я поднялся в него и, хотя стоял возле выхода задумавшись, мог бы проехать до Студенческого городка. Но тут контролер стал проверять билеты, я вовремя опомнился и сошел у Орлова моста.

Усевшись на скамейку возле озера, я набил трубку и закурил. Со стороны «Арианы» неслись волны чудесного вальса — чтобы тем, кто катается по льду, было весело. Падал снег, мягкий, пушистый, сквозь белые нити виднелись шерстяные шапочки с кисточками, цветные свитера, короткие юбки, которые превращались в красивые зонтики, когда девушки крутились на месте. А я совершенно окоченел, потому что не двигался, только переступал с ноги на ногу и дул на руки. Мне было не очень весело, но внизу кипела радость: одни, взявшись за руки, летели вперед, другие выделывали различные фигуры, какая-то девушка под звуки вальса танцевала со своим кавалером танго, и я все-таки улыбнулся — эта девушка мне знакома, она живет в доме напротив.

А почему бы, говорю я себе, и мне не потанцевать?.. И вот я в одно мгновение оказываюсь на льду в шерстяной шапочке и белом свитере, в ботинках, к которым прикреплены блестящие острые коньки. Я лечу, словно у меня выросли невидимые крылья, и говорю себе: как это легко — кататься; мне кажется, что я скользил на коньках по этой зеркальной поверхности тысячи раз. Я пролетаю между разрумянившимися девушками, они все мне улыбаются, но я только машу им рукой — в конце концов, если танцевать с каждой, не хватит и дня. И вот невидимые крылья несут меня, коньки едва касаются льда, а

может, и совсем не касаются его, и я, наконец, приближаюсь к самой прекрасной девушке.

— Вот и я, Белоснежка! — говорю ей.

Она, не задумываясь, снимает руку с плеча своего кавалера и протягивает ее мне. Даже не находит нужным сказать юноше: «Извини». Несколько снежинок спустилось на ее русые кудряшки, она в этот миг особенно похожа на сказочную Белоснежку...

Я переступаю с ноги на ногу, дую на пальцы и время от времени трясу плечами, чтобы сбросить с пальто снег. Смотрю — навстречу идет Белоснежка, она перекинула коньки через плечо, сдвинула шапочку назад, весело разговаривает с высоким юношей в свитере из верблюжьей шерсти. Только почти столкнувшись со мной, она меня замечает, с удивлением смотрит и участливо улыбается:

— Анастасов, вы что здесь делаете?

— Смотрю, как вы катаетесь,— отвечаю я.

— Но вы похожи на снежного человека,— говорит она,— весь белый.

— Ничего, это от снега. Очень сильно сыплет.

— Пойдите где-нибудь отогрейтесь,— советует Белоснежка,— нос у вас покраснел, прямо помидор! Простудитесь!

Она очень заботлива, и я улыбаюсь. Потом они оба прощаются со мной, я достаю сигарету из отсыревшей пачки и несколько раз чиркаю спичкой — пальцы мои окоченели.

Я иду по Яворовой аллее, наверх к Рыбному озеру. Курю и радуюсь снегу. А он падает тихо, словно во сне, только проходя мимо старого каштана, я слышу едва уловимый шум — где-то в кроне озябший дрозд машет крылом.

Рассказ об Александре

Такие мысли пришли мне в голову, пока я сидел на скамье у озера. Или, может, я нарочно рылся в памяти, чтобы спастись от плохого настроения? Чего только не припомнит человек, если бежит от себя. Мне не хотелось домой, я знал, что пристальное око окна не оставит меня в покое. Поэтому, чтобы протянуть время, решил подняться к Обелиску погибшим. Направляясь туда, я заметил мужчину приблизительно одних лет со мной, сутулого, скромно одетого,— он стоял на пересечении аллей и явно ждал меня. Когда я подошел ближе, он, смущенно улыбнувшись, спросил:

— Извините, нет ли у вас огонька?

Он поднес сигарету к губам и посмотрел мне в глаза.

Я встретился с ним взглядом, и вдруг мне показалось, что я знал этого человека в давние-давние годы.

— Вот и встретились,— сказал он, прикурив и медленно выпуская дым.— Вы, наверно, меня забыли? Когда это было? Почти тридцать лет назад.

— Да,— проговорил я, безуспешно роясь в памяти,— тридцать лет или около того!

— Вы почти не изменились. Поседевшие волосы делают вас похожим на мудреца. А тогда у вас была буйная шевелюра, вы ходили растрепанный и Методи сердился: «Подстригись же, Боян, ты бросаешься в глаза полиции!» Помните?

Как пишут некоторые начинающие писатели, «завеса упала с моих глаз», и еще — «прошлое выплыло из глубины времен и легло передо мной как на ладони». При упоминании имени Методи прош-

лое ожило — Лозенец, комната в нижнем этаже, куда не проникало солнце, но часто приходили словно пронизанные солнцем люди и среди них красноречивый юноша с живыми умными глазами, самый элегантный из нас — он всегда был при галстуке, а из кармашка пиджака выглядывал шелковый платочек. Он изучал право, но увлекался политэкономией. Как он разъяснял нам «Капитал» Маркса и циклы разных кризисов, потрясающих буржуазный мир! Цветными карандашами он рисовал какие-то диаграммы и говорил, что может с точностью до двух лет предсказать все инфляционные бури, которые обрушатся на стихийное капиталистическое хозяйство. Отец его был известным адвокатом умеренно прогрессивных взглядов. Сколько раз Александр, наш экономист, при помощи поддельного ключа вечерами устраивал нас в отцовском кабинете, чтобы мы могли отпечатать листовки на пишущей машинке.

— Ну как же, вспомнил,— сказал я,— ты Александр. Александр Карев!..— И неизвестно почему, торжественно произнес: — Дубовая улица в Лозенце. «Капитал» Маркса, формула прибавочной стоимости. Фабрика «Орел» накануне Первого мая, ночная операция, Александр Карев пишет на стенах нелегальные лозунги. Подумать только — это ты! — И хоть я сдержанный человек и не имею привычки давать волю чувствам, но тут не удержался, обнял его, прижал к груди.

Моя сердечность словно бы его смутила, видно было, что он пытается скрыть свое замешательство.

— Я вас так давно не видел,— проговорил он, избегая моего взгляда,— но с огромным вниманием следил за вашим ростом, вашими успехами. Когда три года назад вас удостоили высокого звания, я был просто счастлив и сказал себе: «Так и должно быть, он еще в те времена рисовал как великий художник!»

— Оставь это, Александр,— сказал я,— давай присядем и поговорим немного. Ты не спешишь?

Мы сели на скамейку, Александр прикурил от догорающей сигареты новую — ему, по-видимому, было неудобно снова просить огня или он, может, пытался заглушить свое волнение табаком. Не знаю почему, но мне тоже стало неловко, когда я увидел, как мой близкий приятель, почти брат — таким он был в дни нашей молодости,— какой-то помятый, стесняющийся, держится на расстоянии и обращается ко мне на «вы».

— Вредно курить одну сигарету за другой! — заметил я.

Он махнул рукой.

— Эти благоразумные правила соблюдайте вы, художники, потому что вы представляете собой ценный общественный капитал. Вы должны беречь свое здоровье, потому что вас мало, вакантное место таланта не заполняют за два дня с помощью заявления. А мое место не проблема: заявление, диплом об окончании учебного заведения и готово — место снова занято!

— Ты меня удивляешь,— сказал я.— Как ты можешь делить людей на «важных» и «не важных», то есть на ценных и малоценных? Да ведь это ницшеанство чистой воды!

В общем-то я сказал это в шутку, но Александр принял мои слова всерьез:

— Что вы! Я просто так, из уважения к художникам, а вы делаете политические выводы!

— Расскажи, как ты жил,— попросил я.— Что с тобой случилось, что ты выглядишь таким кислым?

— Да ничего особенного,— сказал он.— Я вовсе не кислый.

— Ты мечтал стать крупным экономистом, написать несколько трудов. Что сталось с твоими мечтами?

— Ничего! — Он затянулся, потом бросил окурок на землю и медленно растоптал его.

— Тебя что, направили не на ту работу, да?

— Нет, наоборот! Через несколько месяцев после Девятого сентября я стал работать в экономическом отделе ЦК. Проработал там три года. Даже шла речь о том, чтобы послать меня на специализацию в Советский Союз.

— Ну,— спросил я, потому что он вдруг замолчал.— Ты ездил?

— Тогда началась усиленная коллективизация села, и, если помните, в некоторых районах работа не спорилась. Чтобы выправить положение, из Софии посылали на места специалистов. Мне тоже сказали: «Собирайся в город Кулу — будешь помогать в районном комитете!» Я спросил: «Надолго?» Мне ответили: «Наверно, года на два, пока не наладится дело». Я напомнил насчет специализации, а мне сказали: «Знаем, но сейчас на селе не хватает кадров и политическая работа отстает — так что вопрос о твоей специализации придется отложить». А ведь я понятия не имел о сельском труде, я горожанин, в селе не жил даже дня. Кроме того, инструкторская работа была мне не по сердцу. Может, припоминаете, еще в студенческом союзе меня использовали главным образом на просветительской работе. Моя стихия — теория, и любую попытку столкнуть меня в сферу практической работы я встречал в штыки.

С другой стороны, и в моей семье решительно воспротивились назначению. Из провинции долетали слухи — то один, то другой партийный работник стал жертвой классовой борьбы — кого кулаки застрелили, кого оппозиционеры пырнули ножом. Отец мой хмурился, мать — в слезы, словно отправляет меня на войну. Невеста, лаборантка в аптеке, дала понять, что и дня не будет меня ждать, если я очертя голову кинусь в сельскую глушь.

Так обстояли дела, и я отказался ехать. Меня спросили:

«Значит, если мы предложим тебе завтра поехать в Москву, ты поедешь?»

Я ответил, что готов поехать в тот же день.

«А в село отказываешься, так?»

Я сказал, что сельская работа мне чужда, у меня нет никакого намерения терять время в селе.

За невыполнение партийного поручения мне дали выговор и перевели в отдел агитпропа Ловечского районного комитета. Я уехал туда с горечью в душе, считая наказание несправедливым и суровым, ведь во времена подпольной работы у меня были такие заслуги и вдруг теперь наказание. Не мог простить, а потому на свою работу смотрел сквозь пальцы. В конце года последовало новое наказание — меня отстранили от работы.

Вернулся я в Софию с еще большей горечью в душе. Как же так, думал, другие разрабатывают проблемы политической экономии, а я в стороне. Обидно! Втайне надеялся, что меня непременно будут разыскивать, скажут: что было, то было, поезжай специализироваться, а когда вернешься, направим тебя в университет читать лекции, станешь профессором. Так думал я и все ждал, что однажды мне позвонят по телефону: приезжайте в ЦК в такое-то время!

Ждал я год, два — напрасно, никто меня не позвал. Та лаборантка меня оставила. Какая девушка свяжет свою жизнь с безработным?

На третий год я подал заявление в коллегию адвокатов. Но и адвокатская деятельность угнетала меня, мне были противны все эти дела и суды. Я начал пить и не знаю, до чего бы докатился, не подвернись

другая, более спокойная работа,— освободилось место в институте страхования, нашлись добрые люди, дали мне рекомендации, и я поступил туда. Работаю там вот уже сколько лет...

Женился я на своей сотруднице, у нас сын — учится в экономическом институте. Я еще с детства привил ему любовь к политической экономии.

А на свои мечты юношеских лет давно поставил крест. У меня есть хобби — бридж. Это интеллектуальная игра. Вечерами собираемся у нашего сотрудника, играем часов до десяти. Я живу в Лозенце и, возвращаясь домой, всегда прохожу по этой аллее.

Такова моя жизнь, товарищ Анастасов. Плохое, хорошее — все тут. Могла бы стать и такой, о какой мечталось, да ничего не вышло. Я ли виноват, другие — об этом не думаю, нет смысла. Отбываю на службе положенное время, играю в бридж, а сына наставляю быть хорошим комсомольцем, служить примером дисциплинированности. Назвал его Ивайло, хоть это имя не очень подходит экономисту. Но жена так захотела.

Когда через полчаса мы расставались, у меня не было желания пожать ему руку. Я не пригласил его к себе в мастерскую, и он не предложил мне встретиться еще раз. А когда-то я думал, что мы останемся друзьями на всю жизнь.

■

Начало июня, а солнце палит совсем по-летнему. К полудню небо становится от зноя таким серым, что сливается с дымом заводских труб. С развитием технической революции, думаю я, разным лазурным оттенкам и синей краске вообще не повезет. Сейчас чистые поэтические небеса сохраняются в музеях, и это правильно. Придет в голову будущим поколениям сделать синтетическое синее небо — где возьмут образец, как не в музеях?

Эта страшная жара наступила очень рано, и поэтому кое-кто из жителей нашего дома все чаще поговаривает об отдыхе и о море. Стало очень модным говорить и петь о море. «О, море, море!» — пишут поэты. «Море, море!» — надрываются перед микрофонами эстрадные певцы и певицы. Если бы радио время от времени не сообщало данные хода уборки урожая, можно было бы подумать, что наша родина переместилась на какие-нибудь коралловые острова в Тихом океане. Но данные об урожае напоминают, что все-таки у нас сухопутная страна и что очень важно вовремя убрать хлеб. О хлебе никто не пишет, утвердилось мнение, что этот мотив устарел. Когда-то, когда хлеба не хватало, художники наперебой изображали золотые нивы, косьбу и жатву. В наше время изобилие хлеба, но золотые нивы почти исчезли с полотен художников. А ведь поля сейчас действительно похожи на золотые моря, и жаль, что они вышли из моды. Но что долговечно в наших вкусах? Мы их меняем чаще, чем носовые платки.

Итак, пришло лето, и мои соседи говорят об отдыхе. Знойная супруга Недьо Недева намерена отдыхать на Солнечном берегу, директор Института эпидемиологии со своей супругой — на Золотых песках, старый Сюлемов будет ловить рыбу где-то возле Мичурина, жена моего приятеля-профессора собирается в турне по Черноморскому побережью с труппой филармонии. Часовых дел мастер поедет в село — с некоторых пор загадочная улыбка не сходит с его лица, он стал молчаливым и держится как человек, обуреваемый великими идеями. Михалаки пребывает в плохом настроении — что-то не ладится с его «элкой», он говорит, что ему противна даже мысль об отдыхе, летние месяцы, мол, самое спокойное время для работы, но из вышестоящих организаций распорядились, чтобы он немедленно

поехал отдыхать, и я даже слышал, что ему дали путевку в правительственный санаторий.

Из старшего поколения нашего дома только мой профессор никуда не собирается, будет работать над новой вакциной. Компанию ему составит бай Танас. Нашему привратнику сделали операцию, вернули к жизни пальцы левой руки. Он тут же подал на завод заявление, чтобы его поставили к станку. Сделали это с огромным удовольствием, потому что такие токари — весьма ценный капитал. Если верить его словам, а он немного любит прихвастнуть, весь завод встретил его криками «ура». Но так или иначе, Танас говорит, что он уже достаточно отдохнул, жаждет поработать да так насытить душу, чтоб хватило запаса и на пенсионные годы. Танас уверяет, что мы можем не беспокоиться о профессоре: по утрам, до ухода на завод, он будет приносить ему молоко из ближайшего кафе, а вечером готовить чай.

И вчерашние студенты собираются в дорогу. Юри получил назначение в Кырджали, будет там учительствовать: выговор помешал ему остаться в Софии и поступить в аспирантуру, как он предполагал раньше. Я спросил у него, почему он так спешит уехать, ведь учебный год начинается осенью. Он ответил, что хочет поездить по району, посетить заводы, строительства, села, познакомиться с людьми, прислушаться к их речи. А что касается аспирантуры — если все будет хорошо, окончит ее заочно.

Юри говорил бодро, и я только диву давался: на его месте я бы выглядел мрачным и сердитым. По случаю окончания университета я от всего сердца пожелал ему счастья и подарил свою старую дорожную сумку с ремнями, кожаную, с несколькими отделениями и двумя секретными замками. Возле ручек сумка была немного потерта, но в остальном выглядела вполне прилично. Где только я не скитался с нею! А купил ее в комиссионном магазине в Париже.

Веселина собирала чемодан, готовясь к отъезду в Добруджу. Назначение ее вступало в силу в сентябре, но у нее, как и у Юри, были свои соображения.

— Что ты будешь делать в этих добруджанских степях летом? — печально спросил ее Михалаки.

— В степях? — весело засмеялась она.— Ты откуда свалился?

И Михалаки пришлось выслушать лекцию о мощных агропромышленных комплексах и хозяйствах-гигантах, где более двухсот тысяч декаров пахотной земли и все делают машины, а мотыги, серпы да косы давно переданы в музей.

Когда он мне об этом поведал, я сказал:

— Тебе-то уж надо бы помолчать! Ведь ты и тебе подобные совершают эту техническую революцию. Если бы не вы, многое из старья было бы еще живо. Сохранились бы и колодцы с журавлями и мотовильными колесами, и мазанки, на крышах которых растет трава. Вы постепенно превратите всю нашу жизнь в огромный завод. И еще вздыхаете о том, что ваши подруги не остаются дома. Как могут женщины-агрономы оставаться дома, когда те степи, с ветрищами, от которых веяло смертью, ушли в прошлое и больше нечего бояться! — И очень мудро заметил: — Не подпиливай сук, на котором сидишь!

Мы посмеялись, выпили по бокалу ментовки. Я поднял тост за электронику, а он, кибернетик,— за колодцы, те старые, с мотовильными колесами и журавлями. Он старался казаться веселым, но не мог скрыть, что ему тяжело, очень уж много хлопот у него с «элкой»!

А однажды во дворе я случайно встретил Юлию. Боже мой, как она похорошела за последние недели!

— Куда путь держишь, Юличка? — спросил я.

Она ответила, что идет на факультет, на выпускной вечер.

— Если разрешишь, я тебя провожу до парка,— сказал я.

Юлия мило улыбнулась — зазвенели серебряные колокольчики самых прекрасных сказок в мире — и с бесконечной доверчивостью взяла меня под руку.

Мы шли и говорили о пустяках, я, наверно, был остроумен, потому что она часто смеялась и плечо ее прижималось к моему локтю, и мне хотелось, чтобы дорога до парка никогда не кончалась.

Но ей все-таки пришел конец, и тогда я спросил:

— Тебе не кажется, что еще рано?

Она посмотрела на часы, подумала:

— Ну, может быть, есть еще десять минут.

Мы остановились возле памятника Яворову.

— Юличка,— спросил я,— ты поедешь куда-нибудь этим летом?

— Нет,— ответила Юлия.— Через две недели я приступаю к работе в качестве химика-экспериментатора в одном научно-исследовательском институте.— От прежнего задорно-веселого выражения ее лица не осталось и следа.

— Но как же так, Юличка, со студенческой скамьи сразу на работу, это не годится!

— Этот научно-исследовательский институт — мечта! — сказала Юлия и улыбнулась, но в ее улыбке не было ничего веселого.— Там разрабатывают технологические процессы получения нового типа синтетических волокон.

Я хмыкнул, потом спросил:

— А когда вы с Лозаном поженитесь?

Мой вопрос не смутил ее, а для меня он имел огромное значение. Проклятая квартира висела над моей головой как дамоклов меч.

— Может быть, в конце года,— сказала Юлия.

— А почему только в конце года? — удивился я.— Из-за того, что нет подходящей квартиры?

— Нет, не из-за квартиры,— ответила Юлия. Она не уловила моего сарказма.— Мы будем жить в комнате Юри, ведь он уезжает на периферию, и это временно решает вопрос.

— Может, Лозан не спешит? — спросил я.

Этот намек должен был вызвать у нее известную тревогу: если мужчина не торопится — это всегда тревожно. Но она только покачала головой и очень спокойно сказала:

— Не он, а я не спешу. Я настаиваю на отсрочке. Лозан работает над большим произведением, его внимание не должно отвлекаться ничем посторонним.

— Великолепно! — воскликнул я. Как еще я мог реагировать, если она сама смотрела на свадьбу как на нечто постороннее.— Великолепно!.. Лишь бы ты была счастлива.

Так мы расстались.

По случаю окончания университета я подарил ей очень красивую записную книжку в кожаном переплете. Я привез ее из одного зарубежного путешествия. На первой страничке нарисовал цветными карандашами черешню, но вместо плодов на ее ветвях красовались намотанные, как коконы, золотые синтетические волокна.

■

В конце месяца я упаковал палатку и отправился в путь. Дылда подбросил меня на машине к Доспату. Я не просил его об этом, только упомянул однажды, что собираюсь в те края, и он сразу предложил свои услуги. Мне неудобно было ему отказать, я и так держал себя с ним очень строго. А, впрочем, почему бы ему и не проехаться, подумал я, будущее не сулит ему особого разнообразия, он поступил

в аспирантуру на место Юри, так что сидячей жизнью будет сыт по горло. Итак, юноша отвез меня в Доспат, а когда пришло время прощания, по-настоящему загрустил. Он настойчиво предлагал проводить меня до места, но я решительно отказался.

На прощанье я его обнял и подарил серебряный карандаш. Автоматический карандаш из самых первых, плоский, с колечком, чтобы можно было повесить на цепочку. Чего только я не нарисовал этим карандашом!

— Вот, пожалуйста,— сказал я,— тебе на память по случаю окончания университета!..

На пограничной заставе мне дали коня и солдата-проводника. Мы водрузили палатку и остальной багаж на коня и отправились в путь вдоль доспатской реки. Через час остановились на роскошной поляне, покрытой высокой травой, окруженной густым смешанным лесом.

Я угостил проводника коньяком, выкурили мы по сигарете, поговорили о том о сем. Потом он сел на коня, пожелал мне приятного времяпрепровождения и уехал.

Было тихо, как в заколдованном сказочном мире.

Выкурив трубку, я приступил к работе. Выбрал ровное место, вбил колышки, поставил палатку. Пол покрыл толстым слоем веток, на них расстелил походное одеяло. Стало очень уютно. Перенес в палатку багаж — сухари, консервы, мольберт, краски и холсты. Кончил устраиваться, когда уже стемнело и на небе замигали крупные, яркие звезды. Взяв топорик, я отправился по дрова — ночь обещала быть холодной.

Я набросал возле палатки кучу веток, притащил несколько полусгнивших пеньков, чтобы соорудить из них очаг. И пока еще можно было что-то разглядеть, пошел с котелком к реке. Она шумела, перескакивала с камня на камень, вокруг было зловеще — может быть, благодаря сочетанию шума и тьмы, а может быть, из-за одиночества,— села были далеко, в нескольких часах ходьбы, а на проселочной дороге, идущей по лесу, редко могла промелькнуть живая душа; воздух был сырым от брызг, пахло папоротником, подгнившей хвоей, мхом.

Потом я поспешил на полянку, в темноте едва можно было различить палатку, на небе горели рои звезд. С юго-запада дул тихий, теплый ветерок. Я уложил ветки для костра, поднес к ним спичку, и через несколько минут на полянке вспыхнул веселый огонь, а темнота испуганно отступила на несколько шагов.

Когда вода вскипела, я высыпал в котелок пакетик концентрата куриного супа, добавил немного перца и, снимая его с огня, подумал, что этот суп, наверно, самый вкусный в мире. Расстелил на земле белую салфетку, распечатал пакет с сухарями. Ужинал с волчьим аппетитом.

Снова набил я трубку, прикурил от уголька, накинул пальто и сел по-турецки перед входом в свой лесной домик. Над головой расстилались бескрайние тропинки, усыпанные мелкими золотыми монетами. Большая Медведица держала путь к Дунаю. Возничий махал ей вслед палкой, а прелестная Кассиопея любовалась своей красотой, смотрясь в невидимое зеркало. В стороне Вероника расчесывала роскошные волосы, издали улыбаясь Арктуру.

Чего только не было на небе!

Костер начал угасать, вечерний ветерок посвежел, словно бы выкупался в холодных водах реки, темнота стала еще плотнее, то здесь, то там резко подавали голоса ночные птицы, коротко сообщая друг другу какие-то свои новости.

У доспатской реки я провел две недели.

А прежде чем тронуться в путь, сказал начальнику заставы:

— Прошу вас, капитан, через неделю пришлите мне с кем-нибудь из ваших ребят немного брынзы и хлеба. Вот деньги.

Он улыбнулся, а на деньги даже не взглянул. Я объяснил себе это пренебрежительное отношение к денежным знакам влиянием окружающей природы, пустынным миром, в котором он жил. Каково же было мое изумление, когда всего через два дня я увидел, что к моему лагерю приближается солдат на коне, а следом идет мул, навьюченный двумя тяжелыми корзинами, покрытыми белыми платками. Солдат спешился, по-уставному приветствовал меня, снял корзины и поставил их перед входом в палатку. Чего только не было под белыми платками! Свежая брынза, завернутая в листья, жареная баранья лопатка, вареные яйца, теплый хлеб, даже две бутыли красного вина.

Солдат хотел тут же отправиться в обратный путь, но я его пригласил пообедать. Он ел мало, едва прикоснулся к мясу, оправдываясь, что совсем недавно обедал, но я-то знал, что он воздерживается, чтобы мне больше осталось.

Вот каким был капитан. Каждые два-три дня он присылал мне две-три корзины, а на деньги, что я ему оставил, не наполнил бы даже половину одной из них — выходило, что денежные знаки действительно не имели для него никакого значения.

Первые несколько дней я рисовал с утра до вечера: сосны и ели, близкие и далекие горы, небо при разном освещении. Рисовал я и в последующие дни, но поймал себя на том, что думаю совсем о другом — переношу, к примеру, облако с неба, а думаю о критике Иларионове, и облако, вместо того чтобы выглядеть воздушным, начинает походить на нестираную рубашку. Диву даюсь, что нужно Иларионову в этом еще сохранившемся горном мире, злюсь на нестираную рубашку, бросаю кисти и бегу к реке, чтобы ополоснуть лицо студеной водой.

Так с каждым днем мое рвение шло на убыль.

Потом я заметил, что от некоторых мыслей мне становится холодно — сижу на солнце, а словно бы погрузился в какой-то ледяной омут. Кажется мне, что стучу зубами от холода, что на лбу проступила испарина, прикасаюсь к нему рукой — ничего похожего, самый обыкновенный лоб, и откуда это ощущение, один бог ведает, какая-то загадка.

Ладно, сказал я себе, это пройдет; когда человек один, чего только не взбредет ему в голову! Я попробовал прибегнуть к средству, хорошо помогавшему мне в юности, когда предстояло отправиться на выполнение задания подпольной организации,— нарисовать мысленно какую-нибудь радостную картину. Тогда мне очень нравилось представлять «городской праздник» — автобус, украшенный разноцветными флажками, и девушек в белых фартуках, предлагающих людям мороженое. Я попытался вызвать в воображении ту же картину. Она получилась очень похожей на прежнюю, но все же в чем-то была разница. Я принялся искать это отличие и наконец уловил, или мне показалось, что уловил его. В картине было все, как прежде, только автобус стоял как-то безразлично, никоим образом нельзя было предположить, что под своим железным капотом он держит сто лошадиных сил. По всему было видно, что бак его не наполнен бензином. Шофер забыл про это! А если у автобусов нет бензина, они как-то по-особенному выглядят. Ничего, сказал я себе, придет шофер и

нальет бензин. Подумаешь! Пустяк, а картина все-таки не была прежней, и настроение мое не улучшалось.

Поразмыслив, я пришел к выводу: это от одиночества. Человек может пожить среди природы в одиночестве, как жили его деды, один-два дня, не больше — мы давно порвали с естественной средой. Сейчас чувствуем себя лучше даже в компании с разными иларионовыми.

Шел четырнадцатый день. Случилось так, что в этот день снова приехал солдат с корзинами, но я ему сказал:

— Мы сейчас съедим мясо, выпьем вино, погрузим палатку и остальной скарб и двинемся в обратный путь!

Вернувшись в Доспат, я дал обед капитану и его помощникам, подарил им нарисованные в горах картины, потом отослал багаж в Софию, а сам всего лишь с несколькими альбомами в сумке отправился снова в широкий мир. И главное — к людям.

■

Наконец-то притащилась и моя пора — желтая и мокрая осень. После доспатской истории я дал себе зарок не рисовать пейзажи. Я рисовал людей. Одни ждут автобус на пыльной площади, другие дремлют на перроне вокзала, кто-то наспех закусывает, кто-то возбужденно ходит, с нетерпением вглядываясь в подернутую знойным маревом даль — не появится ли черное туловище грохочущего поезда. Я рисовал людей на стройках, возле буровых установок, в поле — их столько скопилось в моих альбомах, что, если бы устроить выставку, не хватило бы среднего по величине клубного зала.

Поскольку я не рисовал пейзажи, то и не заметил, когда пришла осень. Впервые обратил на это внимание несколько дней назад, прохаживаясь по железнодорожному полотну на маленькой добруджанской станции. Когда-то я учительствовал в этих краях, припомнилось прошлое, и вдруг какой-то шепот достиг моего слуха: подул прохладный утренний ветерок, и с тополя, что стоял одиноко, полетели на плиты перрона сухие, мертвые листья.

Дерево казалось ощипанным, кое-где на его ветвях еще трепетали сморщенные желтые листья. Над острой верхушкой низко нависло серое небо, я достал было трубку, но снова сунул ее в карман — закурил сигарету. Надо же, усмехнулся я, поеживаясь, осень пришла!

Я собирался поехать в Кардам, но когда открыли кассу, купил билет до Софии — пришло время забираться на свой чердак.

■

И вот раскладываю рисунки по папкам и думаю — а не затопить ли камин? Холодно, с раннего утра ветер свистит в трубах, по оконному стеклу стучат дождевые капли. Стучат тихо, потом вдруг заторопятся, будто за ними гонятся, и я улыбаюсь — мне кажется, я вижу, как тишина убегает в трубу. Я представляю себе ее цвет, он не может быть постоянным. Тишина гор — зеленая и пушистая, полей — золотистая, а тишина на моем чердаке — непременно мышиного цвета.

Я раскладываю папки на стульях, ставлю кофейник на электрическую плитку; в этот ранний час автобусы переполнены, да мне и нет смысла спешить, никакая срочная работа меня не ждет.

В нашем доме жизнь течет по-прежнему. Впрочем, есть кое-что новое. Веселина работает в Добрудже. Часовщик Хрисим Бетлиев, мастер поющих часов, находится в своем родном селе и, судя по всему, еще долго пробудет там. Вчера получил от него открытку. Мнение

окружного совета разделилось: одни за башню с часами, другие говорят — надо повесить большие часы под крышей главного коровника. Если победит первая партия, Хрисим продаст квартиру и начнет строить, кроме него в этом деле собирается участвовать местное спортивное общество — парни будут проводить разные матчи по району и собранные деньги передадут на строительство. Но что бы ни случилось — а все выяснится до конца года,— я не должен волноваться: те часы с венским вальсом будут непременно мои, он твердо решил мне их подарить и не изменит своему слову, даже написал нечто вроде завещания, но еще не заверил документ у нотариуса. В остальном у него все было хорошо, молодежное звено часто брало его с собой, и он увидел много удивительного — например, как машиной окапывают виноградные лозы, раньше ведь все это делали мотыгой.

Недьо Недев последнее время ходит хмурый, с опущенными глазами — совсем не свойственный ему вид. Нагрянула ревизия, и, как я слышал, у него не все благополучно. Летом он был в командировке, опять в Италии и опять в связи с какими-то важными поставками. Он очень умело вел переговоры, заключил великолепный договор и, так сказать, увеличил доход нашей страны более чем на миллион. Все прошло благополучно, но за день до возвращения на родину Недьо увидел в каком-то магазине арматуру для ванны, полный комплект. Душ, краны для теплой и холодной воды, смеситель, напоминающий мотор самолета. Комплект блестел словно золотой. У Недьо дома уже с полдюжины всяких кранов, но такого необыкновенного не было. Недьо ахнул и понял, что навсегда лишится покоя, если любым способом не приобретет этот комплект. Другого способа приобрести его, кроме оплаты наличными, в розничной торговле нет, поэтому Недьо вынужден был взять из денег, предназначенных на представительские расходы. Никакой возможности оправдать эту покупку официальным документом не было, поэтому соответствующие финансовые органы взяли Недьо за горло:

— Возвращай валюту!

— Откуда мне ее взять?

Недьо не уволят, он человек заслуженный и отлично знает свое дело, но порицание вынесут и, наверно, понизят в должности. Поэтому он и ходит мрачный, опустив глаза.

Вчера во дворе встречаю бай Танаса.

— Ну как,— спрашиваю,— идут дела?

— Поживем — увидим.

— Почему «поживем — увидим»? — удивляюсь я.— Ведь ты мечтал о своем станке, как же так?

— Я сейчас не работаю на том станке,— говорит бай Танас.

И объясняет: у них ввели новый поточный метод, и кое-кто из молодых не справляется, не хватает умения. Тогда партийное бюро обратилось к старым рабочим с просьбой помочь молодым, обучить их.

— Я долго колебался,— говорит бай Танас,— потому что на своем станке вырабатываю сверх нормы столько, что получаю еще ползарплаты, а то и больше. Так что просьба эта не в моих интересах. Но потом сказал себе: если не будет налажено поточное производство, то и от моих полутора норм не много проку! Теперь учу молодежь, а когда они научатся, поживем — увидим! Лишь бы поскорее, а то я совсем отощал.

Поговорили мы так, бай Танас ушел, а я остался. Задержался, чтобы набить трубку табаком.

■

Итак, у меня уже было достаточно материала для картины, пора приступать к эскизам, но я не спешил — не кончилась история с квартирой, я не знал, что произойдет между Лозаном и Юлией и чем окончится война, которую профессор Филип Максимов ведет против своего коллеги профессора Бориса Паскалева.

Оставалось набраться терпения.

В один прекрасный день эти белые пятна в жизни нашего дома исчезнут и тогда заискрится правда о нашем маленьком, незначительном по масштабу мире — бери кисти и пиши эти будничные сценки, капли, в которых отражаются краски времени. Ну, а праздники — иллюзия, театр, никчемные прогулки по бульварам и паркам, пустая болтовня за тарелкой жареного мяса и бутылкой вина.

Мои праздники — это будни. И жизнь создается в будни.

Но кто сказал, что я ничего не создаю, целыми днями валяюсь и вслушиваюсь в тишину мышиного цвета или бесцельно брожу по улицам?

Если кто-нибудь сказал так, он лжет!

Пойдемте со мной — и вы увидите. Вот я надеваю плащ, старую широкополую шляпу, беру свой старый зонт. Могу сесть и в автобус, но, к черту, до чего хорошо пройтись под дождем! К тому же, идти не бог весть как далеко — надо пересечь парк в юго-восточном направлении и выйти к агрономическому факультету. Оттуда до улицы Дубовой, где находится Юлина квартира, всего каких-нибудь пятнадцать минут ходьбы.

У двери вас может встретить привратница и с обиженными глазами примется говорить вам, в каком она несчастном положении и как им трудно жить втроем с холостым сыном в маленькой комнатке с крошечной прихожей. Но вы не обращайте на нее внимания, пройдите мимо, эти трое не заслуживают сожаления, они ловкачи. Их никто не заставлял уезжать из села, где у них большой дом, работа в хозяйстве, приносящая богатый трудодень. Их погнала из села не нужда, а жадность, стремление к более легкой жизни. И не думайте, что они так уж несчастны, как представляет эта женщина,— совсем наоборот! Сын ее на хорошем месте и зарабатывает приличные деньги, муж — сторож в парке, и она сама работает привратницей не просто так, получает жалованье да бесплатную квартиру вдобавок. Они внесли пай за новую квартиру, скоро подойдет их очередь; из села им присылают продукты, и они откладывают денежки, лев по леву: сыну на легковую машину. Вот как живут эти люди, поэтому не поддавайтесь жалостливым словам привратницы.

А теперь заходите в Юлину квартиру.

Постойте в холле и посмотрите.

На потолке я нарисовал большое солнце, оно походит на золотой подсолнух. Улыбается и посылает людям смеющийся свет.

Две стены — восточную и западную — я загрунтовал, они стали гладкими как зеркало. На них вы увидите различные фрагменты, но еще далеко не все закончено.

Я вам объясню: это «Сельский праздник» и «Городской праздник». Вспоминаете? Это мои наивные, но дорогие сердцу прежние мечты. Оркестры играют, автобус ждет пассажиров, чтобы везти их на площадь, девушки предлагают мороженое и конфеты, кружатся люди в хоро, небо сверкает в разноцветных огнях. А вот и самолет, пилоты машут фуражками: добро пожаловать!..

Конечно, это еще наброски, но я поработаю месяца два и все закончу.

А вы говорите, что бездельничаю, прислушиваюсь к тишине мышиного цвета.

■

Вы мне можете возразить: «Ну и что проку? Рисуете какие-то романтические видения, а о настоящем не думаете! Где же ваша софийская картина?»

Как так где! Думаю, что человек может говорить о настоящем, вспоминая и кое-что из прошлого.

Но вернемся к главной теме, раз уж вы спрашиваете о софийской картине.

■

Жизнь на втором этаже продолжает идти по-прежнему. Ольга, супруга профессора Паскалева, разъезжает летом с концертной группой, а сам профессор не покидает Софию ни на один день, проводит опыты с разными вакцинами на самом себе. Питается он тем, что попадет под руку, иногда вообще забывает о еде, его часто бьет озноб, и летом, случается, он ходит по улицам в зимнем пальто, зябнущий и бледный, а дома включает все электрические плитки.

Директор института профессор Филип Максимов тем временем съездил на симпозиум в Стокгольм, а потом отправился на отдых в Боровец, где у него небольшая дача. Он мог бы поехать к морю, ему предлагали две комнаты в доме отдыха академии, но он предпочел остаться поблизости от Софии, чтобы следить за работой своего института. Каждую субботу трое секретарей отправляются автобусом на доклад к шефу. Он их выслушивает, расспрашивает, больше всего интересуется работой профессора Паскалева.

А опасный вирус никак не поддается, он прячется, маскируется, обманывает электронный микроскоп, и профессор Паскалев вынужден выходить на встречу с ним с помощью средств биохимического анализа.

Так обстояли дела, а как только выпал первый снег, азиатский грипп стремительно двинулся и к нашей стране. Зная о том, какие бедствия принес он в других странах, люди не на шутку встревожились, все спрашивали друг друга: «Нет ли какой-нибудь вакцины против этой опасности?» И возмущались: «Вот, вокруг Земли послали космические корабли, космический зонд проник даже в марсианскую атмосферу (если она существует), а открыть средство против какого-то зловредного вируса бессильны!»

Директор Максимов пригласил в свой кабинет профессора Паскалева и, хотя они сидели когда-то за одной партой, заявил ему строгим голосом начальника, что надо кончать с этим вирусом, в конце концов всякое терпение может лопнуть. Паскалев выслушал его рассеянно и печально, он мог бы сказать, что последнее время почти не покидает лаборатории, что вчера пошел домой переодеться, а там полно гостей, жена попросила минутку посидеть с ними — так он действительно присел и тут же заснул. Но имело ли смысл что-либо говорить? Все оставшиеся силы необходимо бросить в последнюю битву с вирусом.

Прежде всего эпидемия гриппа вспыхнула в юго-восточной части страны, но молва распространяется, как говорится, с молниеносной быстротой, и мрачные предчувствия нависли над каждым домом. Все знали, что, несмотря на строгий карантин, неуловимый вирус перелетит и в другие области.

И, наверно, именно так бы все и было, если бы в тот день профессору Паскалеву не удалось, наконец, обнаружить вирус. Все произо-

шло как в сказке. Он обнаружил его, сделал снимок, определил его как биохимическое явление и всю документацию вручил главному директору института Филипу Максимову.

Через час радио передало чрезвычайное сообщение. Оно было весьма обнадеживающим:

«Министерство народного здравоохранения уведомляет граждан, что группа сотрудников Института эпидемиологии под руководством известного нашего ученого, профессора Филипа Максимова, директора института, открыла возбудителя так называемого «гонконгского» гриппа. Усиленно ведутся работы по созданию противогриппозной вакцины».

■

Профессор Паскалев не мог услышать это сообщение — едва он передал документацию, как в его ушах загремели водопады, от переутомления ему стало худо, и домой его отвезли на такси. Он тут же, не раздеваясь, заснул и проснулся только на следующий день к вечеру.

Весь желтый, притащился он ко мне в мастерскую и попросил сварить ему кофе.

— Жена опять забыла оставить мне кофе,— смущенно улыбнулся он и протянул руки к огню,— сколько раз ей напоминал, но ведь у нее постоянно гости, увлечется и забудет. У нее и так забот хватает!

Я рассказал ему о сообщении по радио, выразив удивление, почему не упомянули его имя.

— Что общего имеет Филип Максимов с этим делом! — воскликнул я.— Почему приписывает себе чужое открытие? Мягко выражаясь, это подлость!

Паскалев махнул рукой, наклонился к огню и долго молчал. Потом, повернувшись ко мне, сказал:

— Какое имеет значение, кто открыл вирус? Это не важно! Если бы его не открыл я, кто-нибудь другой сделал бы это. Люди будут веселыми и здоровыми — вот что важно, а все остальное мелочи. Максимову нужна слава, пусть она его согревает. А меня согревает мысль, что люди не будут умирать от гонконгского гриппа.

■

В начале декабря я закончил обе картины в Юлиной квартире. Шел чудесный снег, а он всегда действует на мое настроение — неудержимо хочется сказать кому-нибудь что-либо очень приятное, красивое. Поэтому я вызвал такси и шепнул Юлии:

— Поедем со мной! Я тебе покажу дворец, который ты выиграла по билету государственной лотереи!

По дороге я ей все объяснил, умолчав лишь о тех соображениях, по которым все скрывал до этого дня.

Она осталась очень довольна расположением комнат, сильное впечатление произвели на нее и мои картины.

Радуясь, не зная, как иначе отблагодарить, она обняла меня и расцеловала в обе щеки.

Я от смущения поцеловал ее в губы. А она не обратила никакого внимания на мой поцелуй или сделала вид, что не обратила, как знать, но так или иначе, чуть-чуть ответила на него, и это мне показалось прекраснее сказки.

Когда-то я мечтал о том, что Белоснежка меня поцелует хотя бы краешком губ!

■

За неделю до концерта Лозана Юлия тяжело разболелась, у нее был хоть и не гонконгский, а какой-то другой грипп, но болезнь протекала мучительно. Она не смогла присутствовать на концерте, но его транслировали по радио, и мы вдвоем слушали в ее комнате. Тетушка Катерина вязала свитер в холле, там ярче свет.

В том, что исполнялось на концерте, и в помине не было додекафонии.

Юлия слушала и плакала, да и у меня начался сильный насморк, так что время от времени я доставал носовой платок.

— Ну,— сказал я ей, когда концерт окончился и радио сотрясалось от оваций,— я счастлив и вот почему: во-первых, Лозан снова вступил на праведный путь большого, настоящего искусства и создал значительное произведение и, во-вторых, вы скоро поженитесь.

■

Но мое предсказание, что они поженятся, не сбылось, и нет надежды, что вообще когда-нибудь сбудется. После болезни правая нога Юлии частично парализована, месяц она провела в постели, наконец, пошла на работу, но с палочкой. Доктора уверяли, что со временем все пройдет.

Может быть, со временем все пройдет, и Лозан верил, что Юлия поправится, поэтому однажды он еле слышно пробормотал, что если Юлия не имеет ничего против, они могли бы на следующее утро расписаться. Хотя, если говорить честно, добавил он, эта формальность для него, в сущности, не играет никакой роли. Юлия вспыхнула и тут же побледнела. Она некоторое время молчала, чтобы успокоить дыхание — болезнь очень ее ослабила,— потом сказала тихим, но твердым голосом, что и для нее, в сущности, это формальность, у них есть еще время и не надо об этом много думать. Лозан нашел ее ответ разумным и полностью согласился с ней.

Светофор славы дал зеленый свет, и Лозан тронулся в путь — приглашения за границу следовали одно за другим. Он стал известным, везде с успехом представлял наше искусство, мы с Юлией читали отзывы в прессе и радовались от всего сердца. Конечно, ее радость была сильнее моей.

Будни Юлии заполнены работой, трудны для нее воскресенья и праздники — ей не хочется гулять с палкой. Но и я ненавидел праздники, скучал, мне было неуютно и поэтому часто приходил к ним в гости. Тетушка Катерина вязала на кухне, мы с Юлией сидели в холле. И так как долго говорить было не о чем, я ей читал книги, а она слушала.

Случалось, она начинала дремать, а может, делала вид, что дремлет. Тогда я клал книгу на колени, курил трубку и смотрел на картины, нарисованные мною. Оркестры играют, автобус ждет гостей, люди кружатся в танце. Пилоты машут фуражками:

— Добро пожаловать!

Самолет летит над землей-садом, а мы с Белоснежкой, высунувшись из окна, машем людям:

— Здравствуйте, люди будущего, здравствуйте!

Самолет летит.

София

Январь—май 1970 г.

ЛУИС ПАСТОРИ

Перевод с испанского ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

Заклинание

Как обновились коридоры!
В них нынче радостно и гулко:
Сквозь них поэты пробежали
В аудитории,
Сгибаясь
Под тяжестью мудрейших книг.

Да и зима уже иная:
Она дождем не льется ныне
На плечи зонтиков горбатых;
Она озвучена травою,
Как изумрудною основой
Для радуги.

И полдень звонкий
Насыщен ожиданьем лета.
А ночь
На темный дом похожа,
Но в окнах
Засветились звезды.

Затерянная остановка

Ты заблудилась, а может быть, я заблудился
На остановке автобуса — тихой, пустынной.
Где ты?

Если б ты знала общую нашу тропинку,
Ты бы вошла
Под своды зеленого храма,
Под ветви могучего кедра.

Обогнули бы угол павильона для ожиданья
Студенческие босоножки,
И книга, которую за пояс ты поместила,
Как ладони мои,
Твою талию вдруг обвила бы...

Извини, если взглядом,
А может быть, только лишь чувством
Я слежу за тобой
На автобусной остановке,
Где жара и цикады, цикады, цикады.

Если бы знал я,
Какая книга тебя обнимает,
Кто герой
И какие слова на груди твоей очутились,
Не страдал бы я так,
Повторяя беспомощно — где ты?

Где ты?
Вновь безответно взываю
На автобусной остановке.
Если бы знал я,
То не было б этой поэмы...

Образ в глубине зеркала

Любимая девушка
С ореховыми глазами,
Со взглядом, похожим на древние письмена,
Быть может, понять не сумела,
Что в доме
Всему опорою — сердце,
А не камень,
Из которого сложен фундамент.

Не время,
Прячась за оконной решеткой,
Поглядывать равнодушно
На фестиваль осенний
Танцующих листьев;
Не время
Составлять представленье о ночи,
Оставаясь за рамой оконной,
Иль представленье о стуже,
Которая там, внизу, на проспекте
Преследует
Утреннюю зарю.

Нет, это не песня —
Далекий звук непонятный —
И не гитара это,
Заброшенная на чердак,
С разинутым ртом
И разорванных жил сплетеньем.

Просто не время
Оставаться недвижной в пейзаже,
Как мебель,
Как камень,
Как образ,
Мерцающий в зеркале темном.

Улица

Улица узкой была, как речушка.
Башмаки — рваные и новые —
Плыли по каменному ее руслу.

Сколько историй прекрасных
О змеях бумажных
Унесли ее мутные воды.

Вдруг, как через запруду,
В открытую дверь иль калитку
Врывалась улица в дом.

И дети, устав от чудес,
По улице этой
Двигались вверх и вниз по теченью.

Соседи

Неужели никто не заметил,
Что растерян я и забывчив,
Как будто сошел с дорожки
Наших обычных будней?
Не обратил вниманья
Никто, что взгляд мой блуждает,
Ищет что-то иное,
Необычное ищет что-то.

Вы невнимательны к людям,
Начинены эгоизмом,
Плевать вам, что происходят
Со мною странные вещи:
На улице одинокой
Беседую сам с собою,
Как будто бы растворившись
В интригах прогнившего мира.

Нет никакого сомненья
В том, что вы виноваты
В моих превращениях странных,
В моем круженье на месте,
В поисках безнадежных
Системы, закона, дороги
На свете, где я нашел бы
Для вас хоть немного счастья.

Мертвый хлеб

Толкуют о мертвом пространстве,
О Мертвом море.
Но нет среди вас человека,
Который бы вспомнил о мертвом хлебе.
О черствой бесценной корке,
Брошенной синим мухам,
В неистовый зной сьесты,
Когда вы отдыхаете сыто.

Вы виновны в убийстве хлеба!

Обвинителем может быть голодный мальчишка,
Смотрящий сквозь жалюзи ваших окон,
В час, когда вы расстелили на коленях салфетки,
Увлеченные ритуалом обеда,
За счет слюны, кипящей на горьких его губах.

ДЖОН УЭЙН

Зимой в горах

РОМАН

Перевод с английского
Т. КУДРЯВЦЕВОЙ и Т. ОЗЕРСКОЙ

Он проявлял настойчивость в желаньях
И к цели с бурным мужеством стремился,
Но одиночество с ума его сводило.

У. Б. Йитс

Твердыни гор, как облака, сияли.

У. Вордсворт

(Перевод В. Левика)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Человек с лопатой нагнулся и сбросил землю на гроб Джеффри. Он явно спешил поскорее засыпать могилу и перейти к следующей. Люди все время умирают — прохлаждаться некогда.

Роджер смотрел вниз, на блестящий гроб. Еще одна лопата земли с громким стуком упала на крышку. Если бы Джеффри лежал живой в этом ящике с медными ручками, от такого грохота у него заныли бы барабанные перепонки.

Пора было уходить. Он только сейчас понял, что ни слова не слышал из заупокойной службы. Ее служил кладбищенский капеллан. Роджер вдруг обнаружил, что капеллан все еще стоит рядом.

— Никто больше не придет прощаться с покойным, мистер Фэрнивалл? Вы один?

— Да, я один.

— Покойный был вашим единственным братом?

— Он был моим единственным родственником, если не считать двух троюродных тетушек, которые живут где-то на западе. Родители наши погибли во время войны.

— Как печально,— произнес священник профессионально сочувственным, приглушенным голосом.

Тем временем человек с лопатой успел почти засыпать гроб. Прощай, Джеффри. Лежи спокойно в лондонской земле.

— Это твоя вторая смерть, бедный мой брат,— сказал Роджер, глядя в могилу. Он произнес это вслух, хотя священник и могильщик стояли рядом.— Но, по крайней мере, она была легче первой. Захочешь вернуться и побродить призраком по свету — приходи, навести меня. Счастливого пути. Мне всегда приятно будет поболтать с тобой.

Человек с лопатой шмякнул вниз еще ком земли с камнями, и на этот раз гроб окончательно исчез.

— Надеюсь, вы сможете сейчас отдохнуть,— сказал священник.— Нелегко вам пришлось. Я вижу, вы очень любили брата.

— Отдыха у меня не получится,— сказал Роджер.— Но встряхнуться немного встряхнусь. Я еду на зиму в Северный Уэльс. По делу.

У ворот кладбища они церемонно распрощались.

— А я ведь так и не знаю, как вас зовут,— сказала она.— Треплюсь с вами уже столько часов подряд, а до сих пор не знаю, как вас зовут.

— Роджер Фэрнивалл.

— Мое имя вас, видимо, не интересует,— сказала она и снова улыбнулась, немного лениво, немного лукаво. Он не вполне понимал, что означала эта улыбка. Перед ним была беспечная, праздная, длинноногая кукла. Чувственная девчонка, готовая на все? Или же просто пустая кокетка?

— Почему же — интересует,— сказал он, удваивая к ней внимание.

Ее прелестный рот перестал улыбаться, губы произнесли «Беверли Нокхоулт» или что-то в этом роде — во всяком случае, «Беверли» они точно произнесли, а это — главное, что ему следовало запомнить. Впрочем, если все разовьется так, как он предполагал, с нас хватит и порядкового номера.

— У вас пусто в стакане,— заметил он, вставая.

— Вот и прекрасно: право же, мне больше не надо,— сказала она, но не очень уверенно.— Я совсем не привыкла пить.

Конечно, еще не привыкла. Зачем такой соплячке алкоголь! Тебя подогревает другое.

— Ну, самую капельку,— сказал он.— Для компании.

Взяв ее стакан и свой собственный, Роджер направился к стойке. Вот это повезло! Карвенай, отель «Палас». Конец сезона. Последние туристы бродят как дохлые мухи. Нарочито суетятся официанты, делая вид, что от клиентов отбоя нет. Он поглядел на все это и уже приготовился подыхать со скуки. И вдруг в первый же вечер явилось это видение. Вернее, не явилось, а влетело во двор на своем забавном, сверкающем хромом мотороллере с флажком. Богатая девчонка из Калифорнии, девятнадцати, самое большее — двадцати лет. Ездит в поисках развлечений и авантюр, готовая на все, что подвернется.

«Что ж,— сказал себе Роджер,— может, счастье наконец и улыбнется мне».

Бармен, юркий ливерпульский мальчик в короткой белой куртке, мгновенно скользнул к Роджеру. Он был очень внимателен к клиентам, рассчитывая, что таким путем сумеет удержаться тут на зиму. Роджер взял наполненные стаканы и вернулся с ними к Беверли.

— Ну, теперь я буду молоть языком — надоест слушать,— заметила она, откинувшись на подушки диванчика и забросив руки за голову.

Под спортивной клетчатой рубашкой отчетливо обрисовалась ее грудь, и Роджер поспешно расстегнул воротничок.

— Я с удовольствием вас слушаю,— сказал он, отводя взгляд от ее груди.

— Ну, если дело и дальше так пойдет, вы все обо мне узнаете, а я о вас — ничего,— заметила Беверли, впрочем, довольно безразличным тоном.

Возможно, подумал он, ей вообще все безразлично. Под их калифорнийским солнцем, где ничто не вечно, наверно, вырабатывается такое отношение к жизни — ломай и строй заново. Да к тому же ко-

гда сидишь на папочкиных денежках — вернее, когда они прокладывают тебе дорогу. Глаза-то у нее пустые. Наверно, она понятия не имеет о том, что такое настоящее чувство. Ну что ж, пусть так. Настоящее чувство — это скорее по его части, а она — лишь бы поставила хороший товар.

— В моей биографии нет ничего интересного,— сказал он, отхлебывая из стакана.

— Что-то все-таки должно же быть. К примеру, чем вы занимаетесь?

Страдаю. Это моя профессия — страдать. Шагаю по земле и весь исхожу болью.

— Ничем не занимаюсь,— ответил он.

— Значит, мы с вами — два сапога пара,— улыбнулась она: к ней снова вернулась беспечность.

— Но завтра,— продолжал он, напуская на себя серьезность,— я намерен кое-чем заняться. У меня будет очень загруженный день.

— В самом деле? Чем же?

— Я намерен показать вам горы.

В ней загорелась искорка интереса.

— Горы? Уэльские? Они разве близко?

— Хребет Сноудон. Он тут начинается.

— Вы хорошо знаете эти края, Роджер?

— Совсем не знаю. Я здесь впервые.

— В самом деле? Но вы же знаете, где горы?

— По дороге из Лондона,— сказал он,— я развернул в поезде карту Северного Уэльса и больше часа изучал ее. Так что теперь я все знаю. И с удовольствием покажу вам.— *Я покажу тебе это так, что ты не скоро забудешь.*

— Но ведь у вас же нет машины,— лениво протянула она.— Вы сказали, что приехали сюда из Лондона на поезде.

— Совершенно верно,— сухо подтвердил Роджер.— Мы поедем на вашем мотороллере.

Она залилась смехом.

— Вот это лихо! И вы готовы довериться мне?

Он кивнул:

— С закрытыми глазами.

Вскоре после этого они расстались и разошлись по своим комнатам. Роджер сделал один-два паса, но серьезных надежд на то, что ему сразу удастся сдвинуть дело с места, у него не было. Она ведь немало проехала за этот день на своей тарахтелке и останавливалась, только чтобы перекусить. («Я купила немного рыбы с жареной картошкой и съела прямо на улице».) Ей нужно было выспаться. К финишу он рванет завтра.

На следующее утро Роджер встал рано. Он тщательно побрился и вообще уделил особое внимание своему костюму и внешности. Подойдя к зеркалу, чтобы в последний раз оглядеть себя, он увидел на столике раскрытую книгу: «Начальные шаги в грамматике валлийского языка» доктора Конроя, Понтипул, 1904 год. По первоначально намеченному плану Роджер должен был сегодня утром приступить к изучению этого труда. Он не слишком огорчился, что отошел от первоначального плана.

И не потому, что решил бить баклуши. Он ведь приехал сюда, чтобы изучать валлийский язык. Филология — все-таки его профессия, а всякий профессионал должен непрестанно расширять свои познания. Но одновременно Роджер намеревался расширить свои по-

знания и по части секса. Он узнал, что в университете Упсалы есть большой факультет кельтских языков, и у него были основания полагать, что, если он добавит к своему багажу знание валлийского, а может быть, и ирландского языков и внесет хотя бы небольшой вклад в кельтскую филологию, он сможет получить работу в Упсале. Дело в том, что ему нравились высокие блондинки с красивыми крепкими зубами, а он знал, что в Упсале недостатка в них нет.

С помощью доктора Конроя и месячного или двухмесячного пребывания в краю, где говорят по-валлийски, он рассчитывал повысить свою квалификацию и взять прицел на Упсалу. Но на выполнение этого плана уйдет время, а потребности Роджера взывали о немедленном удовлетворении. Ему нередко приходило на ум, что милосердному создателю не мешало бы иначе решить проблему воспроизводства. Скажем, установить срок сексуальной активности в три года, а потом пусть бы человек жил себе спокойно. Уж слишком, по его мнению, довлел секс над этим животным, именуемым homo sapiens[1]. Но таково было положение вещей, и тут он ничем не отличался от прочих смертных. Вчера при первом знакомстве с отелем он не обнаружил подходящей дичи. Девушка-портье была классическая валлийская красавица, но это как раз и было худо: такая красавица, да еще из местных, конечно, уже накрепко заарканена каким-нибудь субъектом. Роджер в этих вопросах был реалистом. Ему стукнуло сорок — значит, он уже не юноша; он не богат, и внешность у него самая заурядная. Если он и добивался побед, то лишь благодаря упорству и умению не упустить подвернувшийся случай.

В весьма приподнятом настроении он пораньше спустился к завтраку, после чего занялся подготовкой. Беверли нигде не было видно: она, конечно, из тех, кто поздно встает, и, наверно, даже представить себе не может, что кто-то поступает иначе. Роджер выудил из гостиничной кухни пакет с холодным обедом, зашел в винный магазин, помещавшийся на той же улице, купил две бутылки вина и тщательно сложил все в рюкзак. Потом взял из номера свой плащ, аккуратно положил его на кресло рядом с собой и уселся в холле отеля, напротив лифта. Он подкараулит Беверли, когда она будет спускаться к завтраку, и решительно напомнит об их уговоре. Никаких отказов, никаких ссылок на забывчивость или перемену настроения: он не допустит, чтоб она дала ему отставку. Красавица брюнетка за стойкой портье бросила на него холодный и, как ему показалось, слегка иронический взгляд, когда он расположился у расставленной им мышеловки, но Роджер был человек закаленный, его такими взглядами не проймешь. С тех пор как он себя помнил, он всегда так поступал с женщинами. Не упускай случая — хватай... и шагай дальше.

Около десяти часов Беверли спустилась вниз. Ему пришлось снова напомнить ей все, снова изложить свой план поездки в горы, и, поняв, что он не отступится, она сдалась — легко и бездумно, как бы говоря: к чему спорить, к чему утруждать себя, какая разница, что делать — то или другое. Под его неослабным надзором она позавтракала, потом поднялась к себе в номер, снова спустилась, и тут вдруг сразу все закрутилось — «На старт!». Она потащила его во двор, сняла мотороллер со стояка, завела шумный маленький моторчик, вскочила в седло и жестом указала Роджеру на заднее сиденье.

— Куда нам? — крикнула она, перекрывая шум выхлопов.

— Налево,— ответил он.

И они помчались, петляя среди машин. Домов постепенно стало меньше, дорога пошла вверх — значит, Роджер все-таки не ошибся,

---

[1] Разумный человек *(лат.)*.

хоть и знал местность чисто теоретически,— и впереди предстоял чудесный день.

Даже погода — и та была с ними заодно. Вышло солнце и разогнало густой туман; небо из белесого стало жемчужно-серым, потом бледно-голубым и наконец ярко-синим. Над вереском закружились пчелы. В такой день природа захлопывает дверь за летом и распахивает ее навстречу щедрой золотой осени. Роджер с наслаждением вдыхал соленый морской воздух, насыщенный ароматом диких горных цветов. Мотороллер забирался все выше и выше, маленькие толстые шины подминали под себя крутую извилистую дорогу. Роджер благонамеренно держал руки на коленях, но всякий раз на повороте его прижимало к Беверли, и от этого соприкосновения с ее телом по жилам его пробегал ток и ему хотелось вопить во все горло.

Все это не мешало ему, однако, любоваться горами, и то, что он видел, поражало его. Он никак не ожидал попасть в такой безлюдный, дикий край. Ведь там, за линией горизонта, лежали города, и, судя по карте, высота над уровнем моря здесь была незначительная, однако все пять чувств подсказывали ему, что это настоящие горы — древние, суровые и неприступные. Овцы, стуча копытцами, возмущенно разбегались, когда мотороллер с треском выскакивал из-за поворота, обогнув еще одну осыпающуюся отвесную скалу; ручьи прочерчивали долины; жирные вороны разгуливали по тощей траве. Или, может быть, это были во́роны? И неужели там, в вышине, до сих пор еще живут орлы?

Солнце стояло прямо над головой и шпарило вовсю. Наступило время для отдыха, еды и наслаждения. Глаза Роджера принялись отыскивать подходящее место — этакую спальню под открытым небом, которая была бы, однако, защищена от любопытных глаз. Ага, вон там, повыше. Чаша, выстланная вереском, окруженная большими камнями.

— Остановимся здесь.

— Хорошо.

Беверли была сама покорность: казалось, она отрешилась от своей воли в тот момент, когда они двинулись в путь. Они слезли с мотороллера. Беверли поставила его на тормоз и пошла следом за Роджером вверх по каменистой тропе.

— Стоп! — сказал он, опуская на землю рюкзак.— Жаль, что нет тут ручья, чтоб охладить вино. Но нельзя иметь все.

— А у нас как раз есть все,— проворковала она.— И солнце, и дивный вид, и полная свобода!

Это пока еще не все, детка. Кое-что придет позже.

Крепкие зубы Беверли с аппетитом вгрызались в припасенные им яства, и вино струей вливалось в ее молочно-белое горло. Наконец, липкая от апельсинового сока, отяжелевшая от вина, она откинулась на плащ Роджера, который он расстелил на упругом вереске, устроив подобие матраса. Рубашка ее вылезла из джинсов, обнажив полоску слегка загорелого живота с наивным пупком.

Роджер допил вино и отшвырнул подальше бумажный стаканчик. Минуту спустя он уже лежал на плаще рядом с Беверли, прижавшись губами к ее губам, положив теплую руку на полоску ее обнаженного тела. Вся вселенная свелась вдруг к простейшей формуле — мужчина и женщина, он и она, а оба вместе — основа мироздания.

Но Беверли вдруг отвернула от него лицо и перекатилась на бок, оторвав женскую половину мироздания от мужской. Не возмущенно и не из страха, нет,— она отвергала его лениво и небрежно, и это было самое оскорбительное.

— Не надо.

Он ждал. Два слова? И все?

Она села, но не заправила рубашку в джинсы. Движения ее были по-прежнему медлительны — словно он был мухой, которую она жестом отогнала прочь.

— Почему не надо? — спросил он.

Она пожала плечами.

— Неужели на все должна быть причина?

Он понял, что совершил ошибку — принизил себя, низвел до уровня этакой назойливой комнатной мухи. Но разве это не ее обычный уровень? В нем вспыхнул гнев, и он резко вскочил на ноги. А Беверли как ни в чем не бывало продолжала сидеть на плаще и даже не взглянула на него. Солнце зашло за небольшое, но плотное облачко.

Желание Роджера перешло в ненависть; внутри у него разрасталсяся мрак, жестокое, мстительное чувство поднималось со дна души. Инстинктивно спасая себя от возможных неприятностей, он круто повернулся и зашагал прочь. Пусть она посидит и подумает немножко. Ему тоже надо побыть одному, подвигаться, подышать этим тихим, напоенным ароматами воздухом, дать успокоиться току крови.

Целых полчаса, а то и сорок минут шагал он, постепенно обретая над собой власть. Шагал — и пытался себя образумить. Что ж, значит, предаваться радостям любви на горном склоне с девушкой вроде Беверли — это для других, не для него. Вот в Упсале все будет иначе — там он сможет тщательно разработать план осады и шаг за шагом осуществить его. Теперь он совсем остыл. А когда порыв свежего ветра пронесся по гребню горы, понял, что не только остыл, но и закоченел. Час назад день был такой голубой, золотой, жаркий — трудно было даже представить себе, что может быть иначе. Теперь же, пока Роджер размышлял, на солнце нашли облака, поднялся ветерок, в воздухе ощущалось приближение дождя. Надо бы надеть плащ... да, но на нем лежала Беверли и, наверно, лежит до сих пор. По телу Роджера пробежал озноб. Не очень-то приятно очутиться в дождь на голом склоне.

Он прошел по гребню горы до впадины, где оставил Беверли. Она исчезла — вместе с его плащом. Его кожаный рюкзак был тут, бумажные стаканчики и тарелки валялись на траве, как и две пустые бутылки из-под вина. Но такая уж у нее, видно, была манера: взять что нужно и бросить остальное на растерзание воронью.

Роджер залез на валун и осмотрелся. Мир изменил свою окраску. Куполообразная гора, поросшая до самой вершины травой, такой изумрудно-зеленой под безоблачно-голубым небом, теперь потемнела — стала почти серой; она словно вобрала в себя весь свет и все краски неба, какие еще виднелись в разрывах облаков, и погасила их. А в крутых каменных склонах вдруг появилось что-то угрожающее. Внизу по долине стремительно бежала река, словно спешила побыстрее слиться с морем, и когда Роджер медленно повернулся, ища взглядом Беверли, он увидел, что и море, лежавшее на западе, у края горизонта, стало точно лист свинца. Все вокруг как бы съежилось, стало более суровым, лишенным света и тепла. Здесь, в вышине, было одиноко, холодно и не место человеку. Беверли нигде не было видно, но если он пойдет туда, где они оставили мотороллер, то наверняка нагонит ее по дороге.

Он быстро спускался вниз, пока не наткнулся на первое из мелких владений, каменные стены которого обещали желанный приют. Он оглядел домик — ни дымка, ни света, хотя с виду не заброшенный. Кто-то, должно быть, построил его тут себе для отдыха, и он оживает только по уик-эндам. Ну что ж, по крайней мере можно укрыться от ветра за его стеной. Роджер прижался к ней вплотную,

спасаясь от дождя, налетевшего вместе с порывом ветра с моря. Это уже не шутки. Надо во что бы то ни стало найти мотороллер и, пока не разыгралась буря, спуститься вниз — к теплу и свету, где можно принять ванну, переодеться. Все остальное отступило на задний план. Волнение, снедавшее его, словно рукой сняло. Ветер вдруг стих, и Роджер быстро двинулся вперед. Перевалив через возникший на его пути гребень горы, он увидел дорогу, которая вилась вниз по обращенному к морю склону в направлении черепичных кровель поселка и дальше — к прибрежному шоссе. А там уже будут и машины, и будки с телефонами-автоматами, и пивные, и заправочные станции, и рестораны — во все возрастающем количестве по мере приближения к Карвенаю. Они оставили мотороллер в самой высокой точке дороги, где она круто сворачивала вниз, в долину, спускаясь к реке, и сейчас Роджер увидел его. Мотороллер стоял на упоре, терпеливо дожидаясь седоков,— переднее колесо застыло в воздухе, мокрый вымпел повис, хромированная табличка тускло поблескивала — так тускло поблескивает вода под свинцовым небом.

Найти мотороллер было первой задачей Роджера. Он еще быстрее пошел вниз по узкой дорожке, вытоптанной ногами овец и фермеров. Второй его задачей было найти владелицу мотороллера, но ее нигде не было видно. Тут он не без досады вспомнил, что мотороллер снабжен предохранителем от воров, намертво замыкавшим переднее колесо, и снять колесо с предохранителя можно лишь с помощью ключа. Словом, Беверли обладала не только моральным правом на мотороллер, но и практически одна она могла запустить его. Куда же, черт бы ее побрал, подевалась эта глупая девчонка?

Новый порыв ветра с дождем обрушился на Роджера, и он кожей почувствовал ледяное прикосновение воды. Куртка, брюки — все промокло насквозь. Волосы намокли и слиплись — право же, пора отказаться от этой дурацкой привычки в любую погоду ходить с непокрытой головой. Он заспешил еще больше, хлюпая по раскисшей под неумолимым дождем земле.

Вот и мотороллер. Но где же Беверли? Он выпрямился и оглядел затянутый дождем горизонт. Собственно, оставалось решить лишь один вопрос: дожидаться ли здесь Беверли или же идти пешком вниз. До прибрежного шоссе отсюда не больше двух-трех миль под гору, а по дороге есть еще поселок, где, возможно, сыщется пивная, а возможно, и нет. Местные власти не отличались религиозностью, однако Роджер знал, что они заботились о том, чтобы целые районы Северного Уэльса были лишены пивных. Но даже если здесь и затесалась пивная, до ее открытия придется ждать не один час. Роджер уже начал было спускаться вниз, но не успел сделать и несколько шагов, как ледяной порыв ветра ударил в него. Он ринулся назад, к придорожной ограде, ища укрытия. Нет, это просто уму непостижимо! Конечно она скоро придет!

Роджер понятия не имел, сколько он прождал возле мотороллера. Он избегал смотреть на часы — так наверняка можно было рехнуться — и все свое внимание сосредоточил на том, чтобы не закоченеть. Он не мог встать во весь рост и помахать руками — тогда он лишился бы и того малонаселенного укрытия, которое предоставляла ему низкая ограда. Поэтому он решил хотя бы поработать мускулами. Скрючившись у ограды, под дождем, который — в зависимости от ветра — хлестал его то с одной стороны, то с другой, а то вдруг обрушивал ему на голову столб воды, он напряг мускулы так, что даже сморщился от натуги.

— Какой ты смешной!

Над ним стояла Беверли в его плаще. Из-за шума дождя и рева

ветра Роджер не слышал, как она подошла, да и не мог ее увидеть, потому что крепко зажмурился, сжавшись в комок.

— Ой! — Он вскочил на ноги.— Где ты пропадала?

— Гуляла по горам под дождем. Очень занятно.

— Мой плащ не велик тебе?

— Нет, спасибо.

— Очень рад. Ну так как — поехали?

Она быстро шагнула к мотороллеру, отомкнула замок, включила зажигание, резко нажала на стартер, потом вдруг вскочила в седло и, подпрыгивая, покатила вниз по мокрой придорожной траве. Роджер помчался было за ней с криком: «Эй, подожди...» Она обернулась, и он увидел ее холодное, искаженное злобой лицо. Эта идиотка, оказывается, разозлилась, она, точно какая-нибудь мисс времен королевы Виктории, видите ли, оскорблена, что он принял ее за «такую». И сквозь шум дождя он услышал ее голос:

— Тебе полезно прогуляться.

— Прогуляться?!

— И немножко поостыть,— добавила она.

Мотор взревел, и она исчезла.

Притулившийся на мокром склоне, пронизываемый ветром, налетавшим со свинцового моря, поселок Лланкрвис готовился к еще одной непогожей ночи. Над кромкой Ирландского моря и островом Энглси, похожим на большого всплывшего кита, все еще полыхал закат. Но здесь на мокрые склоны уже опускался мрак. Поселок Лланкрвис возник в викторианскую эпоху, в пору расцвета производства шифера, когда надо было срочно обеспечить кровом рабочих, которые трудились в сланцевых карьерах и, занимаясь одним общим делом, деля вместе тяготы и опасности, создали здесь подобие коммуны. Теперь большие карьеры, находившиеся выше поселка, были уже почти выработаны. Правда, горстка людей все еще ковырялась там, и каждую неделю вниз откатывали по несколько вагонеток сланца, но Лланкрвис потерял свой raison d'être[1] и, как многие подобные селения, выглядел унылым и заброшенным. Его церквушка, похожая на сарай, наверно, не производила впечатления сарая в те дни, когда туда стекались рабочие из карьеров и семьи с разбросанных по склону ферм; сейчас же, когда народу в ней всегда было мало и своды ее не оглашало громкое ликующее пение, она походила на старого актера, долгие годы выступающего в главной роли перед пустым театральным залом. В поселке не было гостиницы, зато имелись две бакалейные лавки, принадлежавшие объединению бакалейных магазинов, управляемому людьми, которые никогда не жили в Лланкрвисе и не собирались даже наведаться туда; не было там ни залов для собраний, ни библиотеки, ни рыночной площади; жители постарше проводили каждый вечер, уставившись на экран телевизора, а молодежь ездила на автобусе в Карвенай или, за отсутствием средств, стояла группками в прямоугольнике света, отбрасываемом окном лавчонки, где торговали рыбой с жареным картофелем. Такая тут была жизнь. Если посмотреть на Лланкрвис с точки зрения эстетической, то можно сказать, что прямолинейная уродливость его террас как бы даже сочеталась с голыми склонами гор и безграничными просторами бухты. В двадцатом веке в поселке появилось инородное тело в виде красных кирпичных домов местного самоуправления, но от этого он вовсе не стал выглядеть более современным.

---

[1] Повод для существования *(франц.)*.

Впрочем, пришельца, который под ветром и дождем шлепал сейчас по улице, вовсе не занимали ни эстетические, ни социальные проблемы. Роджеру понадобилось около часа, чтобы добраться сюда с того места, где Беверли покинула его, и каждый шаг, который он делал, хлюпая по грязи, лишь увеличивал его злость и дурное настроение.

Уже почти совсем стемнело, а улицы Лланкрвиса освещались плохо: несколько стандартных бетонных фонарей у полукружия муниципальных домов да с полдюжины старинных чугунных фонарей на главной улице, где находились церковь, почта и лавка, торгующая рыбой с жареным картофелем. Улица эта пролегала горизонтально по склону горы, так что Роджер, стремительно спускаясь вниз под порывами ветра с дождем, вступил на нее у перекрестка, который, видимо, являлся центром поселка. Он быстро посмотрел направо и налево. Вокруг каждого фонаря стояла лужа света. Окно лавки, где торговали рыбой с жареным картофелем, отбрасывало желтый свет, и фигуры трех или четырех парней и девушек внутри свидетельствовали о том, что какие-то люди здесь все-таки есть,— иначе могло бы показаться, что поселок вымер в результате бактериологической войны. Все его обитатели уже вернулись домой после работы и ужинали или смотрели телевизор. Роджер не сомневался, что во многих домах делали и то и другое одновременно: ели остывший телеужин, сидя в специальных телекреслах. Они не сплетничали друг у друга в гостях. Не стояли на улице. Не горланили гимны и не спорили о политике в каком-нибудь местном клубе, потому что никакого клуба в этом поселке не было. Вот к чему привело пуританство девятнадцатого века, отказ от всяких развлечений, кроме церковной проповеди. Не к укреплению веры, не к углублению в богословие, даже не к выжиганию по дереву и не к увлечению татуировкой, а к остывшим телеужинам и коммерческому телевидению.

Зубы у Роджера начали стучать. Он сделал было шаг-другой в направлении лавчонки, где торговали рыбой с жареным картофелем,— единственного благословенного заведения среди пустыни закрытых дверей и дождя,— однако вдруг точно прирос к месту. Его замутило при одной мысли о рыбе и жареном картофеле. И в ту же секунду он вспомнил—почему. В ушах раздался беззаботный голос Беверли: «Я купила немного рыбы с жареной картошкой и съела прямо на улице».

Роджер пошел дальше. Поселок ничего не мог ему предложить. Возможно, это был своего рода символ, возможно, и весь мир ничего не может ему предложить. Вокруг ничего — лишь сланец, да камни, да дождь, да жалкая чахлая трава, упрямо цепляющаяся за почву, которая лежит тоненьким, в несколько дюймов толщиной, слоем на голых скалах; даже все минералы вымыло неуемным дождем. Нигде ничего, ничего. Кроме, конечно, мусора. Старые ведра, велосипедные рамы, битые бутылки валялись в каждом овраге. И даже в самом поселке! Да вот, извольте: прямо перед ним, ярдах в десяти от перекрестка кто-то бросил старый автобус. Отвел от дороги и оставил на обочине, когда он отслужил свое...

Впрочем, нет, автобус-то вовсе не старый. Роджер вдруг обнаружил, что он целехонек и лишь недавно заново покрашен — блик цвета чайной розы блеснул в темноте. Он обошел его вокруг. Спереди было указано место назначения: «КАРВЕНАЙ». Значит, кто-то ездит на этом автобусе. Шины были в порядке, стекла целы. Возможно, он даже скоро отправится в Карвенай. *(Горячая ванна, еда, виски.)* Нет, нет, такая удача не для него. Но пока можно все же залезть внутрь и там укрыться. Если кто-нибудь окликнет его, он просто скажет, что ждет отправления в Карвенай.

Озноб снова пробежал по телу Роджера, когда он взялся за

дверную ручку. Дверь откатилась. Он поднялся по ступенькам и плотно закрыл ее за собой. И сразу шум дождя и ветра стал глуше. Теперь можно спокойно и конструктивно поразмыслить, не ударяясь в истерическую жалость к себе. Этот холодный дождь начал влиять на его рассудок. «Бездомные, нагие горемыки, где вы сейчас? Чем отразите вы удары этой лютой непогоды...»[1]. Вот когда он понял значение этих слов! В автобусе было тихо и сухо. Сиденья обиты настоящей кожей — должно быть, это был старый автобус. В нем пахло кожей, табаком и бензином — непритязательными запахами трудовой жизни. Все это понравилось Роджеру. Ему положительно нравился этот автобус, в котором он нашел убежище,— этот друг, неожиданно возникший перед ним в сырой ночи разочарования. Быть может, теперь дело пойдет на лад.

Роджер опустился на одно из передних сидений. Потом встал, оставив после себя мокрый след, и пересел на соседнее место. Если он будет вот так пересаживаться, ему удастся в конце концов удалить из одежды воду. Это, конечно, не очень благородно по отношению к будущим пассажирам. К каким пассажирам? Вероятно, автобус уже совершил свой последний рейс. Вероятно, он тут оставлен на ночь. Но разве автобусы так бросают? Разве их не ставят в гараж? Обычно — да. Но не в таком глухом углу. Здесь все примитивно, голо, необорудованно. На Роджера снова нахлынуло уныние. Да, конечно, в автобусе было сухо, но не очень тепло. Может, здесь есть печка? Он прошел вперед и сел за баранку. Автобус был маленький, на тридцать шесть мест, без отдельной кабины для шофера. Роджер сидел по одну сторону капота, покрывавшего двигатель, а по другую находилось сиденье для пассажира, и дальше, как всюду, шли ряды сидений с проходом посредине. Роджер принялся обследовать разные кнопки. Первая же кнопка включила свет. И весь автобус вдруг засветился, точно корабль среди темного моря. Настроение у Роджера сразу поднялось. Когда светло, всегда кажется теплее. К тому же электрическая лампочка действительно дает тепло. Он нажал еще какие-то кнопки. На этот раз вспыхнули фары — два пальца света проткнули дождь, озарив крутящиеся капли воды. Человек сражается со стихией! Роджер почувствовал себя веселее. Но печки он попрежнему не обнаружил. Впрочем, если бы даже она и нашлась, то все равно не стала бы греть, пока не включен мотор. А включить мотор невозможно. Роджер видел прорезь для ключа зажигания, но самого ключа, конечно, не было.

Он сидел на шоферском месте, бесцельно положив руки на большую баранку руля. Сидеть было удобно — некий конструктор в свое время хорошо все рассчитал. Автобус был подлинной музейной редкостью. Роджер не удивился бы, узнав, что он выпущен еще до войны. Сиденья были обтянуты хоть и потертой, но настоящей кожей, которую наверняка ни разу не меняли, а это значит, что автобус строили еще до эры эрзацев. Как интересно! Пожалуй, какому-нибудь музею следовало бы его купить. Да и рычаг переключения передач выглядел таким массивным и прочным, точно был из настоящей бронзы или чего-то там еще. Роджер осторожно двинул вперед ручной тормоз. Автобус дрогнул. И тронулся с места! Нет... Да... Он явно двигался. Должно быть, машину оставили на нейтральной передаче. Надо затормозить.

Но Роджер не стал тормозить. Передние колеса автобуса выкатились на асфальт. Роджер слегка повернул баранку, и теперь уже и задние колеса выкатились на асфальт — каждое с легким подскоком

[1] Шекспир, «Король Лир», акт III, сцена четвертая. Перевод Б. Пастернака.

съехав с обочины. По ветровому стеклу ручьями бежал дождь; если бы Роджер и включил мотор, заработали бы «дворники», но сделать этого он не мог, и приходилось смотреть на дорогу сквозь длинные полосы дождя. Правда, это было не так уж трудно, да и кроме того, на горной дороге в столь поздний час не было движения.

Желтый веер света быстрее заскользил по темноте. Роджер почувствовал, как пьянеет от этой поистине невероятной авантюры. Он несколько раз нажал на ножной тормоз и с облегчением обнаружил, что тормоза работают хорошо. Значит, затормозить автобус даже на такой крутой и мокрой дороге будет несложно. Он уверенно держал баранку. Он ехал!

Шины шуршали по мокрой дороге; мимо плыли каменные ограды и деревья. Очень скоро Роджер почувствовал, что автобус сбавляет скорость, а впереди замелькали огни машин на прибрежном шоссе. Эскапада была почти окончена. Здесь он сможет раствориться в ночи, и никто никогда не докажет, что он вообще хотя бы приближался к этому автобусу. Отлично выполненное преступление. И абсолютно безобидное. Никаких угрызений совести Роджер не чувствовал. Да он их и не почувствует, если автобус будет цел. А вот теперь — осторожно. Надо выводить его на обочину.

У слияния дороги с шоссе сбоку шла широкая полоса травы. Времени на раздумья не было. Сквозь исхлестанное дождем ветровое стекло Роджер вглядывался в приближавшуюся к нему траву. А что, если там канава? Нет, непохоже. Придется рискнуть. Он крутанул баранку. Автобус послушно свернул с дороги. Роджер нажал на тормоз. И, весь напрягшись, застыл: а вдруг колеса скатятся сейчас в невидимую канаву и автобус перевернется?.. Но этого не произошло. Земля под колесами была твердая. Автобус остановился.

Роджер быстро выключил свет, открыл дверь, вышел из автобуса и закрыл за собой дверь. Автобус выглядел так же, как в тот момент, когда он наткнулся на него. Так же поблескивала желтая краска, так же барабанил по крыше дождь. Роджеру вдруг стало жаль, что их краткое и счастливое для него знакомство окончилось так внезапно и безвозвратно. «Прощай,— сказал он автобусу, стоя под проливным дождем,— спасибо за помощь. Я очень нуждался в ней». С этими словами Роджер быстро пошел прочь.

Вот и шоссе. А дальше что? Он вгляделся в дорогу в том направлении, куда ему следовало идти,— вот, наконец, и то, что требуется. Световая вывеска. Какой-то там герб. Значит — пивная. Первым делом надо выпить, а там уже легче будет. Промокший, замерзший, усталый, но с ощущением одержанной победы Роджер быстро зашагал к пивной.

В зале ярко горел огонь. Он мгновенно и безраздельно приковал к себе внимание Роджера, так что тот не успел даже окинуть взглядом находившихся там посетителей. Ненадолго задержавшись у стойки, чтобы заказать себе двойную порцию виски, он сразу же направился к пылавшим углям и склонился над ними — тепло волной ударило в него и расползлось по телу. От одежды пошел пар. Впервые за долгие часы он почувствовал, что согревается, согревается.

— Извольте, сэр. Ну и непогода на дворе! — сказал хозяин, ставя перед ним небольшой стакан с золотистой жидкостью.

Роджер взял стакан и опрокинул его.

— А-а-а-а,— тихонько крякнул он и улыбнулся хозяину.— Теперь дайте-ка мне пинту горького.

Взяв пиво, Роджер снова вернулся к огню. Он решил посидеть в тепле, пока не обсохнет. Только сейчас он заметил, что помимо хозяина в зале было еще три человека — все мужчины. По другую сторону очага сидел маленький тощий человечек с морщинистым обветренным лицом, в чрезмерно большой шапке и в очень больших сапогах. Где-то посредине между ним и дверью сидел темноволосый юноша, с застенчивым, еще наивным лицом. Только глаза выдавали его зрелость — они были озабоченные, настороженные. Напротив Роджера, сразу за дверью, у самого бара сидел другой юноша — могучего телосложения, с физиономией боксера. У него были глубоко запавшие глазки, вьющиеся волосы, с виду жесткие, как горный вереск, и огромные кулачищи, которые он внимательно разглядывал при свете ламп.

Здесь было тепло, уютно, и Роджер постепенно впал в дремоту. Как долго продолжалось это счастливое забытье, сказать он не мог,— к действительности его вернула распахнувшаяся настежь дверь и три плотные, облаченные в непромокаемые плащи фигуры, появившиеся в зале вместе с порывом ветра и дождя.

Первой вошла женщина; едва переступив порог, она звонко, с ланкаширским акцентом изрекла:

— В такую погоду самое разумное — выпить: надо выгнать сырость из костей, не то мигом схватишь воспаление легких.

— Вы совершенно правы, миссис Аркрайт,— сказал мужчина, вошедший следом за ней.— Кстати, против усталости это тоже помогает. Добрый вечер, мистер Пэрри.

— Добрый вечер, мистер Джонс,— сдержанно откликнулся хозяин.

— Миссис Аркрайт выпьет виски,— сказал мужчина.— И я думаю, нам ничего не остается, как последовать ее примеру, верно, дорогая?

Третья фигура, явно его жена, кивнула и сказала:

— Да, Кледвин, один раз можно.

— Тогда три виски, мистер Пэрри.

Мистер Пэрри налил виски. Ланкаширка, миссис Аркрайт, проглотила свою порцию, как человек, привыкший к крепким напиткам, и тут же принялась громогласно повествовать о том, каких мук она натерпелась.

— Хьюберт всю жизнь предупреждал меня,— трагическим тоном начала она, пододвигая свой стакан мистеру Пэрри. Тот молча снова налил ей.— Это еще когда мой Хьюберт был жив. Если я уйду в мир иной раньше тебя, Нелл, говорил он, возвращайся-ка лучше в Болтон. Живи среди людей, к которым ты привыкла. Вдова — существо беспомощное, где ей постоять за себя. Ну что ты, Хьюберт, говорила я ему. Я буду жить в том доме, который мы с тобой тут построили. Вот и живу — в память о нем. Потому что он ведь очень любил этот дом. Хотя порой, бывает — ох, бывает,— думаю: вот возьму сяду в поезд и вернусь к себе в Болтон.

— И сегодня, наверно, как раз такой день, когда вы об этом подумали,— угодливо заметил мистер Кледвин Джонс. Надо лбом у него торчал черный с проседью вихор, придававший его лицу вопросительное выражение, но очки так уверенно поблескивали, словно он раз и навсегда разрешил все проблемы, какие только могли возникнуть.

— Вот послушайте и рассудите сами,— продолжала миссис Аркрайт, обращаясь уже к тощему человеку и к Роджеру.— Я решаю поехать вниз, в Карвенай, выпить чаю с моей давней приятельницей. А машины у меня нет. Так что я езжу на автобусе. Ну и вот, иду

я на остановку и стою под проливным дождем. А там встречаю мистера Кледвина Джонса и миссис Джонс. Они едут на собрание. Очень важное событие.

— Кледвин у них секретарь,— сказала миссис Кледвин Джонс.— Ведет протокол. Без него они просто не разберутся.

Мистер Кледвин Джонс скромно продемонстрировал большую потрепанную черную папку, которую держал в руке. Все присутствующие посмотрели на папку — а заодно и на него — с глубоким уважением. Роджер так и не узнал — ни тогда, ни впоследствии,— о собрании какой ассоциации, клуба или общества шла речь, но это было явно что-то весьма значительное по местным масштабам.

— А дождь идет и идет,— продолжала миссис Аркрайт.— Идет и идет. А мы все ждем Гэрета. Автобус его должен ехать вниз. А автобуса нет как нет. Дождь уже льет нам за шиворот, а я, заметьте, не одета для такого дождя. Я одевалась, чтобы провести вечер в городе.— И она указала на свое легкое, городского типа пальто.

— Да, такое промокнет в один миг,— сказал, покачивая головой, человек в чересчур больших сапогах, оказавшийся пастухом.

— Проходит этак с четверть часа,— продолжала миссис Аркрайт,— вдруг видим, кто-то спускается вниз в темноте прямо к нам, ну, мы, естественно, решили, что это еще один пассажир. Я бы сказала: еще один будущий пассажир. Ничего подобного! *Гэрет.*

— Пешком? — спросил хозяин.

— Пешком,— сказала миссис Аркрайт. И прикончила вторую порцию виски.

— Что же, значит, автобус сломался? — спросил еле слышно застенчивый молодой человек.

Миссис Аркрайт решительно замотала головой.

— Ничего не сломался,— сказала она.— *Пропал.*

Присутствующие заволновались. Мистер Кледвин Джонс открыл было рот, намереваясь что-то сказать, но миссис Аркрайт перебила его. Роджер был ей чуть ли не благодарен: не будь ее, они стали бы обсуждать происшедшее на валлийском, а он сидел бы, как беспомощный младенец, тщетно пытаясь понять, что их так волнует. А ведь это он повинен в том, что мистер и миссис Кледвин Джонс и миссис Аркрайт не попали в Карвенай, да к тому же еще и промокли. И он же поставил в неловкое положение этого Гэрета — кто бы он там ни был — и причинил ему столько беспокойства.

— Вот такие-то дела,— продолжала ораторствовать миссис Аркрайт,— и наводят меня на мысль, что я все-таки не выдержу и перевезу свои старые кости в Болтон.

— Но и Гэрету тоже нелегко,— заметил пастух.

— Я знаю, что Гэрету нелегко,— сказала миссис Аркрайт.— Но если Гэрет не может справиться со своими трудностями и это мешает ему обслуживать пассажиров, пусть уступит место другим. Людям все-таки надо добираться туда, куда им надо.

Молодой человек с боксерской внешностью выпрямился на скамье и хрипло произнес:

— Гэрету хуже, чем всем нам.

— Я этого не отрицаю,— сказала миссис Аркрайт.— Но когда люди живут в четырех милях от города, им необходим автобус. Здравый смысл подскажет вам, что я права.

— А что же с автобусом? — спросил хозяин.— Кто мог его украсть?

— Никто его не крал,— поспешил вставить мистер Кледвин Джонс, чтобы опередить миссис Аркрайт.— Мы все вместе спустились с горы, а он там и стоит — внизу.

— Внизу?

— На обочине, у самой дороги.

— И что же — он был поврежден? — с живейшим интересом спросил хозяин.

— Гэрет проверяет его,— сказал мистер Кледвин Джонс.— Мы ушли, когда он запускал мотор. Он сказал: если автобус в порядке, он отвезет нас в Карвенай. Там были и другие — семейство Идриса Джонса, эта девушка Гвенлин и двоюродный брат Джорджа Робертса. Но им уже все это надоело. Они не захотели ждать. Прямиком пошли на остановку, к которой подходит автобус «Дженерал».

Снова на какое-то время наступило молчание. Роджер живо представил себе, как люди шли с горы под проливным дождем: этот самый Гэрет, совершенно потерявший голову из-за своего автобуса, в окружении группы мокрых, злых, несостоявшихся пассажиров.

— Скоро все автобусы будут принадлежать «Дженерал»,— сказал пастух. Он не спеша поднялся и, протопав по линолеуму, подошел к стойке за новой порцией виски.

— Да, все они уже больше года, как принадлежали бы «Дженерал», если бы не Гэрет,— заметил хозяин.

— Вот и правильно было бы,— сказала миссис Аркрайт.— Большая компания всегда сумеет поставить дело лучше.

— Зато и плата за проезд сразу подскочит,— произнес застенчивый молодой человек.

— Ну и пусть: все лучше, чем шлепать под дождем,— сказала миссис Аркрайт.

Дверь снова отворилась, и в зал вошел горбун. На нем была старая кожаная куртка, почерневшая от дождя, под нею — рваный твидовый пиджак и синие брюки. Он был без шапки, и его редкие рыжеватые волосы намокли и казались приклеенными к крупной голове. Глубокие резкие морщины бороздили лицо. В минуту покоя такое лицо кажется высеченным из камня. Торс у него был широкий, как у быка, а ноги, обтянутые мокрыми брюками,— тощие и короткие. Роджер почувствовал угрызения совести при мысли о том, что этим слабым ногам пришлось нести такое тяжелое тело из Лланкрвиса, с самой вершины горы, вниз. Ибо — он это сразу понял — перед ним был Гэрет.

— А мы как раз говорили о вас,— завела свою музыку миссис Аркрайт.

— Как автобус, Гэрет, в порядке? — спросил мистер Кледвин Джонс.

Горбун, не отвечая, подошел к бару. Он вынул из кармана полкроны и положил на полированное дерево стойки. Хозяин достал пинтовую кружку и бутылку крепкого портера, откупорил ее, вылил содержимое в кружку и, долив ее пивом из бочки, протянул горбуну.

Зажав кружку в могучей мозолистой руке, горбун медленно повернул голову, словно хотел вобрать в себя все до мельчайших подробностей. Но глубоко запавшие глаза его, казалось, смотрели, не видя, словно они были несфокусированы, как у слепого.

— Видит бог,— наконец произнес он,— на этот раз я убью его.

— Ну, что ты, Гэрет, что ты, Гэрет,— сказал хозяин.

— Я хочу, чтобы все слышали, как я это говорю, друг! — рявкнул Гэрет. Голос у него был глубокий, раскатистый, словно гром или эхо под сводами пещеры.— Я убью его прежде, чем он отберет у меня хлеб.

Он поднес кружку ко рту и, медленными глотками осушив ее, опустил, лишь когда последняя капля исчезла в его бочкообразном торсе. Затем он поставил кружку и повернулся лицом в зал.

— У дверей стоит мой автобус,— сказал он.— Могу всех желающих отвезти в Карвенай. Вы едете, мистер Джонс?

— Они там, конечно, уже покончили со всеми вопросами повестки дня,— сказал мистер Кледвин Джонс,— но все-таки стоит, пожалуй, показаться и рассказать, что произошло.

— Едва ли есть теперь смысл туда ехать,— заметила миссис Аркрайт, бросая на Гэрета расстроенный взгляд.

— Ну, как вам будет угодно,— сказал Гэрет.— В десять часов я поеду, как всегда, и плата будет обычная, а сейчас везу всех задаром.

Он кивнул хозяину и вышел. Ветер с дождем ворвался в зал, когда он открыл дверь.

— Поехали все же,— сказал мистер Кледвин Джонс. И они с миссис Кледвин Джонс поспешили вон из пивной, сопровождаемые непрерывно что-то бурчавшей миссис Аркрайт.

Внезапно Роджер вскочил. Он и сам не мог сказать почему, но он вдруг решил вернуться в автобус Гэрета и вместе с ним проделать путь в город.

— До свидания,— бросил он на ходу и выбежал на улицу. Автобус стоял там, где он оставил его, но Гэрет уже сидел за рулем, свет был включен, а мистер и миссис Кледвин Джонс располагались на сиденье. Мотор кашлянул, загудел, и Роджер, махая руками, бегом кинулся к машине.

Гэрет перегнулся и открыл дверь — при этом он на мгновение повернул голову к Роджеру и скользнул по нему безразличным взглядом, потом привычным сильным рывком захлопнул дверь; автобус выбрался на шоссе, повернул и стал набирать скорость. Пустые сиденья потрескивали, коробка передач гудела и повизгивала под дощатым полом, и Роджеру начало казаться, будто они с автобусом делят позорную тайну, будто они, сговорившись, обманули Гэрета и довели его до отчаяния. В чем все-таки было дело? Кого Гэрет собирался «на этот раз» убить за то, что тот отбирает у него хлеб?

Автобус с грохотом въехал в Карвенай и остановился на большой площади рядом с другими автобусами. Мистер и миссис Джонс вылезли из машины и заспешили прочь. В автобусе остались только Роджер и Гэрет. Машинально, просто из вежливости Роджер отступил, пропуская Гэрета, но Гэрет продолжал стоять у своего места и ждал, пока Роджер сойдет. Он, как капитан, естественно, должен был сойти последним. Роджер быстро спустился по ступенькам — он чувствовал себя униженным, даже посрамленным этим человеком, в безмолвно застывшей, коренастой фигуре которого чувствовались такая сила и такое долготерпение. Гэрет был явно погружен в свои невеселые думы, и Роджер для него был лишь безликим пассажиром, человеком, который случайно оказался в пивной у подножия горы.

Итак, Роджер стоял на булыжной мостовой. Позади него высилась статуя какого-то местного деятеля в сюртуке, с застывшей улыбкой безграничной самонадеянности и доброты. В другом конце площади на фоне неба в подтеках лунного света вздымалась темная громада замка. А справа и слева от Роджера стояли автобусы — в одних сидели люди, в других было темно и пусто. На большинстве, как заметил сейчас Роджер, сбоку крупными буквами значилось: «Дженерал». Он вспомнил разговор, услышанный в пивной: «Скоро все автобусы будут принадлежать «Дженерал».— «Да, все они уже больше года, как принадлежали бы «Дженерал», если бы не Гэрет».

Дождь прекратился, но было по-прежнему сыро и холодно. До отеля пять минут ходу. Принять ванну, переодеться, выпить чего-нибудь в баре, прежде чем он закроется? Со стаканом в руке вежливо кивнуть Беверли, если она окажется там? В известном смысле это

было соблазнительно, но уж очень тривиально. Настоящая жизнь — не в этом. Пойди Беверли навстречу его желаниям, это была бы настоящая жизнь, но отказав ему, она перестала для него существовать — все равно как кукла, вырезанная из бумаги. Да и вообще этот отель, с его мещанским комфортом, с его претенциозной скверной кухней, с его суматохой и всеми прочими атрибутами был до ужаса заурядeн. А вот Гэрет и его автобус — здесь была настоящая жизнь, здесь таилась трагедия.

Гэрет выключил в автобусе свет и теперь не спеша шел через площадь в направлении узкой улочки, которая исчезала в тени, отбрасываемой средневековой городской стеной. Роджер последовал за ним — так же машинально, как он вскочил со стула в пивной. Противиться он не мог — жизнь звала. Он пересек площадь и быстро зашагал по расплывающимся пятнам света, которые ложились от освещенных окон магазинов на мокрый тротуар. Свернув в боковую улочку, он заметил, что Гэрет, шагавший ярдах в восьмидесяти впереди, нырнул в пивную. Роджер в свою очередь подошел к двери и остановился в нерешительности. Ему не хотелось, чтобы Гэрет заметил его. Вместе с тем что-то неудержимо влекло его туда, и он уже не мог отступить: надо хотя бы войти. И все же он медлил. А ведь проблема решалась очень просто. Во всех пивных есть по крайней мере два помещения. Гэрет наверняка пошел в бар, а Роджер мог зайти в салун и оттуда незаметно время от времени наблюдать за Гэретом. Зачем? Ясного представления об этом у него не было. Послушать, станет ли Гэрет жаловаться в кругу дружков, повторяя угрозы в адрес неведомого противника, или же будет сидеть в одиночестве и думать свою горькую думу? Словом, по каким-то неведомым причинам Роджер решил пошпионить за Гэретом.

Роджер вошел в салун. Там царила зеленая тоска. Возможно, Гэрет и выбрал это заведение потому, что оно такое унылое — под стать его мрачному настроению. В спертом воздухе, голубоватом от табачного дыма, стоял слабый, но назойливый запах карболки. Стены украшали прошлогодние рекламы напитков и сигарет. Стойка была обита пластиком, покрытые дешевым лаком стулья прилипали к одежде. Но заведение обладало одним преимуществом. Стойка перегораживала помещение пополам, и хозяин обслуживал посетителей салуна через широкое окно. Окно это, естественно, позволяло наблюдать за тем, что происходит на другой половине. Роджер устроился так, чтобы видеть Гэрета — тот только что взял себе кружку пива и уселся с ней. Гэрет был один.

Стараясь не привлекать к себе внимания, Роджер заплатил за пиво и сел — так, чтобы Гэрет не мог его увидеть, если ему вздумается кинуть взгляд в окно за стойкой.

Подойдя к стойке, чтобы взять новую порцию пива, Роджер осторожно заглянул в окно. Гэрет продолжал сидеть, неподвижный как скала. Он всецело ушел в себя, погрузившись в какие-то свои проблемы, и вдруг Роджера захлестнуло чувство вины. Ему стало ясно: отчаяние Гэрета как-то связано с пропажей автобуса. Что же теперь делать? Оставалось только одно. Еще немного выпить, набраться духу, а потом подойти к Гэрету и признаться, что это он набедокурил с автобусом. Придется, конечно, взбодрить себя — что ж, это в его возможностях. Он подошел к стойке, уже не заботясь о том, заметит его Гэрет или нет, заказал большую порцию коньяку, выпил, а потом взял еще бутылку пива. Вот это было зря. Он и так порядком хватил. Но пиво уже бежало в его желудок, когда он осознал свою ошибку. А, черт, теперь он пьян.

Решительно шагая по вздымавшемуся волнами полу, Роджер на-

правился к двери и вышел во двор в уборную. Облегчившись, он глубоко перевел дух и постарался сосредоточить все внимание на каком-то одном предмете — без особого успеха. И все же ему стало немножко легче. Тогда со всей стремительностью, на какую он только был способен, он двинулся ко входу в бар. Все очень просто — вот он сейчас войдет, сядет рядом с Гэретом и без дальних околичностей скажет: «Это я угнал твой автобус. А совсем не тот человек, которого ты хочешь убить. На этот раз ничего зловещего не произошло, просто...» Обдумывая свои слова, Роджер взялся за ручку двери. Но не успел повернуть ее, как дверь распахнулась — перед ним стоял Гэрет, заполняя дверной проем своим уродливым телом могучего быка на тощих ногах.

Роджер застыл, вдруг очутившись лицом к лицу с Гэретом. А тот, по-прежнему — как и в автобусе — не обращая на него внимания, автоматически отступил в сторону и только скользнул по лицу Роджера невидящим взглядом. Это ужасно, надо что-то предпринять — о господи, но ведь он пьян, совсем пьян! Роджер положил руку на рукав Гэрета. Крупная голова резко повернулась к нему.

— Минуточку... не могу ли я...

Гэрет снял со своего рукава руку Роджера — мягко, но решительно и недвусмысленно. Роджер пошатнулся и ухватился за стену. Гэрет, даже не обернувшись, сделал несколько шагов по тротуару. Роджер нагнал его и загородил ему дорогу.

— Я хочу... мне надо поговорить с вами.

— Ну так говори,— сказал Гэрет.

— Насчет вашего автобуса. Вы не обнаружили его на месте. Там, на горе. Верно?

Гэрет резко откинул голову и посмотрел Роджеру прямо в глаза. В глаза ли? Нет, сквозь них — в глубину мозга.

— Ну и что же?

— Это я угнал его.

Гэрет поднял могучую руку и, схватив Роджера за ворот пиджака, притянул к себе.

— Сколько он тебе дал?

— Вы не поняли, никто ничего мне не...

— Меня вокруг пальца не обведешь, мистер. Это Дик Шарп поставил тебя на дело.

— Ничего подобного. Не знаю я никакого Дика Шарпа, да если бы и знал...

Еще не закончив фразы, Роджер вдруг увидел, что Гэрет сейчас ударит его. Он увидел это так же ясно, как если бы сидел в кино и смотрел фильм, снятый замедленной съемкой. Только он сам был участником фильма и тоже не мог двигаться быстрее. Продолжая держать Роджера левой рукой за ворот пиджака, Гэрет правой рукой нанес ему сокрушительный удар в солнечное сплетение. Роджер уткнулся головой себе в колени. Глаза ему застлал красный туман; живот от боли свело — ему казалось, что он сейчас задохнется. Откуда-то издалека до него донесся голос Гэрета, говоривший что-то еще насчет Дика Шарпа,— но не все ли теперь равно, о чем он говорил? Для Роджера весь мир сводился сейчас к невозможности вздохнуть и к боли. Может, у него уже остановилось сердце? Может, он умирает? К голосу Гэрета присоединился чей-то другой: Роджер слышал, как над его головой два человека обменивались какими-то непонятными звуками. Не все ли равно, о чем они говорят? Потом он почувствовал руку на своем плече. Ему хотелось стать маленьким-маленьким, уползти в себя, зарыться глубоко в землю, пока Гэрет не ударил его еще раз. Но удара не последовало. Рука медленно помогла ему подняться.

— Вы тоже пойдете с нами,— произнес чей-то новый голос. Красный туман постепенно рассеялся: перед ним стоял полицейский.— Вы тоже пойдете с нами в участок,— говорил полицейский, обращаясь к нему.

Гэрет тихо стоял рядом, глубоко запавшие глаза его скрывала тень.

— Я видел, как он на вас напал. Мы запишем ваши показания.

Роджер медленно поднес руку к животу. Было невероятно больно, но теперь он уже чувствовал, что это пройдет и он скоро сможет выпрямиться.

— Я не собираюсь делать никаких заявлений,— сказал он.

— Я вас не спрашиваю, собираетесь вы или не собираетесь,— сказал констебль.— А ну, пошли. Ты, Гэрет Джонс, тоже двигай, если не хочешь, чтоб я надел на тебя наручники.

— Мне же в десять часов надо ехать наверх, в поселок,— сказал Гэрет.

— Никуда ты в десять часов не поедешь,— заявил констебль.— В камеру — вот куда ты поедешь и просидишь до утра.

— Тут какая-то ошибка, констебль,— сказал вдруг Роджер.— Нам нет нужды идти в участок.— Он вдруг совершенно протрезвел.— Он не нападал на меня.

— Не нападал? Да я сам видел, как он двинул тебя в живот. Я тебя тоже запру за сопротивление закону, если ты...

— Послушайте, констебль, я отказываюсь выдвигать против него обвинение. Если вы приведете меня в суд и заявите, что Гэр... что мистер Джонс напал на меня, я буду это отрицать и суд не примет дело к рассмотрению.

— Нет, примет. Мои показания тоже кое-что значат. Ты пьян, и проверка подтвердит это.

— Проверку дыхания устраивают только автомобилистам. А я пешеход.

— Видать, книжки по закону читал? Пошли, нет у меня времени с тобой канителиться.

Теряя терпение, констебль уже готов был схватить его и силой потащить за собой.

— Мы с мистером Джонсом шутили,— поспешно произнес Роджер,— и он меня по-дружески двинул под ребро. Это вы и видели.

— Если это значит по-дружески двинуть под ребро,— сказал полицейский,— интересно, что же тогда вы называете ударом под ложечку? — Он повернулся и некоторое время в упор смотрел на Гэрета, который отнюдь не производил впечатления человека, способного шутки ради затеять с кем-либо потасовку.— Так, значит, вы шутили, а? Вы что, дурачка из меня делаете?

— Послушайте, констебль,— мягко сказал Роджер.— Ну почему бы нам не забыть этот незначительный эпизод? Очень хорошо, что вы такой наблюдательный и сразу замечаете непорядок, но света здесь маловато, и глаза кого угодно могут подвести.

— От тебя так разит,— холодно, с явным отвращением произнес полицейский,— что скорее тебя глаза могут подвести, чем меня при самом слабом свете. Ступай-ка да проспись как следует.

Он отошел, еще с минуту посмотрел на обоих и величественно зашагал прочь. Даже спина его выражала неодобрение. Должно быть, он служил в полиции не больше двух лет.

Все это время Гэрет тихо стоял рядом, застыв в неподвижности, более выразительной — Роджер уже успел подметить эту его особенность,— чем любое движение. Наконец Гэрет повернул голову и посмотрел прямо в глаза Роджеру, и в слабом свете, падавшем из окон,

Роджеру показалось, что лицо его слегка смягчилось, стало меньше похоже на гранитную маску.

— Ну? — спросил Гэрет.

— Что — ну?

— Думается, вы должны сказать мне, мистер, что это значит.— При этих словах где-то в недрах груди Гэрета заклокотал смех. Звука не было. Но рот его широко раскрылся, все тело сотряслось и снова застыло в торжественной неподвижности. Он мотнул головой, показывая Роджеру, чтобы тот следовал за ним, и они вместе направились к площади.

Гэрет молчал, пока они не дошли до автобуса. Он распахнул дверь и сказал:

— Здесь мы можем поговорить.

Они вошли, он захлопнул дверь и опустился на одно из передних сидений лицом к Роджеру. Освещения он не включил: им достаточно хорошо было видно друг друга в свете фар проносившихся мимо автомобилей и серебристом сиянии луны.

Гэрет тотчас начал допрос:

— Так вы по-прежнему утверждаете, что не знаете Дика Шарпа?

— В жизни о нем не слыхал.

— Обычно,— тихо произнес горбун, глядя из окна на площадь,— когда что-то происходит с моим автобусом, это всегда дело рук Дика Шарпа.

— Я сейчас расскажу, что у меня получилось с вашим автобусом. Я спускался с гор под проливным дождем. Я там был с одной особой, которая... повела себя довольно подло и в довершение всего укатила, забрав мой плащ, а меня бросила там, наверху. Мне пришлось идти пешком, и когда я добрался до этого поселка — не знаю даже, как он называется...

— Лланкрвис.

— ...значит, до Лланкрвиса, я был уже изрядно зол на всех и вся. Не преувеличивая, скажу: я был просто в ярости и плевать хотел на права и чувства других людей. Я увидел автобус и залез в него, чтобы укрыться от дождя и немножко отдохнуть. А потом мне пришло в голову, что я могу спуститься на нем с горы и проехать хотя бы эту часть пути. Недолго думая, я отпустил ручной тормоз — передача не была включена — и покатил вниз.

Гэрет взвесил услышанное.

— Вы когда-нибудь водили автобус?

— Нет.

— Счастье ваше, что не сшибли никого.

— Кто такой этот Дик Шарп? — неожиданно спросил Роджер.

Гэрет молчал. И неотрывно смотрел на двухэтажный автобус, который медленно отъехал от стоянки и покатил через площадь.

— Вы приехали сюда на отпуск?

— Я понимаю, что вы хотите сказать. Держитесь подальше от наших дел, и мы не будем вмешиваться в ваши. Раз вы не знаете Дика Шарпа, то и не знайте его, и тогда ваш отпуск не будет испорчен. Вы ведь так думаете, верно?

— Я думаю, что вы странный человек, мистер.

— Странный или нет, но вы, черт побери, твердо решили не говорить мне, кто такой Дик Шарп.

Гэрет внезапно встал и направился к шоферскому месту. Он включил внутренний свет. Теперь автобус снова превратился в освещенную коробку, какою он был, когда Роджер ехал в нем с горы.

— Без десяти десять,— сказал Гэрет.— В десять я еду назад в Лланкрвис. Скоро начнут подходить пассажиры.

Роджер молчал.

— Дик Шарп,— сказал Гэрет,— возглавляет тут у нас две фирмы. Одна занимается перевозками, другая — строительными материалами. Года два назад он решил прибрать к рукам и автобусы. Шоссе здесь обслуживаются компанией «Дженерал», а вот местные дороги, сообщение между поселками, расположенными на склоне горы и внизу, в основном находятся в руках мелких хозяев, у которых два-три автобуса или даже один, как у меня.

К двери автобуса, задыхаясь, подошла дородная старуха, с ней была молодая женщина — возможно, дочь или племянница. Они открыли дверь, остановились, и между ними начался последний за день обмен новостями. Протяжная звонкая валлийская речь ворвалась в ярко освещенную тишину автобуса, где сидели Роджер и Гэрет.

— С автобусами у Дика Шарпа дело пошло не очень хорошо,— спокойно продолжал Гэрет.— От своей затеи он не отказался, но считает, что слишком это хлопотно. Он с радостью продал бы их компании «Дженерал», да только те не желают покупать, пока он не приберет к рукам все местные линии. Они заинтересованы купить лишь все скопом — всю автобусную службу по эту сторону Пулхели.

Двое худощавых мужчин обошли старуху и влезли в автобус. Тихо переговариваясь, они заняли задние места.

— Дик Шарп — человек богатый,— продолжал Гэрет.— Начинал он с ничего. Я ходил вместе с ним в сельскую школу в Лланкрвисе. Есть у него голова на плечах, и неплохая, вот что! Он никому не говорит, сколько у него в мошне, особенно сборщику налогов, но денег там немало. Все владельцы автобусов один за другим продали ему свои машины. Кто рад был продать, кому было все равно, но двое или трое продавать не хотели. Да только оказалось, что игра не стоит свеч. Уж больно трудно, когда против тебя Дик Шарп.

— Вот оно что,— сказал Роджер.

Гэрет включил зажигание и нажал на стартер. Свет на секунду потускнел и затем вспыхнул еще ярче; автобус начало потряхивать. Женщины затрещали быстрее, чтобы успеть выговориться.

— Я не продам,— сказал горбун, глядя сквозь ветровое стекло прямо перед собой.— Я один остался, но я не продам.

Теперь Роджеру стало ясно, что происходит с Гэретом. Он получил ответ на свой вопрос — пора было вылезать из автобуса и выходить из этой истории и из жизни Гэрета.

— Пойду соберу плату,— сказал Гэрет.

Он взял кожаную сумку, лежавшую рядом с ним на сиденье, и перекинул ее через плечо. Затем медленно пошел по автобусу, спрашивая у пассажиров, куда они едут, и собирая плату. Роджер смотрел на Гэрета, и вдруг у него возникло нелепое желание подойти и предложить собрать деньги, пока тот поведет автобус. Впрочем, такое ли уж это было нелепое желание? Ну, во всяком случае нелогичное. Где-то в глубине души Роджер чувствовал потребность помочь Гэрету, поддержать его в борьбе против Дика Шарпа. Разве Гэрет сумеет выстоять без помощи? У Дика Шарпа наверняка найдется способ сделать так, чтобы Гэрет не мог больше обслуживать пассажиров.

Гэрет уже шел обратно по проходу, позвякивая мелочью в сумке. Он остановился возле того места, где сидел Роджер, и почти дружелюбно взглянул на него. Он был похож на большую хищную птицу, закаленную в вечной борьбе, и улыбка не шла к его не привыкшему улыбаться лицу.

— С вас брать за проезд не стану,— сказал он.— Автобус идет в Лланкрвис, но обратного рейса не будет. А вам едва ли захочется снова торчать на горе.

— Да, второй раз за один вечер — это, пожалуй, уж слишком,— согласился Роджер.

Гэрет кивнул и направился к своему месту. Пора было уходить, пора было распрощаться с этим удивительным приключением. Роджер нехотя встал. Ярко освещенный, полный оживленной болтовни автобус казался маленьким островком жизни. За его стенами была темная площадь, где гулял ветер; за ней — склеп отеля «Палас» и номер, где его никто не ждет.

Гэрет оглянулся и вопросительно посмотрел на Роджера, как бы спрашивая, не надумал ли он все-таки поехать. Роджер улыбнулся, покачал головой и сошел на мостовую. Автобус вздрогнул, двинулся с места и с грохотом покатил по булыжнику площади, а Роджер медленно двинулся в сторону отеля «Палас». По пути он вдруг вспомнил, что ни разу за время их беседы Гэрет не выразил сожаления, что двинул его в живот.

На следующее утро, чувствуя непонятный прилив энергии, Роджер рано встал и, быстро позавтракав, пристроился в одной из гостиных отеля с учебником доктора Конроя «Начальные шаги в грамматике валлийского языка». Он работал быстро и с толком в течение трех часов, потом мозг его сам собой вдруг отключился, требуя отдыха и отказываясь что-либо воспринимать. Ну что ж, все-таки он успел проштудировать спряжения четырех глаголов во всех временах, узнал, что в валлийском языке есть семь способов образования множественного числа, а также уразумел, как происходят перегласовки (мягкая гортанная и с придыханием).

А теперь нужна небольшая прогулка — это обогатит кислородом его кровь и подготовит мозг к дальнейшему постижению наук. Выйдя из вращающейся двери отеля на улицу, Роджер от первого же глотка соленого воздуха почувствовал прилив бодрости и легкость во всем теле. Он шел, он дышал, он любовался игрой солнечного света на доблестных старых башнях замка, он одобрительно смотрел на маленькие пароходики, оседлавшие волны, и на чаек, оседлавших ветер. Когда до слуха его долетало несколько слов по-валлийски, произнесенных на пороге какой-нибудь лавчонки или в каком-нибудь закоулке, он замедлял шаг и прислушивался, и ему казалось, что он начинает улавливать структуру и природу языка. Взгляд его скользнул по витрине книжного магазина. Правильно! Надо купить газету на валлийском языке и за кружкой пива попытаться расширить свое представление о перегласовках и, где удастся, разгадать смысл слов. Великолепная мысль! Опытный, деловой Роджер, мудрый интеллектуал Роджер умеет ворочать мозгами.

В магазине он неожиданно обнаружил настоящее сокровище: оказывается, местная газета выходила и на валлийском языке. Роджер, радуясь как ребенок, уволок ее с собой. Он толкнул дверь первой попавшейся пивной, а глаза его уже впились в газету, выискивая знакомые слова. С рассеянным (внешне) видом, предпринимая титанические (внутренние) усилия, Роджер взял кружку пива и пошел с ней в уголок. Некоторое время он сидел и потягивал пиво, погруженный в свое занятие. Наконец, привлеченный шумом, он оторвался от газеты и посмотрел вокруг. Шум исходил от группы, стоявшей возле стойки. Особенно шумели двое: один — в шерстяной вязаной шапочке, худой, подвижный, с живыми чертами лица — говорил, не закрывая рта, и все время вертел головой; другой — приземистый, лысый, с редкими зубами — почти непрерывно хохотал, лишь время от времени вставляя словечко хриплым и в то же время довольно высоким голосом. Хо-

зяин, стоявший опершись локтями о бар, представлял собой фигуру, не менее достойную изучения. На лице его отражались все эмоции, которые рождал в нем рассказ,— возмущение, сочувствие, восторг, безудержная веселость,— и всякий раз он так гримасничал, точно ему за это платили. Одно выражение сменялось другим, возникала очередная маска и сразу же уступала место новой. Валлиец? Лицо у него было длинное, кожа землистая, густые черные волосы росли от самых бровей — они буйной порослью покрывали всю голову, нехотя уступая пространство большим торчащим ушам, и остановились в своем росте лишь внизу шеи, где на их пути непреодолимым барьером вставал воротник пиджака. В словоизвержении рассказчика наступила крошечная пауза, хозяин вставил несколько слов, и Роджер сразу заметил, что у него иное произношение, чем у остальных. В их речи преобладали гортанные звуки, в его же — певучие носовые. Они лаяли, он пел. Может быть, он с юга Уэльса? Ну, если дело так пойдет, скоро Роджер будет в состоянии наглядно представить себе карту распространения говоров в этом увлекательнейшем для лингвиста уголке земли.

История, которую рассказывал человек в шерстяной шапочке, достигла своего апогея среди взрывов хриплого пронзительного смеха. Он с удовлетворением посмотрел вокруг, как смотрит актер, видя произведенное им впечатление. Опуская на стол пустую кружку, Роджер вдруг почувствовал, что смех заразил и его и рвется наружу из его утробы. И он захохотал — да, громко захохотал над историей, которой даже не понял, и вдруг заметил, что толстый молодой человек с курчавыми каштановыми волосами, сидевший рядом с ним на скамье, говорит ему что-то.

— Da iawn' wir [1],— давясь от смеха, произнес толстяк.

Роджер повернулся к нему и заморгал глазами. В чем дело, почему он ничего не понимает: ведь ухо его уже привыкло к валлийскому, и сейчас ему казалось непостижимым, что он ни слова не может разобрать. Наконец он смущенно улыбнулся и сказал:

— Видите ли, я нездешний. Не говорю по-валлийски.

Молодой человек недоуменно показал на газету:

— Вы же читаете.

— Просто пытаюсь разобрать кое-какие слова. Мне хочется научиться валлийскому.

— Ах вот как! — Молодой толстяк посмотрел на Роджера. Во взгляде его был невысказанный вопрос. «С чего это вдруг, ну-ка объясни,— казалось, говорил его взгляд,— если хочешь, конечно».

Роджеру ничего не хотелось объяснять, но он рад был возможности завязать беседу. Он не очень понимал, что за человек перед ним, из какой среды: на нем был потертый синий костюм, явно из магазина готового платья, причем сшитый вовсе не на такую комплекцию, отчего молодой человек выглядел в нем весьма комично, но глаза у него были большие и умные, а лоб под копной темно-каштановых кудрей — высокий. Роджеру, охваченному пылом исследователя, хотелось все знать о каждом, кого он встречал в этом странном, удивительном месте. Для начала разговора он кивнул в сторону рассказчика в шерстяной шапочке и сказал:

— Глядя на этого малого, я жалею, что не понимаю по-валлийски. Он тут всех довел до колик.

— Да, у Айво талант по этой части,— согласился молодой толстяк.— Прирожденный jongleur [2]. У него и у его приятеля Гито — у то-

[1] Здорово *(валл.)*.
[2] Фигляр *(франц.)*.

го, что покряжистее,— материала для таких историй хоть отбавляй. Они разъезжают на грузовике по всему краю. Занимаются сбором металлолома. И заодно подбирают все сплетни.

— Давайте выпьем,— неожиданно предложил Роджер. Ему хотелось продлить беседу с этим человеком, который, по-видимому, умел ценить слово.

Снова молодой толстяк бросил на него настороженный, вопрошающий, но отнюдь не враждебный взгляд.

— Что ж, спасибо. По-моему, у меня еще есть время выпить кружечку. Здешнего горького, пожалуйста.— Когда Роджер принес ему полную кружку, он улыбнулся и сказал: — Меня зовут Мэдог.

Роджер поклонился.

— Роджер Фэрнивалл,— представился он. Произнесенное громко, его имя прозвучало здесь удивительно чужеродно. Комично и нелепо называться Роджером, да еще Фэрниваллом там, где людей зовут Айво, или Гито, или Мэдог.

— Мэдог — это, конечно, мой поэтический псевдоним,— сказал молодой толстяк.— На карточке социального страхования значится «Хайвел Джонс». Но в Гвинедде поэты еще обладают одной привилегией: их знают по поэтическим псевдонимам.

— Какие же стихи вы пишете? — спросил Роджер, которому в самом деле захотелось это узнать.

— Эпические,— сказал Мэдог.

Эпические? Молодой толстяк в дешевеньком костюме клерка, сидящий рядом с ним в баре и потягивающий горькое пиво, пишет эпические стихи?!

— Я сейчас как раз на середине одной поэмы,— сказал Мэдог.— Она будет такая же длинная, как «Потерянный рай». Но я пишу, конечно, не белым стихом. Валлийский язык любит рифму. Даже смену размеров. И свободный переход от одного стиля к другому — словом, своеобразный коллаж.

— А у вашей поэмы уже есть название?

— «Гвилим чероки»,— сказал Мэдог.

— Гвилим?..

— Чероки. Вы, конечно, знаете, что произошло с чероки?

— Ну, как сказать... не доподлинно.

— Доподлинно,— сказал Мэдог, сурово глядя в глаза Роджеру,— с ними произошло вот что. Когда европейские переселенцы прибыли в Северную Америку, они обнаружили, что индейцы живут по совершенно непонятным им законам. И тогда пришельцы стали безжалостно истреблять местное население, но некоторых обуяло стремление творить добро, и они решили перевоспитать индейцев на свой лад, превратить их в белых. Когда же выяснилось, что индейцы противятся благому намерению и предпочитают держаться собственных представлений о жизни, их принялись обзывать безмозглыми дикарями и истреблять еще безжалостнее. К примеру... вам не скучно?

— Нисколько. Мне всегда казалось очень...

— Возьмите владение землей,— продолжал Мэдог.— У индейцев никогда не было индивидуальных земельных наделов. Они владели землей коллективно, а белые завоеватели представляли себе владение землей лишь в виде разрозненных маленьких ферм, передаваемых по наследству от отца к сыну. Образцовым хозяином для них был европейский крестьянин. Индейцы же держались другой точки зрения, и белые завоеватели пришли к выводу, что они не способны достигнуть преуспеяния. Ведь так было дело?

— Так.

— Ну вот,— сказал Мэдог и сделал большой глоток пива,— теперь

мы подходим к чероки. Это был восприимчивый и умный народ. Белый человек говорил им о прогрессе, и они слушали. Это племя дальше всех других индейских племен продвинулось по пути белого человека. Они следовали всем его советам: обрабатывайте землю, продавайте то, что получаете с нее, приобщайтесь к нашим ценностям, и мы будем относиться к вам, как относимся друг к другу. И чероки все это выполнили. Они стали фермерами, и кузнецами, и ткачами, и прядильщиками. В начале девятнадцатого века они изобрели слоговое письмо и даже стали выпускать газету. Она называлась «Феникс чероки». Но этот феникс так и не восстал из пепла. Он погиб в своем пылающем гнезде.

— Что же случилось? Боюсь, я...

— Акт Эндрю Джексона о выселении индейцев,— сказал Мэдог.— Тысяча восемьсот тридцатый год.— Он резко, отчетливо произносил слова, голос его был полон презрения.— Их выселили с хороших земель и оттеснили в дебри. И хороших индейцев и плохих. И тех, кто пытался адаптироваться, и тех, кто не пытался, и мудрых девственниц и глупых девственниц. Чероки переселились вместе со всеми остальными под дулами ружей, побросав свои фермы, и дороги, и лавки, и кузницы, и печатные станки, и библиотеки. Никому до этого не было дела, потому что, видите ли, белому человеку понадобилась их земля.

Роджер посмотрел в дальний конец зала, где находилась стойка. Айво в своей нелепой шерстяной шапочке что-то опять рассказывал, и темное гуттаперчевое лицо хозяина расплывалось в довольной улыбке. Роджер снова повернулся к Мэдогу.

— Ну хорошо. Это вы рассказали про чероки. Кстати, неплохая тема для эпической поэмы. Но почему именно Гвилим?

— Можно назвать чероки Гвилимом,— сказал Мэдог тихим напряженным голосом.— Можно назвать его «Даем». Можно — «Янто», или «Хью», или «Хайвел», или «Гэрет», или «Гито», можно поставить любое имя.

Роджер подумал с минуту.

— Понимаю. Вы создаете, так сказать, непрерывную параллель.

— Если хотите, можете назвать это так,— сказал Мэдог.

— Да, но какой точный исторический эквивалент? — не отступался Роджер.— Какие акции англичан по отношению к валлийцам равносильны изгнанию чероки с их земель?

— Англизация,— сказал Мэдог.— Растление душ. А также то, что они изрезали долины Южного Уэльса угольными шахтами и превратили население в троглодитов, которые не говорят даже на собственном языке. То, что они выкачали несметные богатства из уэльских недр и не заплатили нам ни пенни.

Некоторое время они сидели молча. Потом Роджер сказал:

— Ну так вот, перед вами англичанин, который хотел бы сделать что-то доброе для вашей страны. Я намерен посвятить себя изучению кельтских языков.

— Ну, это все равно что купить одеяло для резервации,— заметил Мэдог.

— То, что вы сказали, несправедливо, и вы это знаете.

— Возможно,— согласился Мэдог.— Во всяком случае я не должен был бы так говорить, раз я пью ваше пиво.

— К черту пиво. Я считаю себя цивилизованным человеком, с присущим цивилизованному человеку интересом к искусству. Я спрашиваю поэта, о чем он пишет, и через минуту узнаю, что я мерзавец, зараженный геноцидом, что я выгнал чероки с их земель и разорил Южный Уэльс. И все по собственной прихоти.

— Не вы. Ваш народ.

— Но я же не народ. Я — это я.

— Это старая проблема,— сказал Мэдог и вдруг улыбнулся.— Давайте снова поговорим о поэзии.

— Хорошо, давайте. Меня интересует музыка валлийского стиха.

Беседа их перепрыгивала с одного на другое.

Вдруг нечто большое, квадратное заслонило им свет. Гито, сверкая вспотевшей от волнения лысиной, явно хотел перекинуться словом с Мэдогом. Тот выслушал его и покачал головой. Гито стрельнул в него двумя-тремя вопросами — во всяком случае по интонации Роджеру показалось, что это были вопросы. Он уже решил заняться газетой в ожидании, пока Гито закончит свои переговоры и уйдет, но не успел наклониться над ней, как среди каскада валлийских слов услышал: «Дик Шарп». Он отчаянно старался уловить хотя бы обрывок смысла, но разговор был слишком быстрым и сложным для его понимания, и, не выдержав, он снова занялся газетой.

Гито, казалось, был очень расстроен. Он снова начал что-то говорить, потом оборвал себя на полуслове, возмущенно передернул широкими плечами и вернулся к Айво, стоявшему у бара.

— Что-нибудь случилось? — спросил Роджер.

— Да нет, просто местные дела. Вечно кто-то занимается барышничеством.

— В буквальном смысле слова? Торгует лошадьми?

— Нет, я употребил это выражение иносказательно,— сказал Мэдог.

Роджер пригнулся к нему.

— Вы знаете человека по имени Дик Шарп?

— Конечно, знаю,— ответил Мэдог после минутной запинки.

— Что это за малый?

— В каком смысле?

— Что ж, видно, лучше нам оставить эту тему,— сказал Роджер.— Вы явно не хотите обсуждать этого Дика Шарпа, и вообще вам не нравится, даже когда упоминают его имя. И все-таки я сделаю еще одну попытку.

Он посмотрел через стол на Мэдога.

— А если я скажу, что неспроста интересуюсь местными делами? Я друг Гэрета.

— Какого Гэрета?

— Горбуна.

Мэдог медленно повернулся на стуле и посмотрел на Роджера.

— И вы считаете, что это дает вам право вмешиваться в любую местную распрю?

— Значит, вы признаете, что распря все-таки есть?

— Ничего я не признаю,— сказал Мэдог.

— А чем так взволнован Гито? Его что — преследует Дик Шарп?

— Да кто вы в самом-то деле? Журналист, что ли?

— Я филолог. Я из профессионального интереса изучаю валлийский язык и именно этим тут и занимаюсь. У меня нет ни малейшего намерения вмешиваться в вендетты или выступать против местной мафии.

— Я бы не советовал вам говорить в таком ключе. Мы не считаем это забавным.

— А мне все равно, что вы считаете. Только если вы ведете себя, как люди, запуганные местной мафией, не думайте, что этого никто не заметит.

— Значит, *все-таки* вы журналист. Ведь именно так разговари-

вают журналисты. Пронырливые, самоуверенные лондонские журналисты.

— Да, я из Лондона,— произнес Роджер медленно и отчетливо,— но я не журналист и вовсе не проныра. По профессии я филолог. До сих пор я занимался древнеисландским, древнеанглийским и древневерхненемецким и интересовался — в сопоставлении — развитием современных скандинавских языков. Я — автор хорошо известной работы «Превращение умляутных вариантов в умляутные аллофоны в скандинавских языках и, в частности, в сравнении с конечными «i» и «e» в древневерхненемецком». Я решил изучить валлийский, чтобы лучше разобраться в кельтском языкознании.

Мэдог несколько смягчился. Он уже явно готов был пойти на мировую.

— Хорошо, я вам верю. Я признаю, что у вас есть достойное основание для того, чтобы здесь находиться и интересоваться нашей жизнью. Я снимаю обвинение в том, что вы журналист. Что дальше?

— Почти ничего. Я встретился с Гэретом при обстоятельствах, которые можно было бы изложить в виде занятной истории, если бы у вас было время. Но пока я оставляю это в стороне. Я знаю, что Гэрет — последний из владельцев автобусов в этом краю, противостоящий слиянию, намеченному Диком Шарпом. Меня интересует вот что: можно ли чем-то ему помочь или хотя бы приободрить его?

Мэдог с минуту сидел, глядя прямо перед собой. Забытая газета лежала между ними на столе.

— Предположим, вы видите китобойное судно, выходящее в море,— сказал он наконец,— оборудованное по последнему слову техники: радарными установками для обнаружения китов и всеми видами гарпунных орудий, которые будут этих китов расстреливать, полностью укомплектованное инженерами и радистами, с лазаретом и кают-компанией для команды, судно, в которое владельцы вложили миллионы, думая лишь о том, чтобы оно совершило удачный рейс и принесло им побольше денег,— когда вы видите такое судно, у вас возникает жалость к киту?

— Дело в том, что я ни разу не видел такого судна. Но если бы увидел, то, наверно, именно такой была бы моя реакция.

— Что ж,— сказал Мэдог, беря стакан,— видно, такую реакцию вызвал у вас и Гэрет.

— Выходит, его положение безнадежно?

— Я этого не сказал. Иногда путем длительных переговоров можно добиться того, чтобы те или иные страны подписали соглашение, по которому кит получает возможность передышки в определенных районах определенных морей. Но вы никогда не заставите всех подписать такое соглашение — найдутся такие, которые отправятся именно туда и с наслаждением поживятся жирным куском, оставленным теми, у кого есть совесть, а также известное представление о необходимости уберечь китов от полного истребления и так далее. Что в таких условиях можно сделать для кита? Очень немногое. И то — лишь на время.

Роджер кивнул.

— А для Гэрета это было сделано?

— По всей вероятности, нет. Те из нас, кто живет здесь, кто наблюдает это изо дня в день, перестают так остро все воспринимать. Наверняка что-то можно было бы сделать и помочь Гэрету, но мы этого не делаем.

— А Дик Шарп... какими методами он действует?

Мэдог мотнул головой в сторону Айво и Гито, которые, тихо переговариваясь, подносили кружки с пивом к губам.

— Спросите у них. Они еще год назад были в автобусном деле. У них был один автобус на двоих, но им вполне этого хватало, чтобы прокормить себя и семью. Они хорошо обслуживали клиентов, и автобус у них был всегда в отличном состоянии, Но Дик Шарп месяца два потрудился над ними, и они сдались. А они не из тех, кто легко сдается.

Роджер ожидал продолжения, но Мэдог молча допил пиво и тяжело поднялся на ноги.

— Ну, мне пора. Надо перекусить и возвращаться в свою контору. Хозяин нуждается в моей помощи, чтобы приводить клиентов в благодушное настроение.

— Надеюсь, мы еще увидимся.

— Если вы тут побудете,— сказал Мэдог,— то непременно увидимся. А теперь занимайтесь своими перегласовками.

Он улыбнулся довольно добродушно и пошел прочь. Но Роджер никак не мог отделаться от чувства тревоги. Почему все-таки Мэдог так резко оборвал их беседу — потому что не хотел или боялся распространяться о Дике Шарпе и его деятельности? Это что — опасно? Или просто мерзко? Мэдог явно гордился языком, образом жизни, традициями Гвинедды, как он называл свою страну. Дик Шарп — это олицетворение всего, что Мэдог и ему подобные не желали видеть в своей жизни и боялись признать? Или просто Дик Шарп — опасный человек, с которым не стоит связываться и о котором даже не стоит говорить, если тебя могут услышать?

Роджер передернул плечами. Ну какое ему-то до всего этого дело? Экономические силы — они как силы природы: безразличны к судьбам людей, но воздействуют на них. Мелкие предприятия, местные службы, находящиеся в руках местных жителей, по всему миру обречены на гибель. И Гэрет тоже обречен. Все гэреты мира исчезнут с лица земли раньше, чем водяной пастушок или белый носорог.

От этих мыслей Роджеру стало не по себе, он поднялся, вышел на улицу и бесцельно побрел к площади. Да вот он, автобус Гэрета,— стоит в длинном однообразном ряду автобусов компании «Дженерал». Горбун уже сидел за рулем, готовясь двинуться в горы, и дожидался лишь, когда последние пассажиры с картонками и коробками залезут в машину. Автобус у Гэрета был ярко-желтый. Он показался Роджеру особенно ярким под сверкающим небом. Он услышал, как закашлял и заурчал мотор,— желтая глыба автобуса тронулась с места и исчезла. Сколько еще поездок он совершит? Сколько пройдет еще дней или недель, прежде чем Гэрет вынужден будет продать свое дело, а у старинных зданий останется лишь унылый строй автобусов «Дженерал» в своей неизменной шоколадно-кремовой ливрее?

Ну что ж, пусть об этом думает Гэрет. А он должен подумать о том, чтобы где-нибудь позавтракать. Ноги машинально понесли Роджера назад. В ту же пивную? Нет, бутерброды там выглядели изрядно засохшими, а горячие булочки, одиноко томившиеся в обогреваемом стеклянном отделении стойки, были явно фабричного происхождения. Роджер уже прошел было мимо дверей, намереваясь поискать какое-нибудь другое место, как вдруг вспомнил, что оставил на столе газету. Не мешает все-таки забрать ее: пять пенсов — это пять пенсов. Он зашел в пивную. Айво и Гито, решившие пренебречь тем, что булочки явно фабричные, сидели на той самой скамье, где совсем недавно сидел он с Мэдогом, ели и оживленно о чем-то беседовали. Газета, оставленная Роджером, лежала перед ними на столе.

Роджер подошел и протянул руку за газетой. Таким образом он неизбежно попал в поле их зрения, и они подняли на него глаза. Он улыбнулся.

— Хочу забрать свою газету.

— Если найдете в ней что-нибудь стоящее, сообщите мне,— сказал Айво.

И он тотчас снова повернулся к Гито, но Роджер, которому вдруг неудержимо захотелось постоять и поболтать, не уходил.

Айво, со свойственной ему интуицией, должно быть, почувствовал, что Роджер пытается придумать, как бы завязать разговор, и потому, кивнув на газету, заметил:

— Что — ищете работу?

— В известном смысле — да.

— Но вы же не говорите по-валлийски, еще только вроде учитесь.

— Совершенно верно. Но я знаю, что быстрее освою язык, если устроюсь в такое место, где я все время буду слышать валлийскую речь и сам смогу говорить.

— Может, Марио возьмет его на подмогу к себе в бар,— заметил Гито.

— Ничего не выйдет,— сказал Айво.— Для этого надо быть в профсоюзе. Любая работа в ресторане или в баре — это для членов профсоюза, только так.

— А кто это Марио? — спросил Роджер.

— Да здешний хозяин,— сказал Айво.— Он итальянец. Прибыл в Уэльс в сорок третьем как военнопленный. А теперь говорит, что это его дом. Даже и не думает возвращаться на родину. По-валлийски болтает, как туземец. Туземец из Италии.

— А вот по-английски никак не может выучиться,— сказал Гито.

— Просто не хочет. Не может им простить, что они взяли его в плен.

— Вот я о чем подумал...— начал Роджер.

— Да?

— Видите ли, жалованья мне не нужно. Я получаю пособие — мне его дали на работе, чтобы я изучил валлийский. Так что для меня вопрос о деньгах не стоит. Мне важно просто находиться среди людей, которые говорят по-валлийски.

— Тогда займись продажей — поработай коммивояжером.

— Или приобрети место на рынке.

— Но я же серьезно говорю,— со смехом попытался урезонить их Роджер.— А сейчас я хочу поделиться с вами одной идеей, которая пришла мне в голову.— Сердце Роджера учащенно забилось: он приближался к цели.— Вы знаете Гэрета из Лланкрвиса?

Оба застыли и насторожились.

— Я заметил,— продолжал Роджер, чувствуя, как у него деревенеет язык,— что он один все делает в своем автобусе.

— Это довольно мягко сказано,— буркнул Гито.

— Ну, а мог бы он взять помощника? Хотя бы на несколько недель, чтобы...

— Чтобы — что? — спросил Айво.

— Ну, чтобы кто-то выполнял подсобную работу,— сказал Роджер. Он сам чувствовал, что голос его звучит неуверенно и фальшиво. Но в конце-то концов он ведь никого не обманывает. Почему же он чувствует себя точно жулик? — Я имею в виду: собирал за проезд, вел бухгалтерию, иной раз помог исправить поломку — словом, был бы на подмогу.

Айво поставил на стол кружку и в упор поглядел на Роджера. Его темно-карие глаза смотрели не мигая.

— Отлично, мистер,— произнес он наконец.— Значит, вот зачем вы тут крутитесь! А ну, выкладывайте свои картишки!

— Какие картишки?

Гито пригнулся к нему.

— На кого ты работаешь?

Роджер вдруг почувствовал безмерную усталость. Да разве кому-нибудь — будь то он или кто другой — пробиться сквозь эту толщу подозрительности?

— Я работаю сам на себя,— сказал он.— Но, видно, это не имеет значения. То, что я рассказал, кажется вам столь неправдоподобным, что вы ничему, ничему все равно не поверите. Поэтому давайте прекратим этот разговор. Мне надо выучить валлийский, и я для этого приехал сюда, но человеку все-таки лучше работать, чем ничего не делать, и я подумал, что скорее выучил бы язык, если бы поездил на автобусе, где находился бы среди местных жителей, которые все время говорят по-валлийски. Я познакомился с Гэретом и слышал, что говорили про него и про Дика Шарпа.

Айво пристально глядел на Роджера, явно взвешивая, можно ли ему верить.

— Так вы и об этом знаете? — задумчиво спросил он.— Ну, что же вам известно?

— Детально — ничего. Только то, что Дик Шарп всячески преследует Гэрета, чтобы вынудить его сдаться и продать свой автобус. А когда у Дика Шарпа вся колода будет на руках, он сыграет ва-банк с фирмой «Дженерал».

— И Гэрет — последний, кто еще не сдался,— произнес Гито, как бы думая вслух.

— Да. Теперь вам ясно, почему я подумал, что, может быть, стоит предложить свои услуги Гэрету хотя бы на несколько недель и помочь ему всем, что в моих силах. Я рассказал об этом вам двоим, так как подумал...

— Ладно, мистер, вы подумали одно, вы подумали другое,— довольно грубо прервал его Айво.— Откуда все-таки вы взялись?

— Из Лондона.

— Знаете, что бы вам надо было сделать, если бы у вас была хоть капля разума?

— Что? — Но Роджер уже знал, что скажет Айво.

— Возвращайтесь-ка вы, мистер, в Лондон и учитесь валлийскому по вашему чертову телевизору.

Он поднялся, Гито — за ним, и оба направились к выходу.

— Да, нас будет восемь человек,— произнес чей-то голос с английским акцентом, когда Роджер проходил мимо портье.— То есть я хочу сказать, что ужинать будут восемь человек. Понятия не имею, сколько народу будет на коктейле, и вполне возможно, что кое-кому захочется потом остаться поужинать, но эти будут платить сами за себя. Я же заказываю ужин только на восьмерых.

Голос принадлежал человеку лет тридцати с небольшим, в очках с роговой оправой, в застегнутом на все пуговицы костюме в узкую полоску. Он с уверенным видом говорил с красавицей брюнеткой, сидевшей за столиком портье,— по всему видно было, что это человек энергичный и предприимчивый. Его ноги в аккуратно зашнурованных ботинках стояли на толстом ковре так, точно всю жизнь привыкли ступать лишь по таким коврам. Ловкач, делец. Значит, и такие здесь тоже есть.

Роджер направился к лифту, решив подняться к себе в номер хотя бы для того, чтобы не слышать этого голоса, а также потому, что ресторан, где он пил чай, произвел на него еще более гнетущее впечатление, чем его номер, но передумал: пожалуй, лучше совершить

большую прогулку. Уже начинало смеркаться, и стал накрапывать дождь, но столько мыслей осаждало Роджера, что ему просто необходим был свежий воздух и физическая усталость. Быстро застегнув плащ, он зашагал по дороге, которая вела из города.

Теперь уже дождь лил вовсю, образуя пузыри в лужах. Роджер обнаружил проселок, зажатый между каменными оградами и уходивший вверх в направлении темно-пурпуровых фестонов гор. Безжалостно заставляя себя идти не прогулочным, а быстрым шагом, он молотил дорогу ступнями, совсем как человек, вращающий водяное колесо. Однако скоро шаг его отяжелел, он пошел медленнее. Последние дома остались теперь далеко позади, и по обеим сторонам дороги высились уже не стены, ограждающие пастбища, где бродят черные коровы, а голые холмы, где пасутся на воле овцы, такие же серые, как камни, по которым они ступают, переходя с места на место в поисках травы. Наконец дорога перестала карабкаться вверх — отсюда, с плато, открывался вид на скалы, каменной стеной вздымавшиеся на горизонте. Идти дальше не было смысла. Роджер повернул назад и на какой-то миг забыл обо всех сложностях жизни, потрясенный закатом, пламеневшим над Энглси. За пеленой дождя над морем словно полыхал пожар; внизу под откосом стоял замок — средоточие древней силы! Роджеру стало грустно, и он начал спускаться вниз. Куда девалась эта порода людей, которые могли создавать шедевры из нетесаного камня? Он пожал плечами. Вымерла, исчезла, а у их потомков бездушный современный мир торгашей высосал мозг из костей. Все — ненастоящее, всюду — подделка, фальшь, компромиссы.

Он возвращался в гостиницу изрядно промокший, проветрившийся и усталый, но по-прежнему мрачный. Он решил выпить в баре при ресторане (и посмотреть, не удастся ли подцепить рыбешку), затем поужинать (чтобы заправиться на вечер), затем предпринять систематическое обследование города (если бар при ресторане ничего не даст). Уже в несколько более приподнятом настроении оттого, что у него есть план действий, Роджер вошел в бар, прикидывая, что лучше выпить — виски или джину.

Однако настроение его снова упало, как только он услышал гул голосов. Ну конечно — ведь этот лощеный тип устроил тут коктейль! Неужели все это его гости? Роджер окинул взглядом собравшихся. Их было человек двенадцать, если не пятнадцать. Почти все — англичане, только один или двое были смуглые, с удлиненным черепом; в разговоре преобладал английский язык — не гортанная североуэльская речь и не певучая южноуэльская, а мягкий, с ужатыми гласными английский язык, на каком говорят в Лондоне и вокруг него.

Нахмурясь, Роджер подошел к стойке, посмотрел направо, налево. На всех лицах был налет интеллектуальности — нет, пожалуй, это слишком сильно сказано: налет образованности. Одна из женщин — собственно, не женщина, а девушка лет двадцати с небольшим, выглядела вполне... Правда, у нее был эдакий дурацкий богемистый вид и все же... да, она вполне привлекательна. Но опять-таки это слишком сильно сказано. Окажись рядом с ней действительно привлекательная женщина, этой девушки никто бы и не заметил. И все же... челка густых черных волос и под нею — большие широко раскрытые глаза; надутая, недовольная, явно одинокая и, однако, не ищет разрядки в банальной болтовне... *(Да прекрати же, прекрати, Фэрнивалл! Перед тобою женщина — чего тебе еще? Но она приглашена на коктейль, а ты — нет. Так закажи себе чего-нибудь выпить. Виски.)* Роджер повернулся к стойке. И тут он увидел Брайанта.

Брайант наблюдал за ним: он уже давно узнал Роджера.

— Привет,— сказал он, стараясь не выказывать излишнего удивления. Брайант не любил, когда что-то нарушало его спокойствие: он придумал себе маску человека, которого ничто не способно взволновать.— Какая неожиданность! Понятия не имел, что вы здесь.

— А я понятия не имел, что *вы* здесь,— сказал Роджер.

Брайант был филологом и недолгое время — коллегой Роджера, когда оба они только начинали свою деятельность в университете; потом пути их разошлись. Мягкие манеры и внешность дельца делали Брайанта похожим скорее на хорошо воспитанного торговца, чем на интеллигента. И в самом деле, по слухам, начинал он свою карьеру в Сити, в одной почтенной фирме оптовых импортеров джута, и лишь потом его сманила филология, прельстив своими более широкими возможностями.

Тут щеголеватый хозяин спикировал на Брайанта:

— Встретили знакомого?

— Да, это Роджер Фэрнивалл. Мы когда-то вместе работали. Он филолог. Роджер, это — Джеральд Туайфорд.

Оба пробормотали что-то в знак приветствия, с явным неодобрением оглядев друг друга.

— Устроились здесь на работу? — спросил этот самый Туайфорд.

— Нет. Занимаюсь кое-какими исследованиями в области валлийского языка,— отрезал Роджер, стремясь закрыть эту тему.

— Валлийского? О господи! Но это, видимо, нужно филологу.

— Это язык, на котором говорит целый народ,— сказал Роджер.

— Только те, кто не знает другого,— с насмешкой произнес Туайфорд.

«Ага,— подумал Роджер.— Один из этих».

— Естественно, человек волен выбирать, и иной выбирает бедность,— небрежным тоном продолжал Туайфорд.

— По-вашему, человек становится беднее, если говорит по-валлийски? — спросил Роджер.

— Конечно. Тем самым он как бы заявляет, что ограничен, старомоден и никчемен.

— Более многочисленная языковая группа в известном отношении, конечно, более дееспособна,— осторожно заметил Роджер. И попытался продвинуться ближе к стойке.

— Дело даже не в этом. Просто более многочисленная группа, независимо от того, дееспособна она или нет,— единственная сегодня реальность. Существование же мелких групп в пределах одной местности просто нереально.

— Значит, люди, говорящие по-валлийски, по-бретонски, по-румынски, по-латышски или на языке маратхи, вообще обречены?

— Почему же, у них есть своя *функция*,— сказал Туайфорд. Очки его презрительно сверкнули.— Они существуют для того, чтобы издавать забавные своеобразные звуки, а такие люди, как вы или Джек Брайант, изучают их и делают на этом карьеру...

— Извините, мне хочется чего-нибудь выпить,— сказал Роджер. Он повернулся к ним спиной и, протиснувшись к стойке, отчаянно замахал барменше. Нет, этому жуткому фарсу пора положить конец. Выпить неразбавленного виски, раз уж его занесло в бар, и прочь отсюда. Лучше проглотить бутерброд с обветренным сыром где-нибудь в пивной, чем есть деликатесы под этим словесным ливнем.

Ему удалось получить стакан с виски, и он отошел от стойки, чтобы спокойно выпить в стороне. Выбрав местечко у двери, откуда в любую минуту можно было нырнуть за порог, Роджер сделал глоток и подождал, чтобы виски добралось до желудка, оставляя после себя

пылающий след; тут он вдруг обнаружил, что стоит возле молодой особы с густой челкой и большими разочарованными глазами.

— Ну и толкучка,— заметил он. Пусть смерит его презрительным взглядом, пусть даст пощечину. К чему соблюдать достоинство в мире, населенном такими людьми, как Джеральд Туайфорд и ему подобные?

— Всем хочется повеселиться,— сказала она, с легкой насмешкой окидывая взглядом зал.— А хорошо провести время не так уж часто удается. Сегодня день рождения моего мужа, и он любит его отмечать.

— Кто же здесь ваш муж?

— Джеральд Туайфорд.

Это по-настоящему удивило Роджера. Он никогда бы не подумал, что Туайфорд мог выбрать себе такую жену. Она говорила с легким северным акцентом; на ней было шерстяное платье сливового цвета с широкой золотой цепью на талии; она была одета с подчеркнутой, казалось, намеренной простотой, тогда как большинство дам по традиции разоделись в пух и прах. Интересно, из какого она круга? Может быть, литературного или артистического? Если так, то, черт побери, что она могла найти в Туайфорде?

— Раз вы живете здесь,— произнес Роджер, как бы размышляя вслух,— значит, все это ваши друзья.

— Не мои. Моего мужа.

Где-то глубоко в мозгу Роджера прозвучал сигнал: вся прислуга к орудиям — по местам!

— У вас пусто в рюмке. Разрешите вам что-нибудь принести.

— Спасибо.— Она протянула ему рюмку.— Я пью херес — не потому, что это мне нравится, а потому, что я с него начала и теперь лучше не менять, не то я буду ужасно себя чувствовать.

Роджер проложил себе путь назад к стойке. У него уже не было желания уходить.

Получив херес и еще стакан виски, он вернулся к ней.

— Мне почему-то знакомо имя вашего мужа.

— Оно многим знакомо. Он человек преуспевающий.

— Извините за нескромность, но в чем он все-таки преуспевает?

— В экономике. Он тут преподает, но большую часть времени проводит в Лондоне, где консультирует или занимается чем-то в этом роде. А кроме того, он выступает по телевидению и рассказывает, что происходит с фунтом. Он все об этом знает.

— А вы? Вы тоже часто ездите в Лондон?

— О, я,— сказала она, беспомощно взмахнув рукой,— у меня двое детей, за которыми надо присматривать. А кроме того, я ничего не понимаю в экономике.

Это была одна из тех фраз, которые говорят куда больше, чем кажется на первый взгляд. Развивая тему, можно было бы спросить: «А зачем вы, собственно, вышли за него замуж?» Роджер с удовольствием задал бы ей этот вопрос — как и многие другие, но в подходящем месте и в подходящий момент, сейчас же, когда прошло всего пять минут со времени их знакомства, это было едва ли возможно. Поэтому он спросил, нравится ли ей жить в Уэльсе. Она ответила — и завеса грусти как бы приподнялась с ее лица:

— Да я почти нигде больше и не была, разве что ребенком. Я здесь училась в университете, когда Джеральд был там начинающим преподавателем, так мы и встретились. С той поры я живу в Северном Уэльсе. Эти места очень напоминают ту часть Англии, откуда я родом,— Ланкашир, только здесь лучше.

— Почему лучше?

— Ну, мне здесь больше нравится. Правда, многое для меня тут еще чужое. Я почти никуда не ездила, и все меня интересует. И не потому, что здешние жители не похожи на тех, что живут в северной Англии,— наоборот: в известном смысле они так же замкнуты и скупы на слова, хотя способны на бурные страсти. Я, наверно, сама такая, только у валлийцев это еще резче выражено. Они более перекрученные!

— Перекрученные?

— Ну, характеры у них более сложные. Да и есть отчего: тут и чувства побежденной нации, и национализм, и влияние методистской церкви, и клановость. Да, да, они до сих пор высоко ставят семью — почти как евреи — и очень серьезно относятся даже к дальнему родству. Они острее ненавидят и, пожалуй, сильнее любят.

Роджер хотел было что-то сказать, но тут рядом раздался взрыв фальшивого смеха. Лысеющий мужчина в очках без оправы, говоривший почти не разжимая губ, как это принято в юго-восточной части Лондона, покачнулся, и вино выплеснулось у него из бокала.

— Нет, этому цены нет,— произнес он между взрывами хохота.

Джеральд Туайфорд, судя по всему — автор шутки, от которой старательно сотрясался в конвульсиях его собеседник, любезно улыбнулся.

Роджеру очень хотелось отойти отсюда, чтобы не слышать их голосов, но это положило бы конец его беседе с миссис Туайфорд. Нельзя ли как-нибудь увлечь и ее с собой? Он только приступил к решению этой проблемы, как к ним подошел Туайфорд и, не обращая внимания на Роджера, отрывисто сказал жене:

— Пора ужинать. Ты готова?

— Я приду, как только допью.

— Стол уже накрыт. Они не будут ждать нас до бесконечности.

— Им и не придется.

— Если тебя не будет через пять минут,— сказал Туайфорд, стараясь не сорваться на крик,— можешь не появляться вообще.

Он резко повернулся и отошел. Лысеющий мужчина из юго-восточной части Лондона, с интересом наблюдавший за этой сценой из-за плеча Туайфорда, направился следом за ним в ресторан.

— У-у-у! — Ее всю передернуло, точно от озноба.— Какой он мерзкий!

Роджеру показалось, что они оба мерзкие, но поскольку она сказала «он», а не «они», он невольно спросил:

— Кто?

— Дональд Фишер. Меня начинает тошнить при одном взгляде на его противное, лживое лицо. И вообще в нем есть что-то нездоровое.

— А мне особенно невыносимым показался его голос,— сказал Роджер.— Даже стой он за ширмой, все равно по голосу было бы ясно, что это сноб и враль.

Он уже понял, что Дональд Фишер — это и есть человек из юго-восточной части Лондона.

— О да, голос у него — такой не часто встретишь,— сказала она и от отвращения даже прикрыла глаза.

— А кто он, черт бы его побрал?

— Местный литератор, преподает тут у нас на английском факультете.

Возле них появился Брайант — он двигался целеустремленно, точно гигантский угорь, направляющийся к местам нереста.

— Идете ужинать, Дженни? — бросил он, проходя мимо. Голос его звучал по обыкновению спокойно и благодушно.

Роджер подумал: «Дженни».

— Пора мне идти,— сказала Дженни.

— Выпейте еще глоток,— предложил Роджер,— чтобы взбодриться.

Она покачала головой.

— Если мне чего и не хватает, то не вина. Его будет более чем достаточно за ужином.

— Там можете отказаться от него. А вот сейчас вам нужно выпить — до того, как пойдете туда.

Она повернулась к нему, ее большие глаза смотрели на него так, точно до сих пор она толком его не видела.

— Вы женаты?

— Нет.

— Тогда почему же вы так хорошо все понимаете?

— Я вижу, что вы поссорились с мужем и вам хотелось бы наказать его и не ужинать с ним, но я вижу также, что вы не можете заставить себя нанести ему столь тяжкий удар.

— Нет, не могу,— со вздохом призналась она.— Зато теперь я с вами выпью.

Роджер быстро подошел к стойке и взял большую рюмку хереса.

— Вот ваш херес,— сказал Роджер и протянул Дженни рюмку.

Дженни мрачно смотрела в свою рюмку.

— Ну почему меня окружают такие люди?

Роджер молча вопросительно взглянул на нее.

— В какой-то мере, наверно, виновата и я. Джеральду хотелось устроить праздник. Он всегда отмечает свой день рождения: собирает всех этих бездельников и прихлебателей к нам в дом, они напиваются, торчат до трех часов утра, и это просто *невыносимо*. С каждым годом становилось все хуже и хуже, и наконец в этом году я сказала, что хватит,— пусть устраивает, если хочет, день рождения в отеле. Джеральд был в ярости, но я настояла на своем, и тогда он попытался снять здесь помещение — банкетный зал или что-нибудь еще, но ему это не удалось, потому что банкетный зал не то ремонтируют, не то перестраивают. И дело кончилось тем, что весь его праздник свелся к нескольким коктейлям в обычном баре, а потом к ужину на восемь персон в обычном ресторанном зале. Это его никак не устраивает, и в общем-то я его понимаю и чувствую себя теперь просто ужасно.

Роджер отметил про себя, что голос у нее мягкий и удивительно бархатистый. Она казалась ему сейчас еще более привлекательной: досада придавала ее лицу выразительность, преображая его не меньше, чем преобразила бы радость.

— Ну, если все друзья вашего мужа вроде Фишера,— сказал он, лишь бы что-то сказать,— полный дом таких гостей, наверно, не в состоянии вынести даже жена.— Да что это с ним такое, черт возьми? Он сам стал говорить, точно Фишер.— А собственных друзей разве у вас нет, чтобы перемешать с ними — для закваски? — спросил он.

— Мои друзья,— медленно сказала она,— не желают иметь ничего общего с этим сбродом. Я уже пыталась, но получается сущий ад. В прошлом году на дне рождения Джеральда чуть не убили Дональда Фишера. Он два с половиной часа усиленно пытался покровительствовать чудесному валлийскому поэту по имени Мэдог. Этот Мэдог на пятьдесят голов выше его, но Дональд Фишер слишком глуп, чтобы это понять, он смотрит на Мэдога как на чудака, потому что тот пишет по-валлийски и не читает «Нью стейтсмен».

— Я знаю Мэдога,— сказал Роджер.— Я рад, что он ваш друг.

Она ничего не сказала, но вся обратилась в слух.

— Ну, а если продолжать мысль, то я тоже хотел бы быть вашим другом.

— Так и будьте им на здоровье,— сказала она.— Это ничего не стоит.— Она произнесла это неожиданно небрежным тоном, но, быть может, маскируя волнение? Быть может, глубоко в душе она понимала, что этот мужчина предлагает ей себя?

Мозг Роджера усиленно заработал, обдумывая, какой шаг сделать дальше. Но ничего путного придумать не мог. Молчание затягивалось, и, пока оно длилось, Дженни допила херес и поставила рюмку на соседний столик.

— Теперь я должна идти. Я не могу больше сражаться с Джеральдом в день его рождения — тем более что я и так уже испортила ему настроение.

— Он обрадуется, когда увидит вас.

— Да,— сказала она,— сначала обрадуется тому, что собачонка послушалась. И тут же забудет, что я существую.

Она повернулась и направилась к двери. Роджер смотрел ей вслед. Он не обиделся на то, что она даже не простилась с ним и ушла, оборвав на полуслове их беседу. Он понимал, что она оставляла за собой возможность со временем вот так же неожиданно возобновить прерванный разговор.

Он повернулся было к стойке, но нетвердость в ногах и брожение внутри предупредили его о том, что надо поставить точку. Что же в таком случае делать? Приняться за еду? Нутро его отклонило и эту идею. Он ощущал лишь одну жажду — жажду деятельности. Так почему бы не удовлетворить ее? Он взглянул на часы. Гэрет наверняка уже прикатил на своем автобусе в город. Было около девяти — гости Джеральда Туайфорда ужинали по-светски поздно. Мысли Роджера снова вернулись к Дженни: он представил себе, как она садится среди этих людей с непроницаемыми лицами, где лишь изредка попадается фальшиво открытое или подчеркнуто озабоченное, как у Дональда Фишера, лицо. Роджер очень надеялся, что у нее все сойдет благополучно. Впрочем, хватит думать о ней — не мешало бы ему заняться собственными проблемами. Он должен найти себе цель в жизни, которая придала бы смысл его пребыванию в этом краю,— нельзя же просто корпеть над валлийскими глаголами и предаваться пустым мечтам об Упсале. Гэрет! Настало время двинуться на него в атаку, сломать его заслоны. Если он займет любое, самое скромное место рядом с Гэретом, это будет значить, что он активно включился в войну против Дика Шарпа, против автобусной компании «Дженерал», против гигантского спрута с липкими щупальцами. Помогая Гэрету, он наглядно покажет, сколь противны ему туайфорды и фишеры. А кроме того — эта хитрая мыслишка тоже присутствовала — он за каких-нибудь два месяца сумеет овладеть разговорным валлийским языком.

Ночь была тихая и темная, хотя мир по-прежнему окутывала влажная пелена, и блестящие пятна света, ложившиеся на тротуар от фонарей, то и дело меняли очертания. Где сейчас может быть Гэрет? В этой грязной пивнушке на другой стороне площади, куда он отправился накануне вечером, как только поставил автобус? Во всяком случае сначала надо попытать счастья там. И Роджер решительно зашагал по улице, наслаждаясь запахом моря и звуками голосов, доносившихся до него из ярко освещенных дверей магазинов. Здесь бурлила жизнь — она не была замкнута в стенах домов, а выплескивалась на улицу даже в такую погоду. Каменные громады еще не смотрели здесь, как в маленьких английских городках, на поселения мертвецов, где дома похожи на могильные холмы, увенчанные телевизионными

антеннами. Роджер завернул за угол, и валлийская речь захлестнула его. Неужели эти люди не знают, что их язык официально считается анахронизмом? Кто вообще дал им право продолжать жить на земле?

Когда Роджер в приливе пьяной отваги перешагнул порог пивной, Гэрет сидел на том же месте, что и накануне,— по-видимому, он всегда тут сидел. «Опять перебрал? — с укором подумал Роджер.— Ладно, ладно,— попытался он успокоить свою совесть.— Если сейчас все сойдет хорошо, я это брошу».

Он храбро сел рядом с Гэретом — тот повернул к нему свой крючковатый нос и посмотрел на него из глубины запавших глаз.

— Можно с вами поговорить?

— Валяйте.

— Может, сначала выпьем?

Гэрет покачал головой.

— Мне в десять надо ехать наверх, и я свое уже принял. А то ведь могут проверить — взять пробу на опьянение, об этом нельзя забывать.

— Так вот, я хочу вас кое о чем спросить,— сказал Роджер.— Вопрос у меня такой: не нужен ли вам помощник?

— Помощник? — словно эхо, повторил Гэрет, как если бы никогда прежде не слышал этого слова.

— Бесплатно,— поспешил добавить Роджер.

Гэрет долгое время молчал, потом наконец спросил:

— А кому это надо знать?

— Мне. Видите ли, сейчас я вам все объясню. Я пробуду здесь несколько недель, а может быть, и месяцев — я изучаю валлийский. Для самообразования. Понимаете, это моя профессия — языки. И мне необходимо знать валлийский. Поэтому я получил на работе отпуск и приехал сюда. У меня есть немного денег, на которые я собираюсь жить. И работать ради жалованья мне не нужно. Но мне нужно все время быть среди людей, которые говорят по-валлийски. Понимаете?— Он сам почувствовал, что фальшивит, лицемерит, если не просто врет, давая такое упрощенное объяснение подлинных причин, которые руководили им.— Вот я и подумал, не могли бы вы... ну, словом, воспользоваться моими услугами?

Гэрет долго в упор смотрел на него и наконец произнес:

— И как же вы хотите мне помогать?

— Да как угодно. Чтоб вам легче было управляться с автобусом.

Гэрет взял со стола пустую кружку, внимательно обследовал ее и поставил на место.

— Я привык все делать сам.

— Бывают же времена,— осторожно заметил Роджер,— когда человеку нужна помощь.

— Для начала,— сказал Гэрет,— мне надо узнать побольше о вас. Я ведь не знаю ни кто вы, ни что вы.

— По профессии,— поспешно начал Роджер,— я филолог. Я изучаю языки. Написал работу о преобразовании вариации гласных, вызванной перегласовкой, в аллофон в скандинавских языках. Я не женат — не потому, что не хотел жениться, а потому, что всю жизнь жил с братом. Он был больной и не мог сам заботиться о себе, а родители наши умерли. Я не мог покинуть его и не мог найти девушку, которая согласилась бы выйти за меня замуж и жить вместе с ним. Потом брат мой умер — это произошло всего три недели назад, я запер нашу квартиру в Лондоне и приехал сюда. Я работаю в университете — там мне дали отпуск на семестр, но если я захочу продлить его на полгода, мне разрешат.

— Что-то непохоже, чтобы от вас было много толку в обслуживании автобуса, а?

Роджер вспыхнул от злости.

— Я же готов учиться и готов работать бесплатно. А вам нужна помощь — хотя бы моральная.

— Нет, не нужна,— упорно сказал Гэрет.— Я пока еще не собираюсь просить о помощи.

— Послушайте, мы говорим как взрослые люди или играем в какую-то дурацкую игру? Если мне хочется помочь вам и я готов выполнять любую, самую скромную, работу без всякого вознаграждения, почему вы возражаете? Что, от меня дурно пахнет или еще что-нибудь?

— Очень возможно, мистер,— сказал Гэрет. На его лице нельзя было прочесть ничего.— Очень возможно, что от вас попахивает Диком Шарпом.

Только тут Роджер понял.

— О господи,— тихо произнес он.

— Этот господин во многих местах оставляет свой запах,— сказал Гэрет.— Как лисица, забравшаяся на ферму. У Дика Шарпа всюду свои люди — до самого Честера. Если понадобится, он может нанять людей даже из Ливерпуля, ирландцев, кого угодно. Местных-то мы всех знаем, знаем, кто чего стоит. Но ведь Дик Шарп может в любую минуту пригнать сюда чужака.

— А я как раз чужак,— медленно произнес Роджер,— и, значит, меня пригнал сюда Дик Шарп?

— Соображайте уж сами,— сказал Гэрет.— А мне пора на десятичасовой рейс.— Он продвинулся по скамейке до края стола и встал. Но не уходил, глядя иронически пронзительными глазами сверху вниз на Роджера.

— Гэрет,— сказал Роджер. Момент был решающий, и он намеренно назвал горбуна по имени, чего до сих пор не делал.— Я не состою на жалованье у Дика Шарпа. Если же вы все-таки считаете, что он платит мне, то у вас на редкость плохая разведка, и к тому же вы чертовски непроницательны.

— Ну и дальше что? — спросил Гэрет. Его потертая кожаная куртка блестела под электрическим светом, словно потный лоб.

— А дальше — до свидания. Люди непроницательные не могут сражаться с такими умными бестиями, как Дик Шарп.

Горбун пригнулся к самому лицу Роджера.

— Вот теперь я знаю, что вы работаете на Дика Шарпа. Он подослал вас, чтобы запугать меня. Чтобы я начал волноваться и потерял в себя веру.

— Валяйте, валяйте,— сказал Роджер.— Верьте любой глупости, какая вам по душе. Я сдаюсь.

Гэрет направился к двери, по пути кивнув на прощанье хозяину. Он открыл дверь, но тут же отпустил ее — она закачалась на петлях, а он стоял и смотрел на нее, точно хотел пронзить взглядом. Потом повернулся и снова подошел к Роджеру.

— Если завтра утром в полдевятого придете на площадь,— сказал он,— я познакомлю вас с расписанием.

— Приду,— сказал Роджер.

— Я буду вас ждать,— сказал Гэрет. Затем он несколько раз кивнул и ушел.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Кожаная лямка была очень тонкая. Она врезалась Роджеру в плечо, накануне вечером, раздеваясь, он обнаружил на коже красную полосу. Сегодня он надел сумку на другое плечо, но это было неудобно: ему приходилось отсчитывать монеты и давать сдачу левой рукой. День подходил к концу — они ехали десятичасовым рейсом в Лланкрвис, и Роджер изрядно устал. Единственное спасение, решил он,— приобрести одну из этих дурацких кожаных курток, чтобы не натирало плечо.

Раздумывая об этом, Роджер следил за руками Гэрета, легко лежавшими на большом колесе руля,— последние четверть мили он особенно осторожно вел автобус. Большинство пассажиров уже сошло. Оставалось человек пять-шесть, которые ехали до конца — до верхнего края Лланкрвиса, откуда начиналась дорога, открытая всем ветрам. По-видимому, эти люди жили либо на окраине поселка, либо в долинах, разбросанных по склону горы. Среди них была и красавица брюнетка, работавшая портье в отеле «Палас»,— она сидела выпрямившись, одна на заднем сиденье. Роджер удивился, когда на площади она вошла в автобус, и уж совсем был поражен, когда она взяла билет до конца. Возможно, она ехала навестить кого-то в этом промозглом медвежьем углу, на краю света, где по дороге видишь лишь мокрую черепицу да застывшие, тупые взгляды овец? Но кого такая девушка могла навещать? Неужели она живет в Лланкрвисе? Нет, не может этого быть! Беря деньги за билет, Роджер с таким нескрываемым интересом уставился на нее, что она вспыхнула и отвернулась к окну. На ней было зеленое замшевое пальто, которое, должно быть, стоило уйму денег. Конечно, у девушки с такой внешностью есть богатые покровители или друзья. Продвигаясь по автобусу, Роджер то и дело посматривал на нее.

Со вчерашнего утра Роджер ездил со всеми рейсами, кроме рейса в восемь пятнадцать из Лланкрвиса в Карвенай. Ему пришлось пропустить этот рейс, потому что он все еще жил в отеле «Палас»; этим же объяснялось и то, что вчера вечером в половине одиннадцатого он вынужден был протопать пешком четыре мили до города. Похоже, что сегодня ему предстоит повторить этот путь.

Гэрет плавно затормозил — машина вздрогнула и стала; пассажиры, всю дорогу громко переговаривавшиеся, сразу затихли и гуськом потянулись к выходу.

Было темно и довольно холодно, и постель Роджера находилась в четырех милях отсюда.

— Ну что ж,— произнес он и умолк.

Гэрет стоял в густых сумерках, точно дольмен. Казалось, в мире сейчас везде темно, но здесь, у западного края земли, еще лежал отсвет от длинных золотых и серебряных полос, бороздивших мрачное пурпурное море. Роджер видел лишь темный силуэт Гэрета и не мог сказать, какое у горбуна лицо.

— Деньги я возьму с собой,— сказал Гэрет.

Роджер снял с плеча кожаную сумку и протянул ему.

— Пошли уже?

— Мне ведь предстоит неблизкий путь.

— Я уже думал об этом. Кажется, я смогу устроить вас здесь, наверху.

Роджер остановился.

— У миссис Пайлон Джонс. Она живет в первом доме направо, сразу после дорожного знака: «Скорость — тридцать миль в час». Мы можем зайти к ней завтра утром.

— Как, вы сказали, ее фамилия?

— Миссис Пайлон Джонс. Муж ее затеял настоящую войну с электрической компанией, чтобы они не смели ставить высоковольтную мачту на его поле. Три года день и ночь с ними сражался, проиграл дело, и в тот день, когда прикатил грузовик с первыми секциями мачты, слег в больницу. Домой он уже больше не вернулся. После этого жена его стала сдавать комнаты. Вообще-то она сдает отдыхающим. На лето. Она возьмет вас. Помещение у нее пустует уже три недели.

— Но, конечно, за более низкую плату — сейчас ведь не сезон,— заметил Роджер.

— Тут уж условия диктует клиент,— сказал Гэрет и мрачно хмыкнул. Порыв ветра унес в горы и его слова, и этот смешок.

— Что это за девушка в замшевом пальто ехала с нами? — внезапно спросил Роджер.

— Райаннон Джонс.

— Она ведь работает в «Паласе», правда?

— Принимает гостей,— коротко ответил Гэрет.

— Должно быть, сегодня у нее свободный вечер,— заметил Роджер.

— Она ночует дома, когда ей это удобно.

От Роджера не ускользнул намек.

В наступившей тишине оба слышали, как остывающий радиатор легонько потрескивает, как бы предупреждая их.

— Ну, до свидания,— сказал Роджер.

— До свидания,— сказал Гэрет.

На следующее утро было очень ветрено. Стоя на площади, Роджер припомнил, как еще совсем недавно на таком ветру у девушек задирались юбки, обнажая аппетитные колени и ляжки. А теперь неумолимая мода повелевала выставлять колени и ляжки для всеобщего обозрения, точно окорока в витрине, ветру же оставалось лишь проделывать бессмысленные выкрутасы с клочками рваной бумаги. Роджер стоял возле памятника под снисходительно-величавым бронзовым взглядом сэра Неизвестно-Как-Его и осматривался.

Айво и Гито направлялись в кафе. Айво увидел, что Роджер смотрит на них, и помахал рукой. Иронически или дружески? Ведь с точки зрения Айво, Роджер вел себя странно. Странно и подозрительно.

Ярко-желтая глыба выползла на площадь — прямоугольник из стекла и металла, вместилище кланкрвисских дум и чувств. Вот сейчас ежедневная порция кланкрвисской крови вольется в кровеносную систему Карвеная. Гэрет мимолетно улыбнулся Роджеру, круто развернул автобус и остановился у статуи сэра Неизвестно-Как-Его. Пассажиры начали выходить. Роджеру приятно было, что он уже знал кое-кого из них. Тут был, к примеру, мистер Кледвин Джонс, дородный, сосредоточенный, в темном костюме, как и подобает человеку, который ведет протоколы общества Чего-То-Там и без которого гражданам просто не обойтись. Тут был широкоплечий молодой человек с огромными кулачищами, который сидел, насупившись, в углу пивной в тот ураганный мокрый вечер, когда Роджер потерпел крах с Беверли. (Неужели она в самом деле существует? И ходит по той же планете?) Тут была — о, великий боже! — Райаннон в своем замшевом пальто. Роджер заметил еще в отеле, что ее нет на дежурстве. Следом за ней из автобуса вышел человек, которого он тоже видел в тот вечер в пивной,— чернявый, застенчивый, настороженный парень: он сидел тогда у стойки и молчал. Когда Райаннон сошла с автобуса, глядя, точно королева, прямо перед собой, этот парень двинулся

за ней, держась так близко, словно боялся хоть на шаг отстать от ее тени; темные глаза его неотрывно смотрели ей в спину.

Но вот они скрылись из виду. Теперь, выключив мотор, из автобуса появился Гэрет — массивный торс горбуна заполнил собой дверной проем.

— Уже явились на работу, да? Ну, делать пока нечего — теперь в десять тридцать поедем назад. А сейчас выпьем-ка по чашечке чайку.

Они вместе перешли через площадь. В кафе Айво и Гито сидели за столиком. На стене прошлогодний календарь прославлял запыленные женские формы. Сигаретный дым уплывал вверх, и под голой лампочкой поблескивал тусклым серебром чайник.

— Под-креп-ляемся,— произнес Айво, постукивая по толстой белой глине своей чашки.— Полбутылочки бы бренди сюда влить, да только вот доктора предупреждали меня насчет высокого давления. Хотим обстряпать одно дельце с самым большим скрягой в Уэльсе, дружище.

— Уж больно много претендентов на это звание,— сказал Гэрет, опускаясь на шаткий стул.

— Да, но это Пятипроцентный Джонс,— заметил Гито.

— Ну, это твердый орешек,— согласился Гэрет.

Роджер решил прощупать почву. А ну, посмотрим, отказался ли Айво от своих идиотских подозрений или все еще считает его платным агентом Дика Шарпа. Сейчас увидим.

— А кто этот Пятипроцентный Джонс? — небрежно спросил он с таким видом, словно имел неоспоримое право вмешаться в их беседу.

Айво даже ухом не повел — будто и не слышал Роджера. Он продолжал говорить, обращаясь главным образом к Гэрету — тем же тоном, так же весело вел он свой рассказ, только теперь уже на валлийском языке.

Роджер невольно восхитился ловкостью этого задиры. Деликатно, без малейшего намека на скандал Айво дал ему понять, что не желает иметь с ним дело. Гито тоже перешел на валлийский, а вслед за ними — и Гэрет, хотя он-то едва ли понял подоплеку этой перемены. Спокойно, серьезно беседовали они на своем непроницаемо-непонятном языке.

Это уже было прямое оскорбление — Роджер сознавал, что надо реагировать, и не мог: он не чувствовал себя оскорбленным. Их гордость импонировала ему. Это соответствовало его представлению о том, как они должны себя вести. Все обреченные на вымирание этнические группы должны быть гордыми — слишком было бы ужасно, если бы они занялись приспособленчеством и как бы извинялись за то, что еще существуют. Поэтому его гордость не страдала. В конце-то концов не такие уж крепкие узы связывали его с ними. Скажем, если бы приезжего антрополога оскорбил туземец, находящийся на уровне развития каменного века, это оскорбление антрополог занес бы в блокнот — и только.

Вскоре Айво достал большие карманные часы, посмотрел на них и произнес что-то, видимо означавшее: «Вот те на!» Они с Гито встали, распрощались с Гэретом и даже дружески кивнули Роджеру.

Заметил ли Гэрет, как Айво поставил Роджера на место? Может быть, и нет. Выражение лица у него было просто деловое и озабоченное.

— Я уже повидал миссис Пайлон Джонс,— сказал он.— Она будет дома, когда мы приедем с рейсом в десять тридцать. Я сведу вас к ней.

Гэрет сказал, что познакомит Роджера с расписанием. Но, видимо, это был эвфемизм, означавший, что он берет его на работу. Концерн Гэрета не принадлежал к числу тех, что печатают свои расписания в типографии. Насколько Роджер понимал, у Гэрета не было даже листка с расписанием, отпечатанным на машинке. Просто надо запомнить то, что Гэрет скажет ему.

— Мы должны считаться с тем, чего хотят люди, не так ли? — (Филолог Роджер отметил про себя это «не так ли», которое было точным эквивалентом французского «n'est-ce pas»; раз местные жители употребляют это выражение, говоря по-английски, значит оно существует и в валлийском языке, надо только его выследить.) — Так вот, утром мы везем вниз тех, кто едет на работу, а также детишек — в школу. Потом в десять тридцать едем наверх — обычно пассажиров тут бывает мало, разве что несколько женщин, которые спозаранку отправились за покупками, но мы все равно должны ехать наверх, потому что в одиннадцать надо везти народ вниз: в это время все женщины едут в магазины. Потом в двенадцать мы доставляем их назад, чтоб они успели приготовить обед. Потом снова едем вниз в двенадцать тридцать, после чего мы свободны до четырех пятнадцати, когда снова надо ехать наверх (отвозить детишек из школы), потом снова вниз в пять часов и наверх — в пять сорок пять (в этот рейс автобус переполнен: все едут с работы). В семь часов едем вниз,— (Роджеру тут стало стыдно: именно этот рейс он тогда сорвал),— и стоим там до десяти вечера, а потом снова едем наверх.

Все это Гэрет изложил Роджеру в кафе на площади, пока они сидели над пустыми чашками и ждали десяти тридцати, чтобы двинуться в путь. Слушая эти прозаические подробности, Роджер чувствовал, как внутри у него все поет, точно он вдохнул кислорода. Значит, Гэрет принял его. Вчера за весь долгий день Гэрет так и не удосужился познакомить его с расписанием в целом — только в конце каждого рейса говорил, когда будет следующий. А теперь они стали напарниками по работе.

В полупустом автобусе они с грохотом прикатили в Лланкрвис, и Гэрет предложил Роджеру отвести его к миссис Пайлон Джонс. Предоставив автобусу отдавать тепло своего мотора чистому утреннему воздуху, они спустились немного по откосу. Парадная дверь домика миссис Пайлон Джонс была выкрашена в коричневый цвет и вела в ее половину, а боковая, зеленая, вела в ту часть домика, которую она сдавала отдыхающим. Домик был переделан после смерти мистера Пайлона Джонса с таким расчетом, чтобы приезжающие могли пользоваться двумя комнатами с кухонькой и ванной, с отдельным входом, с видом на Ирландское море и с газовым счетчиком, приводимым в действие при помощи монет. Все было в полном порядке — это стоило миссис Пайлон Джонс немалых денег из старательно накопленных сбережений покойного супруга,— но лето прошло, и теперь помещение пустовало. Все это Гэрет рассказал Роджеру, пока они приближались к коричневой двери. Когда Гэрет постучал, миссис Пайлон Джонс тотчас открыла дверь, как будто стояла за ней и смотрела на них сквозь щелку почтового ящика. Она была похожа на дикую куропатку, какие водятся на вересковых пустошах,— такая же маленькая, невзрачная, быстрая и зоркая.

Они обменялись церемонными поклонами, затем миссис Пайлон Джонс шагнула за порог, извлекла откуда-то ключ и ввела их в дом, но только уже через зеленую дверь. Квартирка, сдававшаяся на лето, была чистенькая и безликая, обставленная мебелью, на которой не лежало отпечатка индивидуального вкуса,— такую обычно приобретают на распродаже, чтобы обставить подобного рода жилье. Сразу

чувствовалось, что это не чей-то дом, а просто жилище или обиталище определенного биологического вида, которое никогда не превратится даже в подобие домашнего очага. Тем не менее, не успев переступить порог, Роджер понял, что снимет эту квартиру.

— В сезон я беру пять гиней в неделю,— сказала миссис Пайлон Джонс, остановившись сразу за дверью.

— Но ведь сейчас не сезон,— заметил Гэрет.

— Я, конечно, немножко уступлю,— сказала миссис Пайлон Джонс.

— Думаю, что я мог бы платить фунта три,— сказал Роджер.

— И двух хватит,— сказал Гэрет.

— Нет, на два я не согласна,— мягко, но поспешно возразила миссис Пайлон Джонс.— Два фунта не покроют ни ремонта, ни износа.

— Он и дома-то почти не будет бывать,— заметил Гэрет.

— Хорошо, пусть три фунта,— сказал Роджер.

— Но вам же придется платить еще и за отопление,— предупредил его Гэрет.

— И за свет,— пробормотала миссис Пайлон Джонс.

— Я редко буду сидеть дома,— улыбнулся Роджер.

На том и порешили.

В ту ночь, одинокий и несчастный, он лежал на кровати, которую миссис Пайлон Джонс сдавала отдыхающим, и прислушивался к ветру, гулявшему по голой горе. Ветер насмехался над ним, шурша тощей травой и взъерошивая шерсть на спящих овцах. «Уже больше полжизни прошло»,— вздыхал он в замочной скважине и в печной трубе.

Во сне Роджер увидел Марго. Она по-прежнему казалась ему прекрасной, с этими ее гладко зачесанными рыжими волосами и задорными зелеными глазами. У людей не бывает зеленых глаз. Он это знал. И тем не менее глаза Марго всегда казались ему цвета недоступных изумрудов.

Недоступных? Но она же стала доступна ему, он долго и честно ее добивался, она полюбила его, она отдала ему всю свою женственность, они лежали рядом нагие, и смеялись, и дурили, и вздыхали, и снова смеялись. Она пылала, и трепетала, и принадлежала ему. А потом возникла эта непреодолимая преграда. И сейчас, тяжело ворочаясь на кровати миссис Пайлон Джонс, он снова пережил все это во сне.

«Но ведь есть же больницы, куда кладут таких, как Джеффри».

«Джеффри — это не кто-нибудь, это Джеффри, мой кровный и родной. И я не отдам его никуда».

«В таком случае — либо он, либо я. Мне этого не вынести».

«Ты привыкнешь. Я ведь привык».

«Ты же сам говоришь, что он твой кровный родной».

«Но и ты тоже. Он мой кровный родной, потому что он мой брат, а ты — потому что мы любим друг друга».

«Да, я это уже не раз слышала.— Глаза у нее стали жесткими и яркими, как изумруды.— Два начала образуют единую плоть».

«Ты считаешь, что это не так?»

«Ну, а что толку, если я считаю, что так? — Она резко повернулась к нему лицом.— А если пойдут дети? Я рожу тебе детей, и им придется расти в одном доме с этим?»

«Как ты можешь называть Джеффри «этим»? Джеффри — это

просто Джеффри, не надо преувеличивать. Он же не противен, не мерзок».

«Ну, а у меня он вызывает омерзение. Он мне противен, потому что он такой жалкий. Зачем ему жизнь, почему он не умирает?»

Тут мирное течение сна нарушилось. Ими овладела страсть — они бросились друг на друга, стали кусаться. Марго еле выдохнула: «Подожди, дай раздеться»,— но пока они срывали с себя одежду, между ними вдруг возникла стена из плексигласа, толстого и холодного. Роджер чувствовал, как в нем нарастает желание, но все было ни к чему — между ними был плексиглас. И откуда-то сзади донесся голос Джеффри: «Я умираю, Роджер. Я умираю».

Роджер проснулся и сбросил с себя одеяло — на улице только начинало светать. Стоя посреди комнаты, еще не придя в себя от тягостного сна, все еще чувствуя горечь заново пережитого, он увидел в окне темное плечо горы и серое, перечерченное зарею небо. Быстро одевшись, он вышел через зеленую дверь на улицу,— холодный утренний воздух ударил ему в лицо, и он быстро застегнул плащ. Но это соприкосновение с ледяным воздухом взбодрило Роджера, как взбадривает сильного пловца холодная вода. Затем с непокрытой головой, усиленно моргая, чтобы прогнать злосчастный сон, он двинулся в путь — вверх, через металлическую калитку и дальше по дорожке, которая вилась по исхлестанному ветром склону; справа от него далеко внизу поблескивало раскинувшееся на многие мили море, слева горы вздымали свои жесткие зеленые головы к нарождавшемуся свету. Он шел быстро, бездумно; при его приближении овцы поспешно вставали и отскакивали, с досадой поглядывая на него; было так рано, что даже пастухи еще не появились,— лишь большекрылые вороны кружили над ним, обозревая его с высоты.

Роджер шагал и шагал до тех пор, пока не почувствовал, что ноги у него согрелись от прилива крови, легкие освежились, а глаза омыло ярким светом. Тогда он остановился — так же внезапно, как двинулся в путь.

Солнце выскочило из-за гор и направило длинный палец яркого света прямо в Роджера. Все вокруг стало как новенькая монета — золотое, в ореоле искристых огней. Значит, сегодня всем грешникам, всем слабым, и похотливым, и сломленным жизнью, и разочарованным — всем мужчинам и женщинам, птицам и зверям будет светить солнце, а ветер — их освежать.

После столь лирического начала Роджер решил, что этот день не может пройти для него просто так, что он должен принести ему счастье: значит, если что-то предпринимать и пытаться преодолеть какие-то трудности, то это надо делать сегодня.

Первой проблемой были деньги. Он прихватил с собой несколько дорожных чеков, но почти все уже получил по ним. Теперь, поскольку он решил здесь задержаться, ему предстояло договориться с местным банком. И заодно (не без внутренней дрожи напомнил он себе) выяснить, каков у него баланс. Кроме того, надо сдать номер в отеле «Палас» и расплатиться по счету: он даже этого не сделал, хотя уже снял квартиру у миссис Пайлон Джонс.

Правда, медлил он не без причины. Роджеру хотелось так подгадать, чтобы Райаннон дежурила, когда он будет расплачиваться по счету и выезжать из гостиницы. Это даст ему прекрасную возможность вступить с ней в разговор.

Она была так хороша, так молода, так элегантна и так недоступна для всех, у кого нет быстроходной машины, и пачки банкнотов в кармане, и солидной, доставшейся по наследству фирмы, и загорелого

лица, легко расплывающегося в широкой улыбке, и широких плеч под отлично сидящим пиджаком, и, сознавая все это, Роджер понимал, что только зря теряет время. Тем не менее сейчас ноги снова понесли его к отелю «Палас». Было одиннадцать двадцать, и он был свободен до двенадцати, когда они с Гэретом снова поедут наверх.

Она была на месте. Молодая, свежая, темноволосая, как египтянка, но с нежным розовым румянцем и безукоризненной кожей, она сидела на высоком стуле за стойкой, словно это был бар, а она — клиентка у стойки бара, сидела и спокойно наблюдала за происходящим.

— Привет,— сказал он.

Она молча улыбнулась, придав, однако, улыбке слегка вопросительный оттенок. *(Почему вы, собственно, обращаетесь ко мне? И почему так фамильярно?)*

— Будьте любезны, мне счет. Я сегодня съезжаю.

— Сию минуту.— Она повернулась и сказала девушке, которая сидела за стеклянной перегородкой: — Пожалуйста, карточку четыреста двадцать восьмого.

Она помнит номер моей комнаты. Она что же, специально его запоминала? И возможно, готова в любую минуту...

— Извольте, сэр,— сказала она деловым, официальным тоном, пододвигая ему лист бумаги.

Сэр?

— Я, знаете ли, работаю теперь на автобусе,— сказал он, подписывая свой последний дорожный чек.— Помогаю Гэрету.

— Да, я вас видела.

— Я живу в вашем... в Лланкрвисе. Снял там квартиру.

Она повернулась, передавая чек кассиру.

— Спасибо, сэр. Вот сдача.

— Странно как-то, что вы называете меня «сэр». Мы ведь оба живем в Лланкрвисе — нам следовало бы быть демократичнее.

— Я всегда так обращаюсь к гостям.

— Ну, я уже больше не ваш гость.

— Я это усвоила,— сказала она, ставя на разговоре точку.

Он поклонился, чувствуя, что потерпел поражение. Но по крайней мере она отказалась от этого «сэр», которое вставало между ними, как изгородь из колючей проволоки. Впрочем, у нее наверняка есть в запасе другие способы протянуть колючую проволоку.

До двенадцати часов, когда им с Гэретом предстояло ехать наверх, оставалось совсем немного времени — ровно столько, чтобы успеть забежать в банк, который находился чуть дальше на той же улице. Изложив свою просьбу, Роджер сообщил клерку все необходимые данные, которые тот и записал.

На его лондонском счету денег оставалось совсем немного — сколько именно, они выяснят и сообщат ему. По всей вероятности, что-то около ста или ста пятидесяти фунтов. И никаких поступлений до первого января, когда после всех вычетов ему переведут жалованье из университета. Что за собачья жизнь! Почему он никогда ничего не откладывал, почему он дожил до сорока лет и у него нет даже двух тысяч на черный день? Ответ на этот вопрос напрашивался сам собой: женщины. До сих пор Роджер вынужден был довольствоваться случайными встречами, и это обязывало его изображать из себя кутилу. И сейчас, в этом прохладном безликом банке с перегородками из полированного дерева и стекла, ему стало просто плохо при одной мысли о том, сколько его денег перекочевало в карманы владельцев ресторанов и отелей, какое количество деликатесов он без всякого аппетита проглотил, сколько выпил тонких вин, даже не почувствовав их вкуса. А за всем этим по пятам неизменно следовала

расплата в виде бумажек, оставленных на столе. Что же тут удивительного, если он теперь беден! Только обидно, что уж слишком кратки были мгновения, когда он чувствовал себя счастливым... Кивнув прилизанному клерку, Роджер вышел из банка и быстро зашагал к площади.

— Пойду выпью свою дневную кружку в «Виноградной лозе»,— сказал Гэрет после того, как они съездили в горы и вернулись назад.

— Ну, а я, пожалуй, схожу к итальянцу.

— Ладно,— сказал Гэрет.— Увидимся в половине пятого.— И он понес свое грузное тело на ножках-булавочках через площадь.

А Роджер, сняв сумку, от которой так болело плечо, с чувством большого облегчения зашагал вниз по склону к пивной, которую держал итальянец,— впереди был час дивного безделья, и Роджер пообещал себе насладиться им сполна, а возможно, и прогуляться к морю.

На неделе в час ленча пивная итальянца не могла похвастаться обилием клиентов. У стойки, беседуя вполголоса с итальянцем, стоял Мэдог.

Еще не решив, как тут лучше быть, Роджер остановился неподалеку от них, дожидаясь, чтобы его заметили. На Мэдоге был синий костюм, мятый и изрядно потертый; щеки у него заросли щетиной, и он настолько обрюзг, что живот мешал ему удобно облокотиться о стойку. Интересно, он в самом деле хороший поэт? Роджер решил всерьез приналечь на валлийский, чтобы побыстрее прочесть что-нибудь из произведений Мэдога. Конечно, и при такой заурядной внешности Мэдог вполне мог быть настоящим поэтом. То, что он выглядел как типичный молодой клерк, работающий у провинциального агента по торговле недвижимостью, говорило скорее в его пользу, поскольку поэты, которые выглядят поэтами, часто оказываются нахальными самозванцами. А вот итальянцу, казалось, в пору было выступать на сцене в какой-нибудь опере Верди, где он вволю мог бы кричать «ура» и делать вид, будто пьет вино из картонных кубков. Волосы у него были как мех россомахи. Они вздымались темной волной вокруг бесстрашно торчавших, точно одинокие утесы, ушей. Итальянец и Мэдог рассматривали какую-то вырезку из газеты.

Так прошло несколько минут; затем один из мужчин за столиком крикнул что-то хозяину по-валлийски, назвав его просто «Марио»,— речь явно шла о том, что его дожидается клиент. Хозяин на секунду поднял глаза и, заметив Роджера, сказал ему что-то на своем певучем валлийском.

— Извините,— сказал Роджер и смущенно улыбнулся,— но я не говорю по-валлийски. Только делаю первые шаги.

При звуках его голоса Мэдог оторвался от газетной вырезки и приветственно взмахнул рукой.

— Ах, вы англичанин,— сказал он.— Что вам угодно? Я сейчас вас обслужу. Мы тут читаем кое-что интересное. Насчет Бре-та-ни. У них там бьют витрины.

— Вот как? — сдержанно заметил Роджер. *Кто бьет? О чем этот человек говорит?* — Так, значит, витрины бьют?

— Да, сэр,— просиял хозяин.— По всей главной улице в Комбуре. Это работа коммандос.

Роджер молча поверх кружки воззвал взглядом к Мэдогу.

— Речь идет о бретонских коммандос,— пояснил Мэдог.— Вот взгляните сами.— Он протянул Роджеру вырезку из газеты.— Они закладывают пластиковые бомбы, и зеркальные окна разлетаются на куски. Делают это ночью, чтобы никто не пострадал. Но если это не произведет эффекта... — Он многозначительно умолк.

Роджер взял в руки газетную вырезку.

— Боюсь, я понятия не имею о том, что такое бретонские коммандос,— сказал он, все еще ощущая потребность извиняться.

— Вот, вот! — Хозяин расплылся от удовольствия.— Именно так говорят и в Париже. Кто эти люди? Откуда они вдруг взялись, эти людишки, которые именуют себя коммандос? — Он весь затрясся от беззвучного смеха, привалившись к стойке.— А потом, в один прекрасный день БУ-УМ! — И он замахал руками в узком пространстве между стойкой и бутылками.

— Они считают французов оккупантами,— мягко пояснил Мэдог. Он улыбнулся печальной улыбкой человека, которому, как ни грустно, приходится терпеть такое невежество; улыбка эта вызвала у Роджера еще большее раздражение, чем театральность хозяина.— Они не хотят зависеть от Парижа. Все их апелляции по обычным каналам оставлены без внимания, и теперь они прибегли к силе. Они прошли военную подготовку, и у них есть оружие.

— Да, сэр, оружие.— подтвердил хозяин.— И деньги. Всего хватает. И в следующий раз они займутся не только витринами.— Он снова радостно заулыбался.

— Что ж,— сказал Роджер, отхлебнув пива,— это, наверно, уже им решать.

— А вот Марио намерен к ним присоединиться,— усмехнулся Мэдог.— Он едет в сентябре на две недели в Бретань — у него отпуск — и надеется вступить там в контакт с коммандос и принять участие в их акциях.

— Не может быть!

— Очень даже может, сэр,— сказал хозяин и перегнулся через стойку.— Это и сюда докатится. Разве от Вестминстера дождешься независимости! Так что придется кому-то подсобить. А для этого нам нужен практический опыт. Пойду в коммандос. Сначала взрывать витрины по ночам. Потом — поджигать машины. Ударил здесь, ударил там — исчез. Надо же кое-кому показать, что мы не шутим. Тогда Вестминстер сдастся, чтобы дело до убийства не дошло. Дадут независимость, создадим валлийский парламент. Англичане будут предъявлять паспорта на границе.

Роджер молча пил пиво. У него не было ни малейшего желания втягиваться в этот бредовый разговор, в то же время он опасался, что хозяин может впасть в буйство, если попытаться его урезонить. К тому же Мэдог внимательно следил за его реакцией. Что было написано на лице Мэдога? Просто вежливый интерес? Или легкое ехидство?

— А вы как к этому относитесь? — вдруг спросил Мэдога Роджер.

— А как бы вы отнеслись,— с улыбкой сказал Мэдог,— если бы вы были чероки?

— Нет, с вами просто невозможно разговаривать.

Мэдог был все так же вежлив.

— У англичан вечно возникает одна трудность. Они не могут поверить, что у них действительно есть враги.

— Ну, это уже давно отошло в прошлое. В этом веке нас заставили верить.

— Ничего подобного. Англичане по-прежнему вырастают в убеждении, что история их страны — сплошь светлая, без всяких теневых пятен. Они в буквальном смысле слова знать ничего не знают о творимых ими несправедливостях. Они избегают чувства вины с помощью невежества. Среди тысяч английских туристов, которые каждое лето наводняют Ирландию, многие ли имеют хотя бы слабое представление о том, сколько выстрадали ирландцы по милости англичан? Задайте

этот вопрос каждому десятому, когда они сходят с парома. Найдите хотя бы одного, кто слышал о том, что политика английского правительства прямо привела к так называемому картофельному голоду сороковых годов, когда миллион ирландцев умерли от голода в этой стране изобилия — изобилия, которое было не для них.

— Но послушайте... ведь это было...

— Английские солдаты охраняли склады с продовольствием, чтобы голодные ирландцы не могли до него добраться,— продолжал Мэдог. Теперь он уже больше не улыбался.— Ирландский крестьянин вырастил всего вдоволь, но не мог этим воспользоваться. Его пищу составлял картофель, а когда картофель сгнил, он стал погибать от голода среди изобилия.

— Да, я это знаю, и я вовсе не собираюсь защищать...

— Пусть англичане показывают паспорта,— сказал хозяин.— Надо их проверять. Уэльс — богатая страна: сталь, уголь. Послушайте,— продолжал он,— ирландцы восстали еще в шестнадцатом. А мы тут слишком долго ждем, черт побери, слишком долго.

— Ну, может быть, вы получите свободу конституционным...

— В сорок третьем,— не унимался хозяин,— два англичанина взяли меня в плен. Вдвоем. Грозились отрезать мне все на свете. Пока ехали на базу, они всю дорогу говорили: «Вот приедем на базу, так-тебя-растак, все тебе отрежем». А потом — ну хохотать.

— Но вы же им не верили!

— Нет, сэр, верил, Муссолини говорил...

Роджер, онемев, уставился на него. Хозяин, все еще под впечатлением угрозы ликвидации самой драгоценной части его тела, направился к другому концу стойки обслужить клиента.

Изрядно обозлившись, тщетно пытаясь хоть что-то понять, Роджер повернулся к Мэдогу:

— Ну, а теперь давайте выпьем и расскажите мне об этом политическом осином гнезде, в которое я, видимо, ненароком попал.

— Марио — он человек активный,— Мэдог с улыбкой передернул плечами.— Может, и я был бы таким, если бы меня взяли в плен и грозились кастрировать. Ну, а потом на правах военнопленного он поселился в этих краях, пустил здесь корни, женился на местной девушке. У него целый выводок ребят, и ни один из них не говорит толком по-английски — уж он за этим проследил. А здешние жители во время войны хорошо относились к нему. Впрочем, наверно, так же относились бы к нему и англичане, если бы он поселился где-нибудь в Англии. Но у Марио засело в уме, что англичане втянули валлийцев в конфликт, который не имел к ним никакого отношения, поэтому они и не питали вражды к солдату неприятельской армии.

— Что ж, видно не слишком-то он любил свою родину, если...

— Так ведь родину-то свою он знал только при Муссолини. С тех пор он ни разу там не был. Он считает себя теперь валлийцем итальянского происхождения, и его чертовски раздражает то, что ему приходится ходить с британским паспортом.

— А, так, значит, он британский подданный?

— А кто же он, по-вашему? — усмехнулся Мэдог.— Иностранец что ли?

Они окликнули Марио, который за стойкой вытирал стаканы полосатой тряпкой, и попросили еще по кружке пива и несколько сандвичей. Он обслужил их спокойно, без всякой враждебности. Только сказал:

— В отпуск поеду в Комбур.

— Непременно поезжайте,— сказал Роджер. Он расплатился за пиво и сандвичи и отнес их на столик.

— Я лично считаю,— сказал Мэдог,— что самое верное сейчас — наступление на культурном фронте.

— А разве не обидно писать на языке, который знает так мало народу?

— А прогресс-то идет ведь совсем в другом направлении,— сказал Мэдог. Он отхлебнул пива и с весьма таинственным видом продолжал: — Все развивается иначе.

Роджер ждал, что за этим последует, но Мэдог лишь добавил:

— Если вы тут еще побудете, сами увидите кое-что.

Оба помолчали, словно подводя черту под этой частью своей беседы. Затем Мэдог сказал:

— Вот если бы я поехал в Бретань, я бы первым делом попытался установить контакт кое с кем из поэтов.

— Вот как? — заметил Роджер, прожевывая кусок сандвича.

— В Бретани есть отличные поэты,— продолжал Мэдог.— Вы сможете познакомиться с ними, когда немного овладеете валлийским. Я показал бы вам...

Они беседовали до тех пор, пока пивная не закрылась, после чего Мэдог направился к себе на службу, до такой степени накачавшись пива, что можно было не сомневаться: он наверняка заснет, изучая данные о сверхсовременных жилищах со всеми удобствами. А Роджер постоял на тротуаре, задрав голову и глядя в небо. На ярко-синем фоне, сталкиваясь друг с другом, кружились облака. В воздухе была победоносная свежесть. Он же обещал себе прогулку! И Роджер быстро зашагал по набережной, мимо пришвартованных рыболовных судов, по запорошенным солью доскам причала. Город остался за его спиной. Узкая каменистая дорога, следуя изгибам берега, вилась дальше, но за причалом по ней уже почти никто не ездил. Летом отдыхающие на машинах сворачивали сюда с шоссе и, устроив стоянку на травяном откосе, оставляли пастись своих металлических зверей, пока сами плескались, перекликаясь, в море, или дремали, накрывшись газетой, или слизывали мороженое из вафельных стаканчиков. Теперь от этих трех месяцев, которые люди проводят в погоне за удовольствиями, не осталось ничего, кроме обрывков бумаги, застрявших в кустах ежевики, росших у низкой стены вдоль берега, да пластмассового ведерка, торчавшего из песка вне досягаемости прилива,— игрушки, забытой здесь каким-то городским ребенком, который сейчас уже мечтает о рождестве.

Роджер шел, глубоко вдыхая в себя воздух, наслаждаясь этим пустынным, уединенным местом, где вздымались лишь косматые скалы с налипшими на них ракушками; за полосой тускло поблескивавшей воды виднелся, словно корпус старого корабля, низкий остров Энглси; среди ила вышагивали болотные птицы. Ярдах в пятидесяти от него на тощей траве стояла маленькая голубая машина. Взгляд Роджера поискал людей, которых эта машина привезла, и через несколько секунд обнаружил их у самого края шуршавшего галькой моря: двое маленьких детишек что-то искали среди камней под присмотром молодой матери. С минуту взгляд Роджера безразлично покоился на этой группе. Но вот молодая мать выпрямилась и, обернувшись, посмотрела в сторону скал — Роджер увидел густую челку темных волос и что-то знакомое в фигуре. Да, конечно. Это была Дженни.

Застыв на месте, он жадно глядел на нее. Она была в джинсах — повседневной одежде ее поколения — и в толстом темно-красном свитере, скрывавшем очертания ее фигуры, отчего она казалась лишь еще соблазнительнее. Роджер вдруг почувствовал отчетливо и бесповоротно, что его тянет к ней — не просто как к женщине, встретившейся

на его пути, когда он страдал от сексуального голода, а потому, что она — Дженни, единственная и неповторимая.

Но ведь она — замужняя женщина. Несчастная, незаслуженно одинокая в своем замужестве, так же как он несчастен и незаслуженно одинок. И обоим трудно найти из этого состояния выход.

Он медлил, раздумывая, пройти ли мимо, повернуть или тихонько возвратиться в Карвенай, избежав встречи, или же, мобилизовав мужество, подойти к ней и поговорить. Она была нужна ему, и эта потребность в ней пугала Роджера. Если она оттолкнет его... воспротивится вторжению краткой идиллии в свою нелегкую жизнь... Но, как это часто бывает, именно своей неподвижностью он привлек к себе внимание. Сначала его увидел один ребенок, потом другой, а теперь уже и Дженни посмотрела в его сторону. Посмотрела — и отвернулась и снова посмотрела, словно гадая, знает она этого человека или нет. Отчаявшись принять какое-либо решение, он неуверенно помахал ей рукой и сделал шаг в ее сторону.

— Кажется, это Роджер Фэрнивалл, я не ошиблась? — сказала она, когда он остановился подле нее, пройдя ярдов десять по камням и водорослям от дороги до края воды.

— Он самый,— сказал Роджер и, не дожидаясь приглашения, опустился на берег и попытался включиться в их компанию.— Ищете живность? — спросил он, придвигаясь поближе. *(Прояви благожелательный интерес. Стань любимым дядей. Завяжи какой-то разговор.)*

— Здесь нет никакой живности,— сказала она, выпрямляясь и глядя прямо ему в глаза своими до боли чистыми глазами.— Единственное, что меня тут не устраивает. Побережье такое голое — одна галька.

— Мы ищем красивенькие камушки,— произнес ребенок постарше.

Расположившись поудобнее, Роджер принялся разглядывать детей: обращалась к нему девочка лет пяти, а второй ребенок, который сейчас смотрел на него и застенчиво молчал, был мальчик, примерно на год младше.

— Вот как — красивенькие камушки? И много вы нашли?

— Да,— сказала малышка уверенным голосом собственницы.— Они тут — в мешочке.— И показала ему мешочек, сшитый из ярких шерстяных лоскутов.— Это все мои. А Робин держит свои в карманах.

— Я собираю только беленькие,— сказал мальчик еле слышным от застенчивости голоском. И поспешно сунул ручонки в карманы, словно оберегая свои сокровища от посягательств этого уставившегося на него чужого дяди.

— Мэри, Робин, это — мистер Фэрнивалл,— торжественно представила его детям Дженни.

— Он папин приятель? — спросила Мэри, глядя на Роджера и явно прикидывая, можно ли тут рассчитывать на какое-нибудь развлечение.

— Нет, он мой приятель.

Это уже кое-что!

— Вам здесь нравится? — спросил Роджер. Вопрос был глупый, из серии вопросов в духе: «Вы часто сюда приходите?»

Но она ответила на него со всей серьезностью:

— Очень. Я часто приходила сюда, когда была студенткой. Долго бродила одна и раздумывала о том, что готовит мне жизнь.

Роджер пристально смотрел на Дженни. Желал ли он ее больше, чем, скажем, Райаннон? Конечно, Райаннон была куда красивее. Но она была уж слишком хороша — она возбуждала его до потери сознания. И даже если бы ему вдруг фантастически повезло и он сумел бы завоевать ее расположение, ему всегда бы казалось, что он недостоин ее.

А вот с Дженни он мог представить себе счастье вполне возможное, реальное — счастье домашнего очага, где найдется место и для двух детишек, которые иначе обречены расти в душной атмосфере, созданной этим денежным мешком Джеральдом Туайфордом, жить в milieu [1], где их будут всегда окружать люди вроде этого омерзительного типа Дональда Фишера. Дженни была нужна ему, и он мог дать ей то, что ей было нужно,— почему же не попытаться? Ветер налетел и покрыл рябью воду, холодную и соленую, растворяющую фальшь.

— Вы бываете когда-нибудь вечерами свободны? — внезапно спросил он ее.

— Иногда.— Ее голос звучал нарочито ровно.

Он продолжал наступать:

— А вы не согласились бы провести как-нибудь вечер со мной?

Она посмотрела вдаль, поверх воды.

— И что же мы будем делать?

— Что хотите. Есть, пить, болтать.

Она насупилась.

— Рестораны исключены. Здесь нет ни одного хорошего, да и вообще...— Она умолкла, но он понял, что она хотела сказать. Она замужем, а рестораны — место общественное.

— Я не думал о ресторане,— поспешил он пояснить.— Я приготовлю что-нибудь в своей берлоге.

— Вот как? — сказала она и с иронической усмешкой повернулась к нему.— У вас есть берлога?

Он рассмеялся. От этого слова так сильно отдавало печальными и смешными ассоциациями, связанными с холостяцкой жизнью.

— Все где-то живут.

— Но вы, видимо, живете в таком месте, где вы можете принять меня, накормить обедом и даже приготовить его. Как удобно.

— Не надо иронизировать,— сказал он.— Я — честный труженик и снял летнюю квартирку, за которую между июнем и сентябрем люди платят большие деньги. А я получил ее почти задаром.

— Очень хорошо,— сказала она уже без всякой иронии.

— По средам я кончаю рано. Живу я в Лланкрвисе. Первый дом направо после знака, ограничивающего скорость до тридцати миль в час. У меня свой вход сбоку.

— Бог мой, какой поток информации! Я ведь еще не сказала, что приеду.

— Но вы же можете как-нибудь вечером, в одну из сред, когда дети лягут спать, а муж ваш уедет в Лондон и, следовательно, не сочтет, что вы пренебрегаете им, и дома нечего будет делать, и не с кем словом перемолвиться — вы же можете сесть в свою голубую машинку и приехать в Лланкрвис.

— Да, конечно, я могу приехать. Но я не вижу, зачем мне это.

— Ну, сделайте это без всякой причины. Приезжайте просто потому, что получили приглашение.

— А вы умеете стряпать? — переменила она тему разговора.

— Простые блюда. Но голодной вы не останетесь.

— Может, мне приехать и приготовить вам что-нибудь? Какая у вас плита?

Сердце у Роджера заколотилось. Он одерживал победу: она готова приехать.

— Не думайте об этом. Вы и так достаточно занимаетесь хозяйством. Приезжайте просто посидеть и дайте мне вас побаловать. Только это будет в ближайшую среду или в следующую?

---

[1] Среда *(франц.)*.

— Ни в ту, ни в другую,— последовал категорический, холодный, как сама северянка, ответ.— Если я вообще приеду, то после следующей.

— Значит, в третью среду?

— Да, Джеральд будет вечером выступать в Лондоне по телевидению, и я не буду нужна дома.

Дети заспорили о чем-то.

— Мамочка,— с криком бросились они к ней,— рыбки едят водоросли?

— Некоторые едят,— сказала она.

— Вот видишь,— сказал Робин, повернувшись к Мэри.

— Но ведь у них же нет зубов.— Личико Мэри вытянулось от огорчения, что она проиграла в споре.— Им нечем жевать.

— А они язычком — лижут, лижут,— сказал Робин.— Вот так: лиз-лиз.— И он показал как.

— Оба вы неправы,— сказала Дженни.— У них есть зубы. Положите пальчик рыбе в рот и увидите, есть у нее зубы или нет.

Это их успокоило: если ни один из них не прав до конца, значит, никто и не победил в споре.

Роджер почувствовал, что пора красиво ретироваться. Он добился того, чего хотел, а между Дженни и ее детьми не надо вставать, не надо портить им прогулку.

— Ну, я пошел,— сказал он.— Значит, в третью среду. Около восьми.

— Только я, наверно, ненадолго.

— Неважно,— сказал он и улыбнулся.

Она озарила его ответной улыбкой и тотчас повернулась к нему спиной. Перепрыгивая с камня на камень, он добрался до низкой стены, тянувшейся вдоль берега. За ней бежала в город дорога между полосками тощей, припудренной солью травы — дорога, которая уведет его от Дженни назад, в пустоту.

Наконец настала та среда — среда, когда должна была приехать Дженни. С той минуты, как они условились о встрече, Роджер и жаждал наступления этой среды, и страшился. Конечно, ему хотелось, чтобы Дженни приехала к нему, хотелось ее увидеть; конечно, он не мог не радоваться возможности прощупать почву, понять, насколько труден будет путь, который предстоит преодолеть, а если говорить, не затуманивая смысла изящной метафорой,— выяснить, есть ли у него шансы оторвать ее от мужа настолько, чтобы получить необходимое утешение. И тем не менее как раз это нащупывание почвы, то, что придется потратить немало усилий, чтобы отторгнуть Дженни от мужа, и страшило его. Сколько будет хлопот, сколько, черт побери, уйдет сил, как это будет выбивать из колеи и лихорадить — и чем дальше, тем больше.

В шесть часов Роджер вернулся с первым вечерним рейсом в Лланкрвис — с работой на этот день было покончено. Еще предстоял десятичасовой рейс, но по средам народу обычно бывало мало: многие в этот день не работали вечером и склонны были уезжать подальше, а не сидеть в карвенайских пивных. Гэрет вполне мог сам справиться и возражать не стал. Итак, Роджер направился к себе, отпер зеленую дверь, которая вела в помещение, сдаваемое миссис Пайлон Джонс на лето, и вошел, бормоча себе под нос: «Мясо, овощи, масло. Вино, штопор, уголь, растопка». Он был весь как натянутая струна, неуверенный в себе, несчастный. Наводить уют, чтобы лечь в постель с замужней женщиной в протестантском поселке,— зачем ему нужен весь этот

фарс, в его-то годы? Он искренне жалел себя и даже немного жалел Дженни.

Тем не менее он разжег хороший огонь в камине, накалил электрический вертел. Миссис Пайлон Джонс сидела тихо, как паук, на своей половине дома. Узнает ли она о том, что произойдет? А что, если Дженни, исстрадавшись в своем несчастном браке, упадет ему в объятия и затем очутится в его постели? Станет ли миссис Пайлон Джонс наблюдать в замочную скважину? Способна она вызвать лланкрвисскую разновидность ку-клукс-клана или общества по охране нравственности и порядка? «Но в конце-то концов,— подумал он,— не все ли равно?»

Условный час пробил. Он ждал ее, она опаздывала — прошло десять минут, нет, пятнадцать; он уже начал браниться про себя, когда на улице остановилась машина.

Дженни вошла. На ней было короткое модное пальто, под ним — то же платье, в каком он впервые увидел ее.

— Давайте есть,— сказал он.— Я голоден. Я ведь работал.— От волнения он говорил чуть грубовато.

— Я тоже работала. Возилась с детьми, укладывала их спать. А что у вас за работа?

— Потом расскажу.

— Это что — тайна?

— Нисколько. Я работаю на автобусе.

— На автобусе? Кем же — шофером? Вы не похожи...

— Нет, я работаю кондуктором.

— Кондуктором в автобусе? Вы что же, занимаетесь этим на пари или что-нибудь в этом роде?

— Нет, я так отдыхаю. Для разнообразия.— Произнося это, он подогревал тарелки, стучал блюдцами и вообще делал все очень быстро, словно профессиональный повар.

— Что-то вы захлопотались,— сказала она, подходя к нему.— Могу я вам помочь?

— Да, можете налить себе рюмку хереса из вон той бутылки, а потом можете открыть вино и поставить его на стол. В общем, заняться мелочами. Основным я займусь сам, потому что это для меня дело чести. Я хочу приготовить вам хорошую еду.

Интересно, что делает ее муж в то время, как она сидит в Лланкрвисе и пьет херес в квартирке, которую миссис Пайлон Джонс сдает на лето? Кажется, Дженни говорила, что он сейчас выступает по телевизору?

— А чем вы обычно занимаетесь? — спросила она.

— Я — филолог.

— Как этот нудный старик Брайант?

— Как он.

— И что вы изучаете?

— Североевропейские языки. Больше всего я люблю скандинавские и английский.

— Я понимаю, но что именно вы изучаете в английском и в скандинавских языках? Просто грамматику и структуру?

— Видите ли, я написал работу под названием: «Превращение умляутных вариантов в умляутные аллофоны в скандинавских языках и, в частности, в сравнении с конечными «i» и «e» в древневерхненемецком».

— Вы, конечно, шутите?

— Нет, не шучу.

— Но кому все это нужно?

— Ну, видите ли, мы исследуем, как развивался язык. Изучаешь старые руны и надписи на мечах седьмого века и прочих предметах, а

потом пытаешься все систематизировать и сделать выводы относительно эволюции языка. Это помогает археологам установить, к какой эпохе относятся обнаруженные ими предметы.

— И вам действительно нравится этим заниматься?

— Так же, как иным нравится изучать хромосомы. Рис готов, и мясо тоже почти готово. Вы голодны?

— А что вы приготовили из мяса?

— Шашлык.

— Тогда я очень голодна.

Они принялись за еду. Он налил вина. Она с удовольствием ела, пила и болтала; отблески огня камина падали на ее лицо. До сих пор он ни разу не был с ней наедине. Роджер опрокинул стакан вина, чтобы взбодрить себя, набраться решимости, но это не помогло. Он вдруг почувствовал, что страшно устал и все тело его словно налито свинцом. Он позволил себе подумать о том, какие серьезные вещи зависят от их встречи, и теперь уже не мог вернуть прежнее беспечное настроение.

Перемена в его настроении не укрылась от Дженни.

— Что случилось?

Ему нравилась ее безыскусная прямота. *Да встряхнись же, приступай к делу.*

— Давайте посидим, если вы покончили с едой,— сказал он.

— А я и так сижу.

— Я хотел сказать: давайте пересядем на диван,— предложил он. Диван он нарочно пододвинул поближе к пылавшему камину.

— Как хотите,— сказала она безразличным тоном.

Однако, когда они очутились рядом на диване, он не мог заставить себя ни сказать ей что-то, ни придвинуться к ней.

— Чудесный был ужин, спасибо,— сказала она.

— Спасибо, что выбрались навестить меня. Ведь ехать сюда на машине куда сложнее, чем...

— Не о том мы с вами говорим,— сказала она,— не правда ли?

— О чем — не о том?

— О том, что сложнее.

Он помолчал, потом сказал:

— В общем-то речь идет ведь об этом. Именно об этом и ни о чем другом.

— А я считала, что еду к вам,— сказала она, глядя в огонь,— чтобы приятно провести время.

— Люди моего возраста не нуждаются в приятном времяпрепровождении,— сказал он.— Если же они в этом нуждаются, если этого ищут и пытаются создать соответствующие условия, значит, что-то в их жизни неблагополучно.

— А как обстоит дело с людьми моего возраста? — спросила она.

— Ну, тут все иначе. У людей вашего возраста больше времени впереди, и потому они спокойнее смотрят на все. У них еще есть время построить жизнь, разрушить ее и построить заново — так, как им больше по душе.

— Если они чувствуют в этом потребность.

Он осторожно сказал:

— А, наверно, лучше чувствовать такую потребность. Наверно, неправильно, когда все с самого начала складывается как надо.

— Почему? Или вы считаете, что сломанная кость становится крепче, когда срастется?

— Отчасти да, но есть и другое. Люди, которые, провальсировав несколько раз по жизни, не наделав положенных ошибок и не пройдя через период несчастья, попадают прямо в счастье, не понимают, чего

они избегли, и потому не бывают благодарны за выпавшую им удачу, недостаточно ценят ее.

Дженни отпила вина. В отблесках пламени, падавших из камина, красный цвет вина казался гуще и сочней.

— Скажите, Роджер, вы философствуете ради удовольствия слышать собственный голос, изрекающий мудрость? Или у вас есть какая-то причина говорить мне все это?

В наступившем молчании он глотнул вина. Но оно не оказывало на него никакого действия. Порог его напряжения был слишком высок, чтобы алкоголь помог ему преодолеть его.

— Да, у меня есть на то причина.

— Что же, послушаем.

— Я хочу обладать вами.

— Не говорите глупостей,— сказала она с вдруг прорвавшимся северным акцентом.

Он снова отхлебнул из бокала.

— Почему же это глупости?

— Потому что я замужняя женщина с двумя детьми.

— Но вы замужем не за тем человеком. Ваше замужество не приносит вам счастья.

Вместо ответа она нагнулась и подняла с пола свою сумочку. Он думал, что она ищет сигарету, чтобы выгадать время. Но, к его удивлению, она извлекла из сумочки очки в толстой темной оправе, надела их и внимательно посмотрела на него.

— Зачем это вы?

— Хочу рассмотреть ваше лицо. Я слишком тщеславна и потому редко ношу очки. Но здесь свет недостаточно яркий, а я хочу отчетливо видеть ваше лицо, так как это может дать мне ключ к пониманию того, что происходит у вас в уме и почему вы вдруг вздумали говорить о моем муже и моем браке.

— О,— сказал он,— в таком случае можете снять очки. Никаких тайн тут нет. Я могу вам сказать, что у меня на уме.— Но говоря это, он подумал, что едва ли сумеет объяснить все достаточно ясно не только для нее, но даже для себя самого.

— Ну, так скажите.— Но очков она не сняла.

— Я одинок и далеко не счастлив. Не думаю, чтобы во мне говорила излишняя жалость к себе,— я стараюсь объективно смотреть на вещи. Жизнь моя подошла к голому, открытому ветрам перекрестку, и я не знаю, каким путем дальше следовать. Я могу создать себе уютную жизнь, но от одного уюта не станешь счастливым. Я потерял цель в жизни.

— А что же случилось, почему вы ее потеряли?

— У меня умер брат. Он был человек больной, и я ухаживал за ним.

— Очень жаль, что он умер, потому что вы, видимо, любили его. Но для вас это, конечно, явилось избавлением?

— Вот это-то как раз и трудно объяснить.

— А вы попытайтесь,— сказала она, откидываясь назад.

— Я жил с Джеффри вовсе не потому, что был единственным человеком, который мог ухаживать за ним. Многие могли бы это делать, и даже более квалифицированно, чем я. Он часто раздражал меня и порой я совсем не годился для ухода за ним. Когда я сказал, что Джеффри был больным человеком, я постеснялся употребить более точное слово. На самом деле он был невропат, душевнобольной. У него была поражена психика и нервы.

— Он что, таким родился?

— Нет, это все война.— Он помолчал.— Об этом мне бы не хотелось говорить.

— Если вы не расскажете, как же я пойму?

Он повернулся к ней.

— А вы хотите понять?

— Вы же хотите, чтобы я поняла, правда?

Он кивнул.

— Мои родители умерли в войну, и мы с Джеффри остались одни, а он уже был тяжело болен. Когда он чувствовал себя прилично, он мог сам одеться — разве что какую-нибудь пуговицу оставит незастегнутой,— мог более или менее донести пищу до рта, но совершенно не в состоянии был на чем-либо сосредоточиться или удержать хоть что-то в памяти. И я знал, что, если отдать его в какую-нибудь лечебницу, его будут лишь обмывать и обтирать, как кусок неопрятной человеческой плоти. Правда, я никогда всерьез об этом и не думал. Он был нужен мне не меньше, чем я — ему.

— Почему?

Роджер передернул плечами.

— Так уж сложилось. Дело в том, что мне было всего семнадцать лет, когда кончилась война, и прошли годы, прежде чем я смог хоть что-то зарабатывать и взять Джеффри к себе. Около десяти лет он провел в больницах — то в одной, то в другой. Но я все это время навещал его и говорил ему, что он переедет ко мне и будет жить со мной, как только я устроюсь, и он это понимал — во всяком случае понимал, когда чувствовал себя прилично.

— А что он делал, когда плохо себя чувствовал?

— Плакал.

— Просто плакал?

— Просто плакал и больше ничего. Сидел на кровати и целыми днями оплакивал свою судьбу.

Дженни встала, разгладила платье на бедрах и посмотрела на него сверху вниз.

— Ну, а теперь скажите мне, какое все это имеет отношение к моему браку с Джеральдом?

Роджер не сразу смог ответить. Перед его мысленным взором стояло красное сморщенное лицо Джеффри, и он слышал голос Джеффри, произносящий сквозь рыдания: «Слишком это тяжело, Роджер. Не могу я, Роджер. Мне слишком тяжело».

Затем это видение исчезло, все вдруг словно залило резким белым светом, и он сказал:

— Это нетрудно объяснить. Когда человек несчастлив, он всегда ищет себе подобных. Вот я остался без Джеффри, лишившись, как Отелло, главной цели в жизни, а кроме того, поняв, что той любви, какую я проявлял к брату, оказалось недостаточно, чтобы удержать его в жизни дольше сорока пяти лет. Поэтому у меня почва ушла из-под ног и я чувствую себя виноватым. К тому же — едва ли вас это удивит,— моя личная жизнь совсем разладилась.

— Это меня не удивляет. На свете куда больше...

— Долгое время я встречался с девушкой по имени Марго и был очень привязан к ней. Я даже хотел на ней жениться. Она была очень хорошенькая и изо всех сил старалась вырваться из оков своего пуританского воспитания. Поэтому она все время искала удовольствий — без передышки. Она встречалась со мной пять лет и, насколько мне известно, одновременно еще с тремя или четырьмя мужчинами. Не говоря уже о случайных знакомствах. Она была большая мастерица по части любви. Мне хотелось создать семью, но я любил Марго, а она не желала строить со мной жизнь — сначала потому, что еще вдоволь не нараз-

влекалась с другими, а затем потому, что я не хотел отдавать Джеффри в лечебницу. В конце концов это разлучило нас. Мне потребовалось около года, чтобы поверить, что это действительно так.

— Я бы не стала ее винить, если для нее главное — удовольствие.

— Да я и не виню. Уже сам вид такого человека, как Джеффри, напоминает о сторонах жизни, никак не совместимых с приятным времяпрепровождением. Если бы он не был импотентом, она, возможно, даже попыталась бы сблизиться с ним. Говорят, идиоты возбуждают женщин.

— Слишком много у вас появилось горечи.

— Появилось? Во мне всегда было черт знает сколько горечи.

— Хорошо,— сказала она.— Пусть у вас будет горечь. Только не надо этим гордиться. Не думайте, что это делает вас великомучеником.

— Дженни, это несправедливо. Моя горечь неглубока. Она у меня где-то на поверхности, как перхоть. Она может уйти, и при этом моя натура коренным образом не изменится. А вот то, другое — потребность оберегать Джеффри,— гнездилось гораздо глубже. Корни этого уходят к дням моего отрочества.

— Знаете, что я думаю,— сказала она.— Я думаю, все это растает и исчезнет, как только вы найдете женщину, которую сможете полюбить, я имею в виду: полюбить по-настоящему.

— Я уверен, что именно так пишут в книгах.

— Опять у вас эта горечь! Об этом не только пишут в книгах.

— Хорошо,— сказал он, глядя на ее тонкое, серьезное лицо, озаренное светом камина.— Это может пройти, согласен. А до тех пор я обречен жить с тем, что в книгах наверняка назвали бы «синдромом Джеффри».

— Значит, вы ищете себе другого Джеффри?

Он кивнул.

— Но это вовсе не обязательно должен быть кто-то вроде Джеффри. Это может быть любой человек, которому трудно, у которого не складывается жизнь. Скажем, горбун, попавший в беду.

— Горбун, попавший в беду? Вы имеете в виду какого-то определенного человека?

— О, неважно.— Ему вдруг надоело говорить о себе.— Давайте лучше поговорим о вас. Мне хотелось бы представить себе вашу жизнь. Расскажите, например, о ваших детях.

Она снова села.

— О Мэри и Робине? Ну, это самые обыкновенные дети. У меня к ним глубокая, безграничная нежность, которая заложена в человеке биологически. Я знаю, что я в любой момент отдала бы жизнь, чтобы спасти их, и при этом вовсе не чувствовала бы себя удивительно смелой или лишенной эгоизма. Таков уж закон жизни, что ты всецело отдаешь себя в распоряжение живого существа, которое произвел на свет. Но бывают времена, когда я могу как бы стать в сторонку и посмотреть на них глазами чужого человека, и тогда они кажутся мне милыми детьми, но и только. У Мэри очень практичная натура. У нее умелые руки, и она любит мне помогать. Я думаю, она вырастет добрым человечком. О Робине же еще слишком рано говорить. У него славный голосок, и мне кажется, с годами разовьется слух.

— Значит, она будет заведовать деревенской больницей, а он станет оперным тенором.

— Вы же сами просили меня рассказать о них.

— Извините, я вовсе не смеюсь над ними.

— А прозвучало это именно так. Но, возможно, вы из тех перекрученных людей, которые ничего не могут сказать без издевки.

Она разозлилась. Отвернувшись от него, она сорвала с носа очки, словно не желала больше видеть его лицо.

— Я не знаю, кто из нас прав,— осторожно заметил Роджер.— Но если вы усмотрели издевку в моих словах, наверно, она в них была. Мне остается лишь извиниться. Возможно, это была подсознательная реакция. Я попросил вас рассказать мне о вашей жизни и начать с детей, но, может быть, я не в состоянии этого слушать. Возможно, я завидую. В общем-то это естественно. Перед вами — одинокий, недовольный своей судьбой человек, с несложившейся жизнью, и тут ваш муж — Джеральд Туайфорд, которому так повезло: он женат на вас, вы всегда при нем, он может в любое время поговорить с вами или просто на вас посмотреть.

— Хотите вскружить мне голову? — сказала она, глядя на него равнодушным взглядом.— Знаете, женщина сразу чувствует, когда ей пытаются вскружить голову. Мы ведь столько выслушиваем всякой ерунды между шестнадцатью и двадцатью пятью.

— Может быть, вы и правы, но таких намерений у меня не было. Мне казалось, что я вполне искренен. А какие тайные мотивы мною движут, я и сам не знаю.

— Вы в этом уверены? А мне казалось, вы совсем недавно говорили, что хотите обладать мною.

— Какой же это скрытый мотив! Я в этом признался.

Она передернула плечами, но холодное выражение исчезло с ее лица. Роджер решил форсировать атаку:

— Что, Джеральд сейчас дома, смотрит за детьми?

— О господи, нет, конечно. Джеральд в Лондоне, я ведь вам говорила. Не думаете же вы, что я сидела бы здесь с вами, если бы он...

— А почему бы и нет? Это было бы только полезно для него.

— Я вовсе не уверена, что хотела бы делать что-то полезное для него.

— В таком случае, что же вы...

— О,— она передернула плечами,— просто ради самосохранения. Джеральд возник на моем горизонте, когда я была еще совсем молоденькой и даже не пробовала сама построить свою жизнь. А сейчас я уже не уверена, смогла ли бы я ее построить.

Роджер распрямил плечи, уперся в спинку дивана и почувствовал, что готов говорить на опасные темы.

— Но если у вас не получилось счастливого брака, рано или поздно перед вами неизбежно встанет перспектива разрыва. Ну, в самом деле,— принялся он развивать свою мысль,— не можете же вы относиться спокойно к тому, что вам предстоит полвека страдать.

— Я люблю детей,— сказала она, как бы думая вслух.— Я бы даже могла полюбить Джеральда, если бы он сбросил с себя эту оболочку и стал человеком.

— А был он когда-нибудь человеком?

— М-м, пожалуй, нет. Я, конечно, этого не понимала, когда выходила за него замуж. Я *ничего* не понимала.— Она рассмеялась коротким беспомощным смешком.— Видите ли, если он и казался мне странным, то я думала, что все мужчины такие. А сейчас я понимаю, что он тогда уже шел к тому, чем сейчас стал. Только в те дни он еще не знал влиятельных людей и не бегал за ними по пятам. Он обычно запирался в своем кабинете и писал статьи или письма в газету. Должно быть, он отчаянно пытался привлечь к себе внимание, чтобы начать карьеру. Я думала, все мужчины такие. Правда, полностью раскрылся он только теперь...

Голос ее погас.

— Нет, нет, продолжайте. Мне кажется, вам полезно выговорить-

ся, а я так хочу вас понять.— «А ведь я говорю сейчас,— подумал Роджер,— как старый соблазнитель». Однако он сказал то, что чувствовал.

— Ну, я думаю, Джеральду не лучше, чем мне, а может быть, и хуже. Он не любит меня, довольно равнодушен к детям, так что трудно понять, что́ этот брак ему дает. Я, конечно, веду его дом, но ведь это могла бы делать и экономка.

— Да, но вы ведь еще и спите с ним, правда?

— Да.

— Ну, а экономка этого делать не будет. Во всяком случае, та экономка, каких держат в респектабельных университетских кругах. Значит, ему не приходится тратить время и энергию в погоне за женщинами, чтобы удовлетворить свое желание.

Она поставила на пол бокал и выпрямилась.

— Все ясно.

— Что вам ясно?

— Почему вы меня пригласили сюда.

— О господи!

— Ведь именно этим вы и занимаетесь, правда? Тратите время и энергию в погоне за женщинами, чтобы удовлетворить свои желания. Но я не только женщина, я — это я.

Разозлившись, Роджер нанес ответный удар;

— Вам, значит, неизвестно, что ситуации могут меняться? Вы говорили с таким великолепным презрением о моих нуждах. Но сейчас речь идет уже не о нуждах, а о чувстве, которое возникло у меня к вам.

— Ловко же вы умеете облекать все в красивые слова. Филология тут, видимо, недурно помогает.

— Не надо так говорить — это недостойно вас.

— Что ж, я считаю, что имею право быть бесстыжей,— сказала она.— Не успела я к вам войти, как вы заявили, что ваша сексуальная жизнь не устроена, точно я няня или сестра милосердия.

— Прекрасно, значит, мне следовало не снимать маски и беседовать с вами о погоде и о том, куда кто поедет в отпуск. Но мне казалось, что мы уже прошли эту стадию.

— Да как же мы могли ее пройти, если мы едва...

— О, не будьте столь *примитивны*. Вам, конечно, известно, что можно неплохо узнать человека даже после недолгого знакомства, если пристально понаблюдать за ним. Я, например, знаю вас сейчас лучше, чем во время нашей последней встречи, потому что с тех пор много думал о вас. Я припоминал, как менялось выражение вашего лица, припоминал все ваши жесты и не только то, что вы говорили, но и в каком темпе вы это говорили, все паузы, все, что проглядывало за словами.

— По-моему,— сказала она ровным голосом, в котором вновь прозвучал вдруг северный акцент,— это чертовски скверный способ узнавать человека.

— Я могу доказать, что нет. Я могу рассказать о вас такое, что вы признаете мою правоту.

Она надела очки и посмотрела на него испытующе и настороженно.

— Ну, предположим. Но почему это вас так занимает?

Он рассмеялся.

— Выпейте еще вина. Не беспокойтесь: я не собираюсь вас спаивать. Я предпочитаю, чтобы вы были трезвой. Мне хочется разговаривать с вами, разговаривать всерьез, обмениваться какими-то мыслями.

— Вы продвигаетесь так стремительно,— заметила она, протягивая ему бокал.

— Приходится — в моем возрасте.

— Да перестаньте вы говорить о своем возрасте — точно вам миллион лет. Я уверена, что вы всегда были таким. Я уверена, что вы всегда старались ускорить события, когда имели дело с женщиной, и действовали напролом.

— Разве с вами я себя так веду? Разве я действую напролом?

Она немного помолчала.

— Право, не знаю, что и сказать. Видите ли... вы так стремительны, что я даже не пойму, следует ли мне чего-то бояться, и если да, то чего.

— Что ж, по-моему, дело обстоит так,— сказал он, ставя свой бокал и глядя ей в лицо.— Мы оба принадлежим к числу людей, которые еще не нашли счастья в жизни, и мы с вами можем вместе его найти.

— Кто вам это сказал?

— Я сказал. И, пожалуйста, не говорите мне, что бы вы сказали, потому что вы еще сами этого не знаете. А я могу так говорить, потому что знаю себя и знаю вас.

— Ну, в излишней скромности вас заподозрить нельзя,— вздохнула она.— Это я вижу.

— Сейчас уже слишком поздно говорить что-либо, кроме правды.

— Слишком поздно, слишком поздно,— повторила она с неподдельным раздражением.— Зачем вы это твердите, точно скоро конец света?

— Человек, которому исполнилось сорок, *действительно* подходит к определенному рубежу. Один мир уже остался позади, другой — у твоих ног. Этот мир может быть хорошим, если ты сумеешь воспользоваться теми возможностями, которые выпадут на твою долю, и надо постараться ими воспользоваться, потому что при нормальной протяженности жизни тебе придется пробыть в этом мире еще тридцать лет. Если же ты упустишь свои возможности, тебе придется тридцать лет сидеть у очага, где уже догорел огонь.

Дженни снова надела очки.

— Теперь мне ясно, куда вы клоните. Намекаете, что я должна расстаться с мужем. Ну, а что я потом буду делать? Перееду к вам и буду жить с вами? Вы так себе это мыслите?

— Минуту назад вы говорили мне, что я ускоряю события.

— Но я их не ускоряю,— сказала она.— Для меня это лишь интересная теоретическая дискуссия. Так что же, по-вашему, господин Оракул, я должна делать?

— Поцеловать меня,— сказал филолог Роджер, забыв про Упсалу.

— Вот уж нет.— Она одернула юбку и села к нему боком. Однако современная одежда у женщин бросает вызов целомудрию, и Дженни, переменив позу, лишь привлекла внимание Роджера к своим ногам и еще больше разожгла в нем желание.— Я порядочная замужняя женщина.

— Вы замужняя женщина и сидите на диване перед ярким огнем с мужчиной, достаточно беспринципным и потому жаждущим вас поцеловать.

Она перегнулась и поцеловала его. Огонь пробежал по его жилам, а выпитое вино вдруг взбаламутило кровь.

— Еще,— сказал он, когда она отодвинулась от него.

— Нет. Одно влечет за собой другое.

— А вы не хотите, чтобы это произошло? — с волнением спросил он.

— Кажется, нет.

— А когда вы будете знать точно? — спросил он.

Она забилась в угол дивана, подобрав под себя ноги. С этими широкими скулами и густыми черными волосами она вполне могла сойти за черокезку, и у нее мог быть такой же дикий и неуемный нрав. Она заговорила, устремив глаза на пылающие угли:

— Если бы я решилась на этот шаг, я бы, очевидно, должна была пойти сейчас с вами в спальню, насладиться любовью, потом встать, одеться, поехать к себе и, вернувшись, лечь как ни в чем не бывало в супружескую постель. Нет, это слишком мерзко, слишком ужасно!— Она отчаянно замотала головой.— Я не стану этого делать! Подумайте о том, какие мысли станут осаждать меня, когда я лягу в постель — в постель, где мы спим с Джеральдом.

— А Джеральд, возможно, лежит сейчас в Лондоне в постели с какой-нибудь девицей. О чем, по-вашему, он думает?

— Я этому не верю,— сказала она.— По-моему, его не интересуют женщины. Его любовницей стала карьера, и у него нет времени на любовницу во плоти и крови.

— Неужели вам от этого легче?

— Я этого не говорила. Но я не могу лечь с вами в постель. Если вам необходимо удовлетворить свои нужды, пойдите к проститутке.

От такой оплеухи он даже растерялся.

— Не надо так говорить,— мягко сказал он.— Совокупления ради совокупления меня не интересуют. Конечно, я был бы счастлив лечь с вами в постель. Но главным образом затем, чтобы приблизить вас к себе, чтобы перекинуть прочный мост между нами.

— А ведь моста может и не получиться.

— Да, может, но все же стоит попробовать.

Она встала и покачала головой.

— Я не могу. Извините, не могу. Я часто об этом думала. Я хочу сказать: думала о том, что не уверена в правильности своего выбора, я не чувствую, что приношу счастье Джеральду. Много раз я лежала без сна и представляла себе эту минуту. Я хочу сказать: представляла себе, что какой-то мужчина станет домогаться меня. И всякий раз у меня возникало желание бежать.

— Почему? Из любви к Джеральду? Из боязни последствий?

— Просто так, инстинктивно. Какой-то страх.

— Страх? Чего же вы боялись?

Она медленно произнесла:

— В общем-то боялась перейти мост. Я знаю, это может показаться глупым, многие считают секс своего рода физической спазмой, ровным счетом ничего не меняющей, чем-то вроде чиха, с той лишь разницей, что тут — два участника. Но я не могу заставить себя так думать. Я боюсь. Для меня это... ну, все равно как если бы я вздумала поиграть с чем-то очень могучим, с силой, которая может уничтожить меня. Неужели вам это непонятно? — закончила она тоном мольбы.

— Почему же? Я прекрасно все понимаю.

— Разум подсказывает мне, что ничего не случится. Вовсе не обязательно, чтобы Джеральд узнал, и даже если он узнает, вовсе не обязательно, что ему будет так уж больно. Тут действует нечто более глубокое, чем разум, нечто более примитивное, и оно говорит мне: если я отдамся другому, с моим браком будет покончено. Я не смогу обманывать Джеральда после объятий другого мужчины. Я не считаю, что это все равно как совместный чих.

— Да перестаньте вы говорить о чихе. Любая женщина относится

к сексу так же, как вы, если только она не совершает над собой психологического насилия. В этом корни старой морали, над которой сейчас смеются, но в которой на самом-то деле было много здравого смысла. Если вы зайдете так далеко с другим мужчиной, вы несомненно почувствуете, что вашему браку пришел конец. Но, может быть, вы и должны это почувствовать.

Она покачала головой — не в знак отрицания, а как-то беспомощно.

— Это все равно как если бы сказать человеку, что он нуждается в хирургической операции.

— Но ведь люди иной раз и нуждаются в ней.

Она отвела глаза от огня и взглянула на него.

— А какая ваша роль во всем этом? Врача, который рекомендует мне сделать операцию?

— Дженни, вы очень умная, но не загоняйте меня в угол. Я нахожу вас необычайно привлекательной, и меня тянет к вам, и мне думается, мы могли бы быть счастливы и, возможно, счастливо прожили бы вместе до конца наших дней.

— Что это, предложение руки и сердца?

— Нет, я не делаю предложений женщинам, с которыми еще не спал.

Она встала.

— В таком случае вы никогда не сделаете предложения мне.

Он помолчал с минуту, потом сказал:

— Хорошо, но только без обид.

— Да, Роджер.— Она улыбнулась, показывая, что действительно на него не обижается.— А теперь мне пора домой.

Он тоже встал. Внезапно комнату наполнило холодное дыхание разочарованности. Тарелки на столе, пустые бокалы из-под вина, огонь, который все еще обнадеживающе мерцал,— все словно объединилось против него, чтобы ввергнуть его в депрессию.

— Дженни, не надо так кончать нашу встречу.

Она пожала плечами.

— Вы мне нравитесь, Роджер. Я думаю даже, что мы действительно могли бы сделать друг друга счастливыми, во всяком случае мне было бы с вами лучше, чем с Джеральдом. Но факт остается фактом, мне уготован Джеральд.

— Ну так избавьтесь от него.

— Не могу. Не будем перебирать все заново. Каковы бы ни были мои чувства к Джеральду, я не могу оставить Мэри и Робина.

Плечи его поникли.

— Я никогда не думал, что брак может быть таким прочным.

— Но это так, Роджер. Это вещь примитивная. А примитивное всегда очень сильно.

— А если бы вы вышли замуж за меня, наш брак был бы таким же прочным?

— Невероятно прочным,— сказала она.

Он рассмеялся.

— Что ж, это по крайней мере ставит меня на одну доску с Джеральдом.

Дженни отыскала свое пальто.

— Ну, я поехала. Как мило, что вы меня так вкусно накормили.

— Ничего в этом нет милого. Я это делал из своих грязных побуждений.

Она посмотрела ему в глаза, ее рука задержалась на его локте.

— Не надо так говорить, Роджер. Я знаю, что побуждения у вас отнюдь не грязные. Вы просто несчастны, а хотите быть счастливым.

— И тем не менее вы не хотите мне помочь.

Она покачала головой.

— Ну что ж, я провожу вас.

По горе гулял холодный ветер. Они не стали задерживаться. Маленькая машина ждала ее, чтобы отвезти назад, в тепло и безопасность, к Мэри и Робину.

— Увижу ли я вас еще?

— Надеюсь,— непринужденно бросила она,— если вы еще пробудете какое-то время в наших краях.

— Могу я позвонить вам?

— Номер — в телефонной книжке,— сказала она и включила мотор.

Он закрыл за ней дверцу и увидел сквозь стекло, как она на мгновение сняла руку с руля и помахала ею в знак прощания. А через минуту ее уже не было — лишь два красных огонька убегали вниз по склону.

Роджер вернулся назад в квартиру и закрыл за собой зеленую дверь. Она захлопнулась со стуком, который словно ставил точку над всей его жизнью, любовью, надеждой. Ему уже ничего не хотелось — только лечь в постель и уснуть.

Не подумав о том, что надо вымыть посуду или хотя бы убрать тарелки со стола, он прошел прямо в спальню и начал раздеваться. Холодная, опрятная, безликая постель с издевкой смотрела на него. Он лег и тут же нырнул в забытье. Забыться, заснуть. Не жаждать, не блуждать...

Где-то рядом упорно колотили в дверь.

«Это не ко мне, я им не нужен. Я в постели, сплю...»

Стук, стук, стук-стук-стук-стук.

Между той частью дома, где жила миссис Пайлон Джонс, и той, которую миссис Пайлон Джонс сдавала на лето, была дверь. Обычно ею никто не пользовался. Со стороны Роджера эта дверь была завешена длинной портьерой, и он вообще забыл об ее существовании. Однако сейчас кто-то — вероятно, миссис Пайлон Джонс — стоял по ту сторону двери и стучал в нее, стучал...

Роджер приподнялся на локте.

— Да? Кто там?

— Мистер Фэрнивалл! — Это, конечно, хозяйка; голос у нее был приглушенный и испуганный.

— Да, миссис Джонс? Вам что-нибудь нужно?

Заскрежетал ключ, и она вошла, отбросив портьеру. Из-за ее спины в комнату хлынул свет.

— Одну минуточку, миссис Пай... миссис Джонс... Пройдите ко мне в гостиную, хорошо?

Ее худенькая, напряженно прямая фигурка скользнула в гостиную. Она сейчас увидит весь беспорядок, остатки уютного ужина на двоих. Что ей вдруг понадобилось? Решила посмотреть, нет ли у него женщины? Он слышал о пуританстве этих сланцевых поселков с их хмурыми часовнями. Роджер схватил рубашку, натянул брюки. Ей что же, захотелось устроить скандал? *Миссис Пайлон Джонс, если вы хотите провести проверку моей сексуальной жизни, то я вынужден с прискорбием сообщить вам, что никакой такой жизни у меня нет. В этих радостях мне отказано жестокой судьбой.* Но голос у хозяйки был испуганный, а не укоризненный.

Кое-как одевшись, Роджер вышел к миссис Пайлон Джонс. Она включила все источники света и стояла посреди комнаты. Почему-то взгляд его упал на ее руки — она нервно сплетала и расплетала паль-

цы, и при ярком свете он впервые увидел, какие у нее вспухшие, изуродованные артритом суставы.

— Мистер Фэрнивалл,— сказала она,— ваша гостья уехала?

— Да,— сказал он.— А что?

— Потому что я слышу: кто-то там есть снаружи,— сказала она.

Ее страх на какое-то мгновение передался Роджеру; это не был страх перед чем-то конкретным, это была боязнь ночи, темной горы, воя ветра.

— Я выйду посмотрю,— сказал он, направился к зеленой двери и распахнул ее, громко стукнув задвижкой.

Снаружи было очень темно, и с гор по склону сползал дождь. Глаза Роджера не в состоянии были пронзить гладкую стену темноты, но ухо его уловило шарканье подошв.

— Есть там кто? — крикнул Роджер. Голос его был тотчас поглощен накрывшим окрестность дождем.— Кто тут бродит?

Он подождал ответа, хотя явно не было смысла его ждать, затем вернулся в дом. Миссис Пайлон Джонс, слишком взвинченная, чтобы оставаться в одиночестве, вышла следом за ним в коридор и стояла позади, пока он кричал в темноту.

— Ну вот,— начала она,— вроде бы никого... — И вдруг пронзительно взвизгнула: — А ноги-то, ноги!

Он посмотрел вниз. Сначала он ничего не обнаружил: на ногах у него были, как обычно, шлепанцы; потом вдруг увидел свой след — ярко-малиновый. Он поднял одну ногу, потом другую. Подошвы его шлепанцев были выпачканы густой ярко-малиновой жидкостью.

Миссис Пайлон Джонс прислонилась к стене.

— Что это? — прошептала она; глаза ее стали круглыми от страха.

— Ну, во всяком случае не кровь,— резко произнес Роджер.— Кровь не бывает такого цвета. Эта штука пахнет, как...— Он снял шлепанец и понюхал подошву.— Так я и думал. Краска.

— Краска? — повторила она, и вместо страха в голосе ее прозвучало возмущение.— Но у меня нигде нет жидкой краски...

Он вернулся к двери и снова распахнул ее. Теперь он увидел всю мерзость. Кто-то выплеснул на дверь большую банку малиновой краски, и она стекла вниз, образовав на белой ступеньке липкую лужу.

Он отступил, чтобы миссис Пайлон Джонс могла полюбоваться сама.

— Вот это вы и слышали,— сказал он.— Кто-то явился сюда и выплеснул банку краски на дверь.

Тут он вспомнил, что слышал шарканье, и в голове его промелькнула догадка. Он быстро вышел во двор и замер, напрягая слух. Откуда-то далеко снизу, с прибрежного шоссе, до него донеслось приглушенное урчанье мотоцикла.

— Эти типы, кто бы они там ни были, приезжали на мотоцикле,— сказал он, вернувшись в дом.— Они, видно, оставляли его под горой, пока орудовали тут.

Миссис Джонс быстро-быстро сплетала и расплетала пальцы. Волнение глядело из ее глаз и читалось в каждой линии ее тела, в морщинах лица.

— Представить себе не могу, кто бы мог это сделать. Я всегда держалась в стороне и со всеми ладила, не правда ли? Никаких врагов у меня нет. Ни одна живая душа не желает мне зла — я, во всяком случае, таких не знаю. Значит, все дело в вас.

— Что значит — все дело во мне? У меня тоже нет врагов.

— Вот этого-то вы и не знаете. Вы у нас пришлый. А люди ведь всякие бывают. Мне никто ничего плохого не сделает. Я живу здесь уже тридцать лет со всеми в мире, не так ли?

— Но послушайте, миссис Джонс. Давайте выпьем чаю и...

— Никому бы в голову не пришло обливать краской мне дверь и портить ее. Да и кто теперь платить за это будет?

Роджер взял старушку под руку и повел, а вернее, потащил ее дрожащее сухонькое тельце в гостиную.

— Я сейчас разожгу огонь,— сказал он,— а потом выпьем чаю, и все снова станет на свои места. Это, конечно, пренеприятная история, но она ровным счетом ничего не означает.

Миссис Пайлон Джонс села там, где сидела Дженни, и уставилась на огонь — совсем как Дженни — и снова принялась говорить о своих страхах. Роджер предоставил ей ворчать. Он больше не пытался взывать к ее здравому смыслу, пока не налил две чашки и одну из них не вручил ее худеньким узловатым ручкам.

— Ну вот, миссис Джонс, выпейте и выслушайте меня. Нас с вами затронул лишь крошечный всплеск той бури, которая бушует во всем мире. Преступления, хулиганство — все это явления, в которых находит себе выход нерастраченная энергия молодежи. Я нисколько не сомневаюсь, что если бы нам удалось захватить этих ребят — а я уверен, что это молодые ребята,— мы бы обнаружили типичных смутьянов, прыщеватых, с низкими лбами, из тех, что ходят в высоких сапогах и в кожаных куртках. Из тех, что орудуют в глухих переулках и уже помечены клеймом неудавшейся жизни. Нетрудно понять, какое в них накапливается ожесточение, и выход они видят один — выместить свою досаду на ком-то еще. Ну, на своих дружках выместить ее они не могут, а конкурирующая банда — дай только повод — мигом нанесет ответный удар, поэтому они ищут беззащитных людей на стороне. Таких, к примеру, как я.

— Все равно, я не понимаю, зачем им понадобилось обливать краской мне...

— Естественно, что не понимаете. Вам это кажется бессмысленным и чудовищным. Я отношусь к этому так же. И в то же время я рад, что они не надумали учинить более жестокую расправу. То, что они измазали дверь, будет стоить мне известных денег, однако в больницу я все же не попал. Я так и вижу, как им приходит в голову счастливая мысль: «Пошли, ребята, заберемся на склад, стянем банку краски побольше и как-нибудь ночью выплеснем ему на дверь».

Она смотрела на него прищурясь, поверх края чашки.

— Значит, вы знаете, кто это был?

— Нет, конечно, не знаю.

— Но вы же знаете про них все.

— Я просто догадываюсь. Додумываю с помощью воображения.

— Значит, вы это навоображали,— горестно заметила миссис Пайлон Джонс.— А я-то думала, что вы знаете, кто они, и что на них было надето, и чем они занимаются, и как на склад за краской пошли.

— Видите ли, миссис Джонс, эту краску могли швырнуть даже эльфы.

— Нет у нас тут таких. Никаких цветных нет ближе Бангора.

— За сегодняшний вечер между Стокгольмом и Сан-Франциско было, наверно, несколько тысяч происшествий подобного рода. Наш случай — один из множества. А сейчас пора ложиться и отдыхать. Не волнуйтесь. Эти глупые мальчишки не вернутся сюда. Я заплачу вам за то, чтобы счистить краску с двери и выкрасить ее заново. А если что услышите, постучите мне. Я выскочу и схвачу их. Только некого будет хватать.

Миссис Пайлон Джонс что-то пробормотала, выпила чай, встала и отправилась к себе.

Роджер лег в кровать. За окнами ветер гулял по горе. После крепкого чая он не мог заснуть, и по жилам его пробежал огонь желания. Под конец в мыслях его возобладала Райаннон. Возможно, завтра он увидит ее в автобусе. Он узнает, где она живет, и как-нибудь темной ночью швырнет банку с краской ей в дверь — в знак долгих терзаний и мук, которыми он ей обязан.

Познания Роджера в валлийском начали приобретать реальные очертания: он начинал понемногу болтать с пассажирами автобуса. Почти всех он уже знал в лицо и по имени. К примеру, тот пастух в чересчур больших сапогах, которого он видел тогда в свой первый вечер в пивной, часто ездил с их автобусом. Так же, как и двое молодых ребят, которые тоже были там тогда,— застенчивый брюнет и парень боксерского типа. Застенчивого брюнета звали Дилвин, и он был другом детства Райаннон. Они вместе играли на горных склонах пятнадцать лет назад, а сейчас она превратилась в красавицу, щеголявшую дорогими туалетами, объект внимания мужчин, он же остался далеко позади, без всякой надежды когда-либо сократить расстояние между ними. Дилвином владела еще и другая страсть — модели самолетов. Он был членом клуба, собиравшегося на большом ровном поле за Карвенаем; они отправляли свои удивительные игрушки в долгие акробатические полеты высоко над землей, а сами стояли внизу, уставясь в небо, держа в руках прибор управления по радио с длинным усом. Случалось, Дилвин садился в автобус, прижимая к груди модель самолета величиной с него самого, а из карманов у него торчали разные инструменты и банки с горючим. Он жил на одной из террас Лланкрвиса, и порой в погожий день вдруг раздавалось пронзительное жужжание мотора его модели, чертившей тонкую роспись на залитом солнцем небе.

Другого парня — того, что был похож на боксера,— звали Йорверт. Роджер опасался его. Он сидел всегда насупившись, а когда взгляд его останавливался на Роджере, он насупливался еще больше. Готовясь заплатить за проезд, он вытаскивал из кармана монеты и, зажав их в своих больших заскорузлых пальцах, как бы раздумывал, швырнуть их в лицо Роджеру или нет.

Йорверт держался подчеркнуто недружелюбно, тогда как большинство пассажиров уже привыкли к Роджеру и непринужденно вели себя в его присутствии. Собирая пенни, натертые руками этих людей, прислушиваясь к звонкоголосой болтовне женщин, говоривших нарочито громко, чтобы перекрыть громыхание автобуса, глядя на горы или на море, поочередно появлявшиеся в продолговатой рамке ветрового стекла, он чувствовал себя так, точно только эта жизнь и была реальной, а всего остального вообще не существовало.

Почти так. Потому что кое-где все же были трещины. Например, в его взаимоотношениях с Гэретом почему-то не наметилось никакого сдвига. По мере того как шли дни, Гэрет все больше узнавал его, тогда как он по-прежнему ничего не знал о Гэрете. Было что-то в этом лице с крючковатым носом и глазами хищной птицы, глядевшими из глубоких впадин, исключавшее легкость отношений. С таким человеком не просто сблизиться. Роджер, например, обнаружил, что не может говорить с Гэретом по-валлийски. Даже если он и пытался произнести какую-нибудь фразу по-валлийски, Гэрет усмехался и отвечал по-английски.

По окончании трудового дня Гэрет просто исчезал в направлении верхней части поселка, где на террасах стояли самые маленькие домики. Роджер предполагал, что Гэрет живет один, но опять-таки это

была лишь догадка. У Гэрета вполне могла быть жена и шестеро детей.

Через несколько дней Роджер обнаружил, где живет Райаннон. Как-то вечером он пошел за ней следом, держась вдоль стены и не выпуская из виду ярко-зеленого пятна — ее дорогого замшевого пальто, которое словно светилось в густых сумерках и одновременно манило и отпугивало его. Они прошли центр поселка, миновали гроздь общественных построек и прошагали еще ярдов пятьсот по горному склону, как вдруг, к его великому изумлению, она открыла калитку и вошла в домик, на который он обращал уже внимание во время своих одиноких прогулок по утрам. Домик был старый, одноэтажный, с толстыми стенами; он прилепился к склону горы, прячась за двойной баррикадой побеленной стены и колючей изгороди, готовый выдержать самую неистовую бурю, какая может налететь с Ирландского моря. Как и прочие одноэтажные дома, он принадлежал в свое время какому-то мелкому землевладельцу, и небольшие сарайчики и хлева были пристроены к нему, образуя одну сплошную линию, так что люди и животные жили под одной крышей, как в старых швейцарских шале, с той лишь разницей, что здесь они располагались горизонтально, а не вертикально.

Теперь это уже была не ферма. Хозяйствованию на таких крошечных участках пришел конец — даже здесь. Правда, куры еще были: Роджер видел, как они бродили вокруг, а потом вдруг замирали среди непрекращающегося квохтанья и, словно загипнотизированные, неподвижно глядели сквозь калитку на случайных прохожих. Но хлев уже превратился в гараж с аккуратно вставленными современными дверьми из нержавеющего металла. И вообще все строения сверкали новизной — свежей побелкой и краской, в окнах висели искусно приподнятые кружевные занавески, а над всем этим возвышались две большие телевизионные антенны.

Да, перемены пришли и сюда. Ничего не понимая, Роджер вернулся в поселок. Удивляло его не то, что Райаннон, с ее ослепительной красотой в столь безукоризненной упаковке, происходила из таких мест, но то, что она по-прежнему приезжала сюда, по-прежнему считала это своим домом. Какого черта — почему? Из-за дешевизны? Он презрительно фыркнул. Такой девушке нет нужды экономить. Если бы она захотела иметь квартиру — в любом городе, да и не только в городе, а в любой столице мира,— желающих платить за нее она бы мигом нашла.

Но быть может, она слишком щепетильна и не желает принимать деньги. Нет, едва ли. В ней было что-то такое — как бы это лучше выразиться? — она казалась такой опытной. Наверняка бывалой. Но может быть, он и ошибается. Может быть, одежда и косметика делают ее такой.

Короче говоря, Роджер не в состоянии был понять Райаннон. Но точно так же не мог он понять и Гэрета, и Айво с Гито, и Мэдога. Однако это вовсе не означало, что он не попытается их понять. Особенно — Райаннон.

Он дожидался своего часа, и этот час настал, когда однажды вечером она, покачивая бедрами, возникла из тумана и подошла к автобусу.

Как только автобус выехал на площадь и остановился, Роджер бросил что-то на ходу Гэрету и двинулся следом за Райаннон. Она, казалось, не замечала, что кто-то идет за ней, а может быть, просто

не обращала на это внимания: как бы то ни было, она, не спеша и не оглядываясь назад, поднялась по ступенькам «Паласа». Роджер задержался на плохо освещенной стоянке для машин. Он уже несколько дней носил в кармане галстук на случай, если возникнет как раз такая ситуация, и сейчас вынул его и тщательно повязал вокруг шеи. Это был символ его респектабельности. Без галстука никто не пустил бы его в «Палас». Таковы уж магические свойства этой восемнадцатидюймовой полоски материи. Роджер глубоко перевел дух и поднялся по ступенькам.

Она сидела за своей стойкой, устремив рассеянный взгляд на просторы раскинувшегося перед ней ковра, этого не нанесенного на карту моря, по которому в надлежащее время приплывало к ней все, что ей требовалось. Роджер смело направился к ней.

— Привет,— сказал он.

Она безмятежно посмотрела на него.

— Привет. Чем могу быть вам полезна?

— У меня к вам дело, не имеющее отношения к гостинице,— сказал он.— Личное дело.

Она продолжала смотреть на него все с тем же безмятежным выражением лица — без удивления и без вызова.

— Не скажете ли вы мне,— продолжал Роджер,— куда здесь люди ходят, когда хотят хорошо провести вечер? Вкусно поесть, выпить хорошего вина, быть может, послушать оркестр.— Следовало ли ему добавить: «посмотреть ревю»? Или же это было бы слишком явным намеком?

Она отнеслась к его словам как к весьма обычному вопросу постояльца.

— Ну, все зависит от того, далеко ли вы готовы поехать.

— Куда угодно — лишь бы успеть сгонять на машине туда и обратно за вечер.— Или, может быть, она думает, что он разъезжает всюду на велосипеде? Или ездит только в такие места, куда ходит автобус Гэрета?

— Ну, ближайшее приличное место находится на Энглси. Там можно хорошо поужинать, у них хороший выбор вин и небольшая площадка для танцев.

— Вы там бывали?

— Да.

— Вы считаете, что это лучшее место, скажем, в пределах тридцати пяти миль?

— Да.

— А вы бы не поехали туда со мной как-нибудь вечером?

Ну вот, он и сказал это.

Райаннон посмотрела на него, как бы решая, что ответить. Ее большие темные глаза пробежали по лицу Роджера, словно она впервые по-настоящему увидела его. Да, собственно, так оно и было, поскольку он впервые предстал перед ней для обозрения, как нечто, заслуживающее внимания.

Она открыла рот, намереваясь что-то сказать, но, прежде чем слова слетели у нее с языка, внимание ее было отвлечено внезапно появившимся полноватым блондином, который стремительно подошел к стойке, перегнулся через нее и сказал:

— Привет, красотка!

Райаннон взглянула на него с почти неприкрытой антипатией. Роджеру, стоявшему так, что он видел оба лица в профиль, показалось, что молодой человек держится с какой-то поистине невиданной наглостью, сразу вызвавшей отчаянное противодействие в Райаннон. Что до него самого, то Роджер мгновенно невзлюбил молодого чело-

века. И дело было не в том, что его возмутило это вмешательство в их разговор в самый решающий момент. В конце концов ведь молодой человек едва ли мог знать, что они как раз подошли к самому важному. Скорее неприязнь Роджера объяснялась тем, что все в пришельце дышало какой-то жирной наглостью. Его желтоватые волосы, зачесанные назад, волной вздымались надо лбом, а над ушами были приглажены, как перья утки. Голос у него был какой-то маслянистый, прямо сливочный — под стать всему его изнеженному и рыхлому облику. Но особенно омерзительна была походка. Казалось, он плыл, покачивая плечами и рассекая ими воздух, словно томимый желанием отбросить в сторону всякого, кто окажется достаточно беззащитным и, следовательно, с кем можно так обойтись. Легко было представить себе, что он шутки ради может не задумываясь столкнуть в канаву слепого.

Уставившись в глаза Райаннон, молодой человек пригнулся к ней ближе и, совершенно не обращая внимания на Роджера, сказал:

— Все в порядке насчет двадцать первого?

— Нет, не в порядке.

— Скверно. А я надеялся, что к этому времени все уже будет улажено.

Райаннон слезла со своего высокого стула и, расставив ноги, как бы для большей устойчивости, посмотрела на него в упор.

— У вас нет ни малейших оснований на что-либо надеяться. Я ведь уже сказала вам, когда вы меня спросили, что все номера у нас сегодня заняты.

— Мой отец разговаривал с мистером Ивенсом, и тот сказал, что постарается отделаться от кого-нибудь из гостей.

— Возможно, он и пытался,— решительно заявила Райаннон,— но у него ничего не вышло.

Блондин потоптался на месте, словно собираясь что-то добавить, но она нагнулась и принялась рыться на полке под столом, тем самым как бы подводя черту под их разговором. Поняв, что наглостью тут ничего не добьешься, он ринулся прочь.

Райаннон медленно выпрямилась и застыла, глядя жестким взглядом в пустоту. От гнева ее смуглая кожа стала пунцовой, но краска тут же начала сбегать, сначала — с шеи, потом — с лица. Дольше всего два ярких пятна горели на ее щеках. Она, казалось, совершенно забыла о существовании Роджера, и он, чувствуя, что в этой деликатной ситуации не надо нарушать ход ее мыслей, стоял молча. Наконец она повернулась к нему.

— Вы еще о чем-то хотели спросить?

— Вы мне так и не ответили,— мягко напомнил Роджер,— согласны ли вы провести со мной вечер в этом ресторане на Энглси?

— Да, да — торопливо сказала она, словно ей не хотелось прибавлять к разным мелким заботам еще и эту.— Я поеду.— И уткнулась в свои книги.

— В следующий четверг?

— Откуда вы знаете, что это мой свободный день на будущей неделе?

— Я заметил, когда вы ездите на автобусе.

Она улыбнулась, потом расхохоталась от души. Зубы ее сверкнули в мягком свете настольной лампы, и Роджер вдруг увидел, какая красивая у нее шея. У нее вообще все было красивое.

— А вы, видно, человек наблюдательный,— заметила она.

— Так ведь мне в автобусе больше и делать нечего.

Они условились о дне встречи, и она записала ему номер телефона ресторана на Энглси.

Теперь, когда цель, именуемая «Райаннон», была у него на мушке, Роджер решил не жалеть усилий. Он не станет скупердяйничать, пустит пыль в глаза, мобилизует все свое обаяние. Сколь ни малы были его шансы на успех, награда, если ему удастся достичь этого почти немыслимого успеха, ждала его столь сказочная, что — совсем как в тотализаторе на футболе — глупо было бы такой возможностью пренебречь.

Он решил взять напрокат машину. Переговоры по этому поводу заняли больше времени, чем он предполагал, и он опоздал на рейс в четыре пятнадцать. Явившись к рейсу в пять сорок пять, отправлявшемуся в горы, Роджер извинился:

— Мне пришлось задержаться по делам.

— Я управился один,— сказал Гэрет.

Пассажиры уже сидели в автобусе, поэтому Роджер не стал ничего говорить, пока они не приехали в Лланкрвис и пассажиры не вышли. Тогда в опустевшей машине он продолжил разговор:

— Мне очень жаль, что я пропустил тот рейс. Уж очень много времени ушло на то, чтобы взять напрокат машину.

— Вот как? — заметил Гэрет.— Для свадьбы или для похорон?

— Собираюсь кутнуть вечером. Хочу нарушить свой спартанский образ жизни.

Гэрет вытер щиток приборов и сунул тряпку в карман. Есть ли у него личная жизнь, свои потребности, желания? Или он просто растворяется в тумане по окончании трудового дня? Быть может, он превращается в орла и сидит где-нибудь на высоком утесе, глядя немигающими глазами в ночь?

— Вот я и взял напрокат машину,— продолжал Роджер,— и решил... решил поехать куда-нибудь с девушкой.

— Желаю удачи,— сказал Гэрет. Он выключил в автобусе свет и сошел по ступенькам.

Оставшись один в темном автобусе, Роджер почувствовал, как в нем вдруг вспыхнула обида, даже почти ненависть. Ну почему Гэрет закрывает перед его носом эту железную дверь? У него возникло желание сбежать по ступенькам следом за Гэретом, схватить его за широкие плечи и как следует тряхнуть.

Если бы даже он заговорил и заставил Гэрета слушать себя, если бы он нашел нужные слова, чтобы выразить свою боль, и свое одиночество, и свои желания, Гэрет только смотрел бы на него своими глазами хищной птицы. Общаться с Гэретом можно было лишь на самом обычном, практическом уровне — дальше этого дело не шло. И тут у Роджера вдруг мелькнула мысль: «Ну конечно же. Ведь именно этим он так и похож на Джеффри».

Глубоко задумавшись, застегивая на ходу плащ, Роджер направился вниз, к домику миссис Пайлон Джонс.

На другой день к вечеру настроение у него опять поднялось. Костюм на нем был не новый, но тщательно вычищенный; лицо у него тоже было хотя и потрепанное, но тщательно выбритое, а взятый напрокат «форд», в котором он подкатил к «Паласу», где они с Райаннон условились встретиться, блестел как новый.

Роджер подвел машину к самой гостинице, и она с мягким урчанием остановилась. Прямо Бриллиантовый Джим [1], последний из великих кутил! Сегодня утром он совершил еще один набег на свой банковский счет, и добыча лежала у него сейчас в бумажнике. Он быстро взбежал по ступенькам отеля. Райаннон за стойкой не было,

[1] Известный гангстер.

но это не явилось для него неожиданностью. Они условились встретиться в баре. Он вошел туда. Там ее тоже не было. Неважно, она может и опоздать. Роджер заказал себе выпить и принялся ждать. Покончив с первой порцией виски, он заказал вторую и продолжал ждать. Когда и с этой порцией было покончено, он заказал еще одну и еще подождал. Наконец, проглотив четыре порции виски и прождав час, он вышел в холл и спросил у девушки, сидевшей за стойкой, не знает ли она, где Райаннон.

— Ее сегодня здесь нет.

— Да, понимаю, но она наверняка... Когда она окончила работу?

— Вы, случайно, не мистер Фэрнивалл? — спросила девушка и окинула его совсем другим, пристальным, оценивающим взглядом.

Роджер уже знал, что за этим последует. Он сразу все понял. И почувствовал слабость в коленях.

— Да,— сказал он.

— Райаннон просила передать вам кое-что,— сказала девушка.— Она извиняется, но сегодня никак не может встретиться с вами.

На секунду у Роджера возникло нелепое желание сказать девушке: «В таком случае я забираю вас». Она ведь тоже женщина, правда?

Однако вслух он произнес лишь:

— Вот как!

Девушка равнодушно посмотрела на него и принялась что-то писать в своем блокноте. Роджер повернулся к ней спиной.

Машина стояла у подъезда. В ресторане на Энглси был заказан столик. Быть может, чтобы избавиться от разочарования, самое лучшее — посмотреть фактам в лицо и примириться с происшедшим. Роджер сел в машину и не спеша, по лабиринту проселочных дорог, добрался до ресторана. Столик еще не был занят. Извинившись за то, что приехал один, Роджер сел и, хорошенько поработав челюстями, съел все самые дорогие и изысканные блюда, какие мог предложить ресторан.

Он не чувствовал горечи. Просто все это было до предела абсурдно — мечта, рожденная игрою воображения, растревоженного одиночеством и воздержанием, жизнью, оторванной от реальности. Райаннон! С таким же успехом он мог пожелать, чтобы Клеопатра восстала из мертвых.

Неся в себе тяжелый балласт еды и питья, он, пошатываясь, направился к машине и осторожно поехал назад в Лланкрвис. Гэрет, должно быть, только что вернулся с десятичасовым рейсом. Подъехав к домику миссис Пайлон Джонс и выключив мотор, Роджер вдруг услышал ровный голос Гэрета, произнесший: «Желаю удачи».

И тебе удачи, Гэрет. Подвинься немного. Я намерен присоединиться к тебе на этом твоем продуваемом всеми ветрами рифе. Я тоже стану орлом, как и ты, и буду жить в гнезде из сухих сучьев, и забуду, что я когда-то был человеком.

Забуду, забуду, забуду.

На следующее утро, в восемь часов, шагая вверх по склону на работу, Роджер побился сам с собой об заклад, что Гэрет даже и не спросит его, как он провел накануне вечер. Он поставил десять тысяч фунтов на то, что Гэрет вообще ничего не скажет на этот счет. Ну и конечно выиграл.

Они прогромыхали в восемь пятнадцать вниз, потом в десять тридцать — наверх, а затем Роджер попросил Гэрета отпустить его и сказал, что встретится с ним уже в городе. Ему надо вернуть взятую

напрокат машину. Гэрет кивнул. Даже и сейчас он не проявил никакого любопытства и не поинтересовался, как провел Роджер свой вечерний досуг.

Всю ночь шел дождь. Воздух был прохладный и чистый, словно прополосканный этим мягким дождем. Солнце холодно светило, отражаясь в ровной поверхности моря. Зима уже почти наступила. Заморозков еще не было, но Роджер чувствовал холодок в воздухе.

Дорогая машина поблескивала и казалась такой же чистой, как весь остальной мир в это утро, и в то же время — жалкой и ненужной, как невеста, от которой жених отказался у алтаря. Не давая себе времени на раздумья, Роджер сел в машину и медленно покатил вниз. Свежий утренний воздух подбивал Роджера опустить стекло. Он снял правую руку с руля и принялся вертеть ручку, одновременно заворачивая машину вправо между высокими каменными оградами. И тут оно случилось. Передок машины вдруг резко перекосило, руль повело в обратную сторону и чуть не вырвало из левой руки Роджера. Машина закачалась, словно катер на высокой волне, отбрасывая Роджера влево, на место пассажира. Выпустив ручку, с помощью которой он опускал стекло, Роджер обеими руками ухватился за руль, но за эти полсекунды машина еще больше вышла из повиновения. Точно сквозь туман, Роджер увидел, как под гору, подскакивая, покатилось колесо, и машина ударилась носом в придорожную ограду. Раздался скрежет металла, крыло расплющилось, Роджера с силой отшвырнуло в сторону. Угол ограды въехал в левое окно, и пассажирское сиденье засыпало осколками толстого стекла. Машина стала.

Роджер вылез из нее — его колотила дрожь. В голове была только одна мысль: жаль, что у него нет с собой бутылочки с коньяком. Обойдя машину спереди, он сразу увидел, что она повреждена не очень сильно, но ремонт будет стоить немалых денег. Левую сторону передка смяло в лепешку. Придется заменить фару, выправить крыло и повозиться с несколькими глубокими царапинами и зазубринами на дверце. Разбитое стекло легко заменить, но сейчас зрелище было страшноватое — эта зияющая дыра посредине и сверкающие осколки, которые валялись вокруг, словно драгоценные камни, приготовленные для расшивки. Он окинул взглядом сбегавшую вниз дорогу — колесо все еще катилось по ней, подскакивая. Роджер увидел, как оно взлетело на узкий тротуар перед домами. Произошло все это у въезда в следующий за Лланкрвисом поселок.

Словно загипнотизированный, Роджер продолжал смотреть на отскочившее колесо, а оно все катилось по тротуару вдоль низкой ограды, отделявшей от улицы крошечные палисадники. Потом, видимо налетев на какое-то препятствие — возможно, на камень или на детскую игрушку, брошенную у калитки,— колесо еще раз подпрыгнуло, изменило курс и со скоростью не менее сорока миль в час прямиком покатило к двери магазина и почты.

Роджер хотел крикнуть, замахать руками, но все случилось так быстро, что он ничего не успел предпринять. К двери в магазин вели две ступеньки. Колесо взлетело на них. Нижняя половина двери была из дерева, а верхняя — из стекла. Ступеньки несколько сдержали стремительное продвижение колеса, и оно ударилось в деревянную часть двери. Это была первая счастливая случайность. Второй счастливой случайностью было то, что возле двери никого не оказалось: никто в этот момент не входил и не выходил. Роджер представил себе, что было бы, если бы тут оказался ребенок или еле держащийся на ногах старик пенсионер: он увидел, как колесо опрокидывает его и убивает. Но ничего такого не произошло. Колесо ударилось о деревянную часть двери, отскочило, и от удара из верхней ее части высыпа-

лось все стекло. А колесо скатилось в канаву и улеглось там, невинно отражая небо в своем блестящем металлическом колпаке.

Роджер кинулся вниз с холма — ноги нетвердо держали его. Когда он бежал по деревенской улице, на его пути одна за другой открывались двери и женщины, повязанные платочками, смотрели ему вслед. Из магазина и с почты до него донеслись женские голоса, громко кричавшие что-то по-валлийски. Он решил, что там полно женщин, пришедших за утренними покупками, но когда взбежал по ступенькам и, еле переводя дух, вошел в магазин, то обнаружил, что их всего две. Только голоса у них были высокие, звонкие, и обе они бегали по магазину, как испуганные курицы. Почтмейстер, пожилой человек со сверкающей лысиной, прикрытой несколькими длинными прядями тщательно зализанных волос, стоял в той части помещения, которая была отведена под почту, и молча в ужасе смотрел сквозь проволочную сетку на случившееся.

Когда женщины увидели Роджера, они сразу перешли на английский язык и принялись втолковывать ему, что это опасно — катать автомобильные колеса под откос в таком месте, где они могут попасть в человека. Та, что была пополнее и побледнее, добавила, что у нее даже сердце зашлось и уж конечно она найдет управу через закон.

Роджер принялся объяснять, что колесо сорвалось у него с машины, когда он ехал с горы, и что произошло это без всякого умысла с его стороны и даже без его ведома. Он вынужден был трижды все повторить, прежде чем объяснение было принято как официальная версия случившегося.

За этим последовало многозначительное пощелкиванье языком. Та из женщин, что было похудее, взяла с прилавка мешочек с луком и заявила, что ей пора домой, но тем не менее продолжала стоять. Еще две женщины, а также старик с ребенком вошли в помещение.

Тут уж и почтмейстер приподнял откидную доску в перегородке и вышел в магазин. Подойдя к двери, он осмотрел ее и заявил, что разбито не только стекло, но треснула и деревянная панель.

— Кому-то придется за это платить, не так ли?

— Я заплачу.

— Придется ставить новую дверь — новую снизу доверху.

— Я заплачу.

— Я был в задней половине, доставал марки. Миссис Джонс нужны были марки на два шиллинга шесть пенсов. А я держу их в задней половине, так что я не видел, что произошло. Это что же — колесо слетело с вашей машины, не так ли?

— Да-да, колесо слетело. А за дверь я заплачу.

— Придется новую дверь ставить. Дерево тоже попорчено.

— Ставьте любую дверь. Я заплачу. Я напишу вам мое имя и адрес.

— Если бы миссис Джонс не нужны были марки, я бы видел, как это произошло, и тогда мог бы...

— Неважно. Надеюсь, эти две дамы не будут возражать, если я запишу их имена — ведь могут понадобиться свидетели. Страховая компания обязана...

— Да,— сказал почтмейстер.— Дверь теперь уже никуда не годится. Разве что на растопку.— Он наклонился, чтобы получше рассмотреть дверь. Его лысина слабо блеснула в тусклом свете осеннего дня.— Замок, я думаю, еще послужит. По-моему, он не поврежден. Я велю вынуть замок и...

— Неважно. Поставьте новую дверь — я заплачу.

Спокойствие было наконец восстановлено. Обе женщины выразили готовность рассказать во всех подробностях о случившемся, тем

более что за это время они успели несколько раз пересказать происшествие. (Аудитория уже пополнилась женщиной с младенцем и молодым человеком в забрызганном кровью фартуке — по всей вероятности, подручным мясника.) Роджер попросил женщин назвать свои имена. Одну звали миссис Арвел Джонс, другую — миссис Йоло Джонс. Обе жили на этой же улице.

Роджер вернулся к тому месту, где, скособочившись, одиноко стояла машина: голая ось ее лежала на асфальте, точно кость переломанной ноги. Он прихватил с собой колесо. Хотя крыло и смято, это не помешает колесу вращаться, если поставить его на место. Он принялся искать домкрат и наконец обнаружил его под задним сиденьем. Там же лежала сумка с инструментами. Медленно, дрожащими руками Роджер поставил домкрат под раму — в том месте, где, по его мнению, это требовалось, и принялся работать рычагом, пока машина почти не выровнялась. Затем он попытался поставить колесо. По счастью, резьба на болтах оказалась в порядке. И тем не менее, сколько Роджер ни старался, сколько ни мучился, колесо не вставало на место. Что-то было не так. Наверно, он недостаточно высоко поднял машину?

Долгий протяжный вой мотора оповестил его о том, что на гору взбирается машина. Резко качнувшись, она остановилась, но продолжала трястись. Айво и Гито с сочувственными, озабоченными физиономиями вылезли из кабины грузовика, на котором они возили металлолом.

— Авария? — спросил Айво, и шерстяной шарик на его шапочке, подпрыгнув, склонился к Роджеру.— Прокол?

— Нет. Колесо отскочило.

— Колесо...— Айво и Гито переглянулись.— Это ваша машина?

— Взял напрокат,— сказал Роджер. Он вылез из-под машины и сел, вдруг почувствовав страшную усталость.

— Машина, которую дают напрокат, должна быть в лучшем состоянии,— сказал Айво.

— Домкрат неверно поставлен,— заметил Гито, заглянув поверх его плеча.

— В самом деле. Домкрат не так поставлен, малый. Вот как надо.— Умные руки Айво, с ногтями, обведенными трауром, нырнули куда-то в гущу этих непонятных деталей, упорно хранивших свои тайны, чуть приспустили домкрат, передвинули его на несколько дюймов вбок и снова поставили. На этот раз ось поднялась намного выше.— Ну вот, а теперь давайте ваше колесо.— Айво несколько раз ловко покачал рычаг домкрата и в мгновение ока сделал то, на что Роджеру потребовалось бы, наверно, больше часа.

— Спасибо,— сказал он от души.

Тем временем Гито окинул взглядом машину.

— Да, повреждений тут хватает,— хрипло прогудел он.— Компания, которая дала вам ее напрокат, поинтересуется, как было дело.

— Я расскажу им со всеми подробностями,— коротко сказал Роджер.

— А где вы ее оставляли на ночь? — внезапно спросил Айво.

— Там, где я живу.

— М-м,— изрек Айво и посмотрел на Гито.

— Вполне возможно,— сказал Гито.

— Что возможно? — сердито спросил Роджер. Он продрог и был очень зол.

Айво снял свою шерстяную шапочку. Волосы у него были рыжеватые и коротко подстриженные. Он задумчиво поглаживал их.

— Есть какие-нибудь предположения насчет того, кто облил вам краской дверь? — спросил он Роджера.

— Нет. Наверно, какой-нибудь хулиган, которому...

— Ну, тот, кто мог облить краской дверь,— медленно произнес Гито,— мог открутить и несколько гаек на колесе.

Роджер обомлел.

— Уму непостижимо. Не хотите же вы сказать, что кто-то пытался меня убить?

— Конечно нет,— сказал Айво.— Вас же не убили, не так ли? Но вам это будет стоить немалых хлопот. Ведь надо возвращать машину, и, значит, придется объяснять, почему...

— Да, да, я знаю. Так вы считаете, что кто-то пытался...— Роджер умолк.

— Сделать так, чтобы вам захотелось бежать из Лланкрвиса? — подсказал Айво.

— Но это же нелепо,— сказал Роджер. Он сел в машину и включил зажигание. Мотор заработал легко и ровно. По этой части все было в порядке.

Видя, что Айво в упор смотрит на него сквозь стекло, Роджер опустил окно и спросил:

— Вы считаете, что я тут кому-то не нравлюсь? — Он постарался произнести это небрежно, но в голосе его прозвучало смятение.

— Вполне возможно,— сказал Айво. Он натянул на голову свою шерстяную шапочку и полез в кабину грузовика.

Гито уже сидел за рулем. И тяжелая машина, выпустив облачко дыма, затряслась вверх по горе.

Роджер тоже двинулся в путь. Уже набирая скорость, он подумал, что не проверил остальные колеса. Нет, чем скорее он избавится от этой машины, тем лучше. Только сначала надо выпить.

Остаток дня оказался сплошным кошмаром. Разговор в компании по прокату автомобилей, как и предвидел Роджер, был сущей пыткой: управляющий, подобие злого маленького терьера, снова и снова задавал ему одни и те же вопросы, а потом заточил у себя в конторе и заставил заполнять бесконечные бланки.

И до конца дня он чувствовал усталость и тяжесть во всем теле. Лямка от кожаной сумки особенно больно врезалась в плечо, ноги ныли от каждого шага по тряскому полу автобуса. Роджер думал лишь о том, чтобы поскорее кончился рабочий день,— остальное для него не существовало. Он почти не вспоминал об унизительном положении, в котором оказался накануне, или о том, что кто-то пытается выжить его из Лланкрвиса. Главное сейчас было добраться до постели и заснуть.

Около семи часов, за несколько минут до того, как им двинуться очередным рейсом вниз, в автобус вошла Райаннон. Роджеру даже в голову не пришло спросить ее, почему она его обманула. Мозг его, затуманенный усталостью, воспринимал ее сейчас просто как пассажирку. Он прошел по автобусу, взимая за проезд, и когда поравнялся с Райаннон, то просто остановился и, точно робот, протянул руку. Опуская шиллинг на его ладонь, она вопросительно взглянула на него. Несмотря на усталость, он слабо улыбнулся ей в ответ, показывая, что вовсе не в претензии, и вернулся на свое место возле Гэрета.

Когда они прибыли в Карвенай, там стояла кромешная тьма и шуршал дождь. Пассажиры потянулись к выходу. Роджер понуро сидел на своем месте впереди, уставившись в ветровое стекло. Он даже не обернулся, чтобы взглянуть на Райаннон, но, конечно, увидел ее

отражение в стекле. Она дождалась, пока все вышли, и остановилась подле него. Гэрет, инстинктивно почувствовав, что надо оставить их наедине, вышел следом за пассажирами из автобуса. Роджер видел, как он направился через площадь в свою пивную.

Райаннон приступила прямо к делу.

— Мне очень жаль, что я не смогла прийти вчера,— сказала она.

Роджер медленно поднялся и встал перед ней.

— Это неважно.

Она пожала плечами.

— Я просто не знала, как быть,— сказала она.— Понимаете, я все время думала об этом, с тех пор как вы пригласили меня в отеле. И решила, что лучше просто не прийти.

— Лучше для кого — для вас или для меня?

— Для нас обоих. Ведь для вас — это так, пустяк, к тому же мне не хочется, чтоб вы стали строить воздушные замки.

Роджер открыл было рот и снова закрыл. К чему возражать? Он прекрасно понимал, что она имела в виду. Такая откровенность достойна лишь похвалы.

— Ужасно неприятно кого-то огорчать,— сказала она.— Постарайтесь понять меня.

— О, я прекрасно вас понимаю,— сказал он.— Единственное, что мне не ясно,— как вы могли так точно все знать. Я хочу сказать: ведь у меня могло и не быть далеко идущих планов — может, я хотел провести с вами вечер, и только.

— Но ведь они у вас были, не так ли? — мягко спросила она.

— Нет, Райаннон, не планы. Только мечты.

— Вот потому-то так оно и лучше. Чтобы мечты не превратились в планы.

Она слабо улыбнулась ему и, стремительно выскочив из автобуса, исчезла в темноте.

На следующее утро Лланкрвис проснулся под ливнем. Облака спустились так низко, что буквально лежали на темных шиферных крышах домов, и тяжелые капли дождя, казалось, с трудом пробивали эту толщу.

Ненастье не слишком огорчило Роджера. Ему даже нравилось в сырую погоду ездить на автобусе — там было уютно, горел свет, все болтали и жаловались друг другу на то, что пришлось стоять под дождем. Плохая погода делала автобус похожим на рай, чем-то сказочным — именно таким он и показался Роджеру в ту осеннюю промозглую ночь, когда он впервые увидел его. Напевая себе под нос, Роджер умылся, побрился, оделся и поел. Сон унес с собой усталость; после неприятных переживаний, которые выпали на его долю накануне, он с удовольствием думал о предстоящем дне с его благословенной рутиной.

Дождь барабанил вовсю по металлическим стенкам гаража Гэрета, когда Роджер подошел к нему. Гэрет распахнул дверь и уже сидел за баранкой автобуса, пытаясь убедить мотор разогреться. А мотор лишь громко и жалобно кашлял. День всегда так начинался: мотор был упрямее, чем верблюд. Роджер подождал снаружи, стоя подальше от выхлопных газов, пока Гэрет уговаривал мотор; наконец он мерно затарахтел, и большое желтое тело автобуса задним ходом медленно выкатилось под дождь. Роджер закрыл двери гаража и присоединился к Гэрету. Тот кивнул в знак приветствия и в несколько приемов — вперед-назад, вперед-назад — развернул автобус. Затем они принялись ждать — мотор весело жужжал, и «дворники» расчищали большие по-

лукружия на ветровом стекле. Обычно первые пассажиры, чьи дома стояли ближе к гаражу, садились здесь. Но сейчас никто не появился. Роджер снял кепку и плащ, встряхнул их и перекинул через спинку сиденья. Потом достал из сетки кожаную сумку. Теперь он был готов к делу, но никакого дела пока не было.

— Пора ехать вниз,— сказал Гэрет.

Он включил передачу, и они двинулись к перекрестку. Здесь у них была вторая остановка, и обычно человек десять—двенадцать уже дожидались их. Но на этот раз на мокрой дороге не видно было ни души.

На следующей остановке — тоже никого. Еще на следующей в автобус села одна старуха.

— Надо же, опоздала на автобус,— пояснила она Роджеру, протягивая мокрые монеты.

— Как так? — спросил он, пригибаясь к ней, чтобы лучше расслышать.— Разве это не автобус?

— Да я опоздала на тот, другой,— раздраженно пояснила она, точно ей надоело его ломанье: «Ну чего он притворяется, будто не знает, что происходит!» — На который все сели. Я уже шла по дорожке, а подбежать не смогла. Доктор не велел мне спешить. И потом, я считала, что успею.

— Вы и успели,— сказал Роджер.— Вы пришли как раз, когда мы подъехали.

Ему хотелось подробнее расспросить старуху, чьи жалкие гроши только и позвякивали в кожаной сумке, на редкость тощей и довольно бессмысленно болтавшейся у него на боку, но Гэрет вдруг повел машину быстрее. Они помчались вниз с горы по середине извилистой, исхлестанной дождем дороги, с такой скоростью заворачивая на поворотах, что просто дух захватывало.

Внезапно сквозь пелену дождя Роджер разглядел впереди другой автобус. Он был всего в каких-нибудь ста ярдах от них и как раз выехал на шоссе, когда они приближались к развилке. Автобус этот был такой же, как у Гэрета, только темно-красный, вернее даже бурый, цвета печенки на прилавке мясника.

Гэрет прибавил скорость. Отчаянно нажимая на акселератор, он ликвидировал разрыв, и теперь обе машины мчались вперед голова в голову. Шофер бурого автобуса и виду не подавал, что заметил погоню. Остановок больше не предвиделось, и они на большой скорости с грохотом влетели в Карвенай — казалось, бурый автобус тащил за собой на буксире желтый.

Они выскочили на площадь, развернулись и стали. И тут впервые Гэрета прорвало.

— Чертов негодяй! — воскликнул он.— Он же занял мое место.

Бурый автобус в самом деле остановился как раз возле статуи сэра Неизвестно-Как-Его, заняв то место, где обычно ставил свой автобус Гэрет. Роджера это возмутило не меньше, чем Гэрета. Точно кто-то хладнокровно объявил, что Гэрета не просто выжили отсюда, а вычеркнули из списка живых.

Гэрет слез со своего сиденья и двинулся вниз по ступенькам. Роджер быстро последовал за ним.

Дождь здесь был совсем мелкий — почти как туман на море. Из бурого автобуса выходили последние пассажиры. Никаких табличек, указывавших на то, какой компании или какому городу он принадлежит, на нем не было. Однако на табличке с обозначением конечной станции стояло «Карвенай», а к ветровому стеклу на видном месте был прикреплен кусок картона, где яркими буквами значилось «Внерейсовый».

— Внерейс...— начал было Гэрет и умолк.

Роджер взглянул на его лицо — на глубокие резкие морщины и темные впадины щек и глаз.

Одна из постоянных пассажирок, веселая толстуха — фамилии которой Роджер не знал, но она наверняка была тоже Джонс,— как раз вылезла из бурого автобуса и, увидев Гэрета, удивленно повернулась к нему.

— Ты здесь, Гэрет?

— А почему бы мне не быть здесь? — спросил Гэрет, вернее, не спросил, а глухо пролаял.

— Так ведь этот парень сказал... А может, я неверно поняла его,— смутившись, она не закончила фразы.— Он сказал, что это внерейсовый и потому возят они задаром.

— Задаром? — переспросил Роджер. Он почувствовал, как у него заколотилось сердце.

— Ну да, ничего не надо платить,— пояснила она. И, вспыхнув, поспешно отошла от них.

Но слова ее, казалось, пригвоздили их на несколько минут к тротуару. А тем временем из бурого автобуса вышли последние пассажиры — женщина с двумя детьми,— и шофер, перегнувшись, с грохотом захлопнул дверь.

Когда автобус проезжал мимо, Роджер успел рассмотреть лицо шофера. Оно было одутловатое, с коротким, как кнопка, носом и тусклыми темными глазами. Такое лицо мог вылепить ребенок из теста у мамы на кухне — вставив изюминки вместо глаз.

Бурый автобус уехал, дождь пошел сильнее. Гэрет сказал:

— Пошли выпьем чаю.

(Окончание следует)

Критика

А. ЗВЕРЕВ

В ПОИСКАХ «МИФОТЕРАПИИ»

Литература «массового общества». Литература в «массовом обществе». Эти аспекты литературной жизни современного Запада — на первый взгляд, достаточно друг от друга обособленные — в сознании самих западных писателей все чаще оказываются настолько близки, что говорить нужно скорее о каком-то одном явлении, об одной проблеме.

В самом общем своем виде эта проблема может быть сформулирована так: способно ли искусство противостоять натиску «массовой культуры», ставшей в условиях неокапиталистического общества крупной производящей отраслью и каждодневно выбрасывающей на рынок десятки ремесленных поделок? Если же попытаться связать проблему с сегодняшними литературными спорами на Западе, то речь необходимо вести даже не о конкуренции искусства и псевдоискусства, а о том, что различия между серьезной литературой и «массовой беллетристикой» по их социальным функциям, по характеру оказываемого ими общественного воздействия теперь далеко не во всех случаях столь же очевидны, как еще пятьдесять лет назад.

С недавних пор многих писателей Запада стали посещать сомнения в действенности и силе заложенного в их произведениях протеста. И дело здесь не в излишней их самокритичности. Речь идет об одной из характернейших черт культуры неокапиталистического общества — ее способности включать в себя элементы как будто и несовместимые с нормами «цивилизации потребления», но и не угрожающие жизненным ее основаниям.

Серьезный художник, задумывающийся над характером общества, в котором он живет, не может не почувствовать многократно возросшей в условиях неокапиталистической действительности угрозы растворения искусства в системе буржуазных ценностей. И в первую очередь процесс превращения литературы в продукцию массового потребления коснулся литературы авангардистской, в которой «бунт» против «массового общества» не подкреплялся ни пониманием его закономерностей, ни достаточно принципиальным размежеванием с теми самыми социальными мифами и нормами общественных отношений, которые лежали в его основе. Здесь проявилась — весьма наглядно — способность «массового общества» и его культуры усваивать и адаптировать согласно своим стандартам и те явления духовной жизни, которые не соответствуют принятым в обществе критериям по внешним признакам, но не по сути.

Действие этой тенденции можно проследить хотя бы на примере американского битничества. В свое время появление битников знаменовало первую волну протеста против уродующей личность действительности США, против стремительной нивелировки быта, сознания, культуры против маккартизма и опасности термоядерной войны. Но прошло несколько лет, и идеи и культурные ценности, которые «разбитыми» выдвигались как антибуржуазные, были интегрированы в систему американской культурной индустрии и стали одним из расхожих ее продуктов.

Чем же объяснялся крах движения «разбитых»? Видимо, тем, что сами их идеи, сами их культурные ценности не облада-

ли достаточным зарядом сопротивления буржуазным нормам, чтобы противостоять процессу интеграции. Ассимиляции, включению в «массовую культуру» подверглись именно позитивные, а точнее сказать, эскепистские идеи битников во всем их многообразии. И эскепизм в прямом смысле, как у Керуака, герои которого добровольно устремляются «вниз» по социальной лестнице, избирают судьбу интеллигента, «из принципа» опустившегося до положения люмпен-пролетария и проводящего жизнь «на дороге», в компании таких же бродяг и хипстеров, как он сам. И эскепизм интеллектуальный, состоявший в культивировании такого рода философских и художественных доктрин, которые, казалось, по своему характеру не могли соответствовать эталонам «массовой культуры»,— скажем, дзен-буддизма или авангардистского искусства в столь крайних его выражениях, как театр Альфреда Жарри, живопись Брака, книги Генри Миллера. И эскепизм анархический, который выражался в поведении, призванном шокировать обывателя «в белом воротничке»,— например, в столь обычном для битников афишировании сексуальной жизни, к тому же отмеченной чертами патологии, или в славословиях наркотикам и даже в намеренно грязной и рваной одежде и отсутствии башмаков на ногах.

До какого-то времени все это могло казаться — и казалось битникам — вызывающе антибуржуазным. Между тем законы «массовой культуры», которая, разумеется, не могла не эксплуатировать повышенный интерес к «разбитым» — будь то просто любопытство, или раздражение, или повод для сомнительного остроумия газетных карикатуристов, или лишний случай попричитать над сбившейся с пути молодежью,— эти законы делали свое дело. И за какой-то год дзен-буддизм из причуды горстки обосновавшихся в Сан-Франциско бородачей-интеллектуалов превратился в модную «новую религию», а нотки ностальгического томления по недостижимой в XX веке Дхарме стали — в той или иной форме — проскальзывать в выступлениях вполне апологетически настроенных социологов и публицистов. Шокировавший на первых порах обывателя эротизм битников уже к середине 60-х годов казался чуть ли не мальчишеским озорством на фоне тех «откровений», которые содержал любой производимый культурной индустрией и исправно поглощаемый тем же самым обывателем шлягер. Генри Миллер, чьи произведения еще вчера служили для битников своего рода прибежищем от тягостной и унылой действительности «массового общества», в мгновение ока стал одним из идолов этого общества и был торжественно возведен на пьедестал «самого непримиримого критика нашей порочной цивилизации». Святые места «разбитых» — Калифорнию, Мексику — наводнили толпы скучающих отпрысков «средних классов», не забывших облачиться в изношенные джинсы, и примелькавшаяся фигура искателя нирваны с пакетиком ЛСД в кармане не вызывала теперь ворчливого недовольства даже у самых твердолобых ретроградов.

Само существование битников стало едва ли не необходимым живописным атрибутом жизни общества, но никак не признаком его кризиса. Механизм «массовой культуры» сработал безотказно.

Закономерность происшедшего была в полной мере осознана писателями «новой волны», поднявшейся в американской авангардистской литературе на рубеже двух десятилетий. И вот в 1962 году Джон Хоукс, один из самых заметных ее представителей, заявляет, что подлинно значительный современный писатель должен быть прежде всего наделен «способностью видеть мир в холодном, остраненном свете, непоколебимой решимостью погрузиться в ту бездну порочного и обрекающего нашу жизнь на неудачу, что заключено в нас самих и в окружающем нас мире, а также умением писать об этом в духе не знающего пределов спасительного комизма». Идейной и эстетической программе битничества здесь противоречит каждое слово. Вместо сбивчивой исповеди — «холодный, остраненный свет». Вместо патетической декларации — «спасительный комизм». Вместо поверхностного, но страстного протеста — бесстрастное при всей его решительности исследование «бездны порочного».

Различия были слишком существенными, чтобы объяснить их лишь обычной в истории литературы полемикой новой школы со своими предшественниками. Для битников не существовало с такой остротой возникшей перед Хоуксом, как и другими писателями «новой волны» — Джоном Бартом, Терри Сазерном, Томасом Пинчоном,— проблемы растворения по видимости антибуржуазного искусства в буржуазной «массовой культуре».

Особенности «массового общества», антигуманность которого те же Хоукс или Барт чувствовали подчас достаточно глубоко, в полной мере раскрылись лишь в 60-е годы, и именно их стремилась отобразить американская «новая волна». Она стремилась уйти от болезненно ощущаемой опасности интеграции в «массовую культуру», превратить битнический протест в последовательную, осознанную оппозицию. Декларации битников сменились попытками анализа и развенчивания, как созданных «массовым обществом» мифов, так и утилитарно используемого этим обществом наследия от демократической и гуманистической традиции прошлого, поисками «мифотерапии», если воспользоваться ироничным определением Барта.

Ни состоятельными, ни плодотворными эти попытки не оказались. Более того, сегодня грань между авангардом и «массовой культурой» еще менее различима, чем во времена первых выступлений битников. Почему же это произошло?

А. ЗВЕРЕВ
В ПОИСКАХ «МИФОТЕРАПИИ»

Знакомясь с книгами представителей «новой волны» в авангардистской литературе США, не можешь не отметить характерное противоречие между методом и материалом. Подчас в этих книгах точно уловлены приметы американской жизни последних лет, и все же по ним не составить представления о тех мучительных, трагических противоречиях, которые определяют жизнь сегодняшней Америки. Ибо всякий раз автор исходит из предположения, что тягостные черты неокапиталистической действительности не специфичны для нее, но знаменательны для всей человеческой цивилизации.

Эта мистификация отчетливо, даже реалистически намеченных конфликтов, которые, как правило, не вымышлены, а отражают реальные жизненные явления, наглядно продемонстрировала неспособность писателей «новой волны» к глубокому анализу подчас ими же впервые и подмеченных противоречий «массового общества». Болезненно восприимчивые к социальной демагогии неокапиталистического общества Барт, Хоукс, Берроуз в главном — во взгляде на человека и на характер общественных отношений — все-таки не сумели подняться над расхожими доктринами этого общества. И как только в их книгах возник тезис о порочности человеческой природы и непреодолимой абсурдности отношений между людьми, грань, отделявшая их произведения от культурной индустрии «цивилизации потребления», начала рушиться; элементы действенной социальной критики растворились в давно уже освоенной на рынке «массовой культуры» модернистской философии человека и общества.

Писатели «новой волны» выступили с критикой социальной мифологии «массового общества», однако осмысление этой мифологии в их книгах шло под знаком той мистификации реального ее содержания, которая очень свойственна модернистскому искусству XX века. В самом деле, какие «мифы» подвергаются здесь исследованию? Это прежде всего претензия «массового общества» на рациональность, миф об этом обществе как ассоциации, построенной на разумных началах,— и как следствие «миф» о том, что рациональность вообще должна быть созидающим началом и доминирующим принципом любого человеческого общества.

И во-вторых, это миф, изображающий «массовое общество» обществом свободы, прогресса и раскрепощения личности,— и соответственно «миф» о том, что благоденствие для всех есть одна из исторических задач человечества и что по мере научного, культурного и социального прогресса человек, личность, освобождается, утрачивает первобытные инстинкты и приближается к гуманному идеалу.

Первым к «мифологии» неокапиталистического общества обратился в США Джон Хоукс, писатель весьма незаурядный. Известность пришла к нему в 1961 году после появления романа «Мода на темно-зеленое», где Хоукс подверг критике один из мифов «массового общества» — именно его претензию на прогресс, и прежде всего на прогресс нравственный.

Действие этой книги развертывается в Лондоне во время второй мировой войны, однако война у Хоукса — лишь внешнее выражение того разрушительного безумия, которым охвачен мир и которое в душах его героев оставляет следы более глубокие, чем воронки от бомб на лондонских площадях. Герой романа Майкл Бэнкс решает воспользоваться возобновившимися после налетов скачками на Олдингтоне и составляет фантастический план обогащения: выкрасть из конюшен рысака-рекордсмена, которого успела за время войны забыть публика, перекрасить его, заявить в заезд и, поскольку никто не будет ставить на неизвестную лошадь, а рысак непременно выиграет, получить весь выигрыш.

Однако для этого необходима помощь сторожей и жокеев, и Бэнкс, вступив с ними в контакт, оказывается пленником слепой разрушительной силы, которую, по мысли Хоукса, война только пробудила в людях, поскольку эта сила дремлет в них всегда. Явившись в конюшню ночью, чтобы увести по договору лошадь, Бэнкс выйдет из нее только в день скачек — выйдет, чтобы погибнуть под копытами того самого рысака, на котором он хотел составить себе состояние. Время до скачек он проведет в сыром подвале ипподрома, наблюдая, как один за другим гибнут и люди, которых он сам вовлек в готовящуюся аферу,— его жена Маргарет, только что похоронивший мать подросток Уильям Хенчер,— и те, которые заманили Бэнкса в этот подвал, чтобы мучить. Мучить не ради какой-то выгоды для себя, а просто из необходимости удовлетворить ничем уже не сдерживаемый инстинкт насилия. И они удовлетворяют этот инстинкт, бросив умирать получившего при несостоявшейся краже удар копытом в грудь Хенчера, методически нанося раны Маргарет, перерезав горло своему бывшему вождю Каулзу. Удовлетворяют и тогда, когда им удается растлить Бэнкса настолько, что даже вид убитой Маргарет не вызывает у него ничего, кроме садистского умиления перед пробудившейся в нем силой зла.

Проблем, выдвинутых Хоуксом, до него касался Голдинг, создавший во многом близкую по звучанию книгу. Однако существует грань между «Повелителем мух» и романом Хоукса. Она заключается в том, что книга Голдинга — роман-предупреждение о подлинных опасностях, в которых человечество должно отдавать себе отчет, в то время как книга Хоукса — роман-приговор, притязающий на конечный диагноз неизлечимого человеческого заболевания.

«Моя тема — распад, ужас человеческого несовершенства, но также и та красота, которая не может быть тленной,— писал Хоукс в связи со своим романом.— Мне кажется, что исследование насилия путем анализа порождаемых им извращений или в категориях комического в конечном счете не может не сообщить картине нравственный пафос, в конечном счете помогает от-

крыть глубокие источники сострадания, сокрытые во всех нас». Однако «исследование насилия» и «порождаемых им извращений» ведется здесь с позиций противоречивых и нечетких. Хоукс стремится изобразить духовную ущербность «среднего гражданина». Но при тех взглядах на общество и человека, каких придерживается автор, «средний гражданин» оказывается отождествленным с человеком «вообще». И тогда «самопроизвольная» жестокость героев в кульминационных сценах, и позаимствованная из арсенала модернизма идея человеческой неполноценности, и всевозможные эротические комплексы, которыми наделены чуть ли не все персонажи Хоукса,— все это приобретает характер расхожих приемов «культурной индустрии», усиленно эксплуатирующей модернистскую «модель» человека и общества. И оказывается, что совсем не так уж четок и непреодолим рубеж между беспросветно пессимистической оценкой американской действительности в книге Хоукса и «жизнеутверждающей» ее интерпретацией в сочинениях творцов «массовой культуры», между неприятием и апологетикой.

Конечно, полной интеграции еще не происходит — ей препятствует заключенный в романе пафос отрицания *такой* жизни да и формальная усложненность книги, исключающая ее превращение в разрекламированный и навязываемый потребителю бестселлер. Но возможность подобной интеграции отнюдь не исключается, и, быть может, чувствуя это, Хоукс в следующем своем романе — «Вторая оболочка» (1964) — стремится развенчать уже не только идею нравственного прогресса, для которого в современном буржуазном обществе будто бы созданы все условия, но и в целом ту концепцию, согласно которой человек обладает неисчерпаемым запасом доброты и реализует эти добрые начала при условии организации общества на разумных основаниях либо путем бегства в природу. Объект полемики на сей раз — «просветительский», основывающийся на принципах разумности идеал личности и та распространенная в «массовом обществе» иллюзия, что именно теперь этот идеал осуществился.

Герой книги Шкиппер, в прошлом морской офицер, после войны решает покинуть сошедший с ума и доставивший ему столько страданий цивилизованный мир и поселяется на необитаемом островке в тропиках вместе со своей любовницей негритянкой Каталиной Кэйт и негром Сонни, в прошлом его юнгой. Побудительные мотивы новой робинзонады имеют характер наполовину руссоистский, наполовину — и это очень показательно — битнический: сатира Хоукса, выдержанная в «черных» тонах, обращена и против прямых его предшественников в литературе американского авангарда, уже капитулировавших перед натиском «массовой культуры».

Действие разворачивается в двойной временной перспективе: жизнь Шкиппера на острове и воспоминания о годах, впустую растраченных в цивилизованном мире. На острове «постаревший Ариель в джинсах», как рекомендует себя герой, находит, на первый взгляд, осуществившуюся руссоистскую утопию: идиллические картины природы, покой в душе, ожидание ребенка, которого вскоре родит ему Каталина. То, что предшествовало переселению на остров,— совершенный ад: самоубийство отца Шкиппера, потом его жены, дочери Кассандры и, наконец, убийство зятя; бунт матросов на корабле, которым командовал герой в годы войны; опустошение и смерти длинной, непрерывной чередой.

Впрочем, идиллия на острове не прочнее карточного домика: ведь и в самые мирные дни, как бы выключившись из цивилизованного мира, Шкиппер с роковой неотвратимостью вспоминает о том, что «лежит там, в далеких, далеких краях моего царства». Собственно, именно эти воспоминания и доминируют в его духовной жизни; бегство оказалось чисто внешним — от «цивилизованного» общества, возведшего жестокость и насилие в принцип своего устройства, никуда не убежишь.

Это становится наиболее ясно, когда на глазах читателя крохотный — всего трое — коллектив людей, которых Хоукс отправил на свой несуществующий остров, начинает в точности повторять характер взаимоотношений в «цивилизованном» мире. Настойчивее, чем другие книги Хоукса, «Вторая оболочка» говорит о том, что законы жестокости и насилия, существующие в «массовом обществе», есть вечные и неодолимые, вырастающие из самой человеческой природы законы взаимоотношений между людьми, и все попытки преодолеть их действие наивны и по сути абсурдны. А едва ступив на путь обличения пороков, будто бы присущих человеку по его природе, Хоукс оказывается в плену тех самых модернистских концепций, которые давно уже растворила в себе и поставила на конвейер серийного производства «массовая культура».

Правда, Хоукс постоянно чувствует опасность оказаться «на конвейере» и инстинктивно сопротивляется ей. Но в тех случаях, когда писатель не только не отдает себе отчета в подобной опасности, но даже не прочь составить себе репутацию «радикального критика», «непримиримого обличителя» и т. п., рычаги культурной индустрии приходят в действие немедленно, и «освоение» его творчества оказывается делом простым и быстрым. Достаточно привести один пример.

В 1962 году в литературной жизни США разразился скандал, каких не было уже много лет. Определенная «традиция» — вспомним длительный остракизм, которому подверглись в свое время за «безнравственность» «Улисс», «Любовник леди Чаттерлей», «Тропик Рака» и т. д.,— побудила ряд критиков выступить с резким протестом против только что вышедшего романа Уильяма Берроуза «Голый завтрак». Для

А. ЗВЕРЕВ

В ПОИСКАХ «МИФОТЕРАПИИ»

таких протестов, надо сказать, были основания: беспрецедентный натурализм в изображении сексуальной патологии да и сомнительная репутация автора, громогласно афишировавшего свои гомосексуалистские наклонности и пристрастие к гашишу и ЛСД.

Книга решением суда была запрещена, однако те литературные эксперты, которые глубже других поняли характер «массовой культуры», тогда же предсказали, что запрет вскоре будет снят. Так и произошло, а за то время, что «Голый завтрак» находился вне закона, было сделано все, чтобы подготовить роману головокружительный успех на книжном рынке.

Комментируя историю с «Голым завтраком», английский критик Д. Лодж справедливо говорил, что «модернистская культура подверглась общественной интеграции», и выражал сомнение в том, что подобная метаморфоза «может быть признана симптомом здоровья». При знакомстве с книгами Берроуза убеждаешься, что это сомнение вполне обоснованно. Некоторые действительно присущие «массовому обществу» черты — культ насилия, стандартизация жизни, ведущая к стандартизации сознания, появление фашистских тенденций — запечатлены и в «Голом завтраке», и в последующих книгах Берроуза «Нова Экспресс» (1964) и «Машина размягчения» (1961), однако — в этом Берроуз не отличается от Хоукса — они исследованы не как явления, специфические для Америки наших дней, а как некие закономерности человеческой природы, лишь получившие в условиях современной Америки возможность выхода на поверхность. Какие бы особенности американской жизни последних лет не улавливал Берроуз, они последовательно редуцируются из сферы общественной в сферу наиболее индивидуальную — в сферу сексуальной жизни человека, намеренно изображаемой в его книгах с отталкивающими подробностями, под знаком патологии, якобы изначально присущей homo sapiens и сдерживаемой лишь непрочными и ненадежными рудиментами культуры и цивилизации. Грубый эротизм соединяется в этих книгах с экстремистским разрушением формы, «новаторство» понимается как отказ в творчестве от любых ограничений по причинам нравственным и эстетическим.

Нельзя при этом не обратить внимания на то, как старательно подогревалась вокруг Берроуза атмосфера литературной сенсации. Д. Лодж жалуется: «Претензии его романов на серьезное художественное значение... должны быть подвергнуты гораздо более строгому испытанию, чем то, к которому располагает теперь сложившаяся у нас в литературе обстановка».

Действенность заложенного в книгах Берроуза социального протеста очень невелика. Это объясняется экстраполяцией конкретной социальной проблематики в сферу внеисторическую и внесоциальную, с неизбежностью ведущей к появлению в книгах Берроуза уподоблений человека агрессивному животному и прочих расхожих мотивов «черной» литературы. Это объясняется и самим методом берроузовской критики общества — критики недифференцированной, нигилистической, антихудожественной по средствам.

И рынок «массовой культуры» ухватился за Берроуза именно потому, что критическое содержание его произведений заслонено, задавлено обилием самых заурядных приемов низкопробной беллетристики, которые созданная Берроузу репутация выдающегося и необыкновенно смелого таланта помогала выдать не за то, чем они были на самом деле,— не за штампы бульварного чтива, а за откровения наисовременнейшего искусства.

Тот же «Голый завтрак», многие страницы которого были написаны еще в те дни, когда Берроуз буквально погибал от злоупотребления наркотиками (он вылечился в 1959 году, и мотив исцеления, возвращения из ада проходит через все его книги, составляя, быть может, единственную светлую в них ноту), обнаруживает механическое воспроизведение в литературе хаоса действительности, причем у Берроуза дело доходит до полного отказа от упорядочивания, укрощения хаоса, а это ведет к чудовищному натурализму и полному разрушению самой художественной ткани произведения. Даже в тех эпизодах романа, которые обладают относительной законченностью,— например, изображающих преследование героя полицией или посещение им в своих видениях несуществующих государств Фриландии, Аннексии, Интерзоны,— мы в лучшем случае обнаружим лишь доминирующий мотив. Это мотив вечного подавления личности государством — точнее, любым государством, мотив жестокости людей — всех людей — по отношению друг к другу, мотив каннибализма, якобы проникающего в человеческие взаимоотношения, мотив неизбывного одиночества: «Мотель... мотель... мотель... изломанный неоновый арабеск... стон одиночества стелется над континентом, как стелется туман над перепачканными нефтью недвижными водами в устьях рек».

В первой книге Берроуза уже не было ни ожидания Дхармы, ни мотивов братства сбросивших с себя — пусть это была только иллюзия — цепи повседневности, отправившихся «на дорогу» людей. «Голый завтрак» притязал на «голую правду» (каламбур принадлежит поэту Алену Гинзбергу), только «правда» эта свелась к устрашению «подпольем» цивилизованного мира, по которому скитается в наркотическом озарении герой, а не к анализу действительно страшных сторон американской жизни.

Книга «Нова Экспресс» наглядно свидетельствовала, что искания Берроуза завершились творческим тупиком. Здесь даже искушенному читателю нелегко продраться через заросли обрывающихся на полуслове фраз, кое-как склеенных одна с другой, через нагромождения сбивчивых монологов и откровенно порнографических пассажей. Широко используется изобретенный Берроузом «метод врезки» (cut-in), состоящий в

том, что страница текста (романа, стихотворения, репортажа) разрезается на несколько частей, по-новому затем соединенных. Материалом, по собственному признанию Берроуза, ему служили колонки новостей, отчеты о судебных процессах, а также обрывки фраз из книг писателей многих стран. Каждодневно поглощаемая «массой» информация — не только эстетическая, но и газетная — во всей своей спутанности врывается на страницы книги, и автор не делает ни малейшей попытки преодолеть ее хаотичность. Бессилие Берроуза справиться с этим — лишь по видимости не направляемым — потоком информации, обрушивающимся на «среднего гражданина», бомбардирующим и трансформирующим его сознание, здесь выражено даже самой формой повествования.

«Нова Экспресс» — даже не литературное произведение, а скорее жест яростного неприятия претензий «массового общества» на рациональность — призвана передать берроузовское ощущение тупиковой ситуации, в которой очутился современный мир. Но перед нами абстрактно понятый «весь мир», абстрактно универсальные сила подавления и сила протеста. Когда утрачены коррективы реальности, в действие с неизбежностью вмешивается субъективизм и авторский произвол, и это сделало берроузовскую критику беспредметной, даже когда эта критика обращена против наиболее болезненных явлений современной Америки.

Терри Сазерн назвал книги Берроуза «совершенно опустошительной сатирой на все ложное, примитивное и злое в современной американской жизни». Однако эпитет «опустошительный» справедлив применительно к Берроузу совсем в ином смысле. Опустошительными его произведения оказываются прежде всего для читателя, который слишком доверяется берроузовской интерпретации жизни и человека, не замечая, что при всем своем вызывающем радикализме книги Берроуза служат проводниками буржуазных норм и представлений.

Тот же процесс сближения авангарда с «массовой культурой» затронул и творчество Джона Барта — самого значительного из писателей авангардистской «новой волны» в США.

Барт — явление специфически американское; о своей независимости от модных в Европе и — через Европу — в США философских доктрин он заявил первой же написанной им книгой, романом «Плавучая опера» (1956), содержавшим явную полемику с экзистенциализмом, поскольку «философия существования» представлялась Барту недостаточно последовательной и радикальной в своей критике буржуазного сознания. Под пером Барта — как и Хоукса — абсурд перестал быть некой отвлеченной, дедуцированной «сущностью» и стал живой, непосредственной, повседневной реальностью; подобно Беккету и писателям-абсурдистам в Европе, они ввели его «в кадр», в то время как у экзистенциалистов он находился «за кадром».

«Существует только одна поистине серьезная философская проблема, и это проблема самоубийства,— пишет в «Мифе о Сизифе» Камю.— Решить, стоит или не стоит жить, значит не меньше, чем ответить на фундаментальные вопросы философии». Герой Барта Тодд Эндрюс, провинциальный адвокат, который в одно прекрасное летнее утро — не то 23, не то 24 июня 1937 года — без каких-либо видимых к тому причин решает покончить счеты с жизнью, словно бы пришел к этому тезису самостоятельно и задолго до Камю. Вспоминая этот день через 17 лет (с самого начала ясно, что самоубийства не произойдет), Эндрюс не может найти никаких объяснений ни проснувшейся в нем тогда решимости покончить с собой, ни тому, что он этого так и не сделал.

Ровесник XX века, Эндрюс зеленым юнцом попал на первую мировую войну, был навсегда оглушен ее жестокостью и собственной способностью терять в ее водовороте человеческий облик. Вернувшись в Америку, он привез с собой твердое намерение по возможности больше изолироваться от общества, способного только изуродовать человека, уехал в заштатный городок на побережье Мериленда и, получив место в юридической конторе, сумел весьма комфортабельно обставить свой быт. Склонность его приятеля Гаррисона Мэка к эпатированию буржуазной морали избавила Эндрюса и от тягот семейной жизни: с ведома и даже по настоянию мужа Джейн Мэк дважды в неделю одаряла героя своими ласками и заботами.

Самый контекст, в котором возникла на страницах «Плавучей оперы» характерно экзистенциалистская проблематика, не оставляет сомнений, что задачей Барта было ее пародирование. Тодд Эндрюс — персонаж явно сатирический, да и вся атмосфера книги, весь ход действия отмечены чертами буффонады. Эти черты проступают вполне отчетливо в заключительных эпизодах, где описан спектакль бродячей труппы, именующей себя «Оригинальной и Неподражаемой Плавучей Оперой» и привлекающей зрителей главным образом тем, что представление дается на переоборудованной под концертный зал громадной барже.

Однако и вся жизнь в Кембридже, «столице» округа Дорчестер — своего рода «плавучая опера», ярмарочный балаган, увешанный по стенам кривыми зеркалами. Чего стоит хотя бы центральный эпизод книги — тяжба за наследство Мэка-старшего между Гаррисоном и его матерью, причем для первого препятствием на пути к трем миллионам оказываются неосторожные пожертвования в фонд республиканской Испании, в чем суд усмотрел «коммунистическую активность» претендента, а для вдовы — слишком чувствительное обоняние: завещанием ей вменялось в обязанность сохранить на

А. ЗВЕРЕВ
В ПОИСКАХ «МИФОТЕРАПИИ»

протяжении года всю обстановку в супружеском доме в неприкосновенности, а она распорядилась выкинуть из винного погреба бутылки с экскрементами покойного, водворенные туда согласно его последней воле.

«Плавучая опера» — самое сатирическое из произведений Барта, но и здесь полемика с экзистенциализмом для автора важнее, чем развенчание быта американской провинции; раньше других Барт нашел проблематику, характерную для писателей «новой волны», начал критику мифов, в том числе и мифических рецептов спасения человека. Вся книга построена как история «исканий» героя. Каков же итог этих «исканий»? Он заключается в признании полной относительности всех ценностей — и материального, и духовного характера. «Ничто не имеет ценности само по себе»,— убежден Эндрюс, а стало быть: «Не может быть высшей причины придавать чему бы то ни было ценность».

Поскольку же «что бы то ни было» включает у Эндрюса и самое жизнь, которая тоже не имеет ценности «сама по себе», то логическим — согласно экзистенциализму — исходом должно явиться самоубийство. Тем не менее его не происходит: последовательно пародируя экзистенциалистскую философию жизни, Барт заставляет своего героя заключить — после спектакля «Плавучей Оперы»,— что совершать самоубийство столь же абсурдно, как и жить. Человека в современном мире спасает лишь способность признавать абсурд абсурдом, умение иронически интерпретировать происходящее на свете и приключающееся с ним самим.

Уже в «Плавучей опере» давало о себе знать присущее Барту чувство совершенной абсурдности существования и цинически веселое пренебрежение любого рода нравственными и социальными категориями. При всем недюжинном даровании Барта и его более чем трезвом взгляде на Америку «веселый нигилизм», как определяют миросозерцание писателя некоторые критики в США, оставлял достаточно широкие возможности для подчинения и бартовского творчества законам «массовой культуры». Это произошло не сразу, но произошло закономерно.

В «Конце пути» (1959), следующей книге Барта, нигилизм стал если не более веселым, то, во всяком случае, более наглядным. Герой этого романа Джекоб Хорнер поражен странным недугом, который он именует «космопсисом» — чувством космического абсурда жизни — и который точнее было бы назвать параличом воли. Случайно встретившийся ему врач-негр пытается излечить Хорнера при помощи «мифотерапии». Поскольку жизнь человеческая абсурдна и бессмысленна, единственным средством противостоять ее хаосу становится создание — сознательное или неосознанное — какого-то мифа для себя: выдуманной, абстрактной доктрины, которой, однако, человек неуклонно следует в своей практической жизни, чтобы защититься от «космопсиса». В конечном счете все лишено смысла, все — только «мифотерапия». Но иллюзия — великая сила, и, вооружившись искусственно сконструированным «мифом», можно переболеть «космопсисом» не в самой опасной форме, а то и вовсе избежать заболевания.

Даже позднее ни у кого из писателей «новой волны» центральная для всех них проблематика не ставилась так недвусмысленно — и не решалась столь последовательно авангардистски. Взяв на вооружение «миф» о том, что человек должен следовать своему призванию, Хорнер отправляется преподавать школьникам грамматику. Здесь, собственно, и начинается подлинная «мифотерапия», ибо настоящее успокоение несет как раз не создание обманчивых «мифов», а разрушение всей и всяческой «мифологии» — веселый нигилизм и полная бездеятельность. В «Конце пути» Барт уже прямо утверждает, что активным действием победить хаос и абсурд невозможно.

В одном из интервью Барт сказал: «Есть писатели, которые наделены таким темпераментом, что их цель не может быть меньше, чем изобрести заново вселенную. Господь бог был неплохим романистом, только он творил по законам реализма».

Свою вселенную Барт творит явно не по законам реализма — причем дело тут не в том, что его мир алогичен и допускает полное смещение понятий, а в самом принципе, положенном в основу его книг. Этот принцип — отрицание разумности жизни и попытка защититься смехом от ее «абсурдных» и калечащих человека конфликтов и противоречий — стал ведущим в романе «Козлоюноша Джаилс» (1966), который и побудил многих критиков в США говорить о Барте как об одном из крупнейших американских писателей 60-х годов.

«Козлоюноша Джаилс» — тоже пародия, но масштабы ее на сей раз поистине космические: в гротескном плане перед читателем проходит чуть ли не вся современная жизнь. На наших глазах выстраивается многоэтажное здание со множеством лесенок, переходов, подсобных помещений. Книга пестрит аллюзиями на сотни реальных людей, событий, на бесчисленные литературные источники — от Нового Завета до Джойса. Стихия «веселого нигилизма» здесь не знает никаких границ, и в фундаменте возведенной Бартом постройки оказывается один-единственный тезис: жизнь абсурдна, а поэтому только способность смеяться надо всем на свете вооружает человека против ее жестокого диктата. Смех — вот панацея, смех над «серьезной» идеологией и «серьезной» литературой, над «серьезными» чувствами и «серьезными» убеждениями, над любого рода претензией переделать, улучшить мир, над «мифами» и даже над «мифотерапией».

...Молодой человек, которого зовут Джордж, таинственным образом оказался подброшенным на козлоферму, принял облик козла и в этом качестве провел первые годы своей жизни. Его вырастил главный смотритель фермы Макс Шпильман, который на протяжении многих лет прово-

дит сложный генетический эксперимент с козами. Козлоферма принадлежит Университету, который в романе Барта символизирует вселенную.

В приснопамятные времена Университет был един, но потом среди его студентов образовались две партии — информационалистов и унионистов — и Университет раскололся на Западные факультеты и Восточные факультеты. Эти факультеты ссорились друг с другом, ссорились и входившие в них колледжи. Университет пережил Великую Смуту I и Великую Смуту II, а сейчас переживает Бескровную Смуту, и Кровавой она не становится лишь благодаря существованию ЭВМЗФ и ЭВМВФ (то есть ЭВМ соответственно Западных и Восточных факультетов) — самопрограммирующих устройств, которые в потенции обладают способностью поглотить (ЕАТ — по заглавным буквам английских слов, означающих «электро-мозговое поглощение и переработка») весь Университет.

Восточные факультеты уже разрешили внутренние противоречия, а внутри Западных идет борьба. В свое время их лидером был колледж Зигфрида, в котором и начинал свои труды Макс Шпильман, лидер меньшинства в Ученом совете этого колледжа. Но верх взяло большинство, которое затеяло Великую Смуту II с целью распространить и на Западные и на Восточные факультеты диктат студентов-бонифашистов. Тогда Макс переметнулся в колледж Новая Таммания (Таммания — центр демократической партии в Нью-Йорке), где он продолжал свои генетические эксперименты, совершенно неожиданно для него приведшие к созданию самопрограммирующего устройства с его ЕАТ-лучами. Но открытие было использовано Новой Тамманией для военных целей и не только не помогло студенчеству, но поработило его.

Побочным эффектом работы по созданию Джаилс (по заглавным буквам английских слов — Научно-Идеальный Лабораторный Евгенический Феномен) явилось появление Джорджа, козломладенца, которому в будущем предстоит самому определить, кем стать — человеком или козлом.

Такова предыстория. Действие же состоит в том, что Джордж предпринимает попытки спасти студенчество, проникнув в чрево самопрограммирующих устройств и изменив их задание. Вместо производства смертоносных ЕАТ-лучей они должны способствовать студентам в сдаче экзаменов, ибо вся студенческая жизнь под эгидой ЭВМ (олицетворяющих не только ядерное оружие, но и всю военно-промышленную цивилизацию) определена оппозицией: сдать — провалить. Козлоюноша, таким образом, притязает на роль Христа, а книга Барта предстает евангелием нигилизма. Джордж проводит «нагорный семинар» и выдвигает в качестве своего кредо тезис о том, что «блаженны провалившиеся». Описание процесса его «интеллектуализации», подготовки к первой экспедиции в дебри ЭВМ и ее неудачи позволяет Барту развернуть целый пародийный эпос, причем пародируется буквально все на свете: «Одиссея» и «Энеида», «Божественная комедия» и Свифт, Новый Завет, Эсхил и т. д.

Едва став человеком, Джордж стремится занять пост Главного Педагога, некогда принадлежавший Моизу (Моисею), Еноху (Христу), Майосу (Сократу), Шахиану (Будде) и Тану (Конфуцию), а ныне пустующий за отсутствием достойного кандидата. Напрасно притязают на него руководители Западных факультетов — декан Таммании Реджинальд Хектор, крупный генерал в эпоху Смуты II, ныне трепещущий перед ЭВМВФ и всячески подхлестывающий выполнение программы ЭВМЗФ, а также и сменивший его канцлер Рексфорд (в этом образе дана злая сатира на Джонсона). Однако и Джорджу не судьба занять вакансию — его героизм вызывает у Барта только насмешливую улыбку. В итоге все сводится к соперничеству за почетное звание Спасителя между Джорджем и самозванцем Гарольдом Бреем. Впрочем, и этот мотив вскоре иссякает, и в конце концов Барт вынужден поспешно завершить свой монументальный роман, оборвав все побочные сюжетные линии и сосредоточившись лишь на эволюции Джорджа. Она заключается в том, что вместо кредо «сдать — провалить» он принимает новый постулат — «открыть объятия», иными словами, забыть обо всех обидах прошлого и вновь образовать единый, «бесшовный» Университет. К этому тезису и сводится придуманный им «Новый курс наук». Мы расстаемся с Джорджем, когда ему исполнилось — как Христу к моменту казни — 33 года. На этом обрывается последняя лента: роман представляет собою серию магнитофонных записей исповеди Джорджа, перемежающихся перфокартами ЭВМЗФ, на которых содержится объективная информация.

В «Козлоюноше Джаилс» есть элементы настоящей сатиры, остроумные пародии и точные наблюдения над теми противоречиями, в которых безнадежно запутались «Западные факультеты». Это, несомненно, одна из самых критических по отношению к «массовому обществу» книг, созданных американским авангардом. Но не социально-критическими тенденциями определяется ведущая тональность романа, который, по сути, представляет собой доказательство абсурдности бытия и насущной необходимости в сугубо ироническом его осмыслении. Стихия «веселого нигилизма» поглотила автора, внушив ему совершенное безразличие к подлинным ценностям гуманизма, демократии, прогресса. И эта «тотальность» оставила на книге Барта особенно болезненный отпечаток.

А в итоге? В итоге «Козлоюноша Джаилс», как ни изобретателен Барт, придумывая все новые и новые комические ходы, как ни едки и точны иные его сатирические обобщения американской действительности, оказался в чем-то глубинном и

А. ЗВЕРЕВ
В ПОИСКАХ «МИФОТЕРАПИИ»

важнейшем сродни «комик-стрипс» — юмористическим полосам более чем умеренных еженедельников и остротам эстрадных конферансье, скрашивающим «среднему гражданину» вечер, но отнюдь не помогающим ему разобраться в хитросплетениях обстоятельств, которые определяют изо дня в день его жизнь. Целью сатирика не может быть подтрунивание надо всем на свете, сколь бы ни понаторел в этом отношении писатель. Как только из произведения исчезает серьезная общественная задача — в какой бы форме ни решал ее автор,— закономерности «массовой культуры» вступают в свои права, подчиняя себе и уродуя даже крупный сатирический талант.

Последняя книга Барта — сборник «прозы для печати, магнитофона, живого голоса» под названием «Заблудившись в комнате смеха» (1968) — удивила многих его критиков и почитателей. В отличие от всего написанного Бартом прежде книга не содержала цельных, завершенных произведений. Это сборник экспериментальных отрывков, в которых автор задается целью использовать непосредственно в тексте дополнительные оттенки и эмоциональную окрашенность, приобретаемые словом в процессе произнесения и артистического исполнения. Опыты Барта небезынтересны, но это — писательская лаборатория, и тот факт, что она выставлена на всеобщее обозрение, свидетельствует о несомненном творческом кризисе автора. Знакомясь с книгой, вспоминаешь мрачные прогнозы многих современных критиков Запада: литература либо растворится в «массовой культуре», либо погибнет в тенетах герметизма и гипертрофированной сложности. Кажется, творчество Барта подтверждает, насколько небеспочвенно такое предсказание. Впрочем, вряд ли могли иначе завершиться блуждания этого одаренного писателя по запутанным коридорам абсурдистских идей и художественных построений.

■

Барт, Хоукс, Берроуз — только наиболее примечательные фигуры в прозе американского авангарда последних лет. Поток этой прозы достаточно интенсивен и неоднороден. 60-е годы были временем известного подъема и для этого крыла американской литературы; здесь тоже была предпринята попытка художественной интерпретации некоторых важных закономерностей действительности, положения человека в «массовом обществе». По-своему такой поворот свидетельствует о внимании и писателей авангарда к острым, актуальным проблемам действительности. Но вместе с тем их опыт еще раз подтвердил: даже в тех случаях, когда писатель, стоящий на авангардистских позициях, обращается к конкретной социальной реальности своего времени, сама позиция, сам избранный угол зрения мешают ему видеть реальность во всей ее сложности и богатстве, заставляя его подчинить свою картину готовым, заданным пропорциям, воспринимать жизнь сквозь призму готовых, заданных идей, созвучных, а подчас и тождественных расхожим тезисам модернизма. И тогда «массовая культура», давно и прочно освоившая эти тезисы, подчиняет себе шаг за шагом и творчество писателей, их отстаивающих, и выхолащивает критическое содержание их книг.

Писатель и время

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

ЗАМЕТКИ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Составление, перевод с немецкого и примечания Е. КАЦЕВОЙ

В истории эстетической мысли Германии, больше чем в других странах, общие закономерности рождения и жизни произведений искусства наряду с философами и, так сказать, специалистами в области эстетики исследовали и открывали сами художники. Причем речь в этом случае идет не о том или ином «вторжении» талантливого или даже гениального мастера в неподведомственную ему область, а о равноправной последовательной работе, о создании своей полноценной эстетической теории.

Так, во многом близкая Канту эстетика Шиллера все же существует самостоятельно, отличается своими и драгоценными особенностями. И хотя эстетическая мысль Гёте и воплотилась в десятках отдельных статей, высказываний, писем, законченность и монументальность ее от этого не становятся меньше. Славная традиция эта с полной отчетливостью проявилась и в XX веке. На вопрос о том, где с наибольшей глубиной и убедительно воплощена в литературе Германии передовая эстетическая мысль, ответ может быть только один — в работах Иоганнеса Бехера и Бертольта Брехта.

Со многими работами Бехера, посвященными вопросам эстетики, определению основных черт реализма прошлых веков и социалистического реализма, советский читатель уже знаком[1]. Что же касается Брехта, то эта сторона творческой деятельности замечательного драматурга и поэта пока еще известна советскому читателю очень мало. Правда, кое-какие (и весьма важные) статьи и тезисы по теории драмы, а также и по общим вопросам социалистического реализма увидели свет в отдельных сборниках произведений Брехта, в последнем томе собрания его пьес, а также и в работах советских исследователей его творчества. Но *путь* Брехта-теоретика, формирование его эстетических взглядов, неотделимое от его художественной практики, впервые, хотя бы «пунктирно», показан в нашей публикации.

Статьи, тезисы, заметки, вошедшие в подборку, охватывают, в сущности, весь творческий путь Брехта. И он предстает перед читателем «многообразный и единый», от бунтаря 20-х годов, ниспровергающего все и вся, до строителя социалистической культуры, борца-антифашиста, великого диалектика в вопросах этики, эстетики, социологии — каким мы знали Брехта в последнее десятилетие его жизни. Литература о Брехте необозрима. Не говоря уже о том, что за последние примерно пятьдесят лет о нем писали и пишут на всех языках мира литераторы и театроведы, *облик* не только самого Брехта, но, если так можно сказать, и облик его творчества разных периодов сохранили нам статьи и воспоминания его современников и друзей — Бехера, Зегерс, Вольфа, Вайнерта, Штриттматтера. Однако среди драгоценных высказываний о Брехте художников слова я бы прежде

[1] См. И. Бехер. Любовь моя, поэзия. О литературе и искусстве. Составление, переводы и примечания Е. Кацевой. М., «Художественная литература», 1965.

де всего назвала статьи его многолетнего друга и соавтора Лиона Фейхтвангера. Первая статья этого старшего из друзей Брехта написана через несколько лет после состоявшегося знакомства, вторая — уже после смерти Брехта.

Несомненно, зоркий и умный взгляд Фейхтвангера сразу разглядел всю диалектическую сложность творческой личности двадцатилетнего «ниспровергателя», который принес ему свою пьесу «Барабаны в ночи» и тут же заявил, что написана она только ради денег. И когда Фейхтвангер по прочтении этой горькой истории солдата, вернувшегося с войны, отказался верить такому заявлению, Брехт очень обиделся и стал настойчиво повторять, что все сделано только ради денег. Двадцатилетнему «цинику» ужасно хотелось быть «нехорошим», «ниспровергателем», таким, как герой другой его юношеской пьесы, «Ваал»,— поэт-бунтарь, погибший из-за невозможности найти себе место среди буржуазных посредственностей. К великой чести Фейхтвангера, он сразу почувствовал глубокую народность этих непричесанных и неуклюжих «балладообразных» пьес, посягающих на незыблемые основы добропорядочности, скромности, приличия. И он оказался прав: потому что все «посягательства» раннего Брехта были первичной формой той «критики добра» — абстрактного, дистиллированного, вознесенного над историей и классовой борьбой, которую он и развернул в своей зрелой драматургии.

О впечатлении Фейхтвангера от встречи с Брехтом я вспоминаю здесь потому, что «сквозь» эти впечатления легче понять то строптивое и заносчивое ниспровергательство, каким отмечены статьи и заметки Брехта 20-х годов. Советский читатель, особенно зрелого возраста, в этих заметках почувствует и нечто весьма знакомое — сходство с не менее строптивыми и заносчивыми декларациями журнала «Леф»:

> Против старья озверев,—
> ищите «Леф».

Первые строчки этого стихотворения-рекламы, написанного В. Маяковским, невольно вспоминаются, когда читаешь заметки раннего Брехта.

Однако (так же как и журнал «Леф») Брехт зачисляет в «старье», в буржуазное «старье», не только то, что бесспорно к этой категории относится, но также и то, что к ней никакого отношения не имеет. Вот почему читатель имеет все основания солидаризироваться с той оценкой, которая в заметках дана «неистовому Казимиру» — Эдшмиду или Стефану Георге, но он, естественно, отвергнет выпады против Томаса и Генриха Маннов.

Но какими бы «загибами» ни грешил большой художник, руководимый тем «абстрактнейшим стремлением к новому, которое должно уже быть так ново, чтобы ни одного грана старины в нем не было» [1], он неизбежно (и к счастью) отойдет от этих абстракций в своем творчестве.

И здесь снова приходит на память история «Лефа» — и те «ножницы», которые возникли между лефовско-ортодоксальными теориями (наиболее рьяным пропагандистом которых был Чужак) и творческой практикой редактора журнала В. Маяковского.

«...но помните,— писал В. Маяковский Чужаку,— что цель нашего объединения — коммунистическое искусство (часть комкультуры и ком. вообще!), область еще смутная, не поддающаяся еще точному учету и теоретизированию, область, где практика, интуиция обгоняют часто головитейшего теоретика».

Брехт объединял «практика» и «головитейшего теоретика» в одном лице. Но если теоретик, воюя против «старья», пропагандировал монтаж, сборник документов или математически четкую сюжетность детективного романа, то практик — поэт и драматург — сложным путем, но неуклонно осуществлял задачу создания новых, революционных, культурных ценностей. Впрочем, практик часто виден и в заметках и в ответах на некоторые анкеты. Это он, практик, называет среди лучших книг года и действительно превосходный роман Самуэля Батлера, и «Улисса» Джойса — «незаменимое пособие для писателей». Очень актуально звучат сейчас и те заметки, которые посвящены девальвации лирики, сотням стихотворений, созданных (и представленных на конкурс) десятками (или сотнями?) поэтов, способных лишь (если применить определение Маяковского) чирикать, как перепел.

Не менее убедительны и строки, обращенные к молодым живописцам, которые подобно туповатым телятам тщетно ищут хоть одну травинку на давно уже вытоптанном лужку, вместо того чтобы двинуться с места на новые и тучные пастбища.

Много заметок, отрывков, статей 20-х годов посвящены вопросам творчества, причем — и это характерно для художника брехтовского направления и масштаба — вопросы чисто профессиональные, даже технологические нигде не отделимы от вопросов идейно-политических и философских.

На первом плане для Брехта всегда стоит «назначение поэта» — тот долг художника перед временем, народом, своим даром и своей профессией, который с такой силой и отчетливостью ощущает каждый достойный этого имени мастер. Причем Брехт в равной мере ощущает и всю тяжесть этого долга, и гордость за то, что ему дано право этот долг выполнить.

Брехт — интернационалист, демократ, художник социалистического реализма — уже из эмиграции так говорит о долге художника, и прежде всего немецкого художника: «...куда бы я ни смотрел, когда я смотрю несколько дальше того, где кончается этот Зунд, я вижу подвергнутых таким страданиям людей. Но когда уничтожена человечность, нет больше искусства. Соединять

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 401.

красивые слова — это не искусство. Как может искусство волновать людей, если его самого не волнуют судьбы людей? Если я сам отвернусь от людских страданий, могут ли человеческие сердца раскрыться моим сочинениям? И если я не стараюсь найти для них дорогу, выводящую из страданий, как им найти дорогу к моим сочинениям?»

Непосредственный повод для этих заметок — пьеса Брехта «Винтовки Тересы Каррар»: речь в ней идет о борьбе андалусской рыбачки против генералов, о войне республиканской Испании против фашизма испанского и иноземного. И это, говорит Брехт, «призыв к угнетенным восстать против угнетателей, во имя человечности. Ибо в такие времена человечность должна стать воинственной, чтобы не быть уничтоженной. И вместе с тем это письмо к рыбачке, заверяющее ее, что не все, кто говорит на немецком языке, держат сторону генералов и посылают в ее страну бомбы и танки. И письмо это я пишу от имени многих немцев по обе стороны немецких границ, от имени большинства немцев. В этом я уверен».

Такое же высокое понимание назначения художника, сжатое до формулы, дано в разделе заметок, посвященных изобразительному искусству. «Если вас спросят, коммунисты ли вы, хорошо бы, чтобы вы могли в подтверждение предъявить, как партийные билеты, ваши картины».

Как тут снова не вспомнить В. Маяковского:

Я подыму, как
большевистский
партбилет,
Все сто томов моих партийных книжек.

Сочетание в одном лице практика и теоретика делает особенно острыми и любопытными высказывания Брехта по поводу задач различных жанров литературы и искусства.

В частности, большое внимание (особенно в 30-е годы) уделяет он вопросам критики — ее целям, задачам. И это понятно: ведь одним из первых мероприятий доктора Геббельса в деле «идейного руководства» литературным процессом был запрет, наложенный на литературную и художественную критику как жанр (исключение делалось лишь для кратких и одобренных соответствующими инстанциями аннотаций). Думаю, что со своей точки зрения Геббельс был прав. Ведь литература и искусство даже в фашистском государстве все-таки так или иначе (пусть чаще всего в искаженном виде) отражают действительность. И здесь «злонамеренному лицу» — в форме ли критики, в форме ли преувеличенных похвал чему-нибудь явно негодному — открывалась возможность «колебать устои». Поэтому Брехт настойчиво требует *реалистической* критики, критики, сопоставляющей не литературу с литературой, а литературу с жизнью. Неоднократно возвращается Брехт в этой связи к критическим и литературоведческим работам Дьердя Лукача, настойчиво, хотя очень вежливо и деликатно, указывая, что романиста наших дней следует сопоставлять не с классиками критического реализма, а прежде всего с той сложной и многообразной реальностью нашего сегодня, с которой он имеет дело.

Резко возражая против нормативности перечня художественных средств, допустимых в искусстве (чем, по наблюдениям Брехта, грешит немалая часть критиков), Брехт приходит к общему и весьма важному выводу: «Критики, поступающие таким образом, заставляют меня подозревать, что они хотят получить не возможно более реалистические описания, то есть описания, соответствующие действительности, а что у них сложились совершенно определенные повествовательные и описательные формы, которым они хотели бы подчинить действительность. Литературу надо судить исходя не из литературы, а из действительности, например, из той части действительности, которую она показывает. Историю литературы не надо превращать в историю способов изображения мира...»

Конкретный пример, приведенный Брехтом,— реалистическая или внутрилитературная оценка романов Дос Пассоса — может быть, не очень понятен для современного читателя. Джон Дос Пассос — в свое время ультралевый писатель США, пустивший в оборот целый ассортимент новаторских и достаточно внешних приемов повествования,— был в 30-е годы весьма модным автором в Европе и Америке. Сейчас он в сильной мере забыт, и тот справедливый упрек в «абстрактно революционном утилитаризме», который делает ему Брехт, лишний раз свидетельствует о глубокой проницательности Брехта — художника и критика, потому что эти черты увели Дос Пассоса весьма далеко от путей революционного и прогрессивного искусства.

Вот этот Брехт — так сказать, мастер конкретной критики — также встает во весь рост со страниц набросков и заметок.

Так, определяя то единство таланта и жизненного опыта, которое и рождает неповторимость всего творчества, самого стиля Горького, Брехт говорит: «С этим несравненным (а потому трудно имитируемым) стилем Горького, выражающим его исключительную и неповторимую личность, связано его неслыханное влияние на читателя. Он превращает даже писателей в читателей — это большое дело...»

Если уже в начале 20-х годов среди оценок задорных и сознательно несправедливых вдруг как драгоценный камешек сверкнет тончайшая и глядящая в будущее оценка Стивенсона или Самуэля Батлера, то в пору зрелости, в 30, 40, 50-е годы, Брехт все глубже и тоньше оценивает творчество больших современников своих: Генриха Манна, Иоганнеса Бехера, Арнольда Цвейга, Карла Крауса и многих других, а также собственные свои работы и замыслы.

Любопытно, что все мысли, оценки, положения Брехта — критика и теоретика также устремлены в будущее, также нацелены на то, что рождается сегодня и наберет силу

лишь завтра, как и все его творчество. Именно эта черта и связывает воедино Брехта — драматурга, поэта, прозаика, теоретика и критика, бесспорного обладателя искусства «думать вперед».

Два замечательных современника Брехта — Иоганнес Бехер и Лион Фейхтвангер — сказали об этой особенности творчества и личности Брехта почти одинаковыми словами. Голос ушедшего друга, бойца, мастера и после его смерти звучит для них скорее из будущего, чем из прошлого.

И если Лион Фейхтвангер справедливо сказал о том, что «нетерпеливый художник Брехт создал первые стихи и первые пьесы тридцатого столетия», то и читатель и критик, знакомясь с Брехтом-теоретиком, тоже не оборачивается в прошлое, а скорее заглядывает в завтра.

Е. КНИПОВИЧ

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК. 1920—1929

О НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Мы, немцы, чересчур высокого мнения о своей серьезности, мы считаем, будто ее противоположностью является легкомыслие, а легкомыслие должно быть проклято. Другие народы придерживаются других точек зрения.

Мы убеждены, что юмор — плохой и слишком легкий способ справляться с обстоятельствами. Мы исходим из того, что обстоятельства всегда дают повод для забот, что мы подходим к ним правильно, и мы надеемся — нас будут принимать всерьез, если мы сами будем серьезны. Мы испытываем глубокое недоверие ко всему, что дается легко, мы сразу же решаем, что человек легкомысленный ставит ударение не на слове «мыслить», а на слове «легко» не потому, что человек этот умнее, а потому, что мыслит он хуже.

Есть народы, согласные с нами в том, что обстоятельства могут требовать серьезного подхода, более того, даже считающие необходимым принимать всерьез такие обстоятельства, которые мы считаем комичными (ибо у нас тяжеловесные представления о комичном, у нас юмор олицетворяют клоуны), и делают они это, думается мне, благодаря своему юмору.

Юмор — это чувство дистанции.

Я читал, что англичанину не приходит в голову настаивать на своих взглядах из принципа, если это не относится к делу. Мы привыкли сразу же аннексировать определенные точки зрения и затем радостно или, скорее, серьезно набрасываться на материал. Мы проглатываем вместе с колбасой шкурку, мы отключаем нос, когда речь идет о делах желудка. Отравившись же, мы виним бога, который создал и колбасы и желудки.

Наша литература поразительно беспринципна. У Киплинга или Гамсуна материал, равно как и точка зрения автора, совершенно различны, но за материалом явственно видна позиция человека, а человек тут главное. Он выражает свой взгляд, правильный или неверный, то есть отвечающий или не отвечающий нашему вкусу,— это человек, позволяющий нам встать над ним и наблюдать за ним в процессе писания.

Кажется, будто этот человек более серьезно относится к обстоятельствам, чем к себе.

Видит бог: нет ничего комичнее смертельной серьезности, которой сам себя наделяет, скажем, неистовый Казимир[1]. Даже комичность тех читателей, которые, со своей стороны, принимают его всерьез, его и его покрытую печатными знаками бумагу, не может полностью сравняться с его собственной комичностью. Этот мещанин сидит перед нами и, не сомневаясь в божественности своей ин- и транспирации, своего вдохновения и своего потения, левой рукой пристреливает каждого, кто осмеливается слегка ухмыльнуться над тем, что пишет его правая, над благоговением, которое испытывает бешеный Шмид к своей бумаге. Потому и кажется, что при чтении столь истинно немецкой книги всегда вдыхаешь вместо запаха клея запах пота, бараньего пота.

И это происходит из-за того, что мы решили: юмору место в преисподней — в то время как мы должны бы знать, что он управляет небесами.

Публикация составлена на основе двухтомного издания Bertolt Brecht. Schriften zur Literatur und Kunst. Berlin und Weimar. Aufbau-Verlag, 1966. Как сообщает в своем послесловии редактор этого издания Вернер Гехт, тексты двухтомника были отобраны из всех папок архива Брехта, содержащих его теоретические труды, а также отдельные заметки, наброски и т. п. Установить точную дату многих текстов не удалось. В этих случаях редактор объединял статьи и заметки по тематическому принципу и относил их к периоду, когда Брехт более интенсивно занимался той или иной проблемой. Заключенные в квадратные скобки названия даны редактором; в квадратные скобки заключены также слова, добавленные редактором; неразборчивые слова или неоконченные фразы заменены взятыми в квадратные скобки многоточиями.

[1] Имеется в виду Казимир Эдшмид (1890—1966) — немецкий писатель, один из вождей немецкого экспрессионизма. Эпитет «неистовый» взят здесь Брехтом из названия сборника новелл К. Эдшмида «Неистовая жизнь» («Das rasende Leben», 1916).

О СТИЛЕ

Вопрос о том, что пишет человек в десяти градусах тридцати пяти минутах и нескольких секундах восточной долготы от Гринвича и в определенном градусе широты сегодня в два часа пополудни, менее неприятен, чем вопрос, что пишет Курт Хиллер [1] и многие маленькие бойкие христосики. Было бы смешно над этим вопросом смеяться. Но есть хорошие и честные люди, странным образом относящиеся к литературе всерьез не только в исключительных случаях. И эти люди в один непрекрасный день из отвращения к литературе не захотят больше знать ничего также и об исключительных случаях. Это сократит ваши доходы. Я надеюсь, извинение с моей стороны в том, что я пишу об этих людях, вы сочтете столь же необходимым, как нахожу его необходимым я сам.

О ПИСАНИИ

Я обращаюсь к молодым людям, еще не столь испорченным, как я, который с утра снова будет писать, потому что я в плену этого порока, более коварного и разрушительного, чем морфинизм. Он овладел мною еще не полностью, у меня есть и другие пороки, почти столь же пагубные, я пишу только тогда, когда мне кажется, будто у меня возникла мысль,— пока еще не наоборот. Пока еще сами вещи для меня важнее, чем составление их каталога, пока еще меня не охватывает судорога, если мне что-то не дается, пока еще я хозяин самого себя. Я знаю, моя глотка лучше, чем мое пение, и вещи, которые я воспеваю, тоже лучше. Пока я еще не «должен» писать, подобно многим, которые писать ведь не м о г у т.

О ДАДАИЗМЕ

Одна из серьезнейших ошибок дадаистов в том, что они публикуют произведения, которые притворяются, будто возникли они непроизвольно и для наидействительнейшей действительности. Это производит неприятное впечатление.

Искусство во всех разновидностях озабочено душевным равновесием потребителей искусства. Укрепить или расшатать равновесие — такова честолюбивая цель искусства. Потребитель искусства, подчиняющийся знаменитому закону сохранения покоя, при всех обстоятельствах, сознательно или бессознательно, стремится оградить себя от нацеленных на это стараний. Поддержкой служит ему форма произведения. Но с исключительной (указанной выше) силой произведение искусства воздействует однократно.

Одни и те же уловки не могут воздействовать вторично. Потребитель искусства чаще всего невосприимчив к повторному вторжению новых идей, пользующихся уже известными, пусть и удачными средствами.

Возможно, это происходит потому, что первые произведения нового (для данного времени) жанра оставляют более глубокое впечатление, нежели более совершенные подражания, сохраняющиеся дольше. (Ибо форма у них сильнее.)

Если определять силу по ее воздействию, тогда дадаизм принадлежит к искусству. В нем одухотворенные усилия [...]

[Набросок]

[ЗАМЕТКИ БЕЗ НАЗВАНИЙ]

Временами меня пугает, что мои работы, может быть, слишком примитивны и старомодны или неуклюжи и недостаточно смелы. Я повсюду ищу новые формы и экспериментирую со своим ощущением, как и самые молодые. Но всякий раз я прихожу к выводу, что главное в искусстве — простота, величие и чувство, а главное в его форме — сдержанность. Сказано невыразительно, я знаю.

27 июня 1920

Мои самозародившиеся вещи отличаются от сконструированных своей зверской серьезностью. Обычно я вкладываю слишком много иронии, и из-за этого люди становятся чересчур добродушными: я не жду от них ничего злого. Я недооцениваю их. Это путь к спектаклю и оперетте. Не имеет значения, если люди в высшем смысле комичны, но серьезны, дельны или производят вблизи отталкивающее впечатление, они могут иметь и комичные черты, но тогда черты эти должны быть важны! Или же ландшафт, язык и философия поэта тоже должны иметь комичное содержание.

27 августа 1920

Я еще не созрел, чтобы писать роман. Для этого прежде всего необходим зрелый зад: дубленое седалище. И потом, надо устраивать жратвенные оргии

[1] Курт Хиллер (род. в 1885 г.) — писатель-анархист, основатель литературного клуба «Гну» (1911), издатель первой экспрессионистской антологии «Кондор» (1912), основатель и президент группы «революционных пацифистов» (1926—1933).

для всех органов чувств, нужно накормить глаза, пальцы, нос. Основные опорные пункты — простые описания событий и положений, извлекающие из них самое сокровенное, радость, доставляемая предметностью (а не проблемностью!). Это не для нетерпеливых лакомок и торопливых путешественников по сюжету!

30 августа 1920

Я читаю «Фигуры» П. Виглера[1], отличную книгу с оттенками и множеством материала. Я выуживаю слова и краски, они плавают там стаями. Я должен снова писать псалмы. Рифмовка так задерживает. Не все должно петься под гитару!

31 августа 1920

Ночью закончил «Пьяный лес поет хорал», последнюю строфу. Хорошая работа. Пусть черт поберет благоразумие! Слова имеют свою собственную душу. Есть слова прожорливые, тщеславные, хитрые, упрямые и пошлые. Нужно основать Армию Спасения, чтобы спасти их от греха, они так погрязли в нем. Нужно наставить их на путь истины, каждое в отдельности, перед всем народом, и повлечь их за собой и показать всему народу. Не надо делать их тщеславными, это начало конца, так уже было однажды; нужно только сделать их ответственными и взвалить на них груз, тогда они встанут на ноги и оживут. Они не ширмы у кроватей, где зачинают жизнь. Они не лакеи идей, но их возлюбленные, их иронические возлюбленные. Иные из них лишь антрепренеры. Некоторые следовало бы расстрелять по приговору военно-полевого суда, объявить вне закона, прикончить на месте; в особенности те, что заключают смешанные браки, или живут в плохой компании, или не дают себя похоронить, пока они еще пользуются спросом. Создадим трибуналы для слов!

31 августа 1920

В аранжировке моих стихов мне видится пример Родена, который хотел поставить своих «Граждан Кале» на базарной площади, на таком низком цоколе, чтобы живые граждане не были меньше их. Мифические граждане стояли бы посреди них, прощаясь с ними в их среде. Пусть стоят так и стихи посреди людей.

1 сентября 1920

ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЫМ ХУДОЖНИКАМ

Я побывал на нескольких выставках и взял на себя труд выдержать ваше убожество, и я подумал: не имеет значения, если они тут подохнут, можно дать им еще пинка. Но потом мне пришло на ум большое число тех, что не разжиреют на трупе, огромное количество глаз, что не насытятся, мозги, что не успокоятся или взволнуются, как то должно быть, и я уговорил себя простить вас.

Я вижу вас пасущимися на маленьком участке, где больше не растет ни один стебелек,— большие, глупые, мычащие телята, вы готовы скорее переделать свои желудки и кишечные тракты, чем позволить вырасти здесь новой траве, которую вы множеством своих копыт уничтожаете еще в зародыше. Вы охотнее согласитесь жрать воздух либо стать растениеподобными чудищами, чем покинуть участок, на котором умерли ваши матери, чтобы и впредь отравлять его своим тлетворным духом.

Я не говорю, что старые мастера работали плохо или не выполняли своей задачи. Я только думаю, они выполнили свою задачу столь полно, что вам должно быть стыдно искать все время другой ответ на старые вопросы, вместо того чтобы ставить новые вопросы.

Конечно, это неприятно — быть вынужденными постоянно видеть все луга зелеными только потому, что мои родители решили: они должны быть зелеными. Это мило с вашей стороны, что вы рисуете их голубыми или белыми, но мне кажется: этого недостаточно. (Удары кулаком лучше, чем скука, потому что скука хуже всего на свете.) Я рекомендую вам нечто противоположное.

Изображайте наши привычки. Веками вы изображали привычки тех, кого вы рисовали. Ваша последняя мода: изображать свои собственные привычки. (Результаты были красноречивыми — для врача и для мазохиста!) Я советую: изображайте привычки тех, кто должен глядеть на ваши картины.

Я не знаю, кто из вас хочет удовлетворить лишь себя самого, а не публику или *также* и публику. (Ему я принесу Евангелие.) Всем другим я принесу (также) Евангелие: ибо, если делаешь то, чего не можешь не делать, подобает знать, что не можешь не делать этого.

И если вы, стало быть, рисуете барственность, зрителю подобает знать, что он *не может* не выпятить грудь и не задрать голову.

Я швыряю вам историю: жрите ее, ребята! Но не проглотите вместе с нею свои собственные зубы!

Когда я думаю о том, что сделал Киплинг для нации, которая «цивилизовала» мир, я прихожу к эпохальному открытию, что, собственно, никто еще не описал боль-

[1] Пауль Виглер (1878—1949) — немецкий писатель и историк литературы.

шой город как джунгли. Где его герои, его колонизаторы, его жертвы? Враждебность большого города, его коварная, каменная консистенция, его вавилонская мешанина языков — короче: его поэзия еще не создана.

11 сентября 1921

МЕССИАНСКАЯ ВЕРА В ЛИТЕРАТУРЕ

Чтобы меня лучше поняли, я хочу выразиться несколько гуманно: из моих противников буржуазия меня совершенно не интересует — несмотря на ее старания. Напротив, меня интересует пролетариат — несмотря на его равнодушие.

Для ужасающей дыры в «духовной» истории буржуазии мы, во всяком случае, не служили и не служим заплатой. Ее и не залатать уже, и если назвать наименьшую роль, которая нам достается, то это забота о том, чтобы еще больше увеличить дыру. Вся безыдейная и отчаявшаяся чернь еще до своего заката поймет, что, если существует безусловный критерий новизны идеи,— он в том, что разложившаяся буржуазия не может ее понять.

Примерно 1926

[МАЛЕНЬКАЯ ЗАМЕТКА]

Марксисты — единственные, кто дает ответ на вопросы типа: «Чего ты хочешь достигнуть своим романом?».

Перефразировка: какой перемены в поведении читателей ты хотел бы достигнуть?

Конец 20-х годов

О СТАРОМ И НОВОМ ИСКУССТВЕ. 1920—1933

Искусство должно воссоздавать вещь в себе, непостижимую.

Но искусство не должно изображать вещи ни само собой разумеющимися (вызывая эмоциональный отклик), ни непостижимыми, а постижимыми, но еще не постигнутыми.

[ОТНОШЕНИЕ К МИРУ]

Отношение человека к миру должно быть по возможности литераторским. Любой человек менее изнеженного рода наверняка смеется над породой, которая столь захирела, что литературные способности считаются у нее изъяном характера. Все великие люди были литераторами.

ВЕРНЕМСЯ К ДЕТЕКТИВНЫМ РОМАНАМ!

1

ДАМЫ ДВУХ ПОЛОВ

На мой взгляд, к достоинствам северной литературы относится то, что при чтении книги можно сразу определить, кто ее автор — мужчина или женщина. Разве это приятно, когда после чтения «Иерусалима» [1] и «Будденброков» решаешь, что эти книги написаны женщинами, а потом узнаешь, что в случае с «Иерусалимом» ты прав, а с «Будденброками» — нет? Даже тогда, когда считаешь авторами немецких книг последних десятилетий мужчин, случается, что абсолютно похоже написанные книги тоже приписываешь мужчинам, скажем, «Голову» [2] и «Конические сечения бога». Определить пол автора в Германии возможно только в том случае, если к книге приложена фотография. Обратимся к детективным романам.

2

ЗЛОКОЗНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Боюсь, это дурно с моей стороны — рекомендовать читателю изучать состояние, в котором человек пишет книгу. Возьмем пример, отнюдь не позволяющий определить всего значения этой мысли: никакой деталью и никаким иным трюком Томас Манн не сможет убедить меня, что он, например, в своей «Волшебной горе» (что касается материала) чувствует себя, как дома. Потому мне так подозрительна эта дешевая ирония. В поте лица тут кто-то придумывает сплошь вещи, над которыми он

[1] Роман шведской писательницы Сельмы Лагерлёф (1858—1940).
[2] Роман Генриха Манна (1925).

может иронически посмеиваться. Прежде чем что бы то ни было оказалось на бумаге, этот господин уже раз и навсегда ироничен. Я способен оценить метод. Я бы с удовольствием наблюдал, как кто-нибудь из нас, чтобы воссоздать, к примеру, сцену смерти, расставит вокруг смертного ложа несколько маленьких аппаратов, звукозаписывающий, фотографический и так далее, и потом иронически составит вместе свои снимки, но во мне зарождается негодование, когда я вижу, что кто-то ищет для своих аппаратов нечто ироническое и потом думает, что его смелость, выразившаяся в использовании с этой целью сцены смерти, уже обеспечивает ему место в истории литературы (где, кстати, непременно должны занять место его аппараты). Вернемся спокойно к детективным романам!

3

ОВАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ

Когда собираются вместе несколько мужчин, почти всегда, при очень, кстати, благотворном воздействии алкоголя и табака, возникает литература. Так бывает, когда вместе сидят, скажем, люди типа Эльвестада[1] и Геллера[2]. Я ничего дурного не хочу сказать. Прежде всего потому, что при этом получается очень хорошая литература. Литература для взрослых. Как писатель, я, потрясенный, наблюдал из ряда вон выходящие чествования и еще более из ряда вон выходящие меры предосторожности, которые сочла необходимыми столица одного 60-миллионного народа, когда она доставила для возведения в высочайший сан рейха одного очень старого человека, чьему утверждению, будто со школьных времен он не прочитал ни одной книги, всякий мог поверить[3]. Я полностью присоединяюсь к чествованиям этого старца: нам следовало бы иметь меньше книг, которые нельзя было бы прочитать до конца своих школьных лет. От двадцати до восьмидесяти лет человек наших широт вынужден обходиться той литературой, которая возникает, при очень, кстати, благотворном воздействии алкоголя и табака, когда собираются вместе двое мужчин. Итак, обратимся, наконец, к детективным романам!

4

ЧТО ТАКОЕ ПИСАТЕЛЬ!

Противоестественно ли любить в книгах запах клея и типографской краски? Тот, кто умеет воссоздавать этот запах, тот писатель. Что же касается поведения при писании: разве не достойно удивления, если человек может вынести столько алкоголя, что из него выходит нечто столь трезвое и достоверное, когда он пьян? Вернемся попросту к детективным романам!

5

НАДО ИМЕТЬ УДАЧУ

Литературу другого рода человек может создавать только в том случае, если ему сопутствует удача. Стендаль, например. Он нашел языковую схему, более прочную, чем многие другие. То был язык Наполеона. Это продолжалось только десять лет. Камни, которыми он мостил свои дороги и которые неразрушимы, можно было получить только в течение десяти лет. Великие времена, когда господствовали литераторы (масштаба Наполеона), довольно редки. Вернемся к детективным романам!

6

ГИНЕКОЛОГИЯ

Если конструкция становится тем хуже, чем больше ее шлифуют, это свидетельствует о плохом языковом материале. Если конструкция становится тем живее, чем больше ее шлифуют, это свидетельствует о хорошем материале. Всякая мысль, которую записывают на этом исковерканном столетиями слабоволия и лакейства немецком языке, портится тщательной стилизацией. В области языка у нас то же, что и в гинекологии (имеется в виду врачебная практика в деревне). Если не удается извлечь ребенка сразу же, при первом накладывании щипцов, тогда уж лучше ему сразу раздавить голову. И ведь действительно лучше оформить одну мысль, чем инвестировать в форму всю работу мысли. Вернемся к детективным романам!

---

[1] Свен Эльвестад (1884—1934) — норвежский писатель, один из создателей детективной литературы в Норвегии.

[2] Роберт Геллер (1812—1871) — немецкий писатель, автор полных выдумок исторических и экзотических романов.

[3] Имеется в виду генерал-фельдмаршал Пауль Гинденбург (1847—1934), ставший в 1925 г. президентом Германии.

ЕДИНСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Детективные романы — для меня единственный повод нападать на литературу. Вернемся к ним!

2 апреля 1926

[ФРАЗУ КАКОГО СТИЛЯ ВЫ НЕНАВИДИТЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО!]

[ОТВЕТ НА АНКЕТУ]

Фраз, заслуживающих ненависть, легион. Было бы неправильно выудить одну из них.

Следовало бы издать энциклопедию, Черную книгу фразы. Сюда нужно было бы навечно занести такие фразеологические обороты, как «гибель западной культуры», «фильм как чисто техническое явление», «американский бизнес», «молодое поэтическое поколение как буферное государство между двумя воюющими классами критиков», и так далее.

21 мая 1926

[ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ ХАЛТУРОЙ!]

[ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ]

Глубокоуважаемые господа, для того чтобы получить от меня более или менее исчерпывающую справку о том, что я считаю халтурой, вы должны были бы, даже если б я ог[раничился] только областью литературы, предоставить мне для простого перечня имен и статей несколько номеров вашей газеты от начала до конца, на что мне действительно трудно претендовать. Чтобы дать вам слабое представление об объеме подобного труда: мне пришлось бы обработать и включить почти всего Кюршнера[1]. При этом вряд ли можно было бы обойтись без некоторой жестокости, и я должен был бы разоблачить как халтуру целый ряд вещей, от пользования которыми сам не хотел бы отказаться. Итак, главным образом во избежание несправедливости, приведу только о д и н пример в доказательство того, что нельзя все бросать в один горшок, даже если горшок этот — халтура; если я скажу, что Франц Верфель[2] это халтура, тогда я д о л ж е н согласиться, что и Эдгар Уоллес — халтура. (Но это в крайнем случае может удержать меня от чтения Верфеля. Великого же Уоллеса я все равно не отдам!)

С совершеннейшим почтением.

P. S. Если вы все же сможете предоставить по меньшей мере один номер для моего перечня имен, то прошу вас просто перепечатать весь том Кюршнера. Те несколько имен, которые мы вычеркнем, я смогу вам передать в трехминутном разговоре по телефону.

СЛОВА, ОБРАЩЕННЫЕ К СТАРОМУ

Что пользы, если мы «объяснимся»? Наше единственное спасение в том, чтобы перестать понимать весь тот упорядоченный хлам, который мог беспрепятственно нагромождаться в течение по меньшей мере столетия. Что пользы, если нам позволят вносить отдельные коррективы? Поистине, эти произведения уже не имеют даже силы проявить другую позицию, кроме как просто позицию разума! Из-за присущей им неслыханной докучливости они порождают в своих противниках неодолимую л е н ь! Я еще могу понять, почему, например, ни в одной пьесе Геббеля[3] ум человека, наделенного чувством юмора, жаждущего познать других людей, не может действовать свободно, но я не могу посвятить себя попыткам найти другое решение этих никчемных вопросов. Мы едва замечаем возможные преимущества формального мастерства, ибо нас самих интересует только создание таких «ключей к форме», которые могли бы открыть доступ к новому материалу! А эти старые люди пользуются формами, настолько эмансипировавшимися от своего первоначального назначения, что великолепнейший материал ни для чего лучшего, кроме как для успеха книг, не годится. Нельзя требовать от меня, чтобы я понял «Волшебную гору»! Я вижу в ней, среди другого материала, зараженное легкое одной части человеческого рода, и я, прежде чем сказать что-нибудь об этой, подражающей античности, власти, управляющей населением больших городов, [...] уже полон решимости ни в коем случае не допустить, чтобы тут более чем на двух страницах изображались заботы буржуазии о том, как бы извлечь из этой болезни немножко жизнерадостности! С самого начала я ничего не понимаю. Ни побуждений этого молодого человека, подобного коему я никогда не видел или никогда не хотел бы видеть, ни того, почему та точно описанная (или, вернее, расписанная) женщина называется автором обольстительной, и прежде всего я никак не могу понять, почему автора все время интересует именно э т а сторона дела!

---

[1] Йозеф Кюршнер (1853—1902) — немецкий лексикограф, издатель «Немецкого литературного календаря» и других справочников

[2] Франц Верфель (1890—1945) — австрийский писатель.

[3] Кристиан Фридрих Геббель (1813—1863) — немецкий поэт и драматург, автор трагедий на исторические и современные темы.

[ЛИРИЧЕСКИЙ КОНКУРС. 1927]

1

[НАБРОСОК ДОКЛАДА О МОЛОДЫХ ЛИРИКАХ]

В борделе матушки Годдам в Мэндлае
Семь дощатых лож у зеленого моря.
Проклятье, а не заведение!
Вот уже пятнадцать стоят вдоль
дощатого ряда,
В руке часы и — давай-давай.
Разве только *один* человек есть
в Мэндлае?

«Зонг о Мэндлае».

Чувствую, я должен выразиться вежливо: при чтении груды лирики, которую мне доставила домой газета «Литерарише вельт», у меня сложилось впечатление, что ныне каждый немец может написать стихотворение. Вот чего нам посчастливилось добиться! Изначальная несчастная склонность, тяга к умствованию, способность быстро обижаться, потом снова все счесть прекрасным. Остальное довершило последовательно, в течение целого столетия, осуществляемое неправильное воспитание. Чувствую, я должен встретить этих людей громким язвительным смехом. Эту груду объединяет марка «Молодежь»? Ладно, я облегчу себе дело. После беглого холодного взгляда на груду старой лирики (от «Глаз, его милых окошечек» до истории миски, которую уронила одна добросердечная служанка) я со вставшими дыбом волосами увидел тут... новую груду. Этим людям следовало бы сперва пройти военную службу.

КРАТКИЙ ДОКЛАД О 400 (ЧЕТЫРЕХСТАХ) ЛИРИКАХ

Должен признать, что, согласившись разобраться в груде новейшей лирики, я поступил легкомысленно. В общем-то, если отвлечься от моей собственной продукции (что легко сделать), я никогда особенно не интересовался лирикой. Мои потребности, так же как и других людей, легко удовлетворялись школьными хрестоматиями, то есть произведениями типа от «Кто хочет в солдаты» до «Превознося прекрасными речами» и, может быть, еще «Кони Гравелотта». Итак, я могу сказать о себе самом, что судить о том, что сделали люди, по-моему, может каждый человек, следующий своему разуму в главном, даже если он не до конца последователен в частностях. А как раз лирика должна несомненно быть чем-то таким, чью потребительную стоимость можно определить сразу.

Теперь я знаю, что целой груде весьма прославленной лирики нет дела до того, можно ли ею пользоваться. Последняя эпоха им- и экспрессионизма (то есть «печатного искусства», чьи дни сочтены) создавала стихотворения, содержание которых составляли красивые картинки и благоухающие слова. Среди них есть определенные удачи, вещи, которые нельзя петь, которыми нельзя никого угостить, и тем не менее кое-что собой представляющие. Но, кроме нескольких таких исключений, подобная «чисто» лирическая продукция переоценивается. Она просто слишком отошла от первоначального стремления обнародовать мысль или передать ощущение, важное и для постороннего. Всем хорошим стихам присуща ценность документа. В них отражена манера речи автора, человека значительного. Я должен признаться здесь, что я невысокого мнения о лирике Рильке (в остальном действительно хорошем человеке), Стефана Георге и Верфеля, потому что тем самым я наилучшим и радикальнейшим способом могу информировать читателя о своей неспособности судить произведения этого или подобного рода.

Редакция получила более пятисот стихотворений, и я хочу сразу сказать, что ни одно из них я не могу назвать по-настоящему хорошим. Я, конечно, всегда знал, что каждый мало-мальски нормальный немец может написать стихотворение, и это нисколько не свидетельствует против всех остальных. Но что гораздо хуже: я здесь узнал породу молодежи, от знакомства с которой я отказался бы и много выиграл бы при этом. Таким образом, я заинтересован в том, чтобы скрыть самый факт ее существования. Какой смысл публиковать в пропагандистских целях фотографии больших городов, если в нашем непосредственном окружении мы видим буржуазный молодняк, существование которого можно одними этими фотографиями полностью опровергнуть? Какой смысл уничтожать несколько поколений вредных пожилых людей или, лучше, пожелать их уничтожения, если младшее поколение будет безобидным, не более того? Ввиду неописуемой личной малоценности этих людей моего возраста нельзя было бы даже рассчитывать извлечь что-нибудь из столкновения человека подобного рода с любой действительностью; даже целительным язвительным смехом их нельзя было бы излечить от их собственных или позаимствованных у названных выше образцов сентиментальности, фальшивости и оторванности от жизни. Это ведь опять все те же тихие, благородные, мечтательные люди, чувствительная часть потрепанной буржуазии, с которой я не хочу иметь никакого дела!

Вероятно, никто не поймет, зачем мне понадобилось это горькое введение, чтобы внести теперь свое предложение перепечатать один зонг, который я нашел в газете, посвященной велоспорту. Не знаю, понравится ли он каждому читателю, я же, во вся-

ком случае, чтобы показать свою добросовестность, раздобыл себе его оригинал и фотографию его автора. Объект этого зонга «Hei Hei The Iron Man!» [1] Ганнеса Кюппера весьма привлекательный, а именно — чемпион шестидневной гонки Реджи Макнамара; зонг довольно прост, при желании годится для пения, это лучшее из всего, что его автор сумел сочинить, и он представляет собой, по крайней мере для меня, определенную документальную ценность. Я советую Кюпперу изготовить несколько зонгов подобного типа, и я советую общественности подбодрить его неприятием их.

3

[НИ ПОЛЕЗНО, НИ КРАСИВО]

Когда я на днях прочитал в одном отлично редактируемом литературном приложении к газете заметку о моем вотуме в лирическом конкурсе, меня тотчас объяло чувство, будто теперь мне не отвертеться. Меня застигли на том, что к груде, состоявшей из более пятисот лирических поделок, я подошел с точки зрения полезности. Я действительно заявил, что чушь, которую мне пришлось прочитать, представляется мне совершенно бесполезной, и я сделал вид, будто все, что поставляется определенным направлением, я пропущу только в том случае, если оно будет иметь прямую, осязаемую, по мне пусть грубую, но пользу. Направление это было буржуазным, и для того чтобы читатель мог при этом что-то представить себе, я немножко продолжил прямую и привел имена Рильке, Стефана Георге и Верфеля. Ничего прямо и бесспорно полезного из произведений всех этих людей я не хотел пропустить. Уж не знаю, поверят ли мне, что я не меньше других наслышан о том, что в искусстве есть ценности, так сказать, совершенно бесполезные,— это особенно легко доказать с помощью понятий, в которых нет недостатка. Хочу сказать без обиняков: на самом деле я не думал, что имеет смысл полностью сбросить со счетов поименованных трех и обойденных молчанием четырехсот человек. Это поколение не имело возможности, словно парадный конь, погрузить публику в блаженное состояние чистого созерцания. Напротив, я считал необходимым потребовать от этого поколения, чтобы оно не упустило никакой возможности быть полезным. Я не собираюсь возлагать на Стефана Георге ответственность за мировую войну. Но я не вижу, на каком основании он себя изолировал от нее. Я думаю, этот наивный мудрец хотел показать всем единомышленникам, что ни единому из них не сравниться с ним. После беглого исследования его эстетической ценности я вынужден был прийти к выводу, что от него можно было бы потребовать полицейских услуг. А полицейскому не пристала позиция человека, наслаждающегося своим местом в центре широкоразветвленных преступлений. Полицейский существует не для того, чтобы просто регистрировать на своем лице выражение определенных противоречивых чувств. Короче говоря: все эти люди, о которых следует говорить совершенно спокойно и без набожного благоговения, не имеют никакой эстетической ценности и должны работать.

После того как я все это отметил, я готов пойти дальше. Я утверждаю, что почти вся поэзия хиреющей буржуазии, особенно наиболее представительная ее часть, слишком проникнута тенденцией классовой борьбы, чтобы она могла создавать чисто эстетические ценности. Даже если тот, кто в завершение этой интересной эпохи решит отделить плевелы от пшеницы, будет не марксистом, он, сколь бы странно это сегодня ни звучало, вряд ли вообще сможет понять поэзию Стефана Георге, Рильке или Верфеля (и вдобавок почти всех других), если не будет рассматривать ее как манифесты классовой борьбы. Отражение стада овец в ясных глазах человека, обладающего великим характером, пение певца, наслаждающегося собственным голосом, может иметь большую ценность. Но у этих людей нет ни ясных глаз, ни красивых голосов. И решительно никакого характера. Это владельцы овечьих стад или люди, вследствие душевной сверхзанятости отказывающиеся от овечьих стад.

Известная легкость тона, с которым я это утверждаю, не должна вводить в заблуждение относительно серьезности подхода. Но мне, как и всем, кто сегодня честно пишет о подобных вещах, неприятно быть захваченным врасплох при слишком серьезном рассмотрении несерьезных вещей. В таком духовном окружении, как это, было бы смешно патетически жаловаться на то, что дождевые зонты пропускают воду. Остаток веселости, который я сохранил, почерпнут не из рассмотрения подобных предметов.

1927

ЛИРИКА КАК ВЫРАЖЕНИЕ

Когда лирику называют выражением, надо знать, что такое название односторонне. В ней выражают себя индивидуумы, и классы выражают себя, в ней находят свое выражение эпохи и страсти, в конце концов в ней выражает себя «и просто человек». Когда выражают себя друг перед другом банкиры или политики, тогда известно, что они при этом действуют; даже когда больной выражает свою боль, он тем самым подает еще и знаки врачу или окружающим, то есть и действует, но, говоря о лириках, полагают, что они дают лишь чистое выражение, что их действие заключается лишь в выражении,

[1] Гей! Гей! Железный человек! *(Англ.)*

что их намерением может быть только выражение самих себя. Когда же сталкиваются с документами, свидетельствующими, что тот или иной лирик боролся так же, как и другие люди, пусть и на свой лад, тогда говорят — да, в его лирике и выразилась эта борьба. Говорят также, тот или иной поэт пережил нечто плохое, но его страдания нашли прекрасное выражение, и потому надо возблагодарить его страдания, они послужили во благо, они дали ему возможность хорошо выразить себя. Когда он формулировал свои страдания, он извлекал из них пользу, возможно, частично облегчал их себе. Страдания прошли, стихи остались, говорят хитровато и потирают руки. Ну, а если страдания не прошли? Если они тоже остались, пусть не для того, кто пел, но для тех, кто не умеет петь? На этот случай есть еще другие стихи, описывающие, скажем, дождливый день или поле тюльпанов, и, читая либо слушая их, люди поддаются настроению, вызываемому дождливым днем или полем тюльпанов, это значит — если созерцают дождливый день или поле тюльпанов без соответствующего настроения, то стихи навевают это настроение. Благодаря этому человек стал лучше, более способным к наслаждению, более тонко чувствующим, и когда-нибудь где-нибудь это как-нибудь скажется.

ОТВЕТ НА АНКЕТУ О ЛУЧШИХ КНИГАХ ГОДА [1928]

1. Роман Джеймса Джойса «Улисс»; потому что, по мнению Дёблина, он изменил положение романа и как собрание различных методов наблюдения (введение внутреннего монолога и так далее) представляет собой незаменимое справочное пособие для писателей.

2. Книга «По ту сторону гор» Самуэля Батлера — из-за его важных умозаключений о государстве. (Кроме того, потому, что обычной, тупоумной форме нашего романа, прототипом которого является, например, «Дело Маурициуса» Вассермана, он противопоставляет более новую, более честную и более умную форму. Далее, потому, что он снимает обычный привкус, оставляемый поделкой Уэллса «Мир Уильяма Клиссольда», этой чудовищной коллекцией псевдофилософских банальностей, написанных в ложнообъективном стиле, которая поучительна респектабельной глупостью воззрений среднего англичанина.)

3. Рюле, биография Маркса[1] — из-за ее ясного изложения великого учения. (Ввиду важности этой попытки ни в коем случае нельзя отказаться от этой книги из-за одного, как мне кажется, модного отступления в вульгарную биологию: применения нелепой «человеческой» теории салонного историка Эмиля Людвига.)

4. Маленькая брошюра «Измена Народному театру» Иеринга — потому что она представляет собой попытку рассмотреть театр как общественное дело и воздействовать на него.

(Как развлекательная литература — может быть, «Титан» Драйзера и «Темные корабли» Томаса.)[2]

[ЗАМЕТКИ О ПИСАТЕЛЬСКОЙ ТЕХНИКЕ]

[УДОВОЛЬСТВИЕ, ДОСТАВЛЯЕМОЕ ПИСАНИЕМ]

Самое главное для писателя — безжалостно искоренять определенного рода настроенность. Когда он пишет о Сарданапале, мало пользы, если он будет испытывать чувство, будто сидит среди ассирийских изображений,— лучше для него, если он будет испытывать чувство, что он сидит перед бумагой. Удовольствие ему должно доставлять само писание. Сильную мысль можно передать достаточно действенно при минимуме настроенности. От чувства требуется только, чтобы оно однажды было испытано, а память об испытанном чувстве — важнейшая часть писательской техники. Желание облегчить себе дело, не упуская ничего ценного, больше способствовало наступлению периодов расцвета, нежели желание людей, воспринимающих само писание как неприятную часть производства, быть оригинальными и доскональными.

ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ

Попытка представлять людей мудрыми или глупыми, предприимчивыми или фаталистами, сильными или слабыми и так далее ни к чему не приводит. Но бывают люди, в чьей жизни эти «противоположности» играют роль. Бывают натуры, чьи действия могут быть мудрыми или глупыми, от чего и зависит их результат. Что касается верности, например, то я как раз не думаю, что [...] тот, кому сохраняют верность, может иметь другую функцию, кроме как представлять собой объект верности, так же как сука представляет для кобеля возможность любви.

---

[1] Отто Рюле. Маркс. Жизнь и творчество. Изд-во «Авалун», 1928.

[2] В октябре того же года, отвечая на аналогичную анкету берлинского журнала «Die Dame», Брехт написал: «Вы будете смеяться: Библия».

[ИСКУШЕНИЯ]

Ведь каждый писатель испытывает искушения, и лучше включить их в книгу, чем отогнать.

Что касается чернильного пятна в Вартбурге, разве не лучше было бы, если бы Лютер, вместо того чтобы бросить чернильницу в черта, использовал чернила для описания того, как черт мешал ему при переводе Библии?

О МАНЕРЕ ПИСЬМА, ПОСТРОЕННОЙ НА РЕАКЦИЯХ

Далее делается попытка найти такую точку зрения, с которой на определенный образ действий литератора можно взглянуть, не занимаясь результатами этого образа действий, что в данный момент бесполезно и потребовало бы напрасной затраты сил. Подразумеваемый образ действий литератора это такой образ действий, при котором не занимаются никаким делом, не связанным с писанием, а только тем, чтобы создать в сознании читающего определенную личность, а именно — личность пишущего. Метод этого рода литераторов состоит в том, чтобы личность, сперва для них самих неясную и неопределенную, делать все более ясной, всячески заставляя ее реагировать на другие личности или актуальные ситуации. Видя этот тип литераторов, так сказать, во всех жизненных положениях, получая к каждому блюду, которое он все равно ест, более или менее бесплатно приправу этих литераторов, читатель должен привыкнуть постигнуть их как совершенно определенное неповторимое и драгоценное живое существо. Манера письма, используемая для такого создания литературной личности, построена на реакциях.

МАТЕРИЯ И СТИЛЬ

1) Большинство осознанных буржуазных «стилей» как две капли воды похожи на всем нам памятные ежегодные празднования победы под Седаном[1]. Они являются повторениями торжеств победы, которые некогда праздновались над материей (то есть ныне празднуются не прежние победы, а прежние торжества). «Празднующие» с удовольствием забыли, что побежденная материя тем временем оправилась от своего «поражения».

2) Победа человека над скотом была достигнута до введения боя быков. Буржуазный стилист упражняет свою руку, чтобы убивать быка, которого предоставляют ему ради увеселения зрителей люди, желающие получить деньги зрителей. Настоящие бои происходят в «стиле», не похожем на «стиль» этого стилиста. Ведь материя (разумеется, включая ее духовные эквиваленты) — страшная противница: в бою она, подобно мифологическим богам, меняет свой облик, она не придерживается никаких правил игры и, главное, не знает усталости. Она сразу же бросается на того, кто ее увидел. Великие стили борьбы — это оборонительные стили. (Против противника, наступающего «со всех сторон».)

ТЕЗИС О ПЕРЕМЕНЕ СТИЛЯ

Если пишущий рассматривает вещи, о которых он пишет, во взаимосвязи с вещами, о которых он не пишет, тогда он легко узнает меру их важности. Каждый пишущий знает, как опасно слишком много размышлять над какой-нибудь вещью. Ибо это означает слишком мало размышлять над другими вещами, взаимосвязанными с той вещью. Конечно, «мера вещей» определяется их назначением. Дух не в силах сделать материю в ее массе более значительной. Мелкая материя требует малого стиля. Потому необходимо, чтобы писатель владел несколькими стилями. (Конечно, утонченный стиль не должен «спасать» банальный материал, как то часто происходит у нас. Материал, который нужно спасать, требует стиля, который нужно уничтожить.)

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ЕЩЕ ХАРАКТЕРЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО РОМАНИСТА?

Старый роман, который не так стар, чтобы его сегодня уже не читали и не писали, или, вернее: роман, похожий на старые романы, изображает определенных людей с совершенно определенными свойствами характера, попадающих в интересные ситуации, в которых они как раз и проявляют свои свойства, свой характер, утверждают себя как характеры. При этом бывают романы, где характеры переданы главным образом тем, как они реагируют, и такие, где они больше действуют, то есть являются хозяевами своего положения, творцами ситуаций. Бывают и романы, где оба эти элемента так хорошо смешаны, что ни один из них не получает перевеса. Но и здесь данный характер в основе своей крепок и един и наделен известной устойчивостью, независимо от того, им ли управляют обстоятельства или он дирижирует ими. С некоторых же пор

[1] Под Седаном в 1870 году прусская армия наголову разбила французскую армию. После поражения в первой мировой войне ежегодные празднования победы под Седаном приобрели отчетливый реваншистский характер.

появляются романы, не относящиеся ни к одной из трех упомянутых категорий. Они не изображают характеров обычной прежде стойкости, наглядности и однозначности. Как утверждают авторы этих романов, они не могут больше найти в окружающем мире моделей для таких характеров.

Возможно, тут дело в остроте зрения. Не всюду, где ничто не найдено, действительно ничего нет. Ведь другие романисты все же еще рисуют такие стойкие характеры, наверное, они и находят еще модели в окружающем мире? Можно, конечно, сказать и так: не всюду, где что-то найдено, что-то действительно есть. Но это вряд ли необходимо. Многие романисты пишут без моделей. Они работают не только без конкретных моделей, то есть лично им знакомых людей, но и вообще без боязни, что созданных ими персонажей, таких, какими они изображены, может не существовать в мире. Они в состоянии придумывать характеры старого, привычного рода. Это приятное состояние.

НАБРОСКИ К ЖУРНАЛУ «КРИТИШЕ БЛЕТТЕР»

[Журнал] «Критише блеттер» должен быть в широком смысле критическим, он должен не только применять критику, но прежде всего создать ее. Он первым должен сделать критику возможной. Двигаясь дальше, он берет «критику» в ее двойном значении, диалектически переосмысливая весь комплекс материала как перманентный кризис, то есть воспринимая время в двойном значении, как «критическое время». Тем самым становится необходимым восстановление теории в ее прежних действенных правах. «Описательная, выборочно рекомендательная» позиция критики так же потеряла свое правомочие, как и та часть литературы, которая выступает по отношению к материалу только или главным образом описательно или выборочно рекомендательно. Она заменяется позицией теоретической, причем она сознает (и сознание это распространяет), что тем самым отменяется ее выгодная позиция в капиталистическом процессе производства. Теория или, вернее говоря, теории не выводятся из «готовых» произведений, а скорее обнаруживаются там, где произведения «приближают» литературу к жизни, причем жизнь берется в социологически-экономическом аспекте; подобная критика, таким образом, превращает готовые произведения в неготовые, то есть действует аналитически, в зависимости от обстоятельств игнорируя произведение как личный документ автора, но отбирая те его черты, которые могут быть полезны для других произведений, то есть пригодны для неличного использования. «Критише блеттер» утверждает точку зрения, согласно которой в литературе существуют изобретения и открытия, которые должны изменить методы всех писателей, так же как во всех научных и профессиональных областях в каждый данный момент существует определенный технический стандарт, который должен быть достигнут каждым занятым в данной области человеком.

[Журнал] «Критише блеттер» не отказывается от перепечатки литературной продукции. Но он не подает ее как готовую продукцию, отдавая во власть личному вкусу читателя. Он должен давать картину производства в действии. Он всякий раз обнародует причины, побудившие его к перепечатке, и высказывается критически, в указанном выше смысле. Он отстаивает и разъясняет принцип, согласно которому обычные чувства симпатии или антипатии к произведениям искусства, всегда тяготеющие к «вкусу», «о котором не спорят», не имеют никакой цены и никакой цены не имеет и суждение, не сформулированное и не требовательное. Он учит, таким образом, «мышлению, вмешивающемуся в творчество».

В вопросах стиля он выступает за методы подхода, но не за стили. Он требует от писателя «позиции», «соответствующей объекту и цели», то есть дает нам право на собственные позиции и даже требует их.

НОВАЯ СОЛОМИНКА БУРЖУАЗНОГО ИСКУССТВА: ФАШИЗМ

Когда я, немного завидуя сомнительной способности Голениа [1] к искусству, прочитал его призыв, что нужно взять быка за рога (о чем мы, к сожалению, в пылу сражения не подумали), мне вспомнилась небольшая поучительная сцена из моей солдатской жизни. Я стоял у заваленной папками стены канцелярии по стойке «вольно», фельдфебель сидел за столом, держа в руке личное письмо, которое, как явствовало из разговора, написала ему какая-то бабенка, встретившая в нем противника сильнее себя, поскольку он обладал известной способностью к любви. И вот что он сказал, если перевести это на салонный язык: «Женщина, этого вам не понять, женщина, ее надо взять в руки. То, что вы при этом говорите, безразлично, и как вы это говорите, еще безразличнее. Можете при этом говорить даже о воинском уставе — кстати, вы тоже один из тех, кто понятия о нем не имеет, между прочим,— но в руки вы ее должны взять, она требует этого». Он посмотрел на меня в упор, понуждая меня высказать свое убеждение. Я сказал, так же в упор посмотрев на него: «Так точно, господин фельдфебель!»

[1] Александр Лернет-Голениа (род. в 1897 г.) — реакционный австрийский писатель.

О ЛИТЕРАТУРЕ

Так же как политика является акцией против несовершенства планеты, ибо политикой занимаются только потому, что ничто на Земле не удовлетворяет, так и литература является акцией против несовершенства человека. Литераторы — это люди, которые маскируют Ничто, литература одна заселяет Землю.

Только скучающее животное нуждается в обмане.

Разве не трагично, что все так похожи друг на друга?

ПИСАТЕЛЬ

Когда у одного писателя спросили, почему он в своих работах всегда говорит только о нищете и всегда исследует и изображает только разрушительное действие нищеты на человека и почему он никогда не рисует более обнадеживающих и более отрадных картин человеческой жизни, он в ответ рассказал следующую историю.

К одному человеку, уже продолжительное время недомогавшему и теперь слегшему со всеми признаками тяжелого заболевания, позвали врача, которому в кратчайший срок удалось успокоить больного и его удрученных родственников и вселить в них надежду на скорое выздоровление. Он сообщил наименование болезни и назвал этот случай сравнительно простым и преходящим. Он дал точные указания, прописал различные лекарства, не ленился по нескольку раз на дню навещать больного и стал, таким образом, желаннейшим гостем в доме больного.

Но болезнь усиливалась, и вскоре больной не мог даже пальцем пошевелить, так изнурила его лихорадка. А врач все говорил о лете, о путешествиях, о времени, когда больной, выздоровев, заживет прекрасной жизнью.

В это время через город, где жил больной, проезжал старый друг семьи, знаменитый врач. Увидев больного, он испугался, ибо распознал, что человеку, чьим другом он был, не выжить. Он долго и основательно исследовал больного и не утаил от родственников своих опасений, хотя он, как он сказал, еще не в состоянии указать точную причину заболевания.

Когда же больной действительно через два дня умер, безутешная мать спросила друга, не было ли возможности спасти ее сына, ведь она слышала, что болезнь, какую ей назвал первый врач, редко кончается смертью. Друг подумал и сказал: «Нет, его нельзя было спасти». Но брату умершего, ее младшему сыну, он, выйдя из дома, сказал: «Если бы вашего брата сразу передали в руки хирурга, он жил бы еще и сегодня. Таково мое мнение, и я говорю его вам. Ваша мать стара, и она нуждается не в правде, а в утешении, вы же молоды и нуждаетесь в правде».— «А почему врач, которого мы тогда позвали, не передал его сразу хирургу? — спросил молодой человек.— Почему он все время говорил только об улучшении и о выздоровлении моего брата? И к чему дорогие лекарства и точные указания, раз они были бесполезны?»

«Дорогие лекарства и точные указания не всегда могут быть полезны, мой молодой друг, но от врача надо требовать, чтобы он правильно установил причину болезни. Чтобы кого-либо вылечить, нужно сперва поставить правильный диагноз. А чтобы суметь поставить правильный диагноз, нужно обладать не только основательными медицинскими познаниями, но и подлинной заинтересованностью в излечении болезни. Недостаточно быть врачом, надо еще уметь помочь. Тот врач говорил об улучшении, еще не установив истинной причины заболевания. Я же говорю о болезни и только о болезни до тех пор, пока не найду точную причину заболевания и точные средства, чтобы действенно бороться с ним, и пока не появятся первые признаки улучшения. Лишь тогда я тоже заговариваю о возможном исцелении».

«Так или примерно так было дело»,— сказал писатель и прервал разговор.

«Но разве ты врач?» — с удивлением спросили у него после недолгого вежливого молчания.

«Нет. Но я писатель»,— ответил он.

ИСКУССТВО И ПОЛИТИКА. 1934—1938

[ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО]

Первой страной, завоеванной Гитлером, была Германия; первым народом, подавленным им, были немцы. Это неверно, когда говорят: немецкая литература совершила exodus in toto[1]. Верно, когда говорят: литература была изгнана из немецкого народа. Старейшая из всех еще существующих лирических поэзий, китайская, испытала внимание со стороны неких правителей, сказавшееся в том, что лучших ее поэтов, каждого в отдельности, подчас вынуждали покинуть провинции, где их стихи особенно нравились. Ли Дай-бо был в изгнании по меньшей мере один раз, Ду Фу по меньшей мере дважды, Бо Цзюй-и по меньшей мере трижды. Мы видим: оседлость не составляла

[1] Всеобщий исход *(лат.)*.

главной цели этой литературы, это искусство не являлось и просто искусством нравиться. Правда, такое внимание со стороны государства, почести в таком масштабе, которые испытала немецкая литература настоящего времени в форме ее тотального изгнания, вряд ли когда-либо испытывала какая-либо литература: поклоны фашистов состоят из пинков. Я надеюсь, немецкая литература окажется достойной такого исключительного внимания. Некоторые писатели с гордостью цитировали библейский стих «В начале было Слово». Самым важным из всех слов мне представляется последнее слово.

ИСКУССТВО ИЛИ ПОЛИТИКА?

Я понимаю ваш вопрос. Вы видите меня сидящим здесь и глядящим на Зунд, где не происходит никаких военных действий. Итак, почему мне пришло в голову заниматься борьбой испанского народа против его генералов? Но подумайте, почему я сижу здесь. Как могу я выключить из моего творчества то, что так сильно воздействует на мою жизнь? И также на мое творчество? Ведь я сижу здесь как изгнанник, у меня отняли прежде всего моих читателей и слушателей, на чьем языке я пишу, и это не только люди, которым я вручаю свои произведения, но люди, представляющие для меня глубочайший интерес. Я могу писать лишь для людей, которые меня интересуют; в этом смысле произведения то же, что письма. И теперь этих людей подвергают несказанным страданиям. Как могу я выключить это из моего творчества? И куда бы я ни смотрел, когда я смотрю несколько дальше того, где кончается этот Зунд, я вижу подвергнутых таким страданиям людей. Но когда уничтожена человечность, нет больше искусства. Соединять красивые слова — это не искусство. Как может искусство волновать людей, если его само не волнуют судьбы людей? Если я сам отвернусь от людских страданий, могут ли человеческие сердца раскрыться моим сочинениям? И если я не стараюсь найти для них дорогу, выводящую из страданий, как им найти дорогу к моим сочинениям? В маленькой пьесе, о которой мы говорим, речь идет о борьбе андалусской рыбачки против генералов. Я стремлюсь показать, с каким трудом она решается на эту борьбу, как она только в величайшей беде берется за оружие. Это призыв к угнетенным восстать против угнетателей, во имя человечности. Ибо в такие времена человечность должна стать воинственной, чтобы не быть уничтоженной. И вместе с тем это письмо к рыбачке, заверяющее ее, что не все, кто говорит на немецком языке, держат сторону генералов и посылают в ее страну бомбы и танки. И письмо это я пишу от имени многих немцев по обе стороны немецких границ, от имени большинства немцев. В этом я уверен.

Февраль, 1938

[СФЕРА ИСКУССТВА]

Не надо упускать из виду, что об искусстве пишут главным образом люди, считающие это занятие своей особой сферой. Тем самым они подчеркивают обособленность этой сферы и отделяют ее от всего остального.

Можно скорее найти приверженцев точки зрения, что искусство должно быть человечным и человек должен быть художником, чем точки зрения, что искусство человечно и человек — художник. Кстати, он далеко не единственный художник среди животных, но один из величайших.

Те, кто указывают искусству место, как таковому, злоупотребили даже словами Ленина о допустимости (и полезности) мечты. Он говорит о политике и наверняка не считает, что политик тем самым должен (и может) делать что-то, обычно являющееся делом художника. Он считает это чем-то человеческим. И было бы лучше для художников воспринять его совет в том смысле, что также и они должны (и могут) мечтать.

Это относится и к эмоциям, которые еще не упорядочены разумом, но которые также и в таком, неупорядоченном, состоянии должны быть приняты в расчет и использованы — как политиком, так и художником. Правда, теперь уже говорят: они используют и принимают в расчет тот факт, что разум проделывает с эмоциями всякое — испытывает, экспериментирует. Но нет ничего более неправильного, чем снова предоставить искусству именно сферу бесконтрольных эмоций.

ЗАМЕТКИ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. 1935—1939

КРИТИКА МЕТОДА «ВЖИВАНИЯ»

ПРАВДА В ИСКУССТВЕ

1. Художники почти всегда обескураживали тех, кто хотел считать критерием степень сходства их изображений действительности с самой действительностью. В живописи, по крайней мере в наше время, умение рисовать «похоже» считается просто искусностью; это еще не имеет ничего общего с искусством. Даже при заказах, где

речь шла об изображении с натуры, будь то сад, домашнее животное или член семьи, придавалось значение лишь похожести, нужна была иллюзия, будто это и есть любимый предмет. (Покупатель был в обиде, когда художники поставляли ему только свои ассоциации, вызванные предметом.) Вообще же дело, пожалуй, состояло в том, чтобы зрительное восприятие предмета доставляло такое же наслаждение, как и всякое другое искусное использование его в результате различных манипуляций с ним. (Наслаждение может доставить и часть предмета, искусно поданная.) Так становится понятным наслаждение, доставляемое вишнями Сезанна, пусть и не такое, возможно, как вишнями Апеллеса, которые поклевали птицы.

Это было подлинным выигрышем для зрителя, когда он научился по-новому использовать изображенный таким образом предмет или свои глаза.

2. Для эмоций наилучший вид существования в искусстве тот вид, в каком они существуют в обычной жизни. Живут не для того, чтобы испытать эмоции, а живут и испытывают эмоции.

3. С эмоциональной точки зрения можно видеть и лучше и хуже, то есть интересы, эмоционально претворенные, могут сделать наши действия более практичными или более непрактичными.

О БЕСПРЕДМЕТНОЙ ЖИВОПИСИ

Я вижу, вы изгнали из ваших картин темы. Там нет больше знакомых предметов. Вы передаете изогнутую кривую стула, но не стул; зарево на небе, а не горящий дом. Вы передаете смешение линий и красок, не смешение вещей. Я должен признаться, меня это удивляет, удивляет потому, что вы говорите, что вы коммунисты, люди, стремящиеся преобразить мир, не пригодный для житья. Не будь вы коммунисты, а прислужники власть имущих, меня бы ваша живопись не удивляла. Она казалась бы мне тогда не неуместной, а даже логичной. Ибо вещи (к числу которых относятся и люди), в их нынешнем виде, большей частью вызывают сильные чувства недовольства, смешанные с мыслями, их критикующими, желающими, чтобы они были другими, чем они есть, и живопись, воссоздавая их узнаваемыми, втянулась бы в спор чувств и мыслей, и будь вы прислужниками власть имущих, вы поступили бы хитро, делая вещи неузнаваемыми, поскольку это ведь вещи, с которыми дело обстоит неважно, а вину за это возлагают на ваших заказчиков. Будь вы прислужниками власть имущих, вы бы принесли пользу, выполняя желание ваших заказчиков изобразить нечто неопределенное, отвлеченное, ни к чему не обязывающее. Только власть имущие охотно слышат подобные речения: «Надо получать удовольствие от самой работы, независимо от того, каковы ее плоды, как она протекает, зачем она делается», или: «Лесом может любоваться и тот, кто им не владеет». И только подвластные не могут любоваться прекраснейшим пейзажем, если они в качестве дорожных рабочих должны дробить здесь камни, и только у подвластных гаснут такие сильные душевные движения, как любовь, из-за того, что жилищные условия так плохи. Как художники и прислужники власть имущих, вы могли бы возвестить, что прекраснейшие и важнейшие ощущения порождаются линиями и красками (так что любой может наслаждаться ими, поскольку линиями и красками всех, даже самых дорогих, вещей можно наслаждаться бесплатно). И, как художники власть имущих, вы могли бы извлечь из мира ощущений все предметы, все ценности, все необходимое, все материальное. Вам, как художникам власть имущих, не нужны были бы определенные ощущения, как, например, гнев, вызванный той или иной несправедливостью, или жажда обладания теми или иными вещами, оказывающимися недоступными, или связанные со знанием ощущения, которые вызывают чувства, изменяющие мир, изменяющие определенным образом, а нужны были бы только совсем отвлеченные, смутные, невыразимые ощущения, свойственные всем: ворам и обворованным, угнетателям и угнетенным. Вы рисуете, например, что-то красное и неопределенное, и одни при виде этого красного и неопределенного плачут, потому что думают о розе, а другие — потому что думают о залитом кровью, разорванном бомбами на куски ребенке. Ваша задача была бы тем самым выполнена: красками и линиями вы породили ощущения. Ясно, что темы, все предметы, которые можно узнать на картинах, должны в нашем мире классовых битв вызвать наиразнообразнейшие ощущения. Когда эксплуататор смеется, эксплуатируемый плачет. Бедняк, которому не хватает кухонного стула, не испытывает нехватки краски и формы. Богач, владеющий красивым старинным стулом, видит в нем не место для сидения, а форму и цвет. Мы, коммунисты, видим вещи иначе, чем эксплуататоры и их прислужники. Но это различное видение относится к вещам. Речь идет о вещах, а не о глазах. Если мы хотим научить тому, что вещи должны быть увидены по-другому, мы должны учить этому на вещах. И мы хотим, чтобы они были увидены не просто только «по-другому», но совершенно определенным образом, совсем иным, но не только иным, отличным от других образом, а правильным, то есть образом, соответствующим вещам. Мы хотим освоить вещи, в политике и в искусстве, и мы хотим не только «освоить». Предположим, кто-то выступает и говорит: «Я осваиваю». Разве любой тут не спросит: «Что?» Я слышу ваши слова: «Нашими тюбиками с краской и карандашами мы можем передать только краски и линии вещей, ничего больше». Это звучит так, словно вы скромные люди,

честные люди, чуждые всякому обману. Но это звучит лучше, чем оно есть в действительности. Тысяча примеров подтверждает, что тюбиками с краской и карандашами можно о вещах рассказать, раскрыть, объяснить больше, чем только то, что относится к линиям и краскам. У Брейгеля тоже были только тюбики с краской и карандаши, он тоже передает только цвет и линии вещей, но не только это. Ощущения, которые он вызывает, происходят из его отношения к воссоздаваемым им предметам, и потому это отношения определенные, и они могут изменить отношение его зрителя к изображенным предметам. Не говорите также: «Есть много хорошего в искусстве, что в свое время не было понято». Из этого не следует, что то, что в свое время было не понято, должно быть хорошо. Покажите лучше на своих картинах, что в наше время человек человеку волк, а уж потом говорите: «Такое в наше время не покупается». Ведь деньги в наше время есть только у волков. Но так будет не всегда. И наши картины тоже будут способствовать тому, чтобы так было не всегда.

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Если вас спросят, коммунисты ли вы, хорошо бы, чтобы вы могли в подтверждение предъявить, как партийные билеты, ваши картины.

ЗАМЕТКИ О ЛИТЕРАТУРНОЙ РАБОТЕ. 1935—1941

ЛИРИКА И ЛОГИКА

«ХОРОШО, НО ЧТО ЭТО ДОКАЗЫВАЕТ?»

Один математик, посмотрев «Ифигению» Гёте, сказал: «Хорошо, но что это доказывает?» Фраза эта была тут неуместной, но она уместна по отношению к тысячам и тысячам стихотворений. Когда предлагают критиковать подобные стихи, оказываешься в затруднительном положении, поскольку здесь нечего критиковать, разве отвести претензии нашего математика лишь потому, что они предъявлены произведению, могущему их удовлетворить. Ему можно сказать, что́ доказывает «Ифигения», и если этого нельзя сказать о каком-нибудь произведении, значит, оно незначительно. Оно незначительно, ибо ничего не означает.

Простейшее требование — стихотворение должно заразить читателя своим настроением. Это акт смутный и мало о чем говорящий, так сказать, формальный. Заразительность стихотворения может быть ограничена локальными, личными, профессиональными, национальными, классовыми факторами. Стихи, вызывающие у большинства людей соответствующее настроение, не обязательно наилучшие стихи. Право же, песни, которые поет народ, не всегда народные песни. Есть народные песни, не приводящие «народ» в «настроение». Мы должны отдавать себе отчет: заразительны разные виды поэзии — как наивысшие, так и низшие, как народная песня и сонет, так и оперетточная песенка, и стихи ко дню рождения.

Таким образом, само по себе стихотворение еще ничего не доказывает (я, стало быть, не могу еще доказать тебе, что ты должен его читать), если оно может кого-то или даже тебя заразить своим настроением. Стихами, по-видимому, труднее что-то доказать. Предположим, нашему математику дали бы стихотворение, доказывающее теорему Пифагора,— стал бы он тогда утверждать, будто это стихотворение что-то доказывает? Возможно, но мы, возможно, возражали бы ему, как возражали мы ему, когда он утверждал, будто «Ифигения» ничего не доказывает. Мы бы возражали ему, если бы стихотворение было, как стихотворение, пустым, безличным, ничего не утверждающим. Даже и в том случае, если бы оно навеяло на математика настроение, мы бы, наверное, тоже возражали.

Выясняется, что мы не можем обойтись без понятия «красота». Совсем не позорно — нуждаться в данном понятии, но все же это приводит в смущение. Ибо «красота» — понятие неопределенное, многозначное, по-видимому полностью зависящее от «вкуса», который, «как известно», индивидуален, так что о нем «нельзя спорить».

Если исходить из физиологии и говорить о вкусе в физиологическом смысле, тогда в самом деле трудно спорить. Мы берем кусок в рот, кривимся и говорим: слишком кисло. Точно так мы можем произнести стихотворную строку и почувствовать отвращение, как от чего-то безвкусного, пресного, пошлого, а то и тошнотворного. Правда, даже физиологически можно «войти во вкус». Это может произойти благодаря обучению и просто изменению условий. Вкус, в том числе и физиологический, может развиваться.

Возьмем пример из архитектуры. Наши передовые зодчие пропагандировали в последние десятилетия так называемый деловой стиль архитектуры. Они считали, если сформулировать это коротко, практичное прекрасным. Но интересно, как относились к этому рабочие. В общем и целом они отрицали эту архитектуру. Они находили построенные по линейке дома некрасивыми, обзывали их казармами или тюрьмами,

а новую целесообразную мебель — скучной. Вся деловая архитектура оставляла у них во рту неприятный привкус. Почему?

Архитекторы, многие из которых, именно потому, что они передовые, охотно обращались к рабочим как к самому передовому, самому главному классу, забыли, что́ для рабочего означает жилище. Оно ведь для него вовсе не только пристанище, сооружение, от которого требуют лишь, чтобы все его функции осуществлялись с максимальной практичностью.

ЛИРИК НЕ ДОЛЖЕН БОЯТЬСЯ РАЗУМА

Я знаком с некоторыми людьми, чьи стихи я читаю. Я часто удивляюсь, что иной из них в своих стихах проявляет гораздо меньше разума, чем в других своих высказываниях. Может быть, он считает стихи делом только чувств? А разве вообще существует что-то, что было бы делом одних только чувств? Если он так считает, пусть, по крайней мере, знает, что чувства могут быть столь же неверными, как и мысли. Это должно бы его насторожить.

Некоторые лирики, особенно начинающие, когда они чувствуют себя в настроении, кажется, опасаются, что все продиктованное разумом может спугнуть настроение. Надо сказать, это безусловно глупые опасения. Как известно из рассказов великих лириков о своей работе, их настроения отнюдь не являются теми поверхностными, неустойчивыми, быстро улетучивающимися настроениями, которым может помешать осмотрительное, пусть даже трезвое размышление. Известная воодушевленность и возбужденность никоим образом не противостоят трезвости. Скорее можно предположить, что нежелание считаться с критериями разума указывает на глубокую бесплодность соответствующего настроения. В таком случае не надо писать стихотворения.

Если лирический замысел удачен, тогда чувство и разум действуют в полном созвучии. Они весело понукают друг друга: Решай ты!

О РАЗБОРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО КОСТОЧКАМ

Обычно дилетант, если он любитель стихов, питает отвращение к тому, чтобы разбирать стихотворение по косточкам, привлекать холодную логику, вырывать отдельные слова и образы из этих нежных, подобных цветку творений. На это можно возразить, что даже цветы не вянут от проникновения в них. Стихи, если уж они жизнеспособны, то жизнеспособны настолько, что могут выдержать самые глубокие операции. Плохая строчка вовсе не разрушает полностью все стихотворение, как не спасает его одна строчка хорошая. Способность обнаружить плохие строки есть обратная сторона способности, без которой вообще не может быть речи об умении наслаждаться стихами,— способности находить хорошие строки. Иногда стихотворение отнимает очень мало работы, а выдерживает иной раз очень много. Считая стихотворение чем-то неприкосновенным, непосвященный забывает, что лирик, дабы поделиться возникающими у него мимолетными настроениями, должен для формулирования их в стихотворении совершить работу и что стихотворение — это ф и к с а ц и я чего-то мимолетного, то есть нечто относительно весомое, материальное. Тот, кто считает стихотворение неприкосновенным, действительно не может к нему прикоснуться. Но применение критериев как раз и составляет значительную часть наслаждения. Разними розу на лепестки и увидишь: каждый прекрасен.

[КРИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ]

Совершенно неправильно считать к р и т и к у чем-то мертвым, бесплодным, так сказать устарелым, как длинная борода. Такое отношение к критике желает распространить господин Гитлер. В действительности же критическая позиция единственно плодотворная, единственно достойная человека. Она означает сотрудничество, движение вперед, жизнь. Подлинное наслаждение искусством невозможно без критической позиции.

Ныне, когда само наше существование давно стало вопросом политики, вообще не могло бы существовать лирики, если из процесса производства и потребления лирики исключить продиктованные разумом критерии. Наши чувства (инстинкты, эмоции) полностью занесены илом; они находятся в постоянном столкновении с нашими голыми интересами.

Критика никоим образом не разрушает наслаждения, разве только она состоит из одних раздраженных придирок. Без способности к критическому наслаждению класс пролетариев вообще не может вступить во владение наследием буржуазной культуры. Историческое чутье, не владея которым нельзя наслаждаться культурой, это чутье критическое — сие совершенно очевидно. Надо суметь почувствовать былое совершенство вещи, которое она с течением времени утратила, уже никогда более не являясь столь совершенной, став теперь негодной в самом убийственном смысле слова.

ДИАЛЕКТИКА

Плоскими, пустыми, пошлыми становятся стихи, когда они лишают материал его противоречий, когда вещи, о которых они говорят, выступают не в своей живой, то есть всесторонней, не до конца осуществленной и не до конца сформулированной, форме. Если речь идет о политике, тогда возникает п л о х а я тенденциозная поэзия. Получают «тенденциозные изображения», то есть изображения, которым приходится многое опускать, насиловать действительность, создавать иллюзии. Получают механические лозунги, фразы, бесполезные указания. Каждый из нас знает, какой силы исполнено тысячекратное повторение великолепного рефрена «Интернационала»!

Строфа

Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской—

сегодня жива, как в первый день. Тут каждое слово имеет свой смысл, и его можно многообразнейшими способами комментировать. Тут народы, которые должны слиться в Интернационале, чтобы завоевать человеческие права; тут призыв, обращенный к миру голодных и рабов; тут п о с л е д н и й бой, бой решительный; тут сознание трудности борьбы, и тут чувство уверенности в победе.

Чувства, выраженные здесь, столь же значительны, сколь и умны.

Мы склонны считать подобные творения делом счастливого случая. Мы говорим о более или менее хорошем. Нам кажется, что менее хорошее тоже хорошо, только в меньшей степени. На самом же деле оно зачастую просто плохо. Великие, живые лозунги наделяются убогим, бесполезным, обывательским значением; они становятся формальными, поверхностными, выдохшимися. На место изумительного бесстрашия революционеров, порожденного огромным чувством ответственности за человечество, приходит трусость тех, кто не хочет «промахнуться». И им кажется, что наилучший способ «не промахнуться» — вообще не замахиваться, а по возможности повторять старое, и притом на старый лад. Но это, разумеется, уже не старое. Смотрите не на вещи, а на то, что о них сказано, говорите не как бог на душу вам положил, а как положил бог на душу другим, и вы получите мертвую, фальшивую, пустую бумажную литературу, формалистические изделия, политику и литературу лишь по форме.

ПЕРЕВОДИМОСТЬ СТИХОВ

Часто при переводе на другой язык стихи из-за того претерпевают сильнейший урон, что переводчик стремится перевести слишком многое. Может быть, следовало бы ограничиться переводом мысли и установки поэта. Надо стремиться перевести то, что в ритме оригинала связано с установкой автора, не более того. Если поэт придает определенным словам новое значение, включая их в обычно не встречающиеся словосочетания, то такой подход к языку можно передать в переводе, подражая именно этим его действиям, но не позволяя оригиналу диктовать себе, где именно это должно быть сделано.

[ЗАМЕТКИ ДЛЯ РАБОТЫ]

1. О ПЛАГИАТЕ

Когда понемножку берут взаймы у одного или у нескольких человек, это свидетельствует о скромности; что за дикость — хотеть двигаться вперед в одиночку! Человеку от литературы подобает представлять своим друзьям и читателям знакомых не только из жизни, но и из литературы: те и другие для него смешиваются воедино. Тот, кто знает цену удачного выражения, охотнее переймет его, чем еще раз, по-другому выразит то же самое (если это действительно то же самое) и таким образом создаст новое выражение, которое либо будет хуже старого, либо посрамит его. Кроме того, для стилей столь же полезно смешиваться, как и для людей различных рас. И если считать плагиат чем-то зазорным, то, думается мне, выдающимся произведениям иметь некоторые пятна — только к лицу [1].

2. ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ

Мнение Анатоля Франса, что для романа не следует признавать никаких законов и правил, поскольку они слишком устарели, надо распространить и на драму. Тем не менее существует нечто вроде технических приемов, к которым нужно отнестись более серьезно.

[1] Эта ироническая заметка является своего рода ответом Брехта на раздававшиеся в его адрес обвинения в том, что в своих переработках классических произведений он прибегает к заимствованиям.

Произведения искусства имеют право быть умнее современной им научной психологии, но не имеют права быть глупее.

Произведение, не выступающее суверенно по отношению к действительности и не делающее читателя суверенным по отношению к действительности, не есть произведение искусства.

Единственное, что делает философов плохими потребителями искусства, это то обстоятельство, что многие из них не способны испытывать скуку. Они, собственно говоря, не нуждаются в искусстве.

3. О КЛАССАХ

Если бы для моего класса (буржуазного) еще существовала какая-нибудь возможность основательно решать возникающие проблемы,— я убежден: тогда пролетариат мало занимал бы мои мысли. Но в мое время мой класс уже не мог даже основательно ставить вопросы.

Мною двигало не сострадание. У меня не было сострадания к пролетариату, нет его у меня и к буржуазии.

Диалектика позволяет, не отказываясь от партийности, предоставить обеим партиям возможность полностью высказаться. Как бы можно было бороться без нее?

4. ОДОБРЕНИЕ

Когда от буржуазного класса, где я не получил одобрения, я перешел к классу пролетарскому, я и тут не ожидал одобрения. (Я ведь покинул буржуазный класс не из-за отсутствия одобрения.) Однако я ожидал и добился многообещающего спора, это означает: здесь имеет смысл и учить, и учиться.

5. ФОРМАЛИЗМ

Некоторые идеологи пролетариата рассматривали некоторые сложные художественные формы только в связи с идеалистическими, для пролетариата бесспорно вредными произведениями; потому они отвергали такие формы. Они ругали меня формалистом, а сами были формалистами. По моему мнению, им следовало бы относиться к своему вкусу с некоторым недоверием и бороться только против таких форм, вредность которых в общественном отношении они могут доказать. Пусть они предъявляют требования главным образом относительно общественных функций произведений искусства. Длительное время они, собственно говоря, считали реалистическими лишь фотографии, хотя и от фотографии они тоже требовали того, чего она не может дать. Их требование должно было бы гласить: освоение действительности. Этим требованием они могли бы проверять все, в том числе и область формы, ибо художник не может освоить действительность, если он ошибается в области формы.

6. НАИВНОСТЬ

Наивность — свойство как стариков, так и детей. А человек заключает в себе одновременно и ребенка, и старика. Наивность находишь в период упадка какой-либо культуры, вместе с тем являющийся периодом возникновения культуры, идущей ей на смену. Эта культура тоже наивна. Приходящие в упадок культуры знают о красоте наивности, вновь возникающие обладают ею.

7. ОБ УСПЕХАХ

Мне приятно представлять себе, что успехи, которых, как мне кажется, я достиг, завоеваны мною в отступлении. Отступлению всегда, или почти всегда, предшествовали атаки. Например, я начал с простейших, обычнейших видов лирики, с уличной песенки и баллады, с форм, которыми лучшие поэты давно уже не пользуются. Когда рифм стало недостаточно для того, что нужно было сказать, я отступил к свободному стиху. В драматургии я начал с пятиактной пьесы с главным героем, с сюжетом старейшего типа (мотив Эноха Ардена[1]) и с современной средой. Спустя некоторое время я уже настолько продвинулся, что отказался от «вживания», в которое еще твердо верили даже самые далеко продвинувшиеся вперед. При всей любви к новому, я отказывался от старого, упорно, до полного краха, держась за него. Когда при всем моем желании я для театра ничего больше не мог сделать со «вживанием», я выстроил для «вживания» учительную пьесу. Мне казалось достаточным, если люди «вживались» не только духовно, чтобы из старого «вживания» еще можно было извлечь что-либо действительно плодотворное. Впрочем, я никогда не был высокого мнения о таких революционерах, которые лишь потому не делали революцию, что у них земля под ногами горела.

[1] Энох Арден — герой одноименной поэмы (1864) английского поэта Альфреда Теннисона (1809—1892); вернувшись после долгого отсутствия домой и застав жену замужем, он неузнанным покидает родные места.

8. ОШИБКА?

Я всегда переносил лишь противоречие.

9. ЛЮБОВЬ К ЯСНОСТИ

Моя любовь к ясности порождена моим весьма неясным образом мысли. Я стал несколько поучительным, потому что сам настоятельно нуждался в поучении. Мои мысли легко путаются, я не страшусь признаться в этом,— страшусь я путаницы. Если я что-то понял, я немедленно начинаю энергично это опровергать, скрепя сердце я ставлю снова все под сомнение, хотя только недавно как ребенок радовался, что, по крайней мере, добился хоть какой-то определенности, достаточно, как я говорил себе, если ограничиваться скромными требованиями. Изречения типа — пудинг познается во время еды или — жизнь есть форма существования белка действуют на меня в высшей степени успокоительно, покуда я снова не впадаю в сомнения. Сцены, разыгрывающиеся между людьми, я записываю, собственно говоря, только потому, что без этого я лишь очень смутно могу их себе представить.

10. ВЕРА

Вера пролетарского класса в свою конечную победу мне очень нравится. Правда, меня беспокоит тесно связанная с нею вера во многое другое, что ему говорят.

11. DECADENCE

...История не делает любезности нашим заведующим литературными полочками и не отделяет тщательно упадок от подъема, не ставит второй сразу же после первого и не называет нового представителя подъема в литературе. Она действует страшно небрежно и все перепутывает. Чтобы попасть на полочку, литературные произведения должны быть хорошенько обкорнаны. Я однажды видел в кино, как Чаплин пакует чемодан. То, что под конец вылезало оттуда, штанины и края рубашек, он попросту отрезал ножницами.

12. РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ КРИТИКА

После критики, считающей меня замечательным и приводящей в доказательство этого как можно больше доводов, мне больше всего нравится критика, указывающая на мои ошибки и тоже приводящая как можно больше доводов. Как видите, я разборчив в отношении критики. Я слышу с неохотой, что мой рассказ о каком-нибудь происшествии выразителен в деталях, нагляден в целом, сдобрен юмором и прочитан прекрасным голосом, однако само происшествие протекало по-другому. И я с неохотой слышу, что я пишу нереалистически,— это явствует из того, что известные писатели-реалисты писали иначе,— а о моем происшествии вообще нет речи, [...]о том, правдиво или неправдиво я его описал. Фабулу нужно-де построить так-то и так, характеристику персонажей следует подать так и так, человеческих конфликтов должно быть столько-то и столько и так далее, и так далее. Критики, поступающие таким образом, заставляют меня подозревать, что они хотят получить вовсе не возможно более реалистические описания, то есть описания, соответствующие действительности, а что у них в голове сложились совершенно определенные повествовательные и описательные формы, которым они хотели бы подчинить действительность. Они не задаются вопросом, обнаруживают ли они в описании действительность или только определенный способ описания. Описание постоянно изменяющегося мира все время требует новых средств изображения. Новые изобразительные средства следует оценивать в зависимости от того, насколько они успешно воздействуют на объект изображения, а не сравнивая их с прежними средствами и отрывая при этом от объекта. Литературу надо судить, исходя не из литературы, а из действительности, например, из той части действительности, что она показывает. Историю литературы не надо превращать в историю способов изображения мира, роман Дос Пассоса надо сопоставлять не с романом Бальзака, а с миром нью-йоркских трущоб, описанных Дос Пассосом. Критик, поступающий таким образом, не только отметит, что Дос Пассос повинен в писательском абстрактно-революционном «утилитаризме», он это докажет, докажет реалистически, дав свой собственный анализ изображенного среза действительности и указывая на ошибки изображения. Тогда его критика сама не будет отдавать незнанием действительности, не будет лишенной всякой реальности. Какой смысл могут иметь все разговоры о реализме, если в них не остается ничего от реальности? (Как в некоторых эссе Лукача.)

Примерно 1939

НАБЛЮДЕНИЕ

[...] Нетрудно заметить, что большинство писателей, не умея наделить своих персонажей всем богатством мимики и жеста, суют все в произносимое слово. Все то, что в действительности лишь видишь, приходится улавливать ухом в произносимом диалоге. Разговоры из-за этого становятся неуклюжими и неестественными. Сообщения для читателей. («Наша мать, которой, как ты, милая сестра, знаешь, на днях исполнилось шестьдесят...») В действительности вопрос и ответ не следуют непосредственно друг за другом. Нить то тянется, то обрывается, то тянется снова. Если дело идет только о содержании, надо использовать не прямую речь.

Хороши те характеристики, которые показывают в том, что они показывают, такие части целого, по которым можно заключить о других частях этого целого. Это заставляет читателя самостоятельно обращаться с персонажем, уметь представлять его себе в других положениях, не только в описанных, и так далее. Если же для этого дают слишком мало, надо намекнуть, что образ описан не исчерпывающе.

ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ В НОВОЕ ВРЕМЯ

После великих войн в сейфах одной фашистской государственной библиотеки среди другой вредной литературы были обнаружены и мои произведения. Мне соорудили конную статую на детской площадке для игр. Я поспешил посмотреть на нее.

В общем и целом я остался доволен памятником. Скульптор запечатлел приветливое выражение лица — как я узнал, по желанию комиссии. Я понимал, что это честь: признание моего приветливого отношения к грядущим поколениям.

— А лошадь зачем? — спросил я у моего сопровождающего.

— Она дает понять, что памятник относится к древности,— ответил он.— Между нами говоря, есть еще и другая причина. Лошади полностью вымерли. Статуей хотели одним выстрелом двух зайцев убить, сохранив для потомков также и образ этого животного.

СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ. 1934—1946

[О ЛИТЕРАТУРЕ АСФАЛЬТА [1]]

ЛИОНУ ФЕЙХТВАНГЕРУ К 50-ЛЕТИЮ

Дорогой Фейхтвангер, [...] а почему бы нам не принять спокойно выражение «литература асфальта»? Что говорит против асфальта, кроме тех неизлечимых, которым не вернет здоровья никакая их «Хайль!»-здравица? Только болото выдвигает обвинение против своего великого черного брата, против асфальта, терпеливого, чистого и полезного. Мы ведь действительно стоим за города, может быть, не в их нынешнем состоянии, причем слово «нынешнее» относится отнюдь не только к последним двум годам! Мы ничего не ожидаем, ни малейшей поддержки со стороны родной зе́мли, и мы точно знаем, что необъятные пшеничные поля Охайо и Украины вряд ли могут считаться «блюбоистами» [2] родной землей; но мы без колебаний предпочли бы их дотошно разрезанным угловатым клочкам нашего отсталого немецкого земледелия, которые отнимают у своих землепашцев столько сил, что в сорок лет они выглядят стариками. Разумеется, званием «литература асфальта» мы должны бы наделять только произведения, которые по крайней мере содержат определенный м и н и м у м той буржуазной рациональной разумности, что в столь высокой степени отличает произведения Свифта, Вольтера, Лессинга, Гёте и им подобных. Вы понимаете меня: какое-то время в о о б щ е все, что является литературой, пришлось бы называть «литературой асфальта». Обо всем страшном, уродливом, неразумном, бесформенном, бездарном пришлось бы говорить, что оно не имеет ничего общего с «литературой асфальта». Ни один экземпляр современной легальной печатной продукции третьего рейха, этой жалкой ветви международной торговли наркотиками, не мог бы, конечно, быть причислен к «литературе асфальта». Все, что связано с этой «кровью», которая проливается и еще будет пролита, и с этой «почвой»,

---

[1] Asphaltliteratur — «литература асфальта» — так нацистская литературная критика окрестила произведения многих неугодных гитлеризму писателей, противопоставляя ей «литературу почвенности».

[2] От Blubo — Blut und Boden (кровь и почва — *нем.*) — словцо из жаргона фашистов, считавших своей основой германскую кровь и немецкую почву.

являющейся, разумеется, доброй старой пресловутой почвой фактов, на какую стали подручные угнетателей, ни в коем случае не есть «литература асфальта». Случаи мимикрии следовало бы безжалостно разоблачать и преследовать — ведь некоторые авторы пользуются сегодня формами и стилями, позаимствованными у «литературы асфальта», то есть просто у литературы, у великой европейской литературы, исторически развившейся в течение последних столетий.

Июль, 1934

СВОБОДА МНЕНИЙ

1. Господин Уэллс убежден, что в его стране каждый обладает правом свободно выражать любые взгляды, и намерен помочь писателям других стран добиться такой же свободы. Что касается этого его убеждения, то тут существуют две возможности: ему может быть дозволено выражать свои взгляды, и у него могут быть взгляды, выражать которые дозволено. Это, разумеется, две совершенно различные возможности.

2. Предположим, речь идет о первой возможности. В таком случае господин Уэллс живет в довольно свободной стране. Правда, он должен еще успокоить нас в отношении одной мелочи, а именно: не является ли данная свобода мнений правом, осуществлять которое в состоянии не все. Так, Ленин, требуя свободы мнений для пролетариата, требовал, чтобы была предоставлена не только свобода собраний, но и помещения для них, и не только свобода печати, но и бумага и печатные станки. Чтобы свобода высказываний осуществилась в какой-нибудь деревне на сваях, достаточно позволить ее жителю выступить перед собранием. Если же в Лондоне правительство хочет помешать этому осуществлению, ему достаточно не предоставить оратору зала или газеты.

3. Об этом нужно сказать определенно, ибо есть много людей, не желающих требовать от правительства большего, чем желание дать разрешение. Подобную позицию можно без разговоров отождествить с симпатией к бедным. Так, иной владелец магазина не имеет ничего против бедных, если они аккуратно платят.

Набросок, примерно 1939

ВЛИЯНИЕ ГОРЬКОГО НА ЛИТЕРАТУРУ

1. Высокая художественная и политическая ценность, которую Горький представляет в русской и мировой литературе, не подлежит сомнению и вряд ли нуждается в особых доказательствах. Особенно интересно исследовать самому его влияние на литературу. Я сам инсценировал его роман «Мать» и могу служить, таким образом, одним из примеров его воздействия. Я думаю так:

Бывают писатели, чья повествовательная техника оказывает на других писателей большое влияние, совершенно независимо от того, о чем они повествуют. Я не знаю, принадлежит ли Горький к числу таких писателей, хотя, конечно, его простой и естественный стиль представляет собой нечто образцовое. Но это разные вещи: желательна ли определенная манера письма или она доступна подражанию. Не все желания осуществляются. Стиль Горького зависит от таланта (например, от таланта горьковского масштаба), и не только от таланта, но и от опыта (например, характера и богатства горьковского опыта). Именно с этим несравненным (и потому трудно имитируемым) стилем Горького, выражающим его исключительную и неповторимую личность, связано его неслыханное влияние на читателя. Он превращает даже писателей в читателей — это большое достижение.

Я имею в виду следующее: его рассказы, безусловно, можно слушать и пересказывать как рассказы старого рабочего — каким угодно образом. Не приходится беспокоиться: все, что он рассказывает, правда — он это видел, и видел наверняка правильно, и в его описании тоже ничего не фальсифицировано. Он не говорит о вещах, которые касаются только его, и не рассказывает ни о чем таком, что не имело бы большого значения и без его великого искусства рассказчика. Путь, запечатленный в «Матери», даже если бы о нем было рассказано менее искусно, все равно оказал бы огромное воздействие на всех тех, кого это касается.

2. Своим повествованием Горький, естественно, достигает того, что путь этот вдруг начинает касаться невероятно большого числа людей.

Но тем самым он привлекает внимание к делу рабочего класса как к делу всеобщему, всеобъемлющему, как к делу всего человечества. И так же как он сам причастен к успеху этого дела, так и к его успеху причастен русский рабочий класс.

Примерно 1936

О ПОПУЛЯРНОСТИ ДЕТЕКТИВНОГО РОМАНА

Детективный роман, несомненно, обладает всеми признаками процветающей литературной области. Правда, при периодических опросах его почти не называют в числе «бестселлеров», но это происходит вовсе не потому, что его вообще не

причисляют к «литературе». Гораздо вероятнее, что широкие массы в самом деле все еще предпочитают психологический роман, а детективный роман поднимается на щит лишь одной, хотя и многочисленной, но все же не преобладающей группой знатоков. Однако у них чтение детективных романов приняло характер и силу привычки. И это привычка интеллектуальная.

Чтение психологических (или, возможно, следует сказать: литературных) романов нельзя с такой же уверенностью назвать интеллектуальным занятием, ибо психологический (литературный) роман делает читателя участником существенно других операций, чем операции логического мышления. Детективный роман рассказывает о логическом мышлении, он и от читателя требует логического мышления. В этом отношении он близок кроссворду.

В соответствии с этим у него есть своя схема, и силу свою он проявляет в ее вариациях. Делая библиотеку в имении лорда местом убийства, ни один автор детективного романа не испытывает ни малейших угрызений совести в связи с тем, что это в высшей степени неоригинально. Характеры меняются редко, а мотивов для убийства существует совсем мало. Хороший автор детективного романа не вкладывает слишком много таланта в разработку новых характеров или в придумывание новых мотивов преступления и не размышляет над ними слишком долго. Не это для него важно. Тот, кто, узнав, что десять процентов всех убийств происходит в доме священника, воскликнет: «Вечно одно и то же!» — тот не понял сути детективного романа. С таким же успехом он мог бы в театре уже при поднятии занавеса воскликнуть: «Вечно одно и то же!» Оригинальность заключается в другом. Тот факт, что характерное отличие детективного романа состоит в вариациях более или менее постоянных элементов, придает всему жанру даже некий эстетический уровень. Это один из признаков процветающей отрасли литературы.

Кстати, восклицание профанэ «Вечно одно и то же!» основано на той же ошибке, что и мнение белого, будто все негры на одно лицо. Существует множество схем детективного романа, важно только, чтоб это были именно схемы.

Детективный роман подвластен англичанам, как подвластен им сам мир. Кодекс английского детективного романа самый богатый и самый замкнутый. Он гордится своими строжайшими правилами, и они изложены в хороших эссе. Американцы располагают куда более слабыми схемами и повинны, с английской точки зрения, в погоне за оригинальностью. Их убийства производятся как по конвейеру и носят характер эпидемии. При случае их романы опускаются до уровня thriller [1], то есть thrill [2] уже не духовный, а лишь чисто нервный.

Хорошему английскому детективному роману присуща прежде всего порядочность. Он показывает моральную силу. To play the game [3] — дело чести. Читателя не обманывают, весь материал предъявляется ему до того, как сыщик разгадает загадку. Читателю предоставляют возможность самому найти разгадку.

Удивительно, до какой степени основная схема хорошего детективного романа напоминает метод работы наших физиков. Сперва записываются определенные факты. Вот труп. Часы испорчены и показывают два часа. У экономки есть здоровая тетя. Небо в эту ночь было покрыто тучами. И так далее, и так далее. Затем выдвигаются рабочие гипотезы, которые могли бы соответствовать фактам. Прибавление новых фактов или отбрасывание фактов уже известных вынуждает искать новую рабочую гипотезу. В конце пробуется проверка рабочей гипотезы: эксперимент. Если посылка правильная, убийца в результате определенной меры должен появиться тогда-то и тогда-то, там-то и там-то. Решающим является то обстоятельство, что не действия вытекают из характеров, а характеры из действий. Мы видим действия людей фрагментарно. Их мотивы неясны, они должны быть раскрыты логически. Предполагается, что их действия определяются их интересами, причем интересами почти всегда материальными. Их и стремятся установить.

Мы видим здесь приближение к научной точке зрения и огромный отход от психологического романа, основанного на самонаблюдении.

Гораздо менее важно, например, что в детективном романе описываются научные методы и что большую роль играют медицина, химия и механика: вся концепция автора детективного романа находится под влиянием науки.

Можно упомянуть в этой связи, что и в современном литературном романе, у Джойса, Дёблина и Дос Пассоса, обнаруживается явственный раскол между субъективной и объективной психологией и даже в новейшем американском веризме всплывают такие тенденции, хотя, по-видимому, здесь опять приходится говорить об обратном развитии. Чтобы увидеть связь между в высшей степени сложными произведениями Джойса, Дёблина и Дос Пассоса и детективными романами Сейерса, Фримэна и Роуда, надо, конечно, отвлечься от их эстетической ценности. Но если эту связь увидеть, тогда становится ясно, что при всей своей примитивности (не только

[1] Боевик *(англ.)*.
[2] Удар *(англ.)*.
[3] Соблюдать правила игры *(англ.)*.

эстетического рода) детективный роман даже больше отвечает потребностям людей в эпоху науки, чем произведения авангарда.

Обсуждая популярность детективного романа, мы должны, разумеется, в достаточной степени учитывать тягу читателя к необычайным приключениям, к напряженности и т. п., которую он удовлетворяет. Он доставляет удовольствие уже тем, что показывает людей д е й с т в у ю щ и х, дает читателю возможность сопереживания действий, имеющих конкретные и очевидные последствия. Герои детективного романа оставляют следы не только в душах своих ближних, но и в их телах, и на садовой земле перед библиотекой. По одну сторону стоят литературный роман и реальная жизнь, по другую — роман детективный, особый срез реальной жизни. Человек в реальной жизни редко думает о том, что он оставляет следы, по меньшей мере до тех пор, пока он не становится уголовником и полиция не находит этих следов. Жизнь безликой массы и коллективистского индивидуума нашего времени протекает бесследно. В этом отношении детективный роман поставляет своего рода суррогаты.

Приключенческий роман вряд ли можно написать иначе, чем детективный, приключения в нашем обществе связаны с преступлениями.

Но интеллектуальное наслаждение доставляет з а д а ч а - г о л о в о л о м к а, которую детективный роман ставит перед сыщиком и читателем.

Он прежде всего предоставляет широкое поле для наблюдательности. По деформированным декорациям строится разыгравшееся происшествие; по полю битвы реконструируется сама битва. Большую роль играет неожиданное. Мы должны найти п р о т и в о р е ч и я. У хирурга мозолистые руки, пол сухой, хотя окно открыто и шел дождь; дворецкий бодрствовал, но выстрела он не слышал. Затем критически рассматриваются показания свидетелей: вот здесь ложь, а тут ошибка. В последнем случае наше наблюдение производится, так сказать, с помощью неточных инструментов, и мы должны установить степень их отклонений. Наблюдая, делая выводы и приходя к решениям, мы испытываем удовольствие хотя бы потому, что повседневность редко дает возможность для столь действенного процесса размышления; между наблюдением и выводом, между выводом и решением обычно вклиниваются различные помехи. В большинстве случаев мы вообще не в состоянии использовать наши наблюдения, делаем мы их или нет — это никакого влияния на характер наших отношений не оказывает. Мы не властны ни над своими выводами, ни над своими решениями.

В детективном романе мы каждый раз получаем точно очерченные отрезки жизни, изолированные, отграниченные маленькие комплексы происшествий, где в достаточной степени действует причинность. Это дает возможность получать удовольствие от размышления.

Возьмем простейший пример, на сей раз из истории криминалистики, а не из романа. Убийство было совершено посредством светильного газа. Преступниками могли быть два человека. Один имеет алиби для полуночи, другой для утра. Решение основывается на том факте, что на подоконнике обнаружено несколько мертвых мух. Следовательно, убийство было совершено под утро: мухи находились на освещенном окне,— вот каким способом могут действительно р е ш а т ь с я вопросы в отношении нашей столь запутанной жизни.

Убитый опознается также путем доставляющих удовольствие умозаключений на отграниченном поле расследования. Посредством точных наблюдений устанавливается его социальное — и, кроме того, географическое — местоположение. Найденные при нем мелкие предметы постепенно обретают биографию. Зубной мост сделан таким-то врачом. Но еще до того, как это установлено, уже известно, что убитый, во всяком случае в то время, когда заказывал этот мост, был человеком обеспеченным: мост дорогой.

Круг подозреваемых тоже мал. За ними можно установить точное наблюдение, подвергнуть их небольшим испытаниям. Тот, кто расследует дело (детектив и читатель), пребывает в странной, свободной от условностей атмосфере. Преступником м о ж е т быть как подлый баронет, так и верный до гробовой доски слуга или семидесятилетняя тетка. Никакой министр не свободен от подозрения. Убил ли человек своего ближнего, определяется на поле, где действуют только мотив и удобный случай.

Нам доставляет удовольствие способ, каким автор детективного романа приводит нас к разумным суждениям, заставляя отказываться от наших предубеждений. Для этого он должен владеть искусством обмана. Впутанных в дело убийства лиц он должен наделить как несимпатичными, так и привлекательными чертами. Он должен провоцировать наши предубеждения. Человеколюбивый старый ботаник н е м о ж е т быть убийцей, заставляет он нас воскликнуть. От дважды судимого за браконьерство садовника можно ожидать всего, заставляет он нас вздохнуть. Своими о п и с а н и я м и х а р а к т е р а он направляет нас по ложному пути.

Тысячекратно предупрежденные (чтением тысячи детективных романов), мы опять забываем, что решают лишь мотив и удобный случай. Только общественные условия делают возможным или необходимым преступление: они насилуют характер так же, как они его и создали. Конечно, убийца злой человек, но, чтобы прийти к такому выводу, мы и должны пришить ему убийство. Непосредственного способа для распознания его морали детективный роман не указывает.

Таким образом, все дело в отыскании причинной связи.

Главное интеллектуальное удовольствие, доставляемое нам детективным романом, состоит в установлении причинности человеческих поступков.

С трудностями, которые испытывают в области причинности наши физики, мы, несомненно, встречаемся повсеместно в своей повседневной жизни, но не в детективном романе. В повседневной жизни, когда речь идет об общественных ситуациях, мы, совершенно так же как физики в определенных областях, зависим от статистической причинности. Во всех жизненных вопросах, может быть исключая только наипримитивнейшие, мы должны довольствоваться исчислением вероятностей. Получим ли мы, имея такие-то и такие-то знания, ту или иную должность — это можно знать в лучшем случае лишь с известной степенью вероятности. Мы не можем мотивировать однозначно даже свои собственные решения, не говоря уже о решениях других людей. Данные нам возможности в высшей мере смутны, скрыты, затушеваны. Закон причинности действует в лучшем случае лишь отчасти.

В детективном романе он действует полностью. Несколькими искусными приемами устраняются источники помех. Поле зрения ловко сужено. И умозаключения производятся задним числом, исходя из катастрофы. Тем самым мы попадаем в положение, разумеется, очень выгодное для умозрительных рассуждений.

Вместе с тем мы можем использовать здесь мышление, выработанное в нас нашей жизнью.

Мы дошли до одного существенного пункта нашего маленького исследования: почему в наше время так исключительно популярны умственные операции, возможность которых дает нам детективный роман.

Свой жизненный опыт мы получаем в условиях катастроф. На материале катастроф нам приходится познавать способ, каким функционирует наша общественная совместная жизнь. Размышляя, мы должны раскрывать «inside story»[1] кризисов, депрессий, революций и войн. Уже при чтении газет (но также и счетов, извещений об увольнении, мобилизационных повесток и так далее) мы чувствуем, что кто-то что-то сделал, дабы произошла явная катастрофа. Что же и кто сделал? За событиями, о которых нам сообщают, мы предполагаем другие события, о которых нам не сообщается. Они и есть подлинные события. Мы могли бы в них разобраться, только если бы мы знали о них.

Только история может вразумить нас по поводу этих подлинных событий — если главным действующим лицам не удалось их полностью скрыть. История пишется после катастроф.

Само положение интеллигентов, которое определяется тем, что они объект, а не субъект истории, и формирует то мышление, которое они могут с удовольствием применить при чтении детективного романа. Существование зависит от неизвестных факторов. «Что-то должно случиться», «что-то надвигается», «возникла ситуация» — это они чувствуют, и ум их отправляется в разведку. Но если ясность и наступает, то наступает она лишь после катастрофы. Убийство совершено. Что тут надвигалось? Что случилось? Что за ситуация возникла? Вот теперь это, возможно, удастся раскрыть.

Этот пункт, вероятно, не решающий, он, возможно, только один из них. Популярность детективного романа основана на многих причинах. Однако эта причина мне все-таки кажется одной из самых интересных.

О ДЕТЕКТИВНОМ РОМАНЕ

Но действующие лица обрисованы очень грубо, мотивы действий неуклюжи, происшествия топорны, все, особенно сцепление обстоятельств, столь невероятно, здесь так много случайного; господствует мелкий дух. Нет смысла возражать: изображение действующих лиц большей частью поверхностно. Большей частью о них говорится лишь столько, сколько требуется читателю для понимания их поступков; как правило, характеры конструируются на глазах читателя черта за чертой, они постоянно связываются с образом действий. Такой-то мстителен, поэтому он и пишет письмо, или такое-то письмо написано мстительным человеком: кто среди действующих лиц мстителен? Читатель принимает участие в конструировании характера как в некой деятельности; все ведет к разоблачению, которое изначально задано. Преследуемый, то есть человек, чей характер должен быть вычерчен, чаще всего может ожидать от этого одних неприятностей, поэтому он крайне неохотно обнаруживает свои характерные черты. Он не выражает свою сущность, он фабрикует черты своего характера, он их фальсифицирует: он сознательно мешает эксперименту. Снова вспоминается современная физика: наблюдаемый объект изменяется из-за самого процесса наблюдения. Эти рекорды в области литературной психологии (рекорды, ибо с точки зрения современной научной психологии метод изображения людей в романе полностью устарел) сразу же достигаются детективным романом благодаря тому, что буржуазная жизнь рассматривается и описывается в нем как жизнь приобретательская. Иногда при этом возникают и более значительные образы: мыслитель-шахматист у По, Шерлок Холмс у Конан Дойля и отец Браун у Честертона.

[1] Подоплека *(англ.)*.

КОМИЧЕСКОЕ [1]

1. В «Облаках» [2] крестьянин отдает своего сына в обучение к одному туи. Убедившись на собственной шкуре, что за дорогую цену купил плохой товар, он колотит этого туи.

2. В «Подземельях Ватикана» один провинциал приезжает в Рим и рыскает вокруг Ватикана, чтобы разведать предполагаемые тайны папы. Поскольку я забыл содержание, я не помню, показано ли в книге, что преступления духовенства совершенно очевидны, но провинциал не воспринимает их как таковые, или же подземелий не существует, так что он отправляется домой успокоенным или не найдя доказательств преступлений [3].

3. В «Михаэле Кольхаасе» [4] мы имеем дело со случаем, когда нужен был бы туи. И потому чувство справедливости скототорговца порождает лишь хаос, иначе дело ограничилось бы простой несправедливостью.

4. В «Одиссее» человек по пути домой объезжает весь свет. Его хитрость помогает ему выбраться из любого положения, но только не попасть домой.

Колумб искал морской путь в Западную Индию, не нашел его, зато нашел Америку. Стало быть, он добился успеха.

5. В «Аду» поэт Вергилий показывает поэту Данте его врагов в преисподней.

6. «Иосиф в Египте» [5] в качестве советника фараона скупает зерно, вызывает голод и снова устраняет его, продавая зерно за высокую цену. Его прославляют как благодетеля человечества.

7. В «Дон Кихоте» герой читает слишком много рыцарских романов и решает совершить великие деяния. Он не находит удобных случаев. В своем больном воображении он принимает мельницы и стада баранов за своих врагов.

8. В «Кандиде» [6] юноша заучивает, что все существующее и должно быть таким, и узнает, что эта теория не для всех одинаково хороша.

9. Шильдбюргеры [7] вытаптывают засеянное поле, чтобы кто-нибудь не вытоптал его. Большие разрушения во избежание разрушений маленьких. Действие во избежание действий.

10. Колумб утонул в умывальном тазу, после того как одолел мировой океан. Таза было достаточно: он не умел плавать. (Что для одоления мирового океана не было необходимостью.) Опровержение.

11. Бравый солдат Швейк с восторгом шагает на войну, но так и не добирается до нее. Ум его начальства разбивается о его «глупость». Великие планы срываются из-за плана «маленького человека» — выжить.

12. Австрийские железнодорожники добиваются у правительства удовлетворения своих требований не забастовкой, а добросовестным выполнением (чего обычно не делают) всех служебных инструкций, в результате чего ни один поезд не прибывает и не отправляется.

13. В «Улиссе» повседневные события в жизни обывателя изображаются (скрупулезно) как сложные и опасные приключения.

14. Завоевания французского империализма вдохновляют и провинциала Тартарена из Тараскона на разные героические дела.

15. Профессиональный жулик принимается чабивающими свои карманы чиновниками за ревизора, и они делятся с ним добычей.

16. Капитан из Кёпеника [8] использует интонации, манеры (и мундир) прусского капитана, чтобы ограбить кассу. Он безграмотный сапожник, но это остается необнаружечным, что довершает иллюзию.

17. Уленшпигель, причиняя ущерб своим согражданам, учит их тем самым уму-разуму.

18. Требуются великие чудеса, чтобы Дева [9] оставалась во французской армии девственницей.

19. В «Разбитом кувшине» [10] судья вынужден раскрывать преступление, которое сам совершил.

20. Только с помощью черта ученому Фаусту удается соблазнить немецкую девушку.

---

[1] Заметки этого раздела взяты из материалов Брехта для романа о туи. Туи — придуманное Брехтом словечко на китайский лад, сокращенная анаграмма из слова Intellektueller.

[2] «Облака» — пьеса Аристофана.

[3] Содержание романа А. Жида «Подземелья Ватикана» Брехт излагает здесь очень неточно.

[4] «Михаэль Кольхаас» (1910) — повесть Генриха фон Клейста.

[5] «Иосиф в Египте» (1936) — третья книга тетралогии Томаса Манна «Иосиф и его братья».

[6] «Кандид» (1759) — повесть Вольтера.

[7] «Шильдбюргеры» — немецкая народная книга, изданная в обработанном виде в 1598 г.

[8] «Капитан из Кёпеника» (1931) — пьеса немецкого драматурга Карла Цукмайера.

[9] «Орлеанская дева» (1735) — героико-комическая поэма Вольтера.

[10] «Разбитый кувшин» (1808) — комедия Клейста.

21. Точным расчетом Свифт доказывает, что народ можно избавить от голода, только переработав его детей в солонину [1].

22. Чжуан-цзы в «Страданиях из-за пригодности» показывает, что наиболее счастливы самые бесполезные.

23. Диккенс в «Холодном доме» показывает, как судебные процессы по поводу состояний проглатывают состояния.

24. Ленц в «Домашнем учителе» [2] показывает, что учителя лишь в том случае могут получить место, если сами себя кастрируют.

25. Лисистрата [3] организует брачную забастовку против войны. Мужья следуют скорее голосу телесного низа, чем голосу разума.

26. Рыбак и его старуха узнают, что если пожелаешь большего, чем стать царем, опять вернешься к бедности.

27. Гангстер в «Маленьких великанах» приходит в приличное общество, и его обирают вплоть до рубашки. Только своими старыми методами ему удается вернуть все обратно.

28. В «Турандот» [4] (в моем варианте) император обещает руку дочери тому, кто сумеет отгадать причину бедствий страны. Кто пробует, но не умеет, того обезглавливают. Повинен же сам император, и это делает затруднительным решение задачи.

29. Эфесская вдова [5] мужа которой убили, забирается в склеп, чтобы показать свою верность. Там ее совращает палач. Поскольку во время совокупления с виселицы украли повешенного, ответственность за которого несет палач, ей приходится самой водрузить на виселицу труп мужа.

30. Умерщвляя свою плоть самым невероятным способом, святой Антоний попадает во власть самых сладострастных (и грешных) видений.

31. В «Золотой лихорадке» Чаплину в бреду, вызванном голодом, является его лучший друг в образе большой курицы, которую он хочет зарезать.

32. Друг сердечный в «Симплициссимусе» проявляет в мирные дни те самые храбрость и хитрость, которые сделали его на войне великим солдатом, и с ним разделываются как с пройдохой.

[ПРОИЗВЕДЕНИЯ МЕНЬШИХ ГЕНИЕВ]

Признавать только совсем великих — значит ничего не понимать в литературе. Небо со звездами только первой величины — не небо. У Ленца можно не найти того, что есть у Гёте, но и у Гёте не найдешь того, что есть у Ленца. И вообще дело обстоит не так, будто произведению меньшего гения чего-то недостает. Сами по себе они могут быть во всем совершенными. Некоторые из менее известных просто не имели времени больше писать или совершенствоваться, им не хватало денег, связей или нервов. Иным не давалось искусство подхалимства, которым мастерски владели некоторые великие. С другой стороны, дурную привычку всю немецкую литературу сводить к Гёте, Шиллеру и Гейне нельзя объяснить лишь недостатком времени. Кто знает о ней не более этого, ничего о ней не знает,— по мне, пусть даже из-за недостатка времени.

ИСКУССТВА В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ. 1948—1956

ИСКУССТВА В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ

Голодное стремление эксплуатируемых и угнетенных пролетарских масс к искусству в момент их самоосвобождения исключительно велико. Это голодное стремление к наслаждению жизнью — часть подавленного огромного голода. В страшный и изумительный период последних схваток, «решительного боя», и во время великих битв первых строек большей частью господствует еще чисто физический голод, а голод духовный может быть скорее удовлетворен. К тому же массы видят в искусствах средство борьбы.

Когда корабль буржуазии начинает тонуть, она обычно в первую очередь выбрасывает за борт искусство, и не только потому, что самые лучшие художники задолго до этого уже начали содействовать потоплению корабля. Когда пролетариат берет власть в свои руки, он призывает искусство в свои ряды.

---

[1] Имеется в виду памфлет Свифта «Скромное предложение» (1729), где английский помещик-прожектер предлагает откармливать детей ирландских бедняков на убой.

[2] «Домашний учитель» (1774) — пьеса немецкого драматурга Якоба Ленца.

[3] «Лисистрата» — комедия Аристофана.

[4] «Турандот» (1762) — театральная сказка итальянского драматурга Карло Гоцци.

[5] «Эфесская вдова» — новелла из книги древнеримского писателя Петрония «Сатирикон».

Как потрясает забота, какую молодое советское правительство, осаждаемое изнутри и извне, среди голода, проявляет по отношению к театру! Оно помогает углем, специальными пайками, немедленными договорами. То же повторилось через два с половиной десятилетия, когда в завоеванном Берлине уже в самые первые дни советский комендант распорядился открыть театры, закрытые Гитлером. Враг, побежденный с таким трудом, был приглашен в театры. Первые меры, принятые победителем: обеспечение хлебом, водоснабжение и открытие театров! После революции, прежде чем построить свою тяжелую промышленность, русский пролетариат построил свою кинопромышленность. Два с половиной десятилетия спустя его победоносные солдаты помогают немецкому народу, разрушившему значительную часть его тяжелой промышленности, построить новую кинопромышленность.

Нет сомнения: с великой перестройкой начинается великая эпоха для искусства. Насколько велико оно будет?

1948

ЧТО ТАКОЕ ФОРМАЛИЗМ!

Буржуазная свобода для пролетариев — формализм, нечто «на бумаге», пустая фраза, чтобы втереть очки; ибо они свободны только «по форме». Помпезная фраза Веймарской конституции: «Каждый может приобрести земельный участок» — лишь формальный шаг вперед по сравнению с временами, когда только определенные классы могли приобретать земельные участки; ведь пролетарии все равно не могут приобретать земельные участки — тут попросту опущена менее помпезная фраза: «Если у него имеются необходимые для этого мелкие деньги». Имея условную возможность приобрести огородный участок, пролетарий еще не становится землевладельцем.

Опаснейшим формализмом был социализм нацистов, этот социализм прямо-таки вопиет, требуя кавычек; он многое закавычил. Тут и «народное содружество» нанимателей и нанятых, тут и «экономический взлет», и «экономическое чудо» посредством вооружения. На бумаге народ имел «фольксваген», в суровой действительности он обернулся танком.

Как видите, с формой можно проделывать всякое, можно чинить обманы и инсценировать улучшения, являющиеся таковыми лишь по «внешней форме».

В искусстве форма играет большую роль. Она значит не все, но все же так много, что пренебрежение ею губит произведение. Она не есть что-то внешнее, не нечто, что художник придает содержанию, она так связана с содержанием, что зачастую представляется художнику самим содержанием, ведь при создании произведения искусства перед ним возникают определенные элементы формы большей частью одновременно с материалом, а иной раз даже и раньше материала. Он может испытывать желание создать что-то «легкое», например, стихотворение в четырнадцать строчек, что-то «мрачное» с тяжелыми ритмами, что-то монументальное, что-то пестрое и так далее. Он смешивает слова с особым привкусом, лукаво сводит их вместе, подыгрывает им. При конструировании он играет ими, пробует то одно, то другое, ведет действие то так, то эдак. Он ищет разнообразия и контрастов. Он промывает слова, они ведь легко покрываются пылью; он освежает ситуации, они ведь легко занашиваются. Когда он «творит», он не всегда, не в каждое мгновение знает, что постоянно отображает действительность или «выражает» то, что помимо него вызывает в нем действительность. В ущерб своему произведению он на этом иной раз и застревает, но опасность еще не делает самый метод неправильным, нестоящим. Великие «мастера формы» часто оказываются в опасности, иной раз и гибнут. Чрезмерное «приглаживание» разрушает иные творения, но, правда, и «вулканические извержения» разрушают иные творения. Во всяком случае, надо помнить, что поэты говорят не так, как «бог на душу положит», разве что мы имеем дело уж с очень редкостной душой. Они формуют и формулируют. Но это еще не делает их формалистами.

Было бы чистой бессмыслицей говорить, что форме и развитию форм в искусстве не нужно придавать никакого значения. Нужно. Не внедряя новшеств формального характера, поэзия не может внедрять новые материалы и новые точки зрения в новые слои читателей. Мы строим свои дома иначе, чем елизаветинцы, и пьесы свои мы строим иначе. Если сохранить шекспировский метод построения, тогда следовало бы, скажем, возникновение первой мировой войны объяснить стремлением к самоутверждению одного человека (кайзера Вильгельма, а у него оно было вызвано укороченной рукой). Но это было бы абсурдом. На деле это был бы формализм: лишить себя новой точки зрения на измененный мир, только бы сохранить определенный метод построения. Столь же формалистично было бы навязывать старые формы новому материалу, выдавая их за новые.

Правда, острая критика формализма возникла у нас в связи с *новыми* формами в искусстве, которые не принесли ничего нового, кроме формально нового. Например: психическое продолжает рассматриваться как двигатель мировых событий, тут все осталось по-прежнему, но психология изменилась, когда в нее ввели психоанализ, или бихевиоризм,— это было новое. В основе этого процесса лежало беспокойство, охватившее разложившуюся буржуазную культуру,— истощенную клячу-пси-

хологию подстегивали, побуждая к новым прыжкам и ска́чкам. В живописи яблоко стало проблемой краски и формы. В основе лежало новое нетерпение по отношению к природе, которое в других областях, в биологии, привело к созданию новых сортов фруктов. Один американский пресвитерианец использовал некоторые новшества актерской техники, выработанные для революционного воплощения социальных проблем, чтобы наглядно продемонстрировать апофеоз новоанглийской общины. Одновременно с этим его церковные собратья ввели в богослужение, утрачивающее свою притягательную силу, кино и джаз. Так называемые экзистенциалисты открыли, что сама экзистенция буржуазного человека стала сомнительной, и, поскольку предстоит решительное сражение (что чувствует даже Черчилль), они, желая притупить эту новую и интересную мысль, стали говорить об экзистенции «человека вообще», не утруждая прилагательное «буржуазный»,— старый фокус был показан в новых костюмах, а в качестве новой приправы стали рекомендовать пессимизм. Короче говоря, повсюду старое приправляли формальными новшествами и делали его снова съедобным, перелицовывали старые потертые штаны, отчего они не становились теплее, лишь выглядели лучше (и теплее).

Неудивительно, что формальные новшества в конце концов дискредитировали себя. Слишком отчетливо было видно, что существует нечто, чему можно бы дать наименование «саморазвитие формы» и что очень опасно. Найдены некоторые принципы, они снискали известность, кажется, будто открыта новая тропа. Вначале новая форма обещает и то и се; но вскоре она начинает требовать того и сего, независимо от материала и функции. Когда это случается, можно быть уверенным, что это не тропа, а тупик, где остается лишь по-домашнему устроиться. Новое направление в искусстве не соответствовало новому направлению в политике, в общественных делах. Новая форма была новым порядком, как мы это испытали при национал-социализме, новой, ошеломляющей, приятной расстановкой старых вещей — формализмом.

Ясно, что в момент, когда все дело в том, чтобы вымыть из глаз человечества пыль, которую ему пустили, с подобными мнимыми новшествами надо бороться. Так же ясно, что возврата к старому нет, нужно двигаться вперед, к подлинно новому. Какие огромные новшества свершаются сейчас вокруг нас! На территориях, более многолюдных, чем Франция и Англия вместе взятые, новые классы завоевали землю и средства производства; старый Китай, такой же большой, как английская империя в период своего высочайшего «расцвета», вступает в мировую историю с новыми социальными принципами, и так далее, и так далее — как могут художники отображать все это старыми художественными средствами?

О ФОРМАЛИЗМЕ И НОВЫХ ФОРМАХ

1. Холостой ход в литературе позднекапиталистической эпохи проявляется, как известно, в том, что ее поэты неустанно пытаются отчаянными преобразовательными формами придать старому буржуазному содержанию новую привлекательность. И тут обнаруживается один своеобразный признак упадка, а именно — разрыв между формой и содержанием произведения искусства: форма, будучи новой, отделяется от содержания, являющегося старым. Другими словами: только новое содержание уживается с новой формой. Оно ее даже требует. Если втиснуть новое содержание в старую форму, снова немедленно вступит в силу губительное разделение содержания и формы — теперь форма, будучи старой, отделится от содержания, являющегося новым. У нас, где преобразуются основы общества, жизнь протекает повсюду в новых формах, и отобразить ее в литературе или воздействовать на нее нельзя в старых формах.

2. Необходимая борьба против формализма, то есть против искажения действительности во имя «формы» и против проверки заложенных в произведении искусства стремлений общественно желательным, зачастую оборачивается у неосторожных борьбой вообще против работы над формой, без чего искусство не есть искусство. В искусстве знание и фантазия не несовместимые противоположности. В Афины тоже ведет много дорог. И чтобы политически правильное стало человечески убедительным, требуется искусство.

3. Форма произведения искусства есть не что иное, как совершенная организация его содержания, поэтому ее ценность полностью зависима от него.

О МЕЛКОБУРЖУАЗНЫХ СКЛОННОСТЯХ В ИСКУССТВЕ

1. Мелкобуржуазный вариант страсти в искусстве — это темперамент. Причем против последнего ничего нельзя было бы возразить, если бы он не подменял первой. Последний может делать это с тем большей легкостью, что первая и без того трудно распознаваема.

2. Страсть в противовес темпераменту часто создает в искусстве впечатление известной сдержанности. Душевные движения, вызываемые страстным произведением искусства, начинают свое развитие в борьбе с силами сопротивления, которые оно само мобилизовало. Оно проникает в более глубокие слои сознания, чем произведе-

ние, созданное одним лишь темпераментом. Возникает также напряжение между содержательным и формальным элементами, порождающее эстетическую привлекательность,— это придает воздействию двойственность и тем самым хотя и углубляет, но вместе с тем и тормозит его.

Набросок

ОБЪЕКТИВИЗМ

Реалисты не сторонники искаженного или недостаточного изображения действительности, даже если они и выступают за выработку типичного (исторически важного) и его поэтическое преувеличение. Они за объективные, но не за объективистские изображения. Объективистские изображения упускают из виду субъективный момент, волю изображающего, направленную на постоянное благотворное изменение данных условий и отношений, и создают отображения, не содержащие никаких импульсов для изменения и развития.

ТИПИЧНОЕ

1. Исторически значимы (типичны) люди и события, которые могут быть и немногочисленными или наиболее бросающимися в глаза, но являются решающими для процессов развития общества. Отбор типичного должен производиться и среди положительного (желательного для нас), и среди отрицательного (нежелательного).

2. Есть, кажется, много советчиков, которые все, что они хотели бы оставить скрытым, или все, что статистически немногочисленно, объявляют нетипичным. Слово превращают в фетиш, называя типичным просто желаемое. Это похоже на то, как если бы кто-то заказывал свой портрет и сказал художнику: не правда ли, вот эта бородавка и торчащие уши для меня нетипичны. Подлинный смысл слова «типично», из-за которого марксисты считают его существенным, таков: исторически значимое. Это понятие позволяет осветить светом поэзии и мнимонезначительные, редкие, незаметные события, и невзрачных, часто или редко встречающихся людей, потому что они исторически важны, то есть для прогресса человечества, то есть для социализма важны. Но эти события и люди должны быть изображены реалистически, то есть со всеми их противоречиями, должно быть ясно и то, насколько часто они встречаются в жизни.

[АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ИСКУССТВА]

В нынешнее время выбора решений искусство также должно решить свой выбор. Оно может сделаться инструментом для тех немногих, кто для многих играет роль божественного провидения и требует веры, главным образом слепой, и оно может встать на сторону многих и помочь им взять свою судьбу в собственные руки. Оно может отдать людей во власть дурмана, иллюзий и чудес, и оно может отдать мир людям. Оно может увеличить невежество. Оно может апеллировать к силам, показывающим свое могущество при разрушении, и оно может апеллировать к силам, показывающим свое могущество при созидании.

[БЕЗОБРАЗНОЕ В РЕАЛИСТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ]

Художник-реалист не избегает безобразного. Он не исключает безобразного человека, безобразное окружение, безобразное событие.

Но он и не ограничивается этим безобразным, он преодолевает его — в двойном отношении. Во-первых, красотой его воплощения (ничего общего не имеющей с приукрашиванием и лакировкой). Во-вторых, тем, что представляет безобразное как общественный феномен.

ИСКУССТВО И МОРАЛЬ

Все время делаются попытки внести в определение искусства моральные критерии. Это непрактично. Лучше говорить о моральном и аморальном искусстве. Иначе слишком легко приходят к тому, что в конечном счете хвалят художественно слабые произведения за их моральные намерения (которые при художественной слабости и осуществить-то невозможно). А общество в целом достаточно могуче, чтобы сделать что-то из всего искусного, у него тысячи рук. Надо переждать несколько лет, удовлетворить некоторые безотлагательные актуальные потребности, чтобы аморальное, увиденное исторически, на расстоянии, снова стало пищей.

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ

Что такое социалистический реализм, не следует просто определять по уже имеющимся произведениям или способам изображения. Критерием должно

быть не то, похоже ли данное произведение или изображение на другие произведения или изображения, причисляемые к социалистическому реализму, а то, является ли оно социалистическим и реалистическим.

1. Реалистическое искусство — искусство боевое. Оно борется против неправильных взглядов на реальность и стремлений, противоречащих реальным интересам человечества. Оно способствует выработке правильных взглядов и усиливает плодотворные стремления.

2. Художники-реалисты подчеркивают чувственно воспринимаемое, «земное», в широком смысле типичное (исторически значимое).

3. Художники-реалисты подчеркивают момент становления и распада. Они мыслят во всех своих произведениях исторически.

4. Художники-реалисты изображают противоречия в людях и их взаимоотношениях и показывают условия, при каких они развиваются.

5. Художников-реалистов интересуют изменения в людях и условиях, изменения непрерывные и изменения скачкообразные, в которые переходят непрерывные.

6. Художники-реалисты изображают власть идей и материальную основу идей.

7. Художники социалистического реализма гуманны, то есть человеколюбивы, и так изображают взаимоотношения людей, что это укрепляет социалистические устремления. Они укрепляются благодаря практическому познанию общественного механизма и благодаря тому, что они — эти устремления — превращаются в наслаждение.

8. Художникам социалистического реализма свойственно реалистическое отношение не только к своим темам, но и к своей публике.

9. Художники социалистического реализма учитывают уровень культуры и классовую принадлежность своей публики, равно как и состояние классовой борьбы.

10. Художники социалистического реализма подходят к реальности с позиции трудящегося населения и связанной с ним интеллигенции, выступающей за социализм.

[ПРОИЗВЕДЕНИЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ]

Если бы мне предложили выбрать из художественной литературы нашего столетия три произведения, которые, по моему мнению, войдут в мировую литературу, одним из них я выбрал бы «Приключения бравого солдата Швейка» Гашека.

16 августа 1955

[О ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛАЖДЕНИИ]

1. В искусстве люди наслаждаются жизнью.

2. Наслаждение порождается искусностью отображений.

3. Наслаждение порождается толкованием явлений.

4. Наслаждение порождается доказательством точки зрения.

5. Наслаждение порождается усилением воли к жизни.

6. Бывает великое искусство и искусство малое, искусство полезное и вредное, низкое и высокое искусство — но нет искусства красивого и безобразного.

Культура и современность

Заметки на полях

ВСПОМИНАЯ ГАЛИЛЕЯ

Высший балл по общественному престижу получают ученые-физики, обгоняя бизнесменов, министров и епископов. Так определили американцы, любящие всему выяснять цену. Неудивительно, что тема ответственности ученого перед обществом выходит сейчас на первые страницы многих зарубежных журналов. Широкий читатель проявляет тревожный интерес к тому, какое место займет режиссер-постановщик научно-технической революции в обостряющихся социальных конфликтах, к его суждениям о мире и к шкале его духовных ценностей, в конечном счете — к смыслу его жизни и деятельности. И еще хочется узнать обыкновенному человеку, на каком этаже величественного здания Научного Прогресса отводит ему место ученый — в складском подвале, где хранится сырье, на средних ли этажах, среди прочих объектов для эксперимента, или же наверху, где он, Человек с большой буквы, рассматривается как высшая ценность цивилизации.

Поднялась как бы новая волна популярности этой темы; первая волна прокатилась по миру после атомных бомбардировок Японии и особенно в связи с «холодной войной», когда плод вдохновенного творчества крупнейших ученых мира грозил превратиться в орудие всеобщего уничтожения. Это насыщенное трагизмом внутреннее противоречие современной науки, порожденное ее саморазвитием, афористично выразил Бертольт Брехт, сказавший: «Атомная бомба и как техническое и как общественное явление есть конечный результат научных достижений и общественной несостоятельности Галилея». Образ великого итальянского ученого потому так занимал немецкого драматурга, обладавшего даром ощущения и передачи волнующих нас проблем в адекватной времени форме, что от Галилея ведут свою родословную не только методология и концептуальный аппарат современной, основанной на опыте науки, но и ее положение в обществе.

Тень Галилея недавно потревожили и участники дискуссии на интересующую нас тему, которая разгорелась на страницах международного журнала «Импэкт оф сайенс он сосайети» («Воздействие науки на общество»), издаваемого ЮНЕСКО на английском, французском и испанском языках. Задавая тон дискуссии, видный физик-теоретик, профессор Бристольского университета Джон Займен (его книги «Электроны и фононы», «Принципы теории твердого тела» и «Современная квантовая теория», изданные у нас в стране, хорошо известны специалистам) вспомнил о «сомнительном поведении бедного старого Галилея» для того, чтобы выразить свое разочарование по поводу итогов последующей истории науки. Хотя могущество «былой секты» ученых с той поры неимоверно возросло, этот «поразительный успех», по его мнению, был куплен дорогой ценой.

> «...ибо главное — интеллектуальная независимость, университетские свободы, свобода самовыражения и право на молчание,— писал он,— все это обменивалось на деньги, людей и машины всякий раз, когда назревал конфликт. Без конфликтов, без кровопролития, без противостояния власти мирской, власти духовной мы были интегрированы в систему».

Другой участник дискуссии, американский биохимик Милтон Лейтенберг, работающий в Швеции, так резюмирует — чтобы затем их отвергнуть — сформулированные

его соотечественником Броновским принципы «классической научной морали, которая не изменилась со времен Галилея»:

> «Единственный долг ученого — в том, чтобы следовать по пути, который ему открывают собранные им данные, и истолковывать их с максимально возможной точностью и правдивостью.
>
> Поскольку каждый член научного сообщества следует этому принципу, постольку возникает самокорректирующаяся система, побуждающая всех членов сообщества соблюдать общие нормы правдивости и точности».

Лейтенберг считает, что эти догмы не выдержали столкновения с современной действительностью. Нельзя не согласиться с Лейтенбергом, что о самокоррекции науки в капиталистическом обществе можно говорить только с саркастической усмешкой. Силы, внешние по отношению к процессу исследования и открытия, воздействуют на него в своих интересах, извращая его развитие.

> «Элементы, усваивающие продукты научного метода,— пишет он,— возглавляют, организуют, финансируют, применяют и ориентируют науку в своих особых целях. Еще более опасно то, что вера в классическую догму облегчает использование научного процесса навязавшими себя элементами и способствует крайней невосприимчивости научного сообщества, ослепленного своим чудесным идеалом, к тому, что происходит на самом деле».

Насколько же прозорлив был Брехт, толкуя жизнь своего героя как крушение расчетов на саморегулирование науки и на то, что она «образумит» человечество. Писатель остро ощущал взаимосвязь между моралью «науки во имя науки» — тем, что сегодня именуется сайентизмом,— и аморальностью общества, его породившего. В конце пьесы Галилей с горечью восклицает: «В течение нескольких лет я был так же силен, как и власти. Но я отдал свои знания власть имущим, чтобы те их употребили, или не употребили, или злоупотребили ими — как им заблагорассудится — в их собственных интересах». И автор, как бы предвосхищая вывод Лейтенберга, комментирует (в предисловии к американскому изданию пьесы «Жизнь Галилея»):

> «Преступление Галилея можно рассматривать как «первородный грех» современных естественных наук».

Выступления Займена и Лейтенберга — знамение времени. Новая волна, о которой мы говорили, вызвана социальными потрясениями последних лет — от героической борьбы вьетнамского народа, не оставляющей безучастной ни одну общественную силу, до молодежного движения в цитаделях развитого капитализма. Студенческие выступления, в которых отразились мучительные поиски будущими специалистами своего места в обществе, поставили их учителей и наставников перед неотложной нравственной обязанностью дать свой ответ на первостепенный вопрос современности: на чьей же стороне наука?

Ответы даются, впрочем, разные. Коллега Займена по Королевскому обществу Эрнст Чэйн, получивший вместе с Флемингом и Флори Нобелевскую премию за создание пенициллина, выразился недвусмысленно:

> «Человек науки ответствен прежде всего перед своей нацией... У него нет другого выбора, кроме как помогать своей стране в создании наиболее эффективных средств обороны и, следовательно (?! — **Е. А.**), самых разрушительных орудий агрессивной войны».

Заявление Чэйна вызвало решительный протест участников дискуссии в «Импэкт». Лейтенберг противопоставил его словам декларацию группы сотрудников Массачусетского технологического института (США) от 4 марта 1969 года. В этом документе говорится:

> «Дурное использование научных и технических знаний представляет основную угрозу для самого существования человечества. Наше правительство... своими действиями разрушило нашу веру в его способность принимать мудрые и человечные решения.
>
> Оно также подтвердило — что особенно настораживает — свое намерение еще больше увеличить нашу огромную разрушительную способность. Реакция научного сообщества на все это носила обескураживающе разобщенный характер. Одна небольшая группа представителей научного мира поддерживает эту линию, другая, столь же небольшая группа ученых попыталась, хотя в общем и безрезультатно, сопротивляться воле правительства. Большинство заинтересованных лиц замерло в бездейственном ожидании. Поэтому мы полагаем, что больше невозможно оставаться в стороне».

Дискуссия в «Импэкт» — одно из многочисленных подтверждений того факта, что смельчаки из МТИ не остались в науке одиночками. Решительную отповедь Чэйну, согласно логике которого можно оправдать любой акт человеконенавистничества, если он совершается во имя национальных интересов и развития науки, невольно хочется сопоставить с печальным финалом противоборства Оппенгеймера и Теллера. Отец аме-

риканской атомной бомбы Оппенгеймер, отказавшийся способствовать созданию еще более разрушительной водородной бомбы, был, как известно, подвергнут суду инквизиции — комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. А другой выдающийся физик, Теллер, сыграл позорную роль главного свидетеля обвинения. (Кстати, Лейтенберг отмечает, что сегодня именно Теллер говорит о возможностях саморегулирования научно-технического развития «в верном направлении» при помощи «наших социальных механизмов»). Трагизм тогдашнего положения заключался и в том, что американский научный мир, терроризированный маккартистской «охотой за ведьмами», в общем остался безучастным к судилищу над ученым, поступившим по велению совести, и к попранию другим ученым элементарной порядочности.

Участники дискуссии в «Импэкт» выступают не только против позиции Теллера — Чэйна, которую можно определить как активное прислужничество. Займен подвергает критике и тех интеллектуалов, которые поступаются своим долгом «бороться с ложью, лицемерием, жестокостью и глупостью» и усыпляют свою совесть мифами о так называемом «осторожном согласии». Профессор биологии Открытого университета (Англия) Стивен Роуз и его жена, социолог Хилери Роуз, напоминают в своей статье, что концепция «осторожного согласия» была предложена — для объяснения социального поведения большинства ученых — американским исследователем Дж. Хаберером. Этот эвфемизм, как пишут супруги Роуз, означает стремление избежать худшего.

> «В Германии (гитлеровской.— Е. А.) подобное согласие повлекло за собой изгнание из университетов ученых еврейского происхождения и официальное принятие откровенно расистской биологии, оправдывающей чудовищное и организованное истребление людей в концлагерях».

Грехопадение не всегда происходит сразу. Чаще это — длинная, пологая лестница из едва ощутимых ступенек компромиссов. Спускаясь с одной ступеньки на другую, успокаиваешь себя незначительностью каждого шага. Но вот ты уже внизу, в грязи по уши. Только обладая воображением Мюнхаузена, можно вытащить себя из нее.

Продолжая свою мысль, Займен объявляет лицемерие и оппортунизм «наиболее отталкивающей чертой современного интеллектуала». Благодаря ей биохимик, например, не испытывает угрызений совести, когда вносит вклад в подготовку бактериологической войны, поскольку считает свою работу «чистой наукой».

> «...он продал свою душу дьяволу, и до чего же забавно наблюдать, как такие типы возмущаются из-за нехватки ассигнований».

Социально-психологический механизм прислужничества и самооправдания подобных интеллектуалов сложен и многообразен. Огромную роль играет социальный климат.

> «В конечном счете,— пишет Займен, перефразируя известную мысль Гегеля,— каждая страна имеет таких ученых, каких она заслуживает. Общество с чувством ответственности вырабатывает, воспитывает и поощряет ученых с чувством ответственности».

Рассуждая от противного, легко увидеть связь между такими явлениями современной политической жизни США, как «молчаливое большинство» и применение новейших, самых изощренных орудий войны в целях геноцида. Молчаливый оппортунизм и политическая пассивность большинства граждан оказываются как бы питательным бульоном для микроба моральной безответственности, которым заражается немалая часть научно-технической интеллигенции, чего не в состоянии уравновесить ее высокая профессиональная эффективность.

Речь шла пока что о внешних факторах социального поведения ученых-конформистов. Что же касается внутренних причин, то Займен ищет их в понимании и самоощущении науки, заложенных еще Галилеем. Впрочем, образы художника здесь дают, пожалуй, больше, чем рассуждения исследователя. В финале брехтовской пьесы Андреа, ученик Галилея, порвавший было с ним из-за того, что он капитулировал перед инквизиторами, восклицает, обращаясь к учителю: «Вы просто отстранились от безнадежной политической драки, чтобы продолжать ваше настоящее дело — науку». Подбрасывая этот аргумент Галилею как спасательный круг, Андреа выражает распространенные и ныне постулаты массового сознания: гении не подлежат обычному суду; им простительны слабости, непростительные простому смертному; впрочем, может быть, это не слабости, а принесение частей истины в жертву во имя всей Истины, во имя развития науки и культуры. Однако Галилей, считая для себя недостойным ухватиться за этот спасательный круг, в порыве самобичевания признается: он всего-навсего убоялся пыток. И восклицает (как бы вознамерившись выбить почву из-под ног концепции «осторожного согласия»): «...если ученые, запуганные своекорыстными властителями, будут довольствоваться тем, что накопляют знания ради самых знаний, то наука может стать только калекой...» Мудрый художник-диалектик, Брехт дает, однако, понять, что ни версия Галилея, ни версия Андреа не является исчерпывающей: грехопадение ученого, движимого высокой страстью к познанию и верой во всемогущество человеческой мысли, невозможно оценить однозначно, невозможно втиснуть в жест-

кие рамки линейных причинных связей. Не по этому ли поводу Займен с горькой иронией замечает:

«Моральную ответственность не удается установить научным путем: когда происхождение того или иного зла можно увязать с причиной, созданной нами по свободному выбору, у нас почти всегда находится самооправдание».

А ведь современному западному ученому куда легче, чем Галилею. Дело не только в том, что сейчас ему мало где угрожают смертью. Брехт судит своего героя с позиций сегодняшнего дня, а тогда вся среда склоняла его к самоотречению: он был одиночка, и авторитет церкви был непререкаем. Не то сейчас, когда ученый ощущает ободряющую связь со своими коллегами, когда общество прислушивается к нему, во всяком случае с неменьшим вниманием, чем к политическому лидеру. Один из князей церкви признается Галилею: «Вы нам нужны больше, чем мы вам». Фраза эта — явный анахронизм: она могла быть сказана только в наше время. Беда в том, что ученый редко когда осознает это свое положение, редко когда использует свою «позицию силы».

Сложность заключается в том, чтобы правильно определить свои моральные обязанности, следуя в то же время своему призванию ученого. Известно, что немецкие физики тормозили создание атомной бомбы,— правда, не столько по этическим соображениям, сколько потому, что не верили в возможность ее сделать. Но они были потрясены и уязвлены, узнав, что их коллеги в Америке дерзнули работать в этом направлении, в результате чего бомба была сброшена. Пожар Хиросимы был разожжен физиками, но ведь они руководствовались благими, антифашистскими намерениями. Они к тому же — не это ли главное? — были учеными. Когда после экспериментального взрыва в Лос-Аламосе друзья Энрико Ферми стали указывать ему на возможные трагические последствия этого события, он воскликнул: «Да, но какая это прекрасная физика!» Но снимает ли все это с совести творцов бомбы бремя их моральной ответственности? И кто же заслуживает признательность человечества: те, чья научная робость или осторожность обернулись благом, или те, чья смелость породила чудовище Франкенштейна?

Блестящий исследователь Займен с присущей ему склонностью к классификации явлений и ясностью изложения пытается рассортировать все эти, как он выражается, «уловки» интеллектуалов, последствия деятельности которых человечество видит теперь не только в розовом, но и в черном свете.

«Я и не представлял себе, что произойдет!» — вот что мог бы сказать Резерфорд, расщепив атом. Можно вообразить себе извинение изобретателей ДДТ: «Мы думали, что помогаем человечеству». И далее в том же роде: «Если бы я этого не сделал, кто-нибудь другой сделал бы это вместо меня»; «Другая страна сделала бы это, и мы полагали, что лучше быть первыми» (изобретатели бактериологического оружия); «Меня принудили это сделать» (аргумент, обычно приводимый сотрудниками частных фирм); «Мы провели испытания, и все, казалось, шло хорошо» (трагедия талидомида); «В действительности я лично ничего не делал: мы просто размышляли вслух, а все сделали другие» (оправдание тех, кто ссылается на занятия «чистой наукой»); «Конечный результат катастрофичен, это верно, но всем так захотелось позабавиться нашей новой игрушкой» (извинение для тех, кто способствует загрязнению естественной среды) и т. д.»

Займен, впрочем, признает известную обоснованность этих аргументов.

«Ведь не ученый же нажимает на курок и сбрасывает дефолианты над районами боев; он, по существу, находится где-то в арьергарде и обязан открывать принципы и изобретать механизмы, а не пользоваться ими, чтобы вредить людям. Можно ли привлекать его к ответственности за то, что происходит потом?.. Но,— отвечает Займен на этот вопрос,— если бы ученый не сделал это открытие, использованное во зло, если бы он предвидел последствия или отказался работать для этой преступной корпорации, трагедии, возможно, не произошло бы... Мы, ученые,— заключает Займен,— не можем испытывать личную гордость за «достижения» нашей науки и техники и одновременно отказываться от ответственности за зло, причиняемое ими».

Ища способ предотвратить пагубные последствия «дурного применения» науки, Милтон Лейтенберг предлагает разработать новую этику ученого, которая возлагала бы на него ответственность за последствия его деятельности. Остаются, правда, невыясненными рамки такой ответственности, которые нельзя же расширять до бесконечности.

Авторы трех статей в «Импэкт» пытаются найти выход для ученого в не очень отшлифованном пока что негативном императиве. Он предполагает отказ от работы для военных целей; впрочем, Займен оговаривается, что не собирается проповедовать пацифизм и что всякий ученый может по велению своей совести заниматься военной работой.

«Но он не вправе принимать деньги (от военного ведомства.— Е. А.) и одновременно претендовать на привилегии гражданского статуса».

Если бы все было так просто! Лейтенберг приводит факты, из которых явствует, что в науке почти не осталось сфер исследования, которые нельзя было бы использовать в военных целях. Это серьезно подрывает рассуждения Займена: если отказаться от работы, которая может быть использована военными, то чем же тогда заниматься? Впрочем, Займен сам ощущает шаткость своей доктрины Великого Отказа и предлагает руководствоваться шкалой этических критериев, где патриотизм, например, должен уступить место «разуму и человечности», которые находятся на вершине этой иерархической лестницы. Но, надо думать, у Теллера и Чэйна, с одной стороны, и Займена и Лейтенберга, с другой,— разное, если не противоположное, понимание «разума и человечности». Где же критерии этих последних?

Легче всего, конечно, ограничиться критикой уязвимых сторон умозаключений Займена и его коллег — точно так же, как можно снисходительно иронизировать над Норбертом Винером, который предложил было ученым своеобразную самоцензуру: не публиковать работ, которые могут принести вред в руках милитаристов. Ведь хотя Виинер и отказался работать на войну, впоследствии он сам признал неосуществимость своего призыва (хотя бы по соображениям, описанным Лейтенбергом). Таким же образом можно было бы бодрячески недоумевать над терзаниями Эйнштейна, который казнил себя за «первотолчок», данный им созданию атомной бомбы, и с горечью говаривал, что, если бы ему пришлось начать жить сначала, он стал бы сапожником. Можно все это объяснить пресловутым «комплексом вины» западного интеллектуала — можно, но стоит ли?

Пробелы в этических поисках авторов «Импэкт» налицо, но было бы непростительно по этой причине перечеркнуть значение таких поисков. Ибо они направлены к благородной цели — сомкнуть разобщенные ныне, хотя и тянущиеся друг к другу, науку и мораль. Займен и его коллеги ощущают и пытаются решить, исходя из современных условий, коренные вопросы, занимавшие философов-моралистов прошлого, величайший из которых, Кант, предписывал некоторую «пассивность» — можно было бы сказать: негативность — поведения ученым как гражданам с тем, чтобы «направлять их (членов общества.— Е. А.) на осуществление общественных целей или по крайней мере удерживать их от уничтожения этих целей». Примечательно, что как бы в унисон с Лейтенбергом и Займеном советский философ Э. Соловьев (в книге «Наука и нравственность». М., 1971) толкует «практическое действие» в кантовском понимании так: «Человек совершает поступок и тогда, когда он уклоняется от какого-либо действия, остается в стороне... Люди прославляли себя не только произведениями рук и ума, но и стойкостью, с которой они отказывались от недостойного предприятия, отказывались даже тогда, когда оно выглядело увлекательным и соблазняло обилием творческих задач».

Займена, кажется, искушает возможность противопоставить «двусмысленному» поведению Галилея трагический триумф его современника Джордано Бруно.

> «Индивидуальная ответственность может потребовать и личной жертвы,— пишет английский физик.— Может понадобиться занять позицию, которая повлечет за собой враждебную реакцию со стороны общества или даже потерю положения и работы. Ибо сказано: «На крови мучеников растет церковь». Но, увы, у нас нет мучеников».

Рассуждения Займена сродни мысли Юма о том, что преследования закаляют науку, тогда как тепличная обстановка расслабляет ее. Сегодня верно, во всяком случае, то, что из-за роста социального престижа науки к ней примазываются разлагающие ее проходимцы. Пока наука не сменила рубище на фрак, карьеристов в нее не тянуло. С другой стороны, лелея науку — беспризорную в прошлом — как любимое теперь детище, власть предержащие в странах капитала и не думают отказываться от патерналистского обращения с ней. Они поощряют усердных и наказывают непокорных. Прометей, кажется, сбросил тяжкие цепи, и орел угрызений совести больше не терзает его. Но стоит ему сделать шаг в сторону, как незаметные, но крепкие браслеты кандалов впиваются в тело.

Галилея до поры до времени ублажала просвещенная Венеция, но она же заточила Бруно в тюрьму, а затем выдала его римской инквизиции. Сегодня США — это брехтовская Венеция. К сожалению, Займен заблуждается насчет отсутствия мучеников: аутодафе может принять ведь и приличествующую современности форму. Как же не заметить, что профессор Эллсберг, доктор Спок, Анджела Дэвис — члены той же корпорации, что и профессор Займен? И современная инквизиция предъявляет им то же обвинение, что церковники — брехтовскому Галилею: «Вы гадите в свое гнездо».

Но верна мысль Займена о благотворной роли примера, который дает ученый своим поведением. Здесь опять вспоминается Эйнштейн, писавший в статье «Памяти Марии Кюри»:

> «Моральные качества выдающейся личности имеют, возможно, большее значение для данного поколения и всего хода истории, чем чисто интеллектуальные достижения. Последние зависят от величия характера в значительно большей степени, чем обычно принято считать».

В современной культуре — не только в науке, но и в искусстве — можно найти немало подтверждений того, что нравственные проблемы, волновавшие Эйнштейна, продолжают занимать мир, подобно тому как его моральные качества оказываются образцом, высшим нравственным критерием для ученых.

Этика Великого Отказа, к которой направлены мысли Займена и Лейтенберга,— не есть ли это гиппократова клятва ученых «применять свои знания только на благо человечества», о которой мечтал брехтовский Галилей? О точности предощущения художника говорит тот факт, что в последние месяцы видные американские ученые предложили несколько вариантов гиппократовой клятвы для своей корпорации.

Важно, чтобы жажда мученичества, которая снедает Займена, не превратилась в слюзесный мазохизм. Важно не принять за костер холодное пламя электрического камина, у которого сидит в гордом одиночестве ученый. Над этим, похоже, авторы «Импэкт» не склонны задумываться. Они как будто единодушны в своем скептическом отношении к массовому движению, хотя только оно и представляет ту почву, на которой дадут ростки семена примера.

> «Ничто не может повредить больше... чем обращение к прямолинейным или доктринерским лозунгам. Ученые, которые столь дешево ценят свои интеллектуальные способности — основу их компетентности и авторитета,— предают свое сословие и опускаются до уровня человека с улицы. Для ученого чувство ответственности выражается в стремлении реализовать свои научные способности, а не в том, чтобы украшать своей подписью петиции или политические манифесты, столь же наивные, сколь и вульгарные».

Профессор Займен, вероятно, не замечает, что в пылу проповеди элитарности и презрения к непосвященным он становится в позу «надменных экспертов», над которыми сам же иронизировал в одной из своих книг по теоретической физике. Еще более существенно другое: высокомерно игнорировать массовое движение ввиду его «некомпетентности» — значит вырывать этическую проблему современной науки из социального контекста и тем обрекать ее на неразрешимость. Займен не замечает также, что он оказывается в положении критикуемого им Галилея, которого один из персонажей пьесы Брехта упрекает в том, что он не слишком хорошо отличает друзей от врагов.

Сама профессия участников дискуссии предполагает их специфический интерес к студенческому и вообще к молодежному движению. Однако тон «надменного эксперта» прорывается и здесь, когда Займен, критикуя бунтующих студентов, фактически отказывает им в праве суждения по важным общественным вопросам.

> «Движение студенческого протеста, конечно, не может при помощи града камней или непристойностей решить, что важнее для муниципалитета: построить новую больницу, развить общественный транспорт или улучшить уборку мусора. Проблемы социальной ответственности всегда обретают сугубо техническую форму, когда экспертам приходится на профессиональном языке спорить по сложным вопросам стоимости и рентабельности, бюджетного дефицита, перспектив занятости, тонно-километров на литр, децибел и т. д.»

Но ведь в том-то и заключается историческая прогрессивность студенческого протеста, как и вообще массовых движений, что они подвергают сомнению не только устоявшиеся социальные отношения, но и прежние, казавшиеся непреложными, социальные ценности и приоритеты. Выступив против абсолютизации экономических критериев, которые Займен бездоказательно принимает за исходные, бунтующие студенты и их союзники привлекли внимание к критериям социальным, к интересам личности и общества, которые, если уж руководствоваться «разумом и человечностью», и следует считать первостепенными. Кстати говоря, западные социологи и экономисты разных направлений сегодня не скрывают своей благодарности бунтарям, заставившим тамошнее общество внести некоторые давно назревшие коррективы если не в стратегию, то хотя бы в тактику развития. В конечном счете именно социальные волнения 1968-го и последующих лет растопили лед сайентизма, разморозили проникнутое апатией общество и побудили к этическим поискам таких людей науки, как Займен.

Займен сокрушается по поводу «антинаучной, неолуддитской позиции многих интеллигентов». Действительно, нынешняя тяга к иррационализму по-своему не менее прискорбна, чем экстремистские выходки некоторых молодежных групп. Но разве умному и тонкому профессору не ясно, что эта тяга и эти выходки суть реакция на пороки технократического капитализма, в том числе и на галилеево грехопадение интеллектуальной элиты, которое столь гневно бичует сам Займен?

Впрочем, авторы «Импэкт» настроены по отношению к левым бунтарям довольно благожелательно. Исключение составляет, кажется, лишь главный редактор журнала Бруно Фридман. Открывая дискуссию, он объявил, что

> «мнения по вопросу о социальной ответственности науки, выражаемые пылкими молодыми учеными, которых заботит их роль в обществе, хуже чем абсурдны в том смысле, что они отмечены идеализмом и поэтому предстают в обманчивом облике благих намерений».

К счастью, подобными же «благими намерениями» проникнуты статьи Займена, Лейтенберга и супругов Роуз. И хотя не всегда ясно, как эти «благие намерения» удастся осуществить — из-за чего упрек в «идеализме» должен быть обращен и к упомянутым авторам,— хочется сказать: побольше бы таких «идеалистов»!

Слабости и противоречия их воззрений, естественно, выявляются и в предлагаемой ими программе. Но слабости эти таковы, что открывают путь к действительному решению мучительных вопросов.

Устранить пороки развития современной науки наши авторы считают возможным прежде всего путем реформы образования.

> «Нынешнему поколению ученых не хватает общего образования,— пишет Займен.— В свои лаборатории они приходят всего лишь как ученые невежды, знающие все о ядерном магнитном резонансе или о физиологической функции АТФ и ничего — об истории, философии, политической мысли, политэкономии и других областях науки... Наука нуждается в «синтетиках» не столько для руководства большим бизнесом или политической жизнью, сколько для самой себя».

Стоит, однако, заметить, что еще до 1968 года эти же идеи формулировались теми, кого Займен высокомерно третирует как профанов — студенческим движением и массовыми демократическими организациями. Займен призывает реформировать высшее образование таким образом, чтобы молодые специалисты были приучены «думать о человеке». Но ведь именно сайентизм «надменных экспертов» исключает моральные критерии как ненаучные, тогда как непокорные студенты напомнили своим учителям об этом позабытом факторе развития. Займен считает необходимым превратить университеты в опорные пункты «контестации и критики», но совершенно очевидно, что в обход студенческого движения это невозможно сделать.

Следующий пункт программы — развитие института правительственных советников. Займен считает чрезвычайно ободряющим тот факт, что политические деятели, бизнесмены, генералы,

> «ранее презрительно игнорировавшие мнение ученых», теперь «осознали, хотя бы до определенной степени, необходимость окружать себя квалифицированными консультантами для подкрепления гениальной интуиции минимумом статистических данных».

В полном согласии с ним Лейтенберг ставит задачу:

> «...ученые должны попытаться (sic!—Е. А.) контролировать работу науки... Очевидно, что легче добиваться изменения предусмотренных программ, будучи внутри правительства, чем действовать извне против этих программ, которые правительство старается сохранить...»

Блажен, кто верует! Однако же история многократно опровергала эти иллюзии, которые на политическом языке именуются реформистскими. Ученые советники американского правительства, как бы либерально они ни были настроены, только придают ему налет респектабельности, но нисколько не меняют существа прежней, империалистической политики. А их либерализм, так же как они сами, становится карманным: его легко упрятать, и он соразмеряется с покупной ценой.

Если они что-нибудь и решают, то лишь постольку, поскольку действуют в соответствии с интересами власть предержащих. Гарвардский профессор держится на ответственном правительственном посту в США только потому, что действует в унисон со Спиро Агню, хотя первый причисляет себя к интеллектуальной элите, а второй воплощает черносотенных лавочников. Оба они в одной команде, но ведет корабль не профессор: он только вычисляет заданный ему курс. К тому же здесь действует закон аналогии и взаимозаменяемости иерархий в разных, казалось бы, структурах. Мудрый Брехт напоминает: математик кардинал Барберини, на которого Галилей возлагал столь большие надежды, был избран папой римским и тут же выдал ученого инквизиции.

И пусть Займен иронизирует над политиками — они сами посмеиваются над «надменными экспертами». Супруги Роуз в этой связи весьма уместно напоминают старую пословицу: «Кто платит, тот заказывает музыку». А платят не ученые — им платят.

Впрочем, Займен сам, видимо, ощущает призрачность своих надежд, если, воздав хвалу беспристрастным ученым советникам, вдруг пускается в ламентации:

> «Но где найти этих экспертов? И кому они будут служить? Промышленные компании и различные государственные органы умеют рекрутировать научных консультантов (это уж точно; см. выше.— Е. А.). Но что делать другим заинтересованным сторонам, прежде всего простому гражданину, на которого нападают бандиты, которого оглушают, отравляют, сгоняют с насиженного места и к тому же еще оскорбляют? Он ведь тоже — теоретически — имеет право на покровительство со стороны государства, которое должно создавать учреждения в целях защиты потребителя, планирования, борьбы с шумом и т. д. Но известно, чем кончают эти учреждения: они проникаются консерватизмом, продолжают поддерживать рутинные традиции, а новые опасности остаются незамеченными

К тому же, будучи политическими институтами, эти учреждения оказываются предметом вожделения политических сил, таких, как промышленные объединения. А кто защитит нас от этих покровителей? Где профессиональные эксперты, мнение которых перевесит влияние военного ведомства, государственных монополий, социальных служб и т. п.?»

Тот же печальный рефрен, что и в знаменитой балладе Вийона:

Ты спросишь: где вы, девы-тени,
И где снега былых времен?

Подготавливать специалистов, способных ощущать свою связь с народом и ответственность перед ним,— таков последний и, как представляется, наиболее существенный пункт программы, сформулированной на страницах «Импэкт». Предлагая «умножить дискуссии и сопоставление взглядов» между преподавателями и студентами, Займен восклицает:

«Судьей последней инстанции должны быть простые люди, которым наши милые игрушки приносят добро или зло».

Супруги Роуз призывают вскрыть процесс принятия решений

«и, если их маскируют и они антидемократичны,— разоблачать их и добиваться вместе со всем обществом, чтобы они принимались открыто и демократическим путем».

Оттенок утопичности этих надежд не может затемнить главного — самоощущения ученых как частицы народа. В этом — логика жизни. Она подрывает их элитарную надменность, их высокомерное недоверие к массовому движению. Как ни пытаются они вырваться из социального контекста, он, может быть вопреки их намерениям, проступает в их выводах, в критичности по отношению к собственной среде. Поэтому как обвинения в адрес капиталистического строя и одновременно как поиски социальной истины воспринимаются острые вопросы Займена:

«Почему реки и воздух нашей прекрасной страны до такой степени загрязнены? Какая алчность, какие амбиции движут собственниками заводов?.. Как действуют экономические и политические силы и в какой степени наука находится на службе демонов бесчеловечности?»

Те же вопросы задаются силами, борющимися за социализм, и, хочет этого Займен или не хочет, в этом смысле они его единомышленники.

Только в социальной, классовой борьбе можно найти ответ на эти вопросы. Путь ученых, подобных Займену, к этому ответу нелегок и долог, препятствия, возникающие на нем, общеизвестны. Но важно, что делаются первые шаги. Ибо именно на этом пути можно решить проблему, волнующую Займена. Она, однако, заключается не в том, делать или не делать открытия — развитие науки остановить нельзя,— а в том, чтобы открытия использовались на пользу человечества, и в том, чтобы бороться за это. А борьба в одиночку обречена на неудачу. «Наблюдательная вышка», куда Займен предлагает забраться ученым, стесняет возможности действия не меньше, чем пожелтевшая от старости «башня из слоновой кости». Примечательно, что именно участники дискуссии были в числе основателей «Общества социальной ответственности науки», задачи которого вытекают из его названия. Такие факты обнадеживают.

«Сэр, я нашел для Вас довод, но я не обязан добиваться, чтобы Вы поняли его». Эти слова Сэмюэля Джонсона Займен шутливо адресует читателю «Современной квантовой теории», открывая ими книгу. Решится ли он обратить их к себе?

Е. АМБАРЦУМОВ

Очерки

ФАРЛИ МОУЭТ

ЛОДКА, НЕ ЖЕЛАВШАЯ ПЛАВАТЬ

Главы из книги

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

Аукционов я боюсь с раннего детства. Дело в том, что когда мне шел третий год, отец мой, думая развлечься, заглянул как-то раз на аукцион и вышел оттуда озадаченным обладателем тридцати ульев с пчелами и полного набора пасечного инвентаря. Не сумев избавиться от этого приобретения, он волей-неволей заделался пчеловодом, и следующие два года я питался почти одним только печеньем с медом. Потом судьба сжалилась над нами: всех пчел скосил какой-то гнилец, и мы смогли вернуться к подобию нормальной жизни.

С тех пор в моем подсознании аукционы ассоциируются со страшными катастрофами. Обычно я обхожу их стороной, но в один апрельский день не так уж много лет тому назад я тоже стал жертвой рокового искушения. Случилось это в тихом, сонном городке на побережье озера Онтарио. Когда-то он был важным портом, у причалов которого теснились целые флотилии шхун, груженных ячменем, но сей парусный флот исчез навеки еще в начале нашего столетия. В этом городишке доживал свой век один судовой поставщик, который упорно отказывался признать победу пара над парусом и в течение полувека сохранял в целости и сохранности свою лавку и товар в ожидании того дня, когда в дверь к нему снова постучится настоящий моряк. Никто так и не постучался. Он умер, и его наследники решили распродать с аукциона всю рухлядь старика, с тем чтобы переоборудовать его лавку в биллиардную.

В городе этом я оказался проездом как раз в день аукциона. Со мной была одна юная особа — предмет моего увлечения. Ее же увлечением были прежде всего аукционы. Увидев объявление о распродаже, она потащила меня туда. Я переступил порог с железной решимостью ничего не покупать, но когда я стоял в полумраке этой древней лавки, вдыхая запахи стокгольмской смолы, брезентовых штормовок и пыльной парусины, во мне вдруг что-то надломилось.

Среди прочих качеств я унаследовал от отца романтическое, в духе Конрада, влечение к морю и кораблям. Как и он, я часто находил временное избавление от невзгод и несчастий, которые сам на себя навлекал, на долгие часы погружаясь в книги о плаваниях маленьких суденышек по дальним морям и океанам. За десять лет до дня аукциона я бросил якорь в центральной части провинции Онтарио, в одной из самых отдаленных от моря точек земного шара. Обосновав-

шись на клочке выветренных дюн, я старался насадить там траву, деревья, овощи, да и сам пустить корни. Все мои старания были напрасны. Засуха губила траву. Пилильщики и кролики обгладывали деревья. Гусеницы пожирали овощи. Десятилетний рабский труд на скудной ниве не только не превратил меня в земледельца, но разжег во мне бунтарский дух, о неистовой силе которого я и не подозревал до тех пор, покуда не очутился в лавке старого судового поставщика, где меня со всех сторон окружали предметы из того мира, который ранее открывался мне только в воображении.

И я стал покупать. Я покупал, покупал и покупал. Я накупил столько всяких мореходных принадлежностей из прошлого века, что они до потолка заполнили пристройку на моей маленькой захудалой ферме. Я весь в отца, так что история с пчелами неизбежно должна была повториться вплоть до ее логического завершения.

Есть у меня друг-издатель, который относится к книгоиздательскому делу примерно так же, как я — к ковырянию в земле. Джек Макклелланд[1] — истый романтик, хотя он это яростно отрицает и бледнеет при одном только упоминании о романтике. В военные годы он командовал торпедными катерами и другими столь же боевыми малыми судами, и хотя после войны Джек вернулся к скучному однообразию делового мира, в душе он остался на капитанском мостике торпедного катера, который стремительно несется по седым волнам Атлантики и палит из пушек по призрачным теням немецких торпедников, тщетно пытающихся спастись от своей судьбы. У Джека есть коттедж на берегу озера Маскока, и он держит там старомодную, с корпусом из красного дерева и острым как нож носом, моторку, которая при неверном лунном свете иной раз превращается — на горе влюбленным парочкам в утлых челнах, застывших на ровной глади воды,— в грозный торпедный катер.

Как-то вечером через несколько недель после того, как я скупил весь запас товаров покойного судового поставщика, мы с Джеком Макклелландом пришвартовались к стойке одного бара в Торонто. Это был скучный день в скучном городе, и посему мы оставались пришвартованными к стойке в течение нескольких часов. Я не вел записи беседы и не могу с ясностью припомнить, как все это произошло. Знаю только, что еще до наступления утра мы договорились, что купим себе океанское судно, на котором будем бороздить соленые морские просторы.

Мы порешили сделать все на старинный лад (оба мы слегка заражены комплексом Дрейка—Нельсона), а это ставило на повестку дня приобретение судна старинной конструкции — деревянной посудины наподобие тех, на которых ходили под парусом морские волки в былые времена.

Мы знали только одно место, где можно было бы раздобыть такую штуковину,— далекий туманный остров Ньюфаундленд. Вот почему в один прекрасный майский день я вылетел в Сент-Джонс, древнюю столицу этого острова, чтобы встретиться с рыжебородым и голубоглазым сквернословом по имени Гарольд Хорвуд, который имел репутацию человека, знающего о разбросанных по всему побережью Ньюфаундленда маленьких рыбацких поселках больше, чем любой другой смертный. Несмотря на тот факт, что я прибыл с материка — а Гарольд люто ненавидит его обитателей,— он согласился помочь мне в моих поисках. Не берусь с уверенностью судить о его мотивах, но, быть может, дальнейшие события этой повести прольют на них кое-какой свет.

Гарольд объехал со мной десятки крохотных рыбацких селений, лепящихся у обглоданных волнами утесов огромного острова. Он показывал мне самые разнообразные типы лодок, начиная от рыбачьих плоскодонок и кончая величественной, хотя и подгнившей, трехмачтовой шхуной водоизмещением в пятьсот тонн. Увы, те, которые все еще обладали достаточно хорошими мореходными качествами, чтобы отойти от причала, не продавались, а те, купить которые мне было бы по средствам (Джек предусмотрительно лимитировал расходы на это приобретение тысячью долларов), либо были такими старыми развалинами, что их палубы проросли одуванчиками, либо находились на вполне заслуженном отдыхе, покоясь в полузатопленном состоянии на дне гавани.

Время шло, а мы ни на шаг не продвигались вперед. Рыжая борода Гарольда воинственно задиралась все выше и выше, взгляд его холодных глаз становился пронзительным, а характер ухудшался с каждым днем. Он не привык к тому, чтобы исполнению его предначертаний что-нибудь мешало. Это ему явно не нравилось. Вот тут он и поместил в газетах сообщение о том, что на остров прибыл один богатый тип с материка, желающий приобрести шхуну местного изготовления.

Через пару дней Гарольд известил меня о том, что идеальное судно найдено. По его словам, это была двухмачтовая шхуна того типа, который в здешних местах именуют «лентяечкой». Не сказал бы, чтобы это название воодушевило

[1] «Лодка, не желавшая плавать» выпущена издательством Макклелланда и Стюарта. *(Здесь и далее примечания переводчика).*

меня, но к этому времени я тоже начал отчаиваться и посему согласился съездить посмотреть ее.

Ехать надо было в Маддихол[1], портовый рыбацкий поселок на восточном побережье полуострова Авалон. Побережье это почему-то именуется Южным берегом — быть может, потому, что оно расположено к югу от Сент-Джонса, а Сент-Джонс является — во всяком случае в своих собственных глазах — пупом земли.

Судя по туристским картам, населенный пункт Маддихол соединяла с Сент-Джонсом проезжая дорога. То была типичная ньюфаундлендская шутка. Маддихол был соединен с Сент-Джонсом лишь узкой тропой, протоптанной, как полагают, несколько столетий тому назад очень старым диким оленем-карибу, который был не только слеп, но к тому же еще и болен вертячкой.

Что бы там ни было, путешествие по тропе карибу заняло у нас шесть часов. Стоял весенний день, типичный для восточного побережья острова. С моря дул штормовой ветер, обрушивая на машину косые потоки дождя. Туман, который зарождается на Большой банке и постоянно клубится где-то неподалеку от берега, на этот раз наполз по скалистым мысам на плоскогорье, окутав все и вся вокруг. Руководствуясь смутным туземным инстинктом, унаследованным им от предков-мореходов, Гарольд каким-то образом ухитрялся держать правильный курс, и часов в десять вечера мы в кромешной тьме прибыли в Маддихол.

Мне пришлось поверить Гарольду на слово. В двух конусах света от фар видны были лишь дождь и туман. Гарольд торопливо повлек меня от машины во мрак и в следующий момент уже барабанил в невидимую дверь. Дверь отворилась, и мы вошли в маленькую, ярко освещенную и жарко натопленную кухню, где я был представлен братьям Хэллоганам — Майку и Пэдди. Одетые в толстые грубошерстные свитеры, черные штаны из саржи и тяжелые резиновые сапоги, они походили на парочку контрабандистов из рассказа Роберта Луиса Стивенсона. Знакомя меня с ними, Гарольд пояснил, что это и есть «тот парень с материка», который приехал посмотреть их лодку.

Братья не стали терять времени даром. Они торопливо облачили меня в дождевик и зюйдвестку и вытолкали обратно под дождь и ветер.

Ливень хлестал с такой силой, что почти заглушал рев бурунов, доносившийся снизу, откуда-то совсем рядом.

— Подходящая ночка для кораблекрушения! — бодро прокричал Пэдди.

«А также для того, чтобы свалиться с утеса и сломать себе шею»,— подумал я, спускаясь вслед за Пэдди по такой крутой и скользкой тропке, на которую едва ли решился бы ступить горный козел. Фонарь «летучая мышь», которым Пэдди освещал дорогу, был заправлен в целях экономии неочищенным рыбьим жиром и давал чисто символический свет, с трудом пробивавшийся сквозь густое облако едкого дыма. Впрочем, дым-то был очень кстати. Благодаря ему я мог идти по следу моего проводника, полагаясь на одно лишь чутье.

Через четверть часа я налетел на остановившегося Пэдди, а сзади на меня налетел Майк. Пэдди поднял фонарь над головой, и на секунду из тьмы вынырнуло, как какое-то безумное видение, его лицо гнома с улыбкой от уха до уха, залитое дождем.

— Вот она, капитан! Лучшая «лентяечка» на всем Южном берегу Ньюфаундленда! — прокричал он.

Разглядеть что-нибудь было невозможно. Я протянул руку и ощутил на ощупь что-то выгнутое и мокрое. Пэдди выставил фонарь вперед, и свет отразился от поверхности, окрашенной зеленой краской отвратительнейшего оттенка. Примерно такого же цвета был голый живот давно убитого немца, с которым как-то раз в Сицилии мне довелось делить окоп. Я отдернул руку.

Майк прокричал в ухо:

— Ну, а теперь, когда ты ее рассмотрел, потопали, дружище, домой да погреемся чайком.— После чего Майк и Пэдди «потопали» обратно, предоставив мне с риском для жизни карабкаться следом.

Благополучно добравшись до кухни, я обнаружил, что Гарольд все время оставался в этом теплом убежище. Впоследствии он объяснил мне, что не хотел присутствовать в момент первого свидания с моей новой любовью, боясь показаться навязчивым. Гарольд столь предупредителен!

Вернулся я насквозь промокший, разбитый и продрогший до костей, но тут за меня взялись братья Хэллоганы и их старушка мать, выплывшая из соседней комнаты. Для начала они скормили мне большую тарелку солонины с репой, сваренной с соленой треской, что возбудило во мне чудовищную жажду. После этого братья выставили на стол кувшин скрича.

Скрич — это местный, ньюфаундлендский напиток. В старину его приготовляли так. В пустые бочки из-под рома заливали кипяток, чтобы растворить в нем остатки рома — все до последней капли. Затем в полученную таким образом чер-

[1] Название «Muddy Hole» означает в переводе «Грязная дыра». Поскольку поселок этот фигурирует на приводимой в книге карте среди действительно существующих городков и портов, у нас нет оснований усомниться в его реальности и переименовывать из Маддихола в какой-нибудь Грязьпоколенд.

ную бурду клали патоку и дрожжи и давали ей как следует перебродить, после чего гнали из нее спиртное. Иногда ее к тому же настаивали несколько дней на жевательном табаке.

Однако старые способы изготовления уступили место новым, и скрич теперь не тот. Сейчас это самый низкокачественный карибский ром, который правительство Ньюфаундленда разливает в бутылки с надписью «Скрич» на этикетке и продает несчастным бедолагам, не очень дорожащим своей жизнью. Нынешний скрич уже не такой забористый, но этот недостаток может быть исправлен — и зачастую исправляется — путем добавления в напиток лимонного экстракта. Как правило, скрич смешивают перед употреблением с кипятком. В результате пары алкоголя сразу же впитываются в кровь, и почти ничего не пропадает даром в пищеварительном тракте.

Это было мое первое знакомство со скричем, и никто меня не предостерег. Гарольд с нехорошим блеском в глазах наблюдал за тем, как я пытаюсь утолить мучащую меня жажду. Во всяком случае, мне так кажется. Дело в том, что мои воспоминания об остатке этого вечера не вполне отчетливы.

Гораздо позднее Джек обвинял меня в том, что я-де приобрел нашу лодку либо будучи в стельку пьян, либо заглазно. Последняя часть этого обвинения явно не соответствует действительности. Когда я сидел там с ними, распарившись в жаркой кухонной духоте и основательно прогревшись изнутри, братья Хэллоганы, прибегнув к колдовскому искусству их ирландских предков, с такой яркой образностью живописали мне свою маленькую шхуну, что я увидел ее так же явственно, как если бы она была рядом с нами на кухне. Поэтому когда я в конце концов растроганно обнял Пэдди и сунул ему в ладонь, шершавую как акулий бок, пачку ассигнаций, я с абсолютной уверенностью знал, что мне посчастливилось отыскать идеальное судно.

Наутро, ведя машину обратно в Сент-Джонс, Гарольд восторженно отзывался о простодушных, честных, богобоязненных ирландцах — рыбаках Южного берега.

— Ведь они вам последнюю рубашку с тела отдадут,— разливался он.— Ей-богу, это самые щедрые, самые великодушные люди на свете! А вам-то и вовсе повезло: вас они полюбили.

В чем-то Гарольд, наверно, был прав. Потому что если бы Хэллоганы меня не полюбили, я, возможно, так и оставался бы в Онтарио, где, надо полагать, стал бы оседлым жителем и добрым гражданином. Я не желаю Хэллоганам никакого зла, но искренне надеюсь, что меня больше никогда не «полюбят» так, как полюбили в тот незабываемый вечер.

Через два дня я вернулся в Маддихол, чтобы произвести первый трезвый (в смысле здравый, оценивающий) осмотр моего новоприобретенного суденышка. Издали оно выглядело как игрушка, несмотря на свой омерзительный цвет. Корпус лодки, настоящей шхуны в миниатюре, насчитывал тридцать один фут в длину, девять футов в ширину и имел осадку в четыре фута. Но как грубо она была сколочена! При более близком рассмотрении казалось, будто ее сработали наши первобытные предки, которые, возможно, были неплохими судостроителями, но не знали никаких других орудий труда, кроме каменного тесака.

Оборудование и удобства лодки оставляли желать много лучшего. На ее палубе, настланной вровень с бортами, имелись три узких люка для ловли трески, в каждом из которых мог уместиться один человек, а между ними располагались два рыбных трюма, в которых упорно гнездились призраки миллиона погибших рыбин. Ближе к носу находилась каюта высотою в два, длиною и шириною в три фута, в которую мог бы втиснуться один человек очень маленьких габаритов, если бы он согласился принять там положение плода во чреве матери. Было там и машинное отделение — темный трюм, в котором, подобный гигантскому фаллосу, громоздился одноцилиндровый мотор, работающий на бензине и отличающийся чудовищной капризностью.

Оснастка моей маленькой шхуны также оставляла желать лучшего. Как видно, ее мачты были изготовлены из пары тростей. Укреплены они были кусками телефонного провода и толстой леской. Паруса, залатанные, словно одежда ветхозаветного Иосифа, могли поспорить с нею и по части древности. Бушприт, мало чем отличавшийся от простой швабры, был привязан к носу нитями, из которых вяжут сети. У меня создалось впечатление, что Хэллоганы не так уж часто ходили под парусом. Впоследствии мне довелось услышать, что они вообще никогда не ходили под парусом и разделяли общее убеждение всех обитателей Маддихола, что любая попытка поднять паруса, вероятно, оказалась бы фатальной.

Лодку никак нельзя было назвать опрятным, чистым суденышком. По правде говоря, от нее разило. Трюмы не чистились со дня первого спуска на воду, и их дно было покрыто клейким слоем в несколько дюймов толщиною рыбьей слизи, крови и внутренностей Причиной тому была вовсе не неряшливость ее хозяев. Трюмы, оказывается, не вычищались нарочно, как любезно растолковали мне маддихолцы после того, как я целую неделю старательно скреб и чистил дно.

— Понимаешь, капитан,— пояснил один из них,— «лентяечки» эти строят из сырой древесины, а потом они, известное дело, рассыхаются. Как ты швы ни конопать, как их ни смоли, плотно их не заткнуть. Зато кровь и слизь закупоривают их наглухо — только благодаря этому они не текут.

В дальнейшем я не раз убеждался в истинности его слов.

Поскольку сумма, запрошенная Хэллоганами за их судно, по странной случайности в точности совпала с суммой, которую я был уполномочен израсходовать, и поскольку купленная мною безымянная лодка (Хэллоганы, так и не удосужившиеся дать ей имя, называли ее просто «она», а случалось — «эта паскуда») явно не была еще готова пуститься в плавание вокруг мыса Горн к островам Самоа, мне предстояло принять важное решение.

Надо было решить, что делать: то ли навсегда распроститься с ней, сочинив для Джека Макклелланда какую-нибудь благовидную историю о том, как в Сент-Джонсе меня ограбили разбойники, то ли набраться нахальства и попытаться сделать из этого корыта настоящее судно. Так как в глубине души я трус, да и Джека обмануть мне обычно не удается, я выбрал второй путь.

Я попросил Хэллоганов рекомендовать мне плотника, который смог бы осуществить кое-какие необходимые переделки, и они направили меня к Энархосу Коффину — тому самому мастеру, который четыре года назад соорудил эту посудину. В дни молодости он, работая старшим корабельным плотником в Форчунбэе, строил рыболовецкие суда для промыслов на Большой ньюфаундлендской банке, но после того как флот Большой банки пришел в упадок, Энос вынужден был заняться постройкой маленьких суденышек для местных рыбаков. В проектах сооружения его предвещали появление настоящих красавиц, но сочетание таких факторов, как скудные достатки заказчиков, нехватка приличной древесины, слабеющее зрение и преклонный возраст, каждый раз каким-то образом сказывалось на качестве его работы. Лодка Хэллоганов была последним его детищем.

Итак, я отправился к Эносу, прихватив с собой соответствующую случаю бутылку. Жил он в большом разваливающемся от ветхости доме вместе с семью своими незамужними дочерьми Энос оказался приветливым и словоохотливым человеком. Для непривычного уха диалект Южного берега звучит непостижимо, а уж когда говорящий сыплет как из пулемета, понять вообще ничего невозможно. За первый час-другой нашего знакомства я не уловил ни единого его слова. Однако после того как он немного выдохся и заговорил помедленней, мне удалось разобрать довольно много.

Энос выразил радость по поводу моей покупки, но когда он услышал, сколько я отдал за лодку, его чуть не хватил апоплексический удар, предотвратить который удалось только благодаря тому, что он вылил себе в горло полбутылки неразбавленного рома.

— Господи боже мой! — возопил он, отдышавшись.— Да я же построил ее этим пиратам за пару сотен!

Тут уже я вырвал бутылку рома из его рук и осушил до последней капли.

Когда мы оба перевели дух, я попросил его произвести кое-какие исправления, усовершенствования и общий ремонт. Он с готовностью согласился. Мы условились, что он приделает фальшкиль и наружный балласт, соорудит на месте рыболовецких люков надпалубную часть каюты, снабдит каюту койками, столами, рундуками и прочими необходимыми предметами внутреннего снаряжения, а также переоснастит судно по всем необходимым внешним статьям. Энос прикинул, что на все это ему потребуется два месяца.

В Сент-Джонс, а оттуда в Онтарио я вернулся в умеренно приподнятом настроении. О том, будет ли лодка готова в срок, я не беспокоился, поскольку мы планировали отплыть не раньше середины лета. Время от времени я писал Эносу (сам он не умел ни читать, ни писать), и какая-нибудь из его рослых дочерей посылала мне в ответ исписанную каракулями открытку такого, к примеру, содержания:

«Дарагой мистер Моут.
Папа говорит Ваша лодка выходит что нада. В этом месяце большой улов.
Герт родила ребеночка
Нелли Коффин».

За месяцы ожидания мы с Джеком увлеченно мечтали и строили смелые планы. Было решено, что к концу июня я первым отправлюсь в Ньюфаундленд на джипе, нагруженном навигационным оборудованием и снаряжением, и прослежу за окончательным этапом отделки лодки, с тем чтобы подготовить ее к плаванию к моменту прибытия Джека в середине июля. Ну, а тогда посмотрим. Бермуды, Азорские острова, Рио-де-Жанейро — нас ждал и манил весь мир.

■

Здесь я должен прервать свое повествование, чтобы сказать несколько слов о громадном острове, которому суждено было занять в последующие месяцы и годы такое большое место в моей жизни. Не стану пытаться описывать этот

остров заново, потому что уже существует одно непревзойденное его описание. И я беспардонно прибегну к плагиату. Описание это я заимствую из книги «Скала посреди моря», принадлежащей перу Джона Де Виссера и Фарли Моуэта:

> «Ньюфаундленд — плоть от плоти моря. Нависший подобно гигантской гранитной пробке над горлышком устья залива Св. Лаврентия, он повернулся к материку спиной, отгородившись от него, как крепостным валом, трехсотмильным горным кряжем, который, подступая к морю, образует негостеприимный западный берег острова. Все его остальное побережье обращено в сторону открытого моря и до такой степени изрезано заливами, бухтами, ущельями и фиордами, что общая протяженность атлантической береговой линии острова составляет более пяти тысяч миль. Повсюду вдоль побережья неосторожных мореходов подстерегают скрытые под водой рифы и скалы (именуемые с устрашающей недвусмысленностью «потопителями»), готовые пропороть судну днище. И тем не менее эти берега, с их бесчисленными гаванями, словно специально созданы для страны истинных моряков.
>
> До недавнего времени вся жизнь Ньюфаундленда сосредоточивалась на его побережьях. Внутренняя часть острова, представляющая собой высокое холмистое плато, покрытое темными хвойными лесами на севере и совершенно голое на юге, оставалось почти неизведанной «глубинкой». Ньюфаундленд был тогда, да остается и теперь, подлинно морской землей, быть может, родственной той исчезнувшей морской земле, которая звалась Атлантидой; но в отличие от последней Ньюфаундленд не погрузился в зеленые пучины океана, а поплыл, влекомый какой-то силой, покуда не остановился у берегов нашего континента, где и пребывает этаким ссыльным поселенцем, постоянно устремленным обратно, на восток. Все сказанное не относится к области чистой фантазии — хотя бы потому, что Ньюфаундленд является самой восточной оконечностью Северной Америки, так далеко вдающейся в Атлантику, что столица острова — Сент-Джонс — расположена на шестьсот миль к востоку от Галифакса и почти на тысячу двести миль к востоку от Нью-Йорка».

Описание Моуэта, возможно, грешит цветистостью, но в основе своей оно соответствует действительности.

■

Хоть я очень люблю Ньюфаундленд, Сент-Джонс явно не принадлежит к числу самых дорогих мне городов. Со стороны внешнего облика у Сент-Джонса вроде бы все в порядке: это старый, живописно обветшалого вида городок, раскинувшийся по крутым склонам, которые спускаются к великолепной гавани. Не питаю я никакой антипатии и к большинству его жителей, особенно к тем, кто обслуживает суда в порту, ни, конечно, к тем, кто, наплевав на то, что это столица, промышляют рыболовством и живут как настоящие обитатели рыболовецких поселков — в домах, беспорядочно разбросанных вокруг утесов у входа в гавань.

Причина моей неприязни к Сент-Джонсу коренится в том, что город этот — паразит. Не менее трех столетий он, притаившись за высокими скалами, богател, высасывая, как пиявка, кровь у жителей прибрежных рыбацких деревень. В начале 60-х годов он все еще мог похвастать бо́льшим количеством миллионеров на душу населения, чем у любого другого города в Северной Америке, включая Даллас (Техас). Эти миллионные состояния были сколочены путем безжалостного ограбления рыбаков, которых торговцы Сент-Джонса эксплуатировали — вплоть до вступления в 1949 году Ньюфаундленда в Канадскую конфедерацию — со средневековой жестокостью. Этих торговцев, чьи громадные товарные склады и конторы выстроились в ряд по Уотер-стрит, в бессильном гневе прозвали «уотер-стритскими пиратами». Люди стали относиться к ним с пассивной, но стойкой ненавистью, на которую те отвечали холодным презрением к народу. Ориентируясь во всем на Англию, они говорили с английским акцентом, посылали своих детей учиться в Англию и были ньюфаундлендцами только по названию.

Специфический аромат, сообщенный ими городу, сохраняется по сей день, смешиваясь с душком коррупции, которая, быть может, существует и в других местах, но в Сент-Джонсе достигла полного расцвета. Политика в Ньюфаундленде всегда была политикой в духе Банановой, а точнее Тресковой, республики. Ветхая мантия убогой демократии лишь слегка маскировала откровенную диктатуру. В Сент-Джонсе владычествовали некоторые из самых непривлекательных политических фигур в истории Северной Америки, причем пока что нет никаких указаний на то, что старым порядкам когда-нибудь придет конец.

Прибыв в Сент-Джонс на стареньком джипе, который силой моего воображения был превращен в судно, носящее пышное название «Страстоцвет», я не стал задерживаться и вечером в день приезда отправился в путь по тропе карибу, вью-

щейся вдоль Южного берега. Хрипя и дрожа как параличный, но готовый до конца выполнить свой долг, «Страстоцвет» медленно продвигался к югу через долгую темную ночь. На рассвете он перевалил через последний холм, возвышающийся над Маддихолом, и покатил вниз, к поселку, по усеянному камнями и галькой склону. Я предоставил ему самому выбирать себе дорогу среди валунов и отдался созерцанию картины, открывшейся моему взору далеко внизу.

Маленькая гавань, не больше чем полоска воды между кривыми прибрежными скалами, словно застыла в жемчужно-голубом свете занимающегося утра. Тридцать-сорок суденышек мирно дремали на якоре подобно стае спящих уток. Оплетающая берега бухточки филигрань из ветхих сушилен для рыбы, пристаней, причалов и рыбных сараев отливала серыми и серебристыми тонами. Десятка четыре квадратных домов с плоскими крышами, окрашенных в яркие цвета, карабкались от кромки берега вверх по склону. Прямо подо мной раскинулся рыбозавод, из железной трубы которого поднимался к небу султан жирного дыма.

Сонный рыбачий поселок являл собой умиротворяющее душу зрелище. Примерно так же выглядели в этот час и остальные тринадцать сотен ньюфаундлендских рыбачьих селений, которые в ту пору все еще ютились, как и столетия назад, у изрезанного побережья большого острова. Я созерцал это зрелище с удовольствием, которое постепенно уступало место беспокойству.

Чего-то в этой картине явно недоставало. Да, недоставало шхуны моей мечты. Она же должна была стоять на якоре вон там, в простершейся внизу гавани, плавно покачиваясь на волнах, готовая отплыть и прекрасная, как невеста, ожидающая прихода возлюбленного. Возлюбленный явился — вот он, здесь,— а морская невеста как в воду канула.

«Страстоцвет» протаранил последнюю булыжную баррикаду на козьей тропе, спускающейся к рыбозаводу, разок-другой икнул и тихо испустил дух. Когда я попытался завести его, он лишь жалобно стонал. Я вышел на каменистый склон, и тут передо мной как из-под земли вырос, словно это был тролль, светловолосый мальчуган. Обутый в резиновые сапоги, которые были ему велики на несколько номеров, он стоял, шмыгая носом и застенчиво улыбаясь. Я спросил его, где можно разыскать дядюшку Эноса Коффина (в рыбацких поселках мужчин старше пятидесяти лет люди помоложе, как правило, называют «дядюшками»), и он показал пальцем на большой дом выше по склону, окрашенный в широкие горизонтальные полосы красновато-коричневого, канареечно-желтого и огненно-красного цвета.

Тут необходимо маленькое отступление. До присоединения Ньюфаундленда к конфедерации обитателям ньюфаундлендских рыбачьих поселков, за редким исключением, покупная краска была не по карману. Они пользовались краской своего собственного изготовления: смесью из глины, содержащей охру, рыбьего жира и морской воды. Высыхая (а на это мог потребоваться целый год), она приобретала вид бурой запекшейся крови. Нельзя сказать, чтобы этот оттенок радовал глаз, и за несколько столетий поморяне стосковались по яркому цвету. Вскоре после того, как остров стал частью Канады, туда нахлынули всяческие проходимцы с материка, среди которых были и торговцы красками. Хлынули туда и наличные деньги в виде федеральных пособий многодетным и пенсий престарелым. Изрядная толика этих денег была немедленно обменена на краску. Опьяненные цветом, многие обитатели приморских селений уже не довольствовались окраской своих домов в красный, зеленый, как молодая травка, или будуарно-розовый колер — они раскрашивали свои жилища горизонтальными, вертикальными и даже диагональными полосами всех цветов радуги. Разноцветные дома ласкали взор, если их рассматривали в туманный день со стороны моря на расстоянии в несколько миль. При взгляде же на них с близкого расстояния и в солнечную погоду даже сильные люди содрогались.

— Спасибо,— сказал я.— А не знаешь ли ты, где стоит шхуна, принадлежавшая раньше Хэллоганам?

Лицо мальчугана осветилось. Он повернулся и, шаркая сапогами, направился в проход между двумя полуразвалившимися складами. Я двинулся за ним следом. К воде мы вышли прямо у основания длинного и невероятно шаткого причала, сооруженного из обтесанных еловых жердей.

У причала стояла лодка.

Было время отлива, и лодка лежала на боку, наполовину в воде, наполовину на суше, среди богатой коллекции разбитых бутылок, гниющих водорослей, дохлой рыбы и других омерзительных липких предметов. Осторожно ступая по пропитавшимся рыбьим жиром бревнышкам причала, я подобрался к шхуне моей мечты.

С тех пор как я видел ее в последний раз, ее корпуса не касалась рука человека. Остатки зеленой краски жалкими лохмотьями свешивались с обнажившейся обшивки. Днище, лишившееся последних следов медной краски и измазанное мазутом, жирно лоснилось. Палубы, испещренные зияющими дырами, разошедшимися пазами, корявыми новыми досками и длинными черными подтеками смолы, напоминали лоскутное одеяло. Грот-мачта с отломленной верхушкой возвышалась над палубой на каких-нибудь десять футов, а незакрепленная фок-мач-

та раскачивалась под нелепым углом, будто взывая о чем-то к неумолимым небесам.

Но отвратительнее всего было выросшее на палубе громадное некрашеное сооружение в форме сундука. Огромное, оно простиралось от руля до основания фок-мачты. Выглядело же оно как гигантский саркофаг. Похоже было, как если бы мое суденышко, почувствовав, что умирает от какой-то неизлечимой и постыдной болезни, взвалило на спину свой собственный гроб и поползло на кладбище, но, выбившись из последних сил, скончалось на том самом месте, где сейчас и лежало.

Это зрелище лишило меня дара слова, но зато на моего малолетнего гида с мокрым носом оно произвело прямо противоположное действие. Впервые за все время он раскрыл рот.

— Правда, красавица?! — воскликнул он.— Ну просто как игрушечка!

Я не ринулся немедленно на розыски Эноса, ибо, хотя вообще-то я человек миролюбивый, дело сейчас могло бы дойти до смертоубийства. Вместо этого я забрался обратно в кабину «Страстоцвета» и, как я всегда поступаю в затруднительном положении, откупорил бутылку.

Больше всего меня беспокоила мысль о Джеке Макклелланде. Джек должен был прибыть в Маддихол через две недели — к предполагаемому моменту отплытия. Джек принадлежит к числу тех золотых людей, которые неспособны проникнуться сочувствием к слабостям простых смертных. Будучи человеком дела, он ожидает такой же эффективности от других. Просить судьбу не в его привычках— он отдает ей приказания. Он в с е м отдает приказания, в том числе и мне.

«15 июля в 7 часов 30 минут мы отплываем из Ньюфаундленда и берем курс на ближайший окаймленный пальмами островок, где и проведем лето, предаваясь радостям гедонического существования. Вопросы есть?»

Таковы были напутственные слова, которые он адресовал мне при расставании. У меня были все основания предположить, что перспектива провести лето в Маддихоле его не порадует.

После первого доброго глотка из бутылки я все еще допускал возможность того, что я проломлю Эносу Коффину череп, меня признают невменяемым и упрячут в психиатрическую больницу, где я буду отсиживаться до тех пор, пока Джек не позабудет обо мне. Приложившись к бутылке еще и еще раз, я вознамерился немедля отправиться на «Страстоцвете» в путешествие к границе с Аляской, где, как мне было известно, требовались работники для произведения археологических раскопок стоянки древних обитателей Северной Америки. Однако «Страстоцвет» категорически отказывался завестись, в связи с чем я, снова пососав из бутылки, решил временно остаться там, где нахожусь, и искать более прямой путь к забвению.

Семь пышущих здоровьем дочерей Эноса Коффина нашли меня на том же месте, когда они вприпрыжку пробегали мимо, торопясь на рыбозавод к началу утренней смены. Это были добрые, отзывчивые девушки. Одна из них положила мою голову себе на колени, а другая тем временем сбегала за Эносом. Затем они все вместе отвели — точнее сказать, отнесли — меня к себе домой и с чувством исполненного долга уложили в постель.

Проснулся я поздно вечером в прескверном расположении духа. Но дочери Эноса были так радушны и окружили меня таким теплым вниманием (например, скормили мне целую сковороду жареных языков и щек трески), что я не сказал Эносу тех суровых слов, которых он заслуживал. На мой упрек, что он обманул меня, Энос отвечал тоном оскорбленной добродетели:

— Так что же ты, чудак-человек, мне раньше-то не сказал, что тебе так приспичило с этой лодкой? Да если б я знал, так я бы давным-давно ее отделал. Э, ничего, дружище, не унывай! Я позову в помощники Оби Мэрфи, и с ним на пару мы к концу недели приведем ее в полный порядок. И кстати, капитан, нет ли у тебя случайно с собой еще одной бутылочки? А то последнее время в животе у меня какой-то кошмар творится!

Поскольку у меня самого в животе «кошмар творился», я быстро разыскал еще одну бутылочку и к утру тоже преисполнился оптимизма.

Надо сказать, что если поморянам-ньюфаундлендцам присуща какая-нибудь одна выдающаяся отличительная черта характера, то это оптимизм. Он им действительно необходим. Без него им давным-давно пришлось бы уступить остров чайкам и тюленям. С ним же они творят чудеса. При достаточном оптимизме это самые сноровистые, самые выносливые и самые жизнерадостные люди на свете.

Когда назавтра Энос и Оби Мэрфи (добродушный молодой геркулес) приступили к работе над лодкой, моей главной задачей стало поддерживать в них оптимизм. Для этого мне пришлось установить регулярное сообщение между Маддихолом и Сент-Джонсом — ближайшим местом, где можно было добыть оптимизм. В рейс я отправлялся ни свет ни заря, прибывал в город перед вечером, сразу же отдавал джип в починку, пытался приобрести такие жизненно необходимые для шхуны предметы, как паруса, помпы и т. д. (главным образом

эти последние) и разживался галлоном-другим оптимизма у самогонщиков, предлагавших более качественный и дешевый товар, чем государственные винные магазины. Затем я пускался на ночь глядя в обратный путь и возвращался в Маддихол как раз вовремя, чтобы подготовить Эноса и Оби к предстоящему трудовому дню.

С течением времени поездки по тропе карибу, каждая из которых была поначалу тяжелым испытанием, стали даваться мне легче. «Страстоцвет» постепенно обтесал самые острые камни и измочалил большинство корней. Когда он совершил свой последний рейс, колея от его колес уже настолько напоминала проезжий путь, что жители Южного берега, движимые чувством благодарности, подали в правительство петицию с просьбой присвоить этой тропе название «Дорога «Страстоцвета». И правительство вполне могло бы удовлетворить их ходатайство, если бы премьер-министр Джой Смоллвуд не убоялся того, что, признай он существование дороги, ему придется отпускать деньги на содержание ее в исправности.

Одна из причин, по которым я без лишних слов пускался в эти дальние путешествия, заключалась в том, что мысль о перспективе остаться и помогать Эносу и Оби в работе над лодкой приводила меня в ужас. Несколько дней мне удавалось избежать этой перспективы, но когда Энос принялся прилаживать фальшкиль и железный балласт, весивший добрые две тысячи фунтов, ему потребовалась еще одна пара рук и я должен был поступить в его распоряжение. Чтобы читатель наглядно представил себе, в каких условиях мы работали, я ознакомлю его с дневниковыми записями, сделанными мною в ту пору.

> «Лодка находилась в узеньком заливчике на задворках рыбозавода. Все сточные воды (отходы производства и удаляемые канализацией отбросы) с этого завода, на котором трудились сто сорок семь мужчин, женщин и детей и который обрабатывал около ста тысяч фунтов рыбы в день, сливались в наш заливчик через десятидюймовую канализационную трубу, блевавшую на нас через неравномерные промежутки времени. Во время отлива мертвенно-бледные внутренности погибшей трески образовывали вокруг лодки затейливый скользкий узор и гирляндами облепляли весь ее корпус. Воздух, и без того ядовитый, еще больше отравляли газы, извергаемые цехом по выработке рыбной муки. Те рыбные отходы, которые не сбрасывались в воду, перерабатывались в вонючий желтый порошок, сыпавшийся с неба на наши непокрытые головы, подобно пеплу из трубы крематория. Смердело это производство так, что миазмы от стоявших у края причала четырех деревянных бочек, куда Оби складывал печень пойманной трески, с тем чтобы она, разлагаясь на солнце, давала рыбий жир, казались вполне приятным запахом. Наша одежда, кожа, волосы стали липкими и насквозь пропитались вонью от дохлой трески, и, конечно, каждый дюйм нашего судна был покрыт густым слоем...»

Право же, в такой ситуации человеку требуется весь оптимизм, который имеется у него в запасе!

Однако, мобилизуй мы даже весь наличный оптимизм Ньюфаундленда, нам не удалось бы совершить невозможное, и с приближением дня прибытия Джека я должен был признаться самому себе, что суденышко наше не сможет выйти в плавание в назначенный срок.

К 10 июля на шхуне все еще не были установлены перекладины, снасти, паруса, винт и целый ряд прочих необходимых вещей. Не хватало ей и достаточно мощных помп. Поздно вечером десятого числа мы, старательно просмолив все ее швы и покрасив дно, отбуксировали шхуну в час прилива к дальнему концу причала. Она незамедлительно обнаружила свою главную, как показало дальнейшее, отличительную черту: потекла так, как никогда и не снилось ни одному известному мне до и после судну.

Вода проникала внутрь не через какую-нибудь определенную течь — в силу какого-то таинственного осмотического процесса она проступала через каждую пору. Для того чтобы вода не прибывала, необходимо было все время лихорадочно откачивать ее. О том же, чтобы заставить воду убывать, не могло быть и речи: ведь нас было всего трое, и мы не могли пустить в ход больше трех помп сразу.

Явное стремление суденышка совершить харакири ничуть не обеспокоило ни Эноса, ни Оби. Энос произнес сакраментальную фразу, которая вечным рефреном звучала у меня в ушах несколько последующих лет.

— Ничего, все шхуны Южного берега малость протекают, когда их только спустят на воду,— успокаивающе заверил он меня.— Но стоит им поплавать денек-другой, как дерево заберет воду — и все, точка.

Как и многие изречения Эноса, эти слова в чем-то соответствовали действительности. Эти лодки с Южного берега и впрямь забирают невероятные коли-

чества соленой воды, а также львиную долю времени экипажа, который энергично откачивает ее помпами. Об этом наглядно свидетельствует фантастически развитая у рыбаков Южного берега мускулатура рук и плеч.

■

Тяжкие испытания, выпавшие на мою долю в Маддихоле и Сент-Джонсе, могли бы оказаться для меня непосильными, не познакомься я в Ферриленде с семейством Морри.

Ферриленд расположен неподалеку от Маддихола, но в отличие от своего соседа он вполне пригоден для жилья, так как не имеет сомнительного счастья находиться рядом с рыбозаводом.

В Ферриленде, как, впрочем, и во всех других поселениях Южного берега, вскоре стало известно о моем пребывании в Маддихоле и о цели моего приезда. Однажды на обратном пути из Сент-Джонса «Страстоцвет» закапризничал, неистово взвыл пару раз и замер у выкрашенного белой краской штакетника, которым был окружен большой старый дом на окраине Ферриленда.

Когда я подошел к дому, чтобы попросить помощи, в дверях меня встретил Говард Морри. Прежде чем я успел открыть рот, он пробасил:

— Заходите, заходите, мистер Моуэт. Заходите и выпейте чашечку чаю.

Говарду шел тогда восьмидесятый год, но я бы не дал ему больше пятидесяти. Высокий, крепкий, широкоплечий, с румяным, без единой морщинки лицом, он походил на земледельца-рыболова времен капитана Дрейка. Был он вдов и жил вместе со своим статным немногословным сыном Биллом и говорливой невесткой Пэт. Билл и Пэт держали маленькую лавку и небольшое предприятие по солению рыбы. У них было двое совершенно очаровательных детей — мальчик и девочка.

Семейство Морри, как видно, имело представление о том, что мне приходится претерпевать в Маддихоле, и задалось целью обеспечить меня противоядием. С утра нашей первой встречи и вплоть до моего отплытия я чувствовал себя у них как дома. Пэт потчевала меня фантастически вкусными блюдами, командовала мною и заботилась о том, чтобы я пореже ложился спать трезвым. Билл приобщал меня к исконным рыбацким обычаям гавани, отправлял в море с промысловиками, посвящал в тайны искусства соления рыбы и обращал меня в свою фанатическую непоколебимую веру в универсальное значение преемственности человеческого опыта. Десятилетний Питер Морри брал меня с собой в далекие и секретные прогулки «по диким местам», где мы пробирались тропинками, проложенными «вольными людьми», и поднимались в горы — на вершину длинного кряжа, с которой столетиями смотрели в море женщины в ожидании возвращающихся кораблей, а мужчины, стоящие в дозоре, внимательно оглядывали горизонт, готовые сразу же поднять тревогу при появлении пиратских парусов.

Однако по-настоящему открыл мне сердце и душу Ньюфаундленда и ньюфаундлендцев Говард Морри. Говард принадлежал к числу тех редких людей, которые искренне, глубоко и нежно любят прошлое. Первым Морри, прибывшим на Южный берег, был его прапрадедушка, и Говард хранил в памяти и в сердце все предания, передававшиеся из поколения в поколение.

Уже в пожилом возрасте он получил тяжелую травму в результате несчастного случая и больше полутора лет был прикован к постели. За это время он перенес на бумагу все воспоминания о ферриленской старине, которые ему удалось собрать за свою жизнь, исписав тридцать школьных тетрадей. Когда, поправившись, Говард вновь вышел на промысел в море, это поистине бесценное сокровище осталось валяться в углу, где его обнаружили ребятишки и устроили из тетрадей костер. Услышав об этом от Говарда, я пришел в ужас. А он лишь посмеивался: «Беда невелика. Все это по-прежнему записано у меня в памяти — слово в слово».

Говард был знатоком не только позднего периода истории Ферриленда, охваченного его семейными преданиями,— он знал и чувствовал историю этого края с самых ее истоков. Истоки же эти восходят к далекому-далекому прошлому, ибо Ферриленд является одним из древнейших поселений Ньюфаундленда, где достаточно глубокий культурный слой по-настоящему смягчает каменистое лицо старого острова-утеса.

В обширную и хорошо защищенную гавань Ферриленда, расположенную у подножия невысоких покатых холмов и окаймленную сочными прибрежными лугами, заходили некоторые из первых европейских мореплавателей, достигших Северной Америки. Баскские китобои и ловцы трески пользовались ферриленской гаванью еще задолго до окончания пятнадцатого века. В первые десятилетия шестнадцатого века бретонцы и нормандцы создали на ее берегах рыболовецкие базы. Ферриленд обозначен под названием Фарийон на старинной французской карте, вычерченной еще в 1537 году. Однако французы, надо полагать, были далеко не первыми поселенцами Ферриленда, потому что французское на-

звание заимствовано и представляет собой не что иное, как искаженную транскрипцию более раннего наименования.

Французы удерживали Фарийон, уже тогда бывший постоянным поселением, примерно до 1600 года, когда его отняли у них английские пираты. В 1621 году лорд Балтимор облюбовал это место в качестве центра грандиозной колонии, которую он мечтал создать на Ньюфаундленде. Однако мечты лорда обернулись кошмаром. Его супруге не понравился Фириленд, как тогда его называли, и через пару лет она уговорила своего повелителя переселиться дальше к югу — в местность, которая впоследствии стала штатом Мэриленд.

В последующие столетия номинальную власть над Феррилендом захватывали то одни, то другие властители, нещадно эксплуатировавшие его обитателей. Но исконные феррилендцы — потомки выходцев из Франции, западных районов Англии, с острова Джерси и из Ирландии — продолжали себе заниматься морским промыслом, не очень-то обращая внимание на тех, кто сидел у них на шее. Стойкие, упорные, необыкновенно выносливые, они сумели выстоять в мрачную пору засилья «рыболовных адмиралов», когда английские монархи, уступив требованиям влиятельных рыболовецких компаний в самой Англии, издали указ, согласно которому никто не имел права селиться на Ньюфаундленде, остров же должен был быть очищен от постоянных обитателей и мог использоваться только в качестве сезонной рыболовецкой базы для команд английских кораблей.

Несмотря на это, жители Феррилеида не покинули свой родной край. Они продолжали жить там вопреки бесчисленным набегам и нападениям французов, поселенцев Новой Англии, португальцев и просто пиратов. Они цеплялись за свою землю с героическим упорством. Несколько раз Феррилеиду приходилось сражаться не на жизнь, а на смерть, отбивая самые настоящие штурмы с моря и суши. Феррилеид выжил. Феррилеид и феррилендцы держались вот уже более четырех столетий. Когда я впервые увидел Феррилеид в начале 60-х годов, он во многом сохранял облик, присущий ему, должно быть, с самого основания. Говард поведал мне немало историй, рисующих, в горниле каких испытаний выковывался характер феррилендцев. Взять хотя бы, к примеру, его рассказ о «вольных людях».

В восемнадцатом столетии английский рыболовецкий флот комплектовался по большей части за счет людей, которые отправлялись в море, чтобы не умереть с голоду, или же оказывались вынужденными пуститься в долгое и трудное плавание через океан, став жертвой мошенничества «вербовщиков». По прибытии на Ньюфаундленд многие из них решали больше не возвращаться на родину. Местные «колонизаторы» обращались с ними как с рабами, и они, подобно рабам древней Спарты, бежали с побережья в необитаемые дебри внутренней части острова. Там они образовали братство отверженных, просуществовавшее добрую сотню лет. Становясь разбойниками в романтической традиции Робин Гуда, они жили в лесах и грабили богатых, чтобы прокормиться самим и помочь в беде угнетенным рыбакам побережья.

Чуть отступя от побережья, начинались владения «вольных людей». Вторгнуться в них отваживались лишь отряды вооруженных до зубов солдат короля. Повсюду там вились тайные тропы; селения «вольных людей» прятались в многочисленных узких ложбинах, а одно из них располагалось в каких-нибудь пяти милях от Феррилеида под сенью большого холма.

«Вольные люди» так и остались непобежденными — никому не удалось их покорить. Постепенно они смешались с поселенцами-поморянами, и их кровь по сей день течет в жилах обитателей Южного берега.

Этих «вольных людей» и других подобных им Говард Морри воскрешал перед моим внутренним взором во время маленьких путешествий вдоль берега, в которые он брал меня.

В один прекрасный день он повез меня на остров Буа, лежащий в широком устье феррилендской гавани. Когда-то он был покрыт густым лесом, но это было в далеком прошлом. Теперь на нем нет ни единого дерева, но место это совершенно фантастическое.

Забытая или не замеченная официальными историками и известная только горстке людей вроде Говарда, там возвышается большая крепость. Ее почти отвесные стены окружены земляным валом. Здесь и там виднеются батареи тяжелых крепостных орудий — я насчитал пять таких батарей,— и жерла пушек зловеще чернеют среди запачканного птичьим пометом мха. Все еще различимы пороховые погреба, развалины жилых домов и даже старинный колодезь. По словам Говарда, первые крепостные укрепления были возведены здесь еще до 1600 года французами. К 1610 году крепость была захвачена знаменитым английским пиратом Питером Истоном и постепенно превращена в почти неприступную твердыню, надежно защищавшую впоследствии Феррилеид от нападения с моря.

На мелком месте у выхода из большого ущелья ржавеют на дне четыре длинноствольные пушки семнадцатого века, стрелявшие двадцатифунтовыми ядрами; они лежат там, где бросил их в восемнадцатом веке какой-то капер,

пытавшийся похитить их из временно покинутого форта. Все же прочее, похоже, осталось в полной неприкосновенности с тех времен, когда в крепости кипела жизнь. Тут нет ни гидов, ни посыпанных гравием дорожек, ни искусственных реконструкций. Прошлое сохранилось здесь во всей своей неподдельной реальности, лишь слегка затуманенное, а не изглаженное промелькнувшими столетиями.

После того как уйдут из жизни такие люди, как Говард Морри (а их так мало в любой стране!), сотрется память о богатом историческом прошлом Ньюфаундленда и ньюфаундлендцев. Навеки исчезнет жизненный уклад четырехсотлетней давности.

Мне посчастливилось: я имел возможность как бы изнутри приобщиться к этому укладу — укладу жизни ловцов трески. Однажды Говард разбудил меня в четыре часа утра, накормил обильным завтраком и проводил во тьме к концу причала, где меня, как было заранее уговорено, взял на борт ловецкий бот с командой из четырех человек.

Это была большая и широкая посудина, приводимая в движение одноцилиндровым, с магнето, мотором мощностью в пять лошадиных сил. Погода была тихая и прохладная. Когда мы малым ходом выбирались в густых сумерках из гавани, со всех сторон до нас доносилось приглушенное тарахтенье двух десятков других «однотактников» с невидимых лодок, выходящих в открытое море.

Нашей команде предстояло проверить две сети-ловушки для трески. В сущности, ловушки эти представляют собой огромные «коробки» из сетей, каждая сторона которых имеет полсотни футов в длину. У «коробок» нет верха, но есть дно. От «двери» в одной из боковых сторон отходит длинная, вертикально подвешенная «ведущая» сеть, которая направляет медленно идущую треску в ловушку. Все это сооружение прикрепляется к морскому дну с помощью огромных железных якорей — последнего, что сохранилось от старинных, давно забытых кораблей.

Одна из ловушек была установлена в девяти морских саженях от острова Буа, и мы добрались до нее с первыми лучами солнца. Наш капитан стал проверять сети, а мы, остальные члены команды, перегнувшись через борт, вглядывались в темную водяную пучину. Проверялась сеть с помощью приманки — шестидюймовой свинцовой рыбки с двумя большими крючками, прикрепленной к концу толстой лесы. Капитан спустил рыбку поглубже в ловушку и резко дернул лесу. С первой же попытки он поймал на крючок великолепную жирную треску и бросил ее, сверкающую чешуей, на дно бота.

— Неплохо,— сказал он.— Давайте-ка вытянем ее, ребята!

И мы принялись тянуть. Нам пятерым пришлось изрядно попотеть, чтобы закрыть вход в ловушку и затем вручную выбрать из воды огромное количество троса и снастей. Прошло полчаса, прежде чем ловушка, местоположение которой обозначалось поплавками, начала собираться в мешок. По мере того как мы втаскивали через планширь пропахший дегтем тяжелый и обжигающе холодный трос, мешок уменьшался в размерах, а вода внутри него забурлила. Улов был на славу. В ловушке оказалось двадцать — тридцать квинталов [1] превосходной трески, беспомощно метавшейся в сетях.

Один из членов команды, молодой человек лет двадцати, помогал нам с плоскодонки, раскачивавшейся на волнах рядом с ботом. С моря шла крупная зыбь, и он с трудом сохранял устойчивое положение. Неожиданно трос дернулся, парень потерял равновесие, его правая рука, соскользнув, оказалась между плоскодонкой и ботом как раз в тот момент, когда волна столкнула их бортами. Раздался хруст сломанных костей. Он тяжело опустился на банку лодки и стал осматривать поврежденную руку. По ней уже струилась кровь. Только что купленные часы, которыми он очень гордился, были расплющены и вдавились глубоко в тело.

Пострадавший выпустил из рук сеть, и его плоскодонку стало быстро относить приливом прочь от бота. Наш капитан, запуская мотор, крикнул, чтобы мы бросили ловушку, но юноша в увлекаемой течением плоскодонке остановил нас.

— Вы что, с ума сошли?! — крикнул он.— Я справлюсь сам! Не выпускайте всю эту рыбу!

Здоровой рукой он схватил весло и подцепил им трос, а затем, действуя одной рукой и зубами, подтянул свою лодку вдоль троса к боту. Мы подняли его на борт, но он не позволил нам отвлекаться, пока из ловушки не был выбран весь улов вплоть до последней рыбины, заполнивший собой наш бот почти до самых планширей. Все это время — быть может минут двадцать — он сидел на крышке люка, наблюдая за нашей работой и широко улыбаясь, а кровь, насквозь пропитавшая рукав его толстого свитера, стекала ему на клеенчатые штаны.

Когда мы добрались до причала, было уже десять часов, солнце стояло высоко и сильно припекало. Пэт Морри приехала встретить нас на грузовике, и

[1] Квинтал — старинная мера веса, которой традиционно пользуются ловцы трески. Она эквивалентна 112 фунтам (сухой вес) соленой рыбы.

мы доставили парня к врачу, который фиксировал кости и наложил на рану шестнадцать швов. Я присутствовал при операции, и когда мы вышли из скромной приемной врача, юноша обратился ко мне с такими словами:

— Надеюсь, капитан, я не испортил вам утра?

Нет, он не испортил мне утра. Если бы только найти нужные слова, я мог бы рассказать ему о том, как восхищен его выдержкой и мужеством. Впрочем, попытайся я сделать это, он, наверное, не знал бы, куда деться от смущения.

Всякий раз, когда мне доводилось заночевать в доме Морри, я отправлялся наутро к причалу, чтобы встретить возвращающиеся домой рыбацкие лодки. Там я неизменно встречал дядюшку Джима Уэлча и дядюшку Джона Хоукинса. Первому было восемьдесят восемь лет, второму — девяносто. Оба всю свою жизнь рыбачили, но, как выразился дядюшка Джон, «теперь, парень, мы стали малость староваты для этого дела; нет у нас прежней крепости». Тем не менее оставшейся у них крепости вполне хватало на то, чтобы проинспектировать каждую лодку, отпустить ядовитые шутки по поводу количества и качества пойманной рыбы и вообще «подтянуть молодежь» (мужчин сорока — пятидесяти лет). Дядюшку Джона отец в первый раз взял в рыбацкой плоскодонке в море — ловить треску на приманку,— когда ему было восемь лет. Но это считалось еще поздним началом. Дядюшка Джим начал свою рыболовецкую карьеру в возрасте шести лет.

Говард Морри знал и рассказывал великое множество забавных историй из жизни простых ньюфаундленцев. В один из вечеров разговор зашел о священниках-поморянах (жители Южного берега почти сплошь католики), и Говард поведал мне историю о Билларде и козле.

Все обитатели Южного берега сажают картошку, а этот Биллард особенно гордился выращенным им картофелем. К несчастью, один из его соседей держал коз, а козы, известное дело, тоже любят полакомиться картошкой. И вот как-то утром выкапывает Биллард свой урожай, согнувшись в три погибели и уставясь в торфянистую землю, а мимо как раз проходит священник. Преподобный отец останавливается и спрашивает через забор:

— Картошку копаешь, Биллард?

Биллард, не разгибаясь, смотрит исподлобья в ту сторону, откуда донесся голос, священника не замечает, но зато встречается взглядом с особенно вредным соседским козлом, который пялит на него свои желтые глаза через дыру в заборе.

— Как видишь, сукин сын! — яростно взревел Биллард.— И если бы не ты, шкода, ее было бы куда больше!

■

Те часы, что я проводил с семейством Морри, были лишь короткой передышкой в головоломной борьбе за то, чтобы превратить сущий кошмар в сносную действительность,— борьбе, которой я посвящал львиную долю своего времени днем и ночью. По мере того как дни летели за днями, а работа как будто и не продвигалась вперед, мне начинало казаться, что Энос, Оби и я обречены до скончания жизни на сизифов труд — по колено в рыбьих отбросах и с отчаянием в сердце. Быстро промелькнула череда дней, и вот настало утро, когда мы должны были взглянуть правде в глаза.

Наступил срок, назначенный Джеком для его прибытия из Торонто в аэропорт Сент-Джонса. Близился час его первой встречи с маленькой шхуной.

К унылым кварталам Сект-Джонса я подъезжал на «Страстоцвете» в подавленном и тревожном настроении. Однако бывает порой, что жестокая судьба, преследующая нас всю жизнь, вдруг возьмет да и сжалится над своими жертвами. В то утро над Южным берегом клубился довольно густой туман. Так как это обычное явление в тех местах, я не придал ему особого значения. И только лишь после того, как я вслепую проехал через Сент-Джонс и прибыл в аэропорт, где мне любезно сообщили, что в связи с туманом все полеты в ближайшие дни отменены, до меня дошло, что судьба дает мне отсрочку.

Я сразу же направился к метеорологу. Он пролил бальзам на мое сердце и вселил в него тихую радость, предсказав, что из-за тумана аэропорт будет еще некоторое время закрыт.

— Как долго? — поинтересовался я.

— Трудно сказать, старина. Думаю, не меньше недели.

Преисполненный чувства облегчения, я настрочил Джеку записку, в которой разъяснял, что поскольку в Маддихоле нет телефона, у меня не будет возможности своевременно узнать о его прибытии. А так как — присовокуплял я — шхуна требует еще кое-каких доделок, я считаю своим долгом заниматься работой, вместо того чтобы разъезжать попусту в Сент-Джонс и обратно в слабой надежде на то, что самолету компании «Транс-Кэнада эйрлайнз» удастся, наконец, найти этот городишко и приземлиться. Я посоветовал ему далее арендовать по приезде небольшой грузовичок (предпочтительно с четырьмя ведущими

колесами), погрузить в него различные корабельные материалы, которые я заказал в городе и список которых прилагаю, и своим ходом добираться до Маддихола. Указания эти я оставил на столе у девушки из информационного бюро «Транс-Кэнада».

Кое-кому, возможно, пришел в голову вопрос: а почему Джек обязательно должен был лететь — разве не мог он приехать поездом? Но подумать так могли только люди, совершенно незнакомые с железнодорожной системой Ньюфаундленда.

Система эта представляет собой узкоколейку, протянувшуюся через пятьсот миль необитаемой пустыни от Порт-о-Баска до Сент-Джонса. Это древнее сооружение является пережитком далекого прошлого. График движения поездов носит столь неопределенный характер, что под сиденьями в каждом вагоне вделаны большие деревянные сундуки, в которых хранится неприкосновенный запас продовольствия на предмет непредвиденно долгой стоянки. Зарегистрированы случаи, когда поезда тащились из конца в конец острова по целому месяцу.

Наиболее длительные задержки происходят, как правило, зимой, хотя и в другие времена года поезда могут надолго застрять в пути по целому ряду причин: то опустится густой туман и машинисту не видно, куда ехать; то лось в разгар своего брачного периода вступит в неравный поединок с паровозом (неравный, потому что лось редко выходит победителем); то взорвется котел; то ураганный ветер столкнет вагоны с рельсов; то отстанут пассажиры, вышедшие пособирать ягоды, пока поезд преодолевает подъем, и т. д. и т. п. Недаром с легкой руки канадских солдат, размещавшихся в годы войны в Сент-Джонсе, этот поезд получил название «Экспресс — ньюфаундлендская пуля».

Во время рейсов «Пули» случалось немало пикантных происшествий, но, пожалуй, наиболее поучительна история, приключившаяся с одной молодой особой, ехавшей из Порт-о-Баска на восток. По мере того как дни шли за днями, она стала заметно тревожиться. Всякий раз, когда через ее вагон проходил кондуктор, она останавливала его и с беспокойством спрашивала, как долго еще осталось ехать. Он, конечно, не имел об этом ни малейшего представления, и подобная докучливость вывела его в конце концов из себя.

— Не на пожар едем,— ответил он,— да и почему это вы так уж торопитесь?

Робея и смущаясь, она сказала почему. Она ждет ребенка.

— А раз вы в положении, то нечего было садиться в «Пулю»! — возмущенно заметил он.

— Ах, сэр,— со вздохом отвечала она,— ведь я же не была в положении, когда садилась в поезд.

Джек Макклелланд предпочел не рисковать и воспользовался услугами воздушного транспорта.

Мне следовало бы догадаться, что, посулив неделю отсрочки, судьба просто подшутила надо мной. На следующее утро после моего возвращения из Сент-Джонса мы с Оби отправились на «Страстоцвете» в соседний прибрежный поселок Шу-Ков в надежде раздобыть там рангоутное дерево для судна. К полудню туман отступил в сторону моря, и нас ослепило яркое солнце. В далеком Сент-Джонсе люди, встретившись на улице с друзьями, которых не видали уже много дней, останавливались поболтать и задирали голову, услышав непривычный гул самолетов в небе.

До сих пор не могу решить, то ли я должен радоваться тому, что меня не было поблизости в момент прибытия Джека в Маддихол, то ли сожалеть, что мне не довелось собственными глазами увидеть сцену, обогатившую фольклор Южного берега.

Самолет, на котором прилетел Джек, совершил посадку в аэропорту Сент-Джонса ровно без четверти час. Джек спустился по трапу, получил мою записку и развил бешеную деятельность. В этом — весь Джек. Бешеная деятельность — его стихия. Меньше чем через пару часов он уже вел машину по направлению к Маддихолу. Дорога повытрясла из Джека часть его неуемной энергии и безбожно отделала автомобиль — новенький дорогой «бьюик» с откидным верхом, ярко-красный и сверкающий хромированными деталями. На всем острове был лишь один такой автомобиль, и именно его Джек умудрился (с присущей ему способностью пренебрегать добрыми советами тех, с кем он имеет дело) взять напрокат в лучшем гараже Сент-Джонса.

В семь часов Джек прибыл в Маддихол. На рыбозаводе как раз закончилась работа, и десятки девушек в белых фартуках и мужчин в комбинезонах и резиновых сапогах выходили из вонючего здания после долгого дня рабского труда. И все они вдруг остановились как вкопанные, заслышав мощный трубный рев трехрожкового клаксона.

Сначала они подумали, что в гавань заходит какое-то невиданное судно, но затем одна из работниц заметила блеск предзакатных лучей солнца на массе полированного металла у самого края крутого каменистого склона, спускающегося к поселку.

Такого обитатели Маддихола в жизни еще не видали. Пока они, словно зачарованные, созерцали странный феномен, огненно-красное чудовище перевалило через гребень холма. Это пробудило их к действию. Предостерегающе замелькали руки, хриплые возгласы слились в единый хор.

Джек, сидевший за рулем красной колесницы, был на седьмом небе.

Он думал, что местные жители выражают радость по поводу его прибытия в Маддихол. А еще он думал, что по-прежнему едет по едва намеченной колее, ведущей вниз по каменной осыпи к берегу залива.

И в том и в другом случае он ошибался. Под колесами «бьюика» уже не было дороги, и местные жители энергично пытались предупредить его об этом факте.

— Да, сынок,— говорил мне потом один из очевидцев этой сцены,— вот уж и впрямь чудесное было зрелище!

А на Ньюфаундленде, надо сказать, слово «чудесное» до сих пор значит то же, что оно значило в старину: нечто сверхъестественное, чудо, внушающее благоговейный трепет.

Первые несколько ярдов под уклон автомобиль прошел нормально, но затем крутизна склона резко увеличилась, и хотя Джек, начавший подозревать неладное, изо всех сил жал на тормоза, было слишком поздно. Красный монстр устремился вниз, не разбирая дороги, подпрыгивая на камнях и сокрушая частоколы, с неистовостью взбесившегося гиппопотама. Из него посыпались вещи. Два тридцатигаллонных оцинкованных бака, предназначенных для лодки (один для воды, другой для горючего), свободно покоившихся на заднем сиденье, взлетели вверх и прочертили на фоне вечернего неба сверкающие параболы. Широко открылся багажник, и имущество Джека — скромный набор мореплавательных инструментов, пять чемоданов и всякая мелочь — вывалилось за борт.

Внезапно все кончилось. Автомобиль замер, уткнувшись своей блестящей хромированной мордой в заднюю стену хлева. Зрители в оцепенении не двигались с места. Прежде чем они успели очнуться и броситься на помощь, из облака пыли, поднявшегося над пострадавшим, появился Джек.

Как и следовало ожидать от человека, который в бытность свою командиром торпедного катера однажды попытался образовать новый вход в гавань Сент-Джонса, протаранив гранитную скалу в четыреста футов высотой, он не утратил ни капельки своего хладнокровия. Бодрой, жизнерадостной походкой проделал он остаток пути вниз по склону. Вид при этом у него был такой беспечный, будто он собирался взойти по застланному ковром причалу королевского яхт-клуба на борт роскошной прогулочной яхты.

Энос нервно выступил ему навстречу. Он был совершенно деморализован экстравагантностью появления Джека. Вместо того, чтобы отвести Джека к себе домой, налить ему стаканчик и не выпускать из дому до моего приезда, Энос безропотно повиновался, когда Джек в императивной форме потребовал, чтобы ему тотчас же показали судно.

Изысканного и блистательного гостя проводили прямехонько на причал. Джек ступил на пропитанные рыбьим жиром мостки, сделал шаг-другой, поскользнулся на ошметке гниющей тресковой печени и растянулся. В ужасе Энос и еще трое-четверо мужчин бросились к нему — а получилось, что на него,— и, стараясь помочь, столкнули его по неловкости в воду.

Хотя с тех пор прошли годы, Джек по сей день не желает разговаривать об этом эпизоде. Он утверждает, что вовсе его не помнит. Я сильно подозреваю, что причиной этого провала памяти являются заботы, которыми окружили его тем же вечером Энос с семью могучими дочерьми. Как видно, мозг Джека не выдержал перенапряжения, связанного с многочасовым пребыванием в жарко натопленной кухне, где его, раздетого донага и кое-как закутанного в одеяло, силком закармливала гурьба валькирий, а он тщетно пытался объясниться с восемью людьми, которые, как оказалось, не говорят ни на одном из известных ему языков.

Мы с Оби вернулись в Маддихол в полночь. К счастью, Джек уже спал. С тяжелым сердцем и смутными надеждами на то, что утро вечера мудренее, забрался я в свой спальный мешок.

Рано утром меня разбудил Джек, который стоял перед моей кроватью, облаченный в одеяло и с беспокойством во взгляде.

— Эй,— позвал он. После чего строго спросил: — А где же тут, черт возьми, ванная?

Тут следует пояснить, что Джека сформировали обучение в превосходной частной школе, воспитание в старинной торонтской семье и жизнь в условиях комфорта, если не роскоши. Он не принадлежит к породе грубоватых, неприхотливых пионеров. Он любит удобства, привык к ним, и их отсутствие причиняет ему страдания.

А дома в Маддихоле, надо прямо сказать, не могут похвастать многочисленными удобствами. Туалеты в них не предусмотрены, как, впрочем, не предусмотрены и будочки во дворе. Дамы держат под кроватями фарфоровые посудины,

мужчинам же положено обходиться так. Это производит впечатление несправедливой, более того, откровенно жестокой дискриминации, покуда вас не посвятят в тайну мужского поведения в прибрежном поселке.

Во время моего первого приезда в Ньюфаундленд мне удалось проникнуть в эту тайну только через несколько мучительных дней. Однако, став членом братства, я мог избавить Джека от мук самостоятельных поисков разгадки.

— Привет. Хорошо выспался? Да? Ну, так вот. Отправляйся к причалу — знаешь, такие мосточки из палок. С того края, что у берега, стоит сарайчик. Называют его сараем для рыбы, и имеется он у каждого рыбака. Войди внутрь и рядом с разделочным столом увидишь дыру, в которую сбрасывают в воду внутренности трески. И не забудь захватить бумажку.

На лице Джека, как в зеркале, отразилась происходившая в нем борьба. Меня тронуло выражение мольбы в его глазах, но необходимо было проявлять твердость.

— Послушай,— спокойно сказал я,— у тебя нет другого выбора. Вот разве что ты попытаешься прокрасться в спальню девушек и утащить оттуда горшок! (Все семеро дочерей спали в одной комнате на двух кроватях.) — Джек вздрогнул.— И оставь всякую мысль о том, чтобы пойти в кусты. Ты окажешься в центре внимания пяти-шести мальчишек и полдюжины собак, которые появятся неизвестно откуда, как только тебе покажется, что ты один.

Джек тихонько застонал, тоскливо посмотрел на меня и направился к двери. Возвратился он не скоро. В его отсутствие девушки успели встать, разжечь огонь и приготовить завтрак.

Мне было жаль Джека, по-настоящему жаль. Я хорошо помнил мой собственный первый визит в сарай для рыбы, где, в рискованной позе присев над водой среди пахучих бочек с треской в рассоле, я неосмотрительно взглянул вниз и увидел пеструю компанию камбал, палтусов, крабов и угрей, с надеждой взирающих на меня.

Новые впечатления, должно быть, травмировали Джека, но он сумел стать выше этого. Зато он чуть не упал в обморок, когда в ноздри ему ударил аромат завтрака. Джек ведь большой гурман и привереда. К тому же он очень брезглив: чуть что — его выворачивает наизнанку.

Он больно стиснул мне локоть и хриплым шепотом спросил:

— Ради бога, скажи, что это?

— Это,— с довольным видом объяснил я,— ньюфаундлендское национальное блюдо. Лакомство, которое готовят в честь гостей. Называется оно — тюря с рыбой.

— К черту название. Что туда кладут?

— Всякую всячину. Во-первых, замачивают на ночь куски черствого хлеба или корабельные сухари, чтобы получше размягчить их и избавить от жучков. Во-вторых, берут высушенную и засоленную на берегу рыбу и тоже кладут на ночь в воду — «отмокнуть». Затем рыбу смешивают с хлебом и ставят варить, а когда кушанье как следует разварится, в него выливают чашку растопленного свиного сала, после чего...

Мне так и не удалось закончить мое объяснение. Джек поспешно ретировался к камбалам и угрям.

Позже, утром, после того как мы с помощью джипа и нескольких низкорослых, но крепких лошадей вытащили «бьюик», застрявший в стене хлева, и отбуксировали его обратно на вершину склона, я, собрав все остатки честности, сказал Джеку всю правду о том, в каком положении мы находимся. Я открыл ему глаза на то, что даже если нам здорово повезет, мы сможем подготовить судно к отплытию не раньше, чем через две недели. Не скрыл я и того, что даже тогда плавание на нем будет отчаянно рискованным предприятием.

— Так что, Джек, если ты хочешь отказаться от всей этой затеи, я ни в чем тебя не упрекну. Особенно после всего, что тебе пришлось испытать и еще предстоит испытать до нашего выхода в море. Скажи только слово, и мы бросим эту проклятую лодку на произвол судьбы, а сами махнем обратно в Сент-Джонс. Оттуда каждую неделю уходит в Карибское море грузовой пароход, причем ближайший пароход отплывает как раз завтра. Мы можем погрузиться на него сегодня же вечером.

С минуту Джек молчал. Его взгляд был устремлен вдаль — на серую полосу тумана и свинцовую воду за гаванью с причалами и сараями для рыбы, за далеко выдающимися в море мысами. Затем — честь ему и слава за это — он ответил так:

— Ни в коем случае! Боюсь, у меня начнется запор, который побьет все известные в медицине рекорды. Наверное, после вчерашнего у меня всю жизнь будет болеть спина. Вероятно, мы вообще потонем, когда выйдем в море на этой немыслимой груде рухляди, которую ты приобрел. Но, Фарли, мы отплывем на ней отсюда, даже если это будет стоить нам жизни. А теперь — за дело.

Джек принял командование на себя. Придя к заключению, что главным нашим недостатком была плохая организация труда, он первым долгом созвал совещание, которое состоялось у Эноса на кухне. Присутствовали Оби, Энос, я и какой-то случайный прохожий, который не проронил ни слова и лишь жевал табак, сплевывая время от времени на раскаленную плиту.

С видом заправского администратора Джек разъяснил, что мы теряли слишком много драгоценного времени. Чуть ли не ежедневные поездки в Сент-Джонс, заявил он, не были вызваны необходимостью. Вместо этого мы составим подробный перечень предметов, недостающих для полной экипировки шхуны, он сам поедет со мной в город, и за один день, посвященный интенсивным закупкам, мы приобретем все, что нам требуется.

Затем мы вчетвером впряжемся в работу по тщательно продуманному графику, подналяжем и быстро доведем дело до конца.

— Ну как, джентльмены, согласны? — Он, сияя, смотрел на нас и ждал одобрения.

Я поглядел на Эноса, тот поглядел на Оби, а Оби поглядел на свои резиновые сапоги. Никто ничего не сказал. Было бы жестоко охлаждать такой простодушный энтузиазм.

Назавтра мы с Джеком отправились на «Страстоцвете» в Сент-Джонс с помятым «бьюиком» на буксире. По прибытии в город мы расстались, условившись встретиться в шесть часов в баре на набережной. У каждого был свой длинный список предметов для закупки. Джек поехал по магазинам на джипе, тогда как я, на собственном опыте познавший невероятную сложность транспортной проблемы в Сент-Джонсе, предпочел пойти пешком.

Без чего-то шесть я уже был в баре. Через несколько минут явился и Джек. Его было трудно узнать. Светлые, всегда безукоризненно причесанные волосы были всклокочены. Глаза налились кровью. Левая щека спазматически подергивалась. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось у него из груди.

Только после трех двойных порций рома он обрел дар речи и поведал мне о постигших его злоключениях. Он рассказал, как обходил магазин за магазином, в которых, как правило, не было покупателей, зато было полно продавцов. Однако при его появлении все продавцы немедленно исчезали, словно он был разносчиком бубонной чумы.

— Дело в том,— сочувственно растолковал ему я,— что в Сент-Джонсе продавцы считают ниже своего достоинства обслуживать покупателя. Они пользуются любой возможностью, чтобы уклониться от этой унизительной процедуры.

Джек мрачно кивнул.

— Но это еще были цветочки. В магазине скобяных товаров мне, наконец, удалось загнать в угол продавца, когда он пытался улизнуть на склад. Я припер его к связке вил и попросил — учти, вежливо попросил — продать мне пять фунтов двухдюймовых гвоздей. И знаешь, Фарли, что он мне сказал? — вскричал Джек почти фальцетом.— Он сказал, что если я пожелаю оформить на гвозди заказ, они попытаются выполнить его, и я смогу получить гвозди на следующей неделе!

— Так тебе же повезло,— успокоил его я.— Обычно они просто говорят, что нужного тебе товара у них нет или что он ожидается в будущем году, или через пару лет, или...

— Но это еще не все,— перебил меня Джек, причем щека его задергалась с удвоенной силой.— Потратив битых два часа на поиски, я, наконец, нашел винный магазин, причем за прилавком там неотлучно стоял продавец, которого я попросил отпустить мне ящик рома. И, как ты думаешь, что он сделал? Он заставил меня написать заявление с просьбой о специальном разрешении и отправил за этим разрешением в правление Комиссии по контролю над торговлей алкогольными напитками. Я целый час проискал эту лавочку, а когда нашел, там не было ни души: все ушли на обеденный перерыв, хотя было уже половина четвертого. Проторчал я там до половины пятого. Наконец объявляется какой-то тип и сообщает мне, что разрешения выдаются только по средам!

— Ничего не поделаешь, Джек. Видишь ли, в Сент-Джонсе все работники прилавка и государственные служащие нуждаются в дополнительном отдыхе. Потому что их очень изнуряет работа. Есть тут и еще одна проблема. У здешних торговцев столько денег, что больше им не требуется. Они не знают, куда их девать. Лишние деньги для них обуза. Представляешь, каково им, когда приходит субъект вроде тебя и сует пачку банкнот? Если они не будут начеку, им придется ее взять. Ладно, шутки в сторону, что тебе удалось раздобыть?

Джек заскрипел зубами, сунул руку в карман куртки, вытащил клочок бумаги и швырнул его на стол.

Это была квитанция на стоянку автомобиля.

Что касается меня, то я провел день сравнительно удачно. Из восьмидесяти с лишним предметов, значившихся в моем списке, я сумел приобрести шесть.

Они были в сумке, стоявшей у моих ног. Шесть бутылок рома. Мне посчастливилось найти контрабандиста, который еще не успел обогатиться и потому не считал зазорным для себя удовлетворять запросы покупателей. Таких бизнесменов, как он, в Сент-Джонсе раз, два и обчелся.

Поскольку у торговцев Сент-Джонса ни за какие деньги нельзя было выцарапать нужного для нашей шхуны оборудования, мы обратились за помощью к жителям Южного берега. Они и их предки веками терпели от произвола торговцев, поэтому отлично знали, с какими трудностями нам приходится сталкиваться, сочувствовали нам и выручали, чем могли.

Особенно много сделал для нас Монти Уиндзор, приветливый и внимательный человек, живший в нескладном большом доме на узком мысе, вдающемся в залив Аквафорте. Дом этот был красив и импозантен, когда Уиндзоры построили его пару столетий назад, но сейчас он обветшал и приобрел печальный вид. Монти Уиндзор был чуть ли не последним обитателем Аквафорте, носившим эту фамилию. Он показал мне семейную библию, на страницах которой велась запись рождений и смертей многих поколений Уиндзоров начиная с 1774 года. Лишь немногие из мужчин умирали в постели. Большинство же — рыбаки, матросы, китобои, каперы — погибали в море. Поля этой необыкновенной старинной книги использовались в различных нерелигиозных, но не менее важных целях. В конце Второзакония выцветшими чернилами был записан витиеватым почерком рецепт лекарства от «горла» (дифтерии?). Больному предписывается выкурить глиняную трубку, набитую паклей (оческами просмоленного пенькового каната), которую надо предварительно пропитать серой. Выкурив эту целительную смесь, больной (или больная) должен залпом выпить пинту черного рома, налитого прямо из бочонка.

Нынешних ученых медиков этот рецепт, быть может, только позабавит, но мне казалось совершенно очевидным, что никакая бацилла, никакой вирус не останутся после такой обработки в живых, если только они не наделены сверхживучестью. С другой стороны, всякому человеку, выдержавшему это лечение, вероятно, не страшны уже никакие микробы.

Из поколения в поколение Уиндзоры содержали предприятие по разделке и переработке китов, рыбосолильню, несколько больших рыболовецких шхун, но теперь все это ушло в прошлое и осталось лишь несколько полуразвалившихся зданий на набережной. Эти строения хранили не только многочисленные воспоминания о славном прошлом, но и бесценные сокровища для нас. Здесь мы откопали большой двухлопастный латунный винт, изготовленный, должно быть, полвека назад, но идеально соответствующий валу нашего двигателя. Мы обнаружили десятки шкивов для трехмачтовых шхун и достаточное количество шкивов поменьше, чтобы доукомплектовать наше снаряжение. Более того, в разных углах уиндзорских развалин мы откопали из-под слоя пыли большинство нужных нам позарез предметов оснастки.

Теперь дело стало за рангоутным деревом. Нам требовались две новые мачты, а их днем с огнем нельзя было сыскать. На побережье и на брошенных полусгнивших шхунах имелось сколько угодно мачт, но все они были либо слишком велики, либо слишком стары. В течение четырех веков лесные массивы Южного побережья вырубались кораблестроителями, сводились дровосеками, уничтожались пожарами, и мачтового леса практически не сохранилось. Остались лишь низкие поросли корявой черной ели. За одним, правда, исключением.

Напротив дома Монти, по ту сторону узкой гавани, стоял почти нетронутый ельник. Это была своего рода священная роща. Она принадлежала Уиндзорам со времен прибытия на остров первого Уиндзора и ревниво оберегалась каждым новым поколением в качестве источника мачт, гафелей и утлегарей для шхун семейного флота. И хотя флот Уиндзоров исчез много лет назад, роща оставалась священной. Пока по-прежнему возвышался этот ельник, гордый и неосквернен-ный, какая-то часть уиндзорского наследия сохранялась в неприкосновенности. Во всяком случае такое чувство было у Монти. Однако прослышав о том, что у нас вышла загвоздка с мачтами, он послал нам в Маддихол весточку с приглашением приехать к нему.

Мы приехали все вместе — Джек, Энос, Оби и я,— и Монти без лишних слов проводил нас к берегу, где лежала старая, видавшая виды плоскодонка. Это было последнее судно, оставшееся во владении Уиндзоров. На дне плоскодонки лежали два топора и веревки.

— Гребите, ребята, вон к тому лесочку,— напутствовал нас Монти своим ровным, спокойным голосом.— Будете подыматься по склону — держите на ту белую скалу. Прямо за ней увидите участок мачтовой ели. Более ровного и прочного дерева не сыщешь на всем острове. Срубите, что вам надо. Да постарайтесь отобрать самое лучшее.

Мы так и поступили. Взобрались на крутой склон, вдыхая густой аромат хвои; Энос пометил ели, которым было суждено стать нашими жертвами; мы их свалили, обрубили сучья, подтащили стволы к берегу и отбуксировали их по воде к гавани. Я пошел расплатиться с Монти, но он и слышать не хотел о деньгах.

— Не будем об этом говорить, капитан. Наверно, ни одному Уиндзору больше не понадобится срубить мачту в этом ельнике. Похоже, никто из нас не выйдет больше в море. А мне будет приятно думать, что мачты у вашей «лентяечки» будут первый сорт: из уиндзорских елей. Для этого их и растили.

Яхтсменов-чистоплюев, возможно, приведет в ужас самая мысль о том, что кто-нибудь срубит в лесу дерево и уже через день установит его, еще сочащееся, в качестве мачты на судне. Так вот, мачты эти служат верой и правдой по сей день, и их хватит нашей шхуне на всю ее жизнь. Ведь ньюфаундлендская черная ель, выросшая на берегу океана,— это одно из самых прочных деревьев в мире. Есть у нее своя особенность. Волокна древесины располагаются в ней не строго вертикально, как у деревьев, произрастающих в более благоприятных условиях. Для того чтобы выдержать мощный напор нескончаемых ветров, береговая черная ель, вырастая, закручивается наподобие штопора. Это придает ей большую крепость, но вся штука в том, что по мере высыхания древесина начинает раскручиваться. В нашем случае так и произошло. Мачты стали мало-помалу разворачиваться, вовлекая в кругообразное движение салинги и распорки. Поправить дело оказалось достаточно легко. Просто раз в месяц мы ослабляли оттяжки, приподнимали мачты и водворяли их на место, предварительно повернув каждую на четверть оборота. И все дела.

■

Установка мачт на нашей шхуне стала большим днем в истории Маддихола. Чтобы на славу отпраздновать это знаменательное событие, Джек совершил стремительный набег на Сент-Джонс и, застав крючкотворов-бюрократов врасплох, купил ящик рома.

Большинство ньюфаундлендцев — уроженцев Южного берега узнают вкус рома вскоре после того, как их отымут от материнской груди, а к тому времени, когда они становятся взрослыми, у них вырабатывается по отношению к рому стойкий иммунитет. Стойкий, но не абсолютный. Вплоть до упомянутого дня я был хозяином положения в деле выдачи рома и рационировал его потребление в соответствии с тремя кардинальными принципами ромопития на Ньюфаундленде. Первый из них заключается в том, что раз бутылка выставлена на стол, ее надлежит открыть. Делается это для того, чтобы туда «вошел воздух и выгнал черные пары». Второй принцип гласит, что откупоренную бутылку ни в коем случае нельзя вновь затыкать пробкой, потому что, согласно широко распространенному убеждению, ром в таком случае испортится. За всю историю Ньюфаундленда ни одна бутылка рому еще не испортилась, но, с другой стороны, ни одну бутылку и не затыкали до следующего раза, так что нет никакой возможности проверить обоснованность сего убеждения. Наконец, третий принцип сводится к тому, что откупоренную бутылку необходимо как можно скорее распить, «пока из нее не вышел весь смак». Усвоив эти принципы, я взял себе за правило никогда не выставлять на стол больше одной бутылки сразу.

К несчастью, Джек ничего не знал об этом, а я — ужасная непредусмотрительность — забыл предупредить его. Когда он вернулся из Сент-Джонса, меня не было на месте. Он перенес ящик на борт судна и любовно распаковал его, выстроив бутылки в ряд на столе «кают-компании», словно двенадцать солдатиков.

Энос и Оби спустились вниз и наблюдали за его действиями. Как рассказывал потом Джек, лучи солнца, падавшие на бутылки из иллюминатора, бросали рубиновые блики на лица его компаньонов, и казалось, что глаза их горят каким-то загадочным огнем.

Затем Джек направился к джипу за следующей порцией припасов. По возвращении он обнаружил, что все бутылки открыты и пробки исчезли. Он поднялся на палубу, чтобы расспросить Оби об этом загадочном явлении, но тот с присущей ему молчаливостью просто показал на воду, где, влекомые отливом, уплывали в океан, как флотилия детских корабликов, двенадцать пробок.

В этот момент вернулся я и сразу же понял, что назрел кризис. Джек высказался за то, чтобы закупорить бутылки — за неимением ничего лучшего — затычками из туалетной бумаги, но я объяснил ему, что подобное отступление от традиции наверняка приведет к мятежу, а может быть, даже и к изгнанию нас из Маддихола. Жребий был брошен, мосты — сожжены. Оставался лишь один способ помочь делу.

— Послушай,— сказал я тихим шепотом, надеясь, что меня не услышат на палубе.— К вечеру все до одной бутылки будут опорожнены. Это неоспоримый факт. А если опорожнят их Энос и Оби вдвоем, то работа над лодкой свернется на неопределенный срок. Мы должны пожертвовать собой, Джек. Принимаемся пить!

Хотя ни один из нас не являлся коренным ньюфаундлендцем, мы постарались на славу. Дальнейшие смутные события этого смутного дня вырисовываются как в тумане, но одно из них все же запечатлелось у нас в памяти. Мы сошли на берег за новой грот-мачтой, которую Энос мастерил на двух козлах во дворе

своего дома. Нужно было донести мачту до залива (верная четверть мили вниз по склону), внести ее на шаткий причал и, наконец, развернув вертикально, установить на шхуне. В порядке подготовки к операции Оби с Эносом спустились вниз, а когда они вернулись на палубу, на столе продолжали стоять лишь одиннадцать солдатиков. После этого они направили свои стопы к дому Эноса, подняли мачту с обоих концов и взвалили себе на плечи.

Ноша оказалась слишком тяжелой для Эноса (весила она добрых триста фунтов), так что Оби пришлось переместиться к середине мачты и принять всю нагрузку на себя. С мачтой на плече он рысцой потрусил вниз по склону. Оби — человек большого роста и могучего телосложения, но по сравнению с этой мачтой он стал казаться маленьким мальчиком, несущим тяжеленную пику.

Мы с Джеком ошеломленно наблюдали за его продвижением. Шаги его становились все размашистей, инерция нарастала. Энос бежал рядом, похожий на шустрого терьера, подбадривающего своего спутника веселым тявканьем. Вот они уже достигли плоской и ровной полоски земли у берега, а Оби все продолжал свой стремительный бег. Энос перестал подбадривать его и принялся предостерегающе вопить:

— Эй, сынок, помедленней; да тормози же ты, ради бога!

Это не помогло. Оби был полностью во власти сил тяготения, инерции и еще каких-то неведомых мне физических законов. Он с грохотом промчался по причалу, который сотрясался и ходил ходуном у него под ногами, и, добежав до края, шагнул дальше.

Оби и мачта бултыхнулись в воду с таким фантастическим всплеском, что на шум прибежали девушки и мужчины с рыбозавода — посмотреть, что это случилось у причалов. Они увидели хохочущего Оби верхом на мачте, который, работая своими неуклюжими ручищами, как веслами, подгребал к берегу.

Это происшествие задало настроение на весь день. С десяток работников рыбозавода уже не вернулись в тот день на работу и взялись помогать нам. Они выудили из «похлебки» мачту и Оби, а затем всей гурьбой нырнули в каюту. Когда они вынырнули оттуда, шеренга солдатиков изрядно поредела, но зато компания теперь была готова на все. Они подхватили мачту, дружным усилием развернули ее, приподняли и с таким энтузиазмом вставили в гнездо, что казалось, она прошьет лодку насквозь и навеки пригвоздит ее ко дну залива. Затем они вновь спустились на минутку вниз, опять вернулись на палубу, подхватили фок-мачту и ее тоже воткнули в гнездо. Потом все вместе сделали новый заход вниз.

Все еще упрямо стараясь провести в жизнь наш план, мы с Джеком попытались вслед за всеми пробраться вниз, но там негде было яблоку упасть. Когда мы в конце концов протиснулись к столу, на нем еще оставалась одна более или менее полная бутылка, и мы выполнили свой долг.

После этого центр деятельности переместился. Кому-то из присутствовавших загорелось немедленно выкопать бидон контрабандного спирта, который он приберегал к рождеству. Как мне рассказывали, чуть позже в тот же день Эносу пришла в голову мысль накормить всю ватагу свежатинкой — разумеется, лесной свежатинкой,— и вот он, вооружившись гладкоствольным ружьем для охоты на тюленей, двинулся вверх по склону на поиски карибу. За последние полсотни лет ни один карибу даже близко не подходил к Маддихолу, но какое это имело значение? Случаются же чудеса на свете!

На сей раз чуда не случилось. Вместо этого Энос потерял где-то в ельнике за поселком свое бесценное сокровище — старинные очки в стальной оправе. Поскольку без них он почти ничего не видел, до дому он добрался лишь к середине следующего дня. Весь этот день был для нас полностью потерян. Энос не мог работать без очков, а Оби не стал работать без Эноса.

Положение спас Джек, снарядивший все несовершеннолетнее население Маддихола на охоту за очками. Он убедил учителя, бледного молодого человека, который, кстати, не отличался особым педагогическим рвением, отменить занятия и объявил, что нашедшему очки Эноса будет выплачено вознаграждение — один доллар серебряными монетками.

Школьники взялись за дело с исключительным энтузиазмом. Они прочесали вдоль и поперек всю округу в радиусе нескольких миль и в конце концов обнаружили, вопреки огромным трудностям, пропавшие очки.

Они висели на елке футах в десяти от земли. До сих пор никто не знает наверняка, каким образом они туда попали. Гипотезе, согласно которой их забросил на дерево разъяренный карибу, трудно найти подтверждение, но и категорически опровергнуть ее тоже нельзя.

Когда я первоначально давал Эносу инструкции по переоборудованию лодки в комфортабельную яхту, он, казалось, вполне хорошо меня понимал, но когда он принялся за работу, мои пожелания вступили в конфликт с многовековой традицией, предписывающей отводить людям на любом судне самое минимальное пространство, с тем чтобы высвободить как можно больше места для рыбы, двигателей и прочих действительно важных вещей. По той же традиции

жилое помещение должно быть и максимально неудобным,— надо полагать, для того, чтобы у команды не было иного выбора, кроме как оставаться на палубе и продолжать лов рыбы даже в лютый зимний шторм.

Попытки Эноса выполнить мои указания наперекор собственным глубоко укоренившимся инстинктам привели к компромиссу, который не принадлежал к числу удачных. Он начал с того, что соорудил над рыбными люками каюту-сундук, похожую, как я уже упоминал выше, на перевернутый гроб; однако, возведя стены, как у сарая, он сделал плоскую крышу, в результате чего каюта имела всего пять футов в высоту. Ходить в ней можно было, лишь сильно согнув колени или же положив голову на плечо. Рослые люди пройти по каюте вообще не могли. Им приходилось ползать.

Длина каюты была достаточной, но Энос нашелся и тут. В кормовой ее части он разместил огромное зеленое чудовище — наш двигатель, оттягав добрую треть жилплощади. Вне всякого сомнения, двигателю было предоставлено лучшее помещение на судне.

Остающееся свободное пространство — маленький закуток — Энос «оборудовал» для жилья. В носовой части он соорудил две пренеудобнейшие койки в полном соответствии с предписываемыми традицией спецификациями: ширина — 16 дюймов в головах и 12 дюймов — в ногах, длина — 66 дюймов. Кроме того, он умудрился придать койкам такой наклон, что ноги лежащего были на 6 дюймов выше головы. В довершение всего он сделал бортики (доски, прибиваемые к койке для того, чтобы вы не соскользнули на пол во время качки) из необтесанной ели — самого занозистого материала в мире.

В общем и целом, это была дьявольски эффективная конструкция, которая надежно гарантировала человеку, сумевшему пролежать на такой койке больше двадцати минут, готовность принять мученическую смерть.

По убеждению Эноса, жилое помещение на рыболовном судне должно ограничиваться лишь местом для спанья да местом для готовки. Поэтому весь остаток жизненного пространства в каюте он превратил в камбуз. Он отвел немало площади для плиты и понаделал столько рундуков, что, если бы полностью загрузить их галетами, солониной, мукой и репой, можно было бы прокормить по крайней мере сорок человек во время безостановочного путешествия до мыса Горн и обратно.

В чем-чем, а в рундуках (в шкафах и буфетах, если выражаться языком сухопутных жителей) в каюте недостатка не было. Впоследствии члены экипажа, когда им было больше невмоготу терпеть мучения, причиняемые лежанием на койках, иногда забирались, чтобы немного отдохнуть, в рундуки, предварительно вытряхнув наружу их содержимое.

Познакомившись впервые с делом рук Эноса, я приказал ему выбросить вон все, что он наворотил в каюте, и оборудовать ее заново. Это рассердило его, а в рассерженном Эносе просыпается дух непокорности. Он заявил, что на переоборудование уйдет самое меньшее два месяца, и мне волей-неволей пришлось оставить все как есть. Правда, я все-таки убедил его втиснуть еще и стол. При крайне незначительных размерах стол этот занял большую часть оставшейся площади.

Вот в этом-то жилище и поселились мы с Джеком. Каюта еще не была окрашена. Всюду валялись разрозненные предметы оснастки, куски дерева, мотки веревки. Трюмная вода и «похлебка» с рыбозавода, в которой мы плавали, наполняли помещение зловонием. В первые десять дней нашей жизни на борту мы не очень страдали от неудобных коек, потому что нам редко удавалось прилечь на них. Мы день и ночь работали. Питались мы в промежутках между делами, и моя кулинария в тот период (а я считаю себя заправским коком) оставляла желать много лучшего.

Готовил я на бензиновой плите — и главным образом треску во всех видах. У меня просто не было другого выбора. Мы прилагали отчаянные усилия к тому, чтобы помешать нашему суденышку вернуться к своей первоначальной роли и до краев заполниться треской. Дело в том, что рыбаки в Маддихоле — щедрый, гостеприимный народ. Когда они возвращались по утрам домой, выбрав сети-ловушки, каждая лодка подчаливала к нашей и ее капитан дарил нам здоровенную жирную рыбину на обед.

Поскольку гавань является в Маддихоле центром общественной жизни, а на нашей лодке почти всегда были посетители, мы не могли выбрасывать излишек рыбы за борт. Если бы мы выбросили хоть одну-единственную рыбу, об этом прослышали бы в поселке и каждый его житель был бы уязвлен до глубины души, а на нас стали бы смотреть как на парий.

И мы поглощали треску в невероятных количествах. Мы ели ее вареную, жареную, тушеную, а однажды (когда приготовить обед вызвался Джек) даже сырую. Несмотря на это, мы не успевали съедать все приношения, и тогда Оби сжалился над нами и превратил накопившийся излишек в соленую треску, которую мы держали в огромной бочке в его сарае для рыбы.

К концу июля шхуна начала принимать более или менее мореходный вид. Ее солидный такелаж вполне подошел бы и судну втрое больших размеров. Изрядно попотев, мы привязали паруса, выкроенные из материи, жесткой и тяжелой, как кровельное железо. Проведя почти целый нескончаемый день по колено в иле, Энос, Джек и я насадили на вал гребной винт. На некрашеные поверхности надводной части корпуса и палубы был нанесен слой краски — правда, всего один, да и тот разных оттенков, так как нам пришлось довольствоваться теми остатками, которые мы смогли обнаружить на дне банок из-под краски, собранных по рыбацким сараям. На борту были установлены баки для воды и бензина, причем Джек собственноручно наполнил первый из них ключевой водой. Источник, выбивавшийся из-под земли в полумиле выше по склону, давал от силы кварту воды в час, и наполнение бака заняло у Джека два дня.

То, что Хэллоганы не дали лодке никакого имени, было их делом. Мы же не собирались бороздить моря и океаны на безымянном судне. Время от времени мы обсуждали вопрос о названии и в конце концов по настоянию Джека окрестили шхуну «Удачной авантюрой» — по имени флагманского корабля пиратского флота Питера Истона. Нам пришлось обойтись без традиционной церемонии крещения, так как жители Маддихола не простили бы нам загубленной бутылки пусть слабенького, но все же спиртного. Вместо этого мы собрались однажды вечером в нашей тесной каюте и выпили несколько тостов за перевоплощение корабля Питера Истона. Затем мы откачали просочившуюся через днище воду (теперь на это уходил всего лишь какой-нибудь час) и пожелали нашим гостям спокойной ночи. Назавтра нам предстояло проверить мореходные качества нашего судна.

Первое пробное плавание корабля, вступающего в строй, моряки называют испытаниями. Испытания «Удачной авантюры» — а также и наши — начались ровно в 14 час. 00 мин. на следующий день.

Денек выдался «погожий» (на Ньюфаундленде это слово означает не больше чем отсутствие урагана); дул сильный восточный ветер, и вода в заливе белела барашками. Поскольку это был наш первый выход в море и поскольку посмотреть на наше отплытие пришло большинство обитателей Маддихола, мы сочли своим долгом отойти от причала под всеми парусами.

Мы неплохо с этим управились. После того как были подняты грот, фок, кливер и грот-стаксель, Джек отдал швартовы. Мы выбрали шкоты, паруса надулись, и «Удачная авантюра» медленно тронулась вперед. Через несколько мгновений она уже стремительно неслась поперек гавани.

Для того чтобы выйти из узкого залива Маддихола при восточном ветре, парусное судно должно лавировать — ложиться то на левый, то на правый галс. Мы, конечно, отдавали себе в этом отчет. Отдавали мы себе отчет и в том, что, отходя от причала, мы имеем прямо по курсу флотилию из двух десятков плоскодонок и яликов, стоящих на якоре ярдах в пятидесяти от берега. Как только мы приблизились к ним, я приготовился переменить галс.

— Товьсь!— крикнул я Джеку. Затем, поворачивая массивный румпель, пропел:— Круто к ветру!

Нос «Удачной авантюры» стал поворачиваться против ветра. Она слегка вздрогнула, призадумалась над тем, стоит ли менять направление, и решила — не стоит. Ее нос, не слушаясь руля, развернулся обратно, и она легла на прежний курс.

Впоследствии Джек утверждал, что это был один из ее немногих честных поступков. По его версии, она прекрасно знала, чем кончится дело, отважься мы отправиться на ней в морское плавание, и поэтому решила, что для всех нас будет лучше, если она сразу же совершит самоубийство, выбросившись на скалы в своей родной гавани, где ее останки обретут вечный покой.

Я с этим не согласен. На мой взгляд, бедная маленькая шхуна, никогда раньше не ходившая под парусами, просто понятия не имела, чего от нее хотят. По-моему, устремляясь на безобидную стайку лодочек и возвышающиеся за нею скалы, она испытывала не меньший ужас, чем я.

Всех нас спас Джек. Ни секунды не медля, позабыв даже выругаться, он так проворно сиганул в машинное отделение, что строптивый наш мотор не успел заупрямиться. Джек раскрутил маховое колесо, и зеленое чудовище от неожиданности заработало. Оно было застигнуто врасплох, но, опомнившись, тут же нанесло ответный удар. Решив наказать нас за обман, оно дало обратный ход.

С пристани рыбозавода на нас глядело множество людей. Так как из-за грохота заводских машин им не было слышно тарахтения нашего двигателя, они глазам своим не поверили. «Удачная авантюра», отважно плывшая вперед под всеми парусами, медленно остановилась А затем, по-прежнему под всеми парусами, надутыми ветром, начала пятиться. Управляющий рыбозаводом, человек бывалый, которому довелось несколько раз посмотреть кино, говорил, что все происходило как на экране, когда ленту прокручивают наоборот. По его словам, он ожидал увидеть, как шхуна допятится до причала Оби, опустит паруса и вновь погрузится в сон.

Случись такое, я был бы счастлив. По правде говоря, я так пал духом, что едва удержался от того, чтобы передать командование Джеку, спрыгнуть в нашу маленькую плоскодонку, которую мы тянули на бечеве за кормой, и навеки распроститься с морем. Однако гордыня заставляет нас переламывать себя, и я не посмел внять голосу лучших моих инстинктов.

Теперь уже и Джеку и мне было ясно, что мы не сумеем выйти из залива под парусами, борясь со встречным ветром, и что, если мы вообще хотим выйти из него, нам придется сделать это с помощью мотора. Но ни Джек, ни я не решались попытаться заставить адскую машину дать передний ход вместо заднего. Мы отлично знали, что она остановится и не будет заводиться, предоставив нам бесславно дрейфовать у берега. Поэтому «Удачная авантюра» пропятилась — с поднятыми парусами! — весь путь к выходу из Маддихолского залива. Пожалуй, это было самое неохотное отплытие в истории навигации.

Как только мы вышли на морской простор и удалились на безопасное расстояние от огромных утесов, ограждающих вход в гавань, Джек попытался пустить мотор в противоположном направлении, но тот отреагировал в полном соответствии с нашими предположениями: остановился и отказался заводиться. Впрочем, теперь это уже не имело значения. «Удачная авантюра» поймала ветер с левого борта и быстро заскользила вдоль высокого берега, словно гоночная яхта, устремившаяся к финишу.

На несколько часов мы позабыли все невзгоды, сомнения и лишения последних недель. Маленькая чертовка носилась под парусами как одержимая. Она попрежнему не желала слушаться руля, но в открытом море это не представляло большой проблемы, так как мы могли поворачиваться, перекидывая паруса, причем нашим прочным мачтам и такелажу эта порой рискованная процедура ничем не угрожала. Мы ходили на ней боком к ветру, круто к ветру, позволяли ей бежать с фоком, развернутым к правому борту, и гротом — к левому, и не находили в ее мореходных качествах ни малейшего изъяна.

Зато у шхуны обнаружились кое-какие другие изъяны. Непривычные для нее нагрузки на корпус при вхождении в волну под парусами повыдавливали бо́льшую часть рыбьей слизи, которой она залепила свои швы, и теперь она потекла, как дырявое корыто, так что Джек буквально не отходил от помпы. Кроме того, массивный компас, который я приволок с собой из Онтарио, проявлял невероятное пренебрежение к общепринятым понятиям и упорно отклонялся градусов на сорок в сторону от истинного направления.

Впав на время в состояние эйфории, мы рискнули отплыть на несколько миль от берега, чтобы обследовать запоздавший айсберг. Мы огибали его на почтительном расстоянии, поскольку к концу лета эти громадины становятся неустойчивыми и иной раз опрокидываются, вызывая волну, способную потопить небольшое судно, и вдруг заметили, что солнце померкло. Восточный ветер нагонял с Большой банки пелену тумана.

Мы обратились в бегство, и «Удачная авантюра» успела проскочить между утесами при входе в гавань за миг до того, как нас настиг туман — этакий серый эскорт, провожавший нас до причала Оби, к которому мы не без лихости пришвартовались.

Несмотря на всю необычность нашего отплытия, несмотря на течи и неисправный компас, мы остались весьма довольны своим маленьким суденышком, а еще больше — собой. Мы почувствовали себя готовыми начать наше путешествие.

Оставалось, правда, одно маленькое затруднение. У нас не было карт восточного побережья Ньюфаундленда. Отсутствие карт в сочетании с ненадежностью компаса и абсолютной неизбежностью плавания в тумане наводило на мысль о том, что, пока мы не доберемся до порта, где можно будет приобрести карты и починить компас, неплохо было бы иметь на борту лоцмана.

Очевидной кандидатурой на должность лоцмана был Энос. Мы исходили из того, что он, подобно большинству ньюфаундлендских моряков, обладает особыми чувствами, утраченными современным человеком. Ведь он плавал в этих водах всю свою жизнь, зачастую без компаса и обычно без карт. Когда его спрашивали, как он ухитряется найти путь к какому-нибудь отдаленному местечку, он с озадаченным видом отвечал: «Что ж тут такого, сынок, я просто знаю, где это».

Нам нужен был именно такой человек. Однако, когда мы подняли этот вопрос перед Эносом, он не проявил никакого энтузиазма. В устах человека, способного переговорить дюжину политиков, его ответ прозвучал демонстративно кратко.

— Нет,— буркнул он, сплюнув для выразительности жеваный табак на свежевыкрашенную крышу нашей каюты.

Переубедить его не было никакой возможности. Все наши уговоры (а Джек большой дока по этой части) ни к чему не привели. Он продолжал твердить «нет» и сплевывать, пока вся крыша кабины не покрылась склизким коричневым налетом. Мы уже готовы были опустить руки — во всяком случае, я. Но у Джека характер оказался потверже моего.

— Если старый хрен не поедет с нами добровольно,— заявил мне Джек после ухода Эноса,— мы отправим его в плавание силком.

— Бог с ним, Джек. Оставь ты его в покое. Как-нибудь сами справимся.

— Черта с два я его оставлю в покое! Если эта проклятая лодка потонет, я по крайней мере буду утешаться тем, что увижу, как он идет ко дну вместе с нею!

Когда Джек в таком настроении, спорить с ним бессмысленно.

В тот же день он устроил на борту небольшую прощальную вечеринку. Более унылой пирушки я в жизни не видал. С трудом втиснувшиеся в каюту гости— шестеро или семеро наших друзей-рыбаков — завели бесконечный и мрачный разговор о многочисленных опасностях, подстерегающих мореплавателя. Когда же им это надоело, они предались воспоминаниям о маленьких шхунах, которые, выйдя в море из того или иного порта Южного побережья, пропали без вести. Перечень все рос и рос, так что под конец даже Эносу стало не по себе.

— Вся беда в том, ребята,— вмешался он,— что скорлупки те тяп-ляп были сколочены. Таким, скажу, в море делать нечего. Они же не приспособлены к морскому плаванию. Теперь возьмите вот эту лодку. Построена как следует, оборудована — что надо. Уж она-то не сделает жен моряков вдовами!

Именно этого момента Джек и дожидался.

— Верно, Энос. На такой отличной лодке можно смело отправляться хоть к черту на рога.

Энос, почувствовав подвох, бросил на Джека подозрительный взгляд.

— Ну да,— осторожно ответил он.— Лодка — первый сорт, не подведет.

— И уж ты-то, Энос, не испугался бы отправиться на ней в плавание, не правда ли?

Ловушка захлопнулась.

— Да ведь тут такое дело, уважаемый, я, понятно, не испугался бы, но с другой-то стороны...

— Вот и отлично!— воскликнул Джек.— Фарли, давай сюда вахтенный журнал. Энос, мы зачисляем тебя штурманом в первый рейс лучшего из построенных тобой кораблей.

Энос отчаянно сопротивлялся, но это его не спасло. На него с ожиданием смотрели шестеро его друзей, а один из них, сам того не сознавая, пришел нам на помощь:

— Ну, Энос, давай же подписывайся. Мы ведь знаем, что ты не трусишь!

И Энос начертил на месте для подписи крест.

■

«Удачная авантюра» отплыла через час после восхода солнца. Утро выдалось погожее — ясное и теплое; попутный северо-западный ветерок надувал наши паруса и отгонял от берега туман. Вообще-то мы намеревались отплыть на рассвете, но не явился Энос, а когда мы пришли за ним, его дочери сказали, что он ушел ловить сетью селедку. Мы разгадали эту хитрость и направились искать Эноса в наиболее вероятном укрытии. Когда мы обнаружили его, он ужасно раскипятился и стал горько жаловаться на то, что человеку не дают спокойно сходить до ветра. Мало-помалу мы заманили его на причал, уговорили взойти на борт и спуститься в каюту и, прежде чем он успел опомниться, отдали швартовы.

Бегущая вдоль залива «Удачная авантюра» представляла собой прекрасное зрелище. Она шла под всеми парусами, слегка накренясь и звучно разрезая воду. Мы даже обогнали две-три запоздавшие рыбачьи лодки, направлявшиеся на промысел. Их команды приветливо улыбались нам, что было равнозначно пожеланию доброго пути. Ньюфаундлендские моряки не прощаются, уходя в плавание, так как прощание приносит несчастье.

Прежде чем мы вышли в открытое море, я исполнил небольшой обряд, которому обучил меня мой отец. Я наполнил ромом четыре стакана. Один из них я дал Эносу, другой — Джеку, третий оставил себе. Содержимое четвертого стакана я вылил за борт. Ведь Морской Старик — тоже моряк и любит, чтобы его угостили чем-нибудь покрепче. А когда вы отправляетесь в отважное плавание по седым волнам его морского царства, завести с ним дружбу совсем не лишне.

Все это утро мы прямым курсом плыли к югу, держась в двух-трех милях от зловещих прибрежных скал. Мы вышли на траверз мыса Бэллард и оставили его позади. Но затем ветер стал слабеть и поминутно менять направление, что предвещало перемену погоды. И перемена не заставила себя ждать: поднялся встречный юго-восточный ветер, нагонявший с моря туман.

Энос заволновался. Мы приближались к мысу Рейс, юго-восточной оконечности Ньюфаундленда и одному из самых страшных мест во всей западной Атлантике. Особая его опасность заключается в сильных приливно-отливных течениях. Совершенно непредсказуемые, они способны отнести неосторожных или плохо ориентирующихся в тумане мореплавателей на много миль в сторону от правильного курса — прямо на береговые утесы.

Пребывая в полном неведении относительно всего этого, Джек и я не испытывали особого беспокойства, и, когда Энос стал настаивать, чтобы мы спустили

паруса и завели мотор, мы подняли его на смех. Ему это не понравилось, и он погрузился в угрюмое молчание, тем более мрачное, что в море я прекратил выдачу рома. Наконец, чтобы доставить ему удовольствие, мы запустили-таки наш упрямый двигатель — вернее, Джек запустил его после получасовых усилий и упражнений в сквернословии.

Все радости этого дня остались позади. Небо затянули темные облака, в воздухе похолодало, наползал туман. От грохота мотора, не имеющего глушителя, у нас заложило уши, а от размеренного хода огромного поршня наша лодчонка сотрясалась, как форель в зубах выдры.

К четырем часам видимость была еще довольно сносной, и мы вышли на траверз мыса Рейс. Вот тут мы и застряли. Отчаянно громыхал двигатель, вода за кормой кипела, а мы ни на шаг не продвигались вперед. Проходил за часом час, а массивные холмы, возвышающиеся за мысом, оставались у нас справа по борту все на том же месте. Наконец, и нам с Джеком стало понятно, что такое сила течения. Хотя мы должны были бы идти со скоростью пять узлов, встречное течение почти с такой же скоростью относило нас назад.

Нас еще не окутал густой туман, но серая его стена неумолимо приближалась. В половине седьмого Джек спустился вниз, чтобы наскоро приготовить что-нибудь поесть. Через мгновение его голова вновь показалась из люка. От небрежно-беспечной мины, которая, вероятно, должна была придавать ему, вкупе со стильной яхтсменской фуражкой, вид морского волка, не осталось и следа.

— Господи!— вскричал он, и, возможно, это отчасти было молитвой.— Эта проклятая лодка идет ко дну!

Я одним прыжком спустился к нему вниз и убедился, что он был, несомненно, прав. Вода уже залила пол в каюте. Джек, распластавшись для большей устойчивости на двигателе, начал качать помпу с такой неистовой энергией, как если бы от этого зависела его жизнь. Тут до меня дошло, что его жизнь действительно зависит от этого. Так же, как и моя.

В следующий момент, оттеснив меня в сторону, вниз протиснулся Энос. Бросив взгляд на частный плавательный бассейн внутри «Удачной авантюры», он в ужасе завопил:

— Боже ты мой, тонем!

Вряд ли это были те слова, в которых мы нуждались, чтобы восстановить нашу веру в него и в его детище. Продолжая вопить, он установил причину течи.

Оказывается, выпал сальник. Это означало, что океан может свободно проникать в лодку через здоровенную дыру в ахтерштевне, в котором размещался гребной вал судна. А поскольку это отверстие было вне нашей досягаемости, мы ничего не могли поделать.

Энос вдруг весь ушел в себя, предавшись мрачным фаталистическим размышлениям. Однако за бутылку рома мне удалось-таки уговорить его встать у румпеля (все это время наша лодчонка описывала круги) и держать курс на залив Трепасси, находящийся в пятнадцати милях к востоку, где, как я надеялся, мы сможем, если повезет, посадить суденышко на мель у берега прежде, чем оно потонет.

О том, чтобы покинуть тонущий корабль, не могло быть и речи. Наша, с позволения сказать, плоскодонка представляла собой крохотный фанерный ящик, способный вместить лишь одного человека. На спасательные пояса надеяться не приходилось, потому что мы находились в водах Лабладора, которые так холодны, что погрузившийся в них человек не продержится и нескольких минут.

Мы с Джеком обнаружили, что, качая помпу изо всех сил, мы едва удерживаем воду на прежнем уровне и никак не можем заставить ее убывать. А мы качали как одержимые. Грохотал мотор. Мы качали. Минуты растягивались в часы, а мы все качали. Пелена тумана, слава богу, еще не подступила к нам вплотную, и мы качали и качали. Мотор надрывно ревел, стало жарко, как в пекле, пот струился ручьями, и на дно натекало с нас почти столько же воды, сколько мы выкачивали. А мы качали. Приливно-отливное течение ослабло, затем переменило направление и стало подталкивать нас вперед. Мы качали.

Время от времени то один, то другой из нас выползал на палубу, чтобы глотнуть свежего воздуха и дать минутный отдых натруженным мускулам. В восемь часов я выглянул из люка и увидел высокие уступы мыса Мистейкн-пойнт примерно в миле справа от нас. Я взглянул на Эноса. Он стоял, вперив перед собой неподвижный взгляд полузакрытых глаз. Его скорбно поджатый рот выражал беспредельное отчаяние. Как и всегда в тяжелые минуты, он вынул вставные челюсти. Когда я окликнул его, чтобы сказать, что вода благодаря нашим с Джеком стараниям почти не прибывает, он никак не отреагировал и продолжал неотрывно смотреть вперед, как если бы созерцал какое-то зловещее и ужасное видение, от которого он ни на миг не мог отвлечь внимание. Нисколько этим не обрадованный, я вновь нырнул в машинное отделение.

И тут отказала главная помпа.

Эта помпа была дурацкой штуковиной, которой не место на борту судна. Ее внутренности представляли собой хитросплетение пружин и клапанов и были не

способны переваривать плавающие на дне лодки кусочки трески, щепки и прочий мусор. Но так или иначе, а дурацкая штуковина эта была нашей единственной надеждой.

К тому времени стемнело настолько, что Джеку пришлось светить мне карманным фонариком, пока я отвинчивал верхнюю крышку помпы. Внутри находилось десять маленьких стальных пружинок, и как только я снял крышку, все они выпрыгнули на свободу. Словно рой обезумевших пчел, разлетелись они во все стороны, ударяясь о стены каюты, отлетая от них рикошетом и падая, наконец, на пол в воду.

Это кажется невероятным, но мы нашли их все до одной. Правда, мы с полчаса шарили окоченевшими руками в маслянистой ледяной воде, но нам удалось собрать их, водворить на место, привинтить крышку и пустить помпу в ход.

Тем временем уровень воды поднялся дюйма на четыре. Вода уже достигала нижней части маховика и подбиралась к верхушке карбюратора, до которой оставалось меньше двух дюймов. Маховик обрушивал водопады брызг на раскалившуюся докрасна выхлопную трубу, превращая темное и грохочущее машинное отделение в финскую баню. Мы качали.

Джек вылез передохнуть на палубу и тут же испустил истошный вопль. Какой-то момент я колебался. Я не находил в себе достаточной силы духа, чтобы взглянуть в лицо еще одному бедствию, но новый отчаянный призыв заставил меня выйти на палубу. Энос словно застыл у румпеля, и в сгущающихся сумерках я увидел, что он держит курс прямо на скалы, стеной вздымающиеся в каких-нибудь трехстах ярдах перед нами.

Я рванулся к румпелю. Энос смиренно отодвинулся в сторону, без борьбы уступая мне место. Выражение его лица изменилось, стало умиротворенным, почти счастливым. Возможно, причиной тому был ром — так или иначе, Энос теперь обрел душевный покой и примирился с судьбой.

— Лучше уж разбиться о скалы,— кротко пояснил он,— чем тонуть в этой холодной-холодной воде.

Джек вновь встал у помпы, а я повел наш корабль мимо грозных утесов. Мы были не так уж далеко от залива Трепасси, и у нас еще сохранялись кое-какие шансы дотянуть до гавани и выбросить судно на берег там, где это не угрожало нам неминуемой гибелью.

Часов в одиннадцать я заметил впереди мигающий свет и взял курс на него. Энос, когда я его растолкал, подтвердил, что это, возможно, и есть бакен, обозначающий вход в залив Трепасси. Однако прежде чем мы достигли его, нас окутал туман и тьма вокруг стала непроницаемой. Мы наугад прошли мимо бакена и, полагаясь лишь на везенье да на помощь Старика, миновали подстерегавшие нас мели.

Когда лодка входила в черный провал, который, как мы надеялись, был входом в гавань, Джек крикнул мне, что нам остаются считанные минуты. Впрочем, я это и сам знал: мотор начал чихать и давать перебои. Вода поднялась вровень с его карбюратором, и при всей своей неприхотливости он не мог долго продержаться на смеси бензина и соленой морской воды.

В заливе Трепасси было темно хоть глаз выколи. На неразличимом берегу не было видно ни одного огня. Я вслепую вел судно вперед, зная, что рано или поздно мы должны упереться в сушу. Но тут мотор чихнул, замолк, снова заработал, чихнул и замолк окончательно. Во мраке ночи наше суденышко тихо, как призрак, скользило вперед.

Джек выскочил на палубу, так как не было никакого смысла оставаться в каюте, когда корабль идет ко дну. Как сейчас помню, в зубах он держал электрический фонарик, а в каждой руке — по бутылке рома...

...В этот момент «Удачная авантюра» наскочила на что-то носовой своей частью. Она слегка заскрипела, как-то странно чмокнула и перестала двигаться.

— Похоже на то,— сказал Энос, ловко освобождая Джека от одной из бутылок,— похоже на то, что мы воткнулись в берег!

■

Джек считает, что «Удачная авантюра» наделена особым инстинктом, родственным инстинкту перелетных птиц. Может быть, он и прав. Не подлежит сомнению, что счастливее всего она себя чувствует, уютно пристроившись у работающего рыбозавода. Она, вероятно, отождествляет рыбозаводы с материнским чревом. Впрочем, это и неудивительно, если вспомнить, что она была построена во дворе рыбозавода и что многие месяцы своего переоборудования провела в качестве полупостоянной принадлежности стапеля при рыбозаводе в Маддихоле.

Так или иначе, после того как «Удачная авантюра» дотянула до залива Трепасси, она безошибочно отыскала путь прямо к своему духовному родному гнезду. Мы догадались об этом еще до того, как принялись обшаривать окружающее пространство лучами карманных фонариков. Вокруг стоял густой и давно нам знакомый аромат.

В свете фонариков выяснилось, что шхуна наша уткнулась носом в пологий

берег совсем рядом с массивной, капитально построенной пристанью. Дальнейшие исследования пришлось отложить, потому что начался отлив и шхуне угрожала новая опасность — опрокинуться набок. Джеку удалось вспрыгнуть на пристань. Он поймал брошенные мной концы, и мы сплели настоящую веревочную паутину, натянув ее между обеими мачтами шхуны и причальными банками, с тем чтобы удержать наше суденышко в вертикальном положении после того, как из-под него уйдет вся вода.

Когда лодка была прочно привязана, я тоже вспрыгнул на пристань, и мы с Джеком приступили к осторожному обследованию. Туман был такой густой, что наши фонарики почти ничего не освещали, и ночного сторожа мы обнаружили, лишь столкнувшись с ним нос к носу. После того как нам удалось убедить сторожа в том, что мы не промысловики, прибывшие с грузом рыбы, а всего-навсего терпящие бедствие мореплаватели, он ступил на борт нашего судна.

Сторож никак не мог прийти в себя от изумления, узнав, что у нас нет радара. Как же тогда, спрашивал он, сумели вы войти в гавань? И каким образом удалось вам избежать столкновения с несколькими траулерами, что стоят на якоре в фарватере? Но больше всего он удивлялся тому, как это мы ухитрились найти завод и очутиться рядом с его пристанью, не наскочив при этом на длинный, выступающий углом мыс, на котором одиноко возвышалась фабрика рыбьего жира.

Будучи не в состоянии вразумительно ответить на его вопросы, мы уклонились от ответа. Это навело сторожа на подозрение, разделявшееся впоследствии многими жителями Трепасси, что мы знаемся с нечистой силой. В портовых поселках Ньюфаундленда до сих пор сохраняется вера в ведьм и колдунов.

Сторож был человек великодушный и разрешил нам оставаться рядом с пристанью сколько нам заблагорассудится. Вместе с тем он дал понять, что для нас было бы много лучше встать хотя бы футов на сто правее.

— Понимаете, труба здесь — через нее с завода отбросы сливают. А вы аккурат против нее встали.

«Удачная авантюра» отомстила нам — и как отомстила!

То была поистине кошмарная ночь. Надо было как можно скорее заделать течь, пока не начался прилив. Диагноз Эноса подтвердился. Для того чтобы добраться до сальника, нам пришлось по колено погрузиться в черную вонючую грязь, представляющую собой смесь липкого ила естественного происхождения с гниющими отходами рыбозавода, накапливавшимися здесь десятилетиями. Работали мы практически в темноте, потому что два наших слабеньких фонарика едва просвечивали тусклыми оранжевыми огоньками сквозь густую пелену холодного тумана. Все валилось из наших окоченевших рук, а поиски болта или гаечного ключа, упавших в вязкое месиво, невольно вызывали в памяти один из подвигов Геракла — очистку авгиевых конюшен.

К трем часам работа была закончена — и как раз вовремя, так как начался прилив. Мы с нетерпением ждали того момента, когда прилив снимет лодку с мели, чтобы тут же отбуксировать ее подальше от зловещей трубы. За полчаса до начала рабочего дня на заводе прилив достиг максимума. Увы, он оказался недостаточно высок. «Удачная авантюра» продолжала сидеть на мели.

Дело в том, что мы выбросились на берег, когда прилив достиг высшей точки за месяц. Энос, который собаку съел на подобных вещах, сообщил, что такой же высокой воды нам придется ждать еще дней двадцать восемь.

Кроме того, Энос заявил, что ему, как видно, пора сматывать удочки. Он, мол, не хочет быть для нас обузой, а принимая во внимание тесноту нашего помещения и то, что мы надолго задержимся в Трепасси, он почтет за благо покинуть нас, как только рассеется туман. Он-де пожертвует собственным комфортом и поживет у друзей на берегу, покуда не найдет способ добраться до Маддихола.

Я не стал отговаривать его, но Джек вознегодовал — как старый военный моряк, он нетерпим ко всему, что отдает дезертирством. Впрочем, после завтрака Джек гораздо легче примирился с бегством Эноса.

Завтрак готовил я. Все мы здорово проголодались, и я не поскупился на продукты: нарезал и поджарил добрых три фунта бекона, жирного, плотного, с коркой толщиной в четверть дюйма.

Джек и Энос сели за стол, а я им подавал свою стряпню. Одежда наша была покрыта слоем грязи, с рыбозавода воняло, так что подобная обстановка могла бы отбить аппетит у кого угодно. Однако на этот раз Джек настолько устал, проголодался и расстроился, что не проявлял свойственной ему брезгливости. С мрачной сосредоточенностью склонился он над своим беконом, а я тем временем повернулся к плите, чтобы поджарить ломтики для себя. И в этот миг Джек издал отчаянный, сдавленный стон. Я быстро обернулся.

Джек в оцепенении сидел на койке; лицо его, обычно румяное, покрылось багровыми пятнами, глаза остекленели; он не сводил взгляда с Эноса.

Энос же, целиком поглощенный процессом принятия пищи, продолжал деловито расправляться с беконом. Поскольку жестковатый бекон оказался ему не по

зубам, он вынул обе вставные челюсти изо рта, крепко зажал их между большим и указательным пальцами левой руки и принялся манипулировать ими, как бы кусая, с ловкостью, говорившей о длительной практике. Правой же рукой он просовывал между двумя импровизированными жерновами кусок бекона. Достаточно размягчив этим замечательным методом длинную полоску бекона, он запрокинул голову, поднес полоску ко рту и заглотал ее. Джек, пошатываясь, встал, протиснулся мимо меня к трапу и исчез в проеме люка. Когда он вернулся через часок-другой, Энос уже собрал свое добро и отбыл на берег, о чем мы, по совести говоря, не очень горевали.

■

Трепасси одиноко ютится на самом дальнем краю юго-восточной оконечности Ньюфаундленда. Это продуваемая всеми ветрами, заброшенная богом деревушка, чьи серые деревянные домики в унылом беспорядке тянутся по берегу широкой бухты. За домами возвышаются голые, без единого деревца холмы, переходящие в бесплодные плоскогорья Авалонского полуострова. Впрочем, эта безрадостная картина редко открывается чьему-либо взору. Ведь Трепасси, по убеждению обитателей других частей Ньюфаундленда, и есть то «место, где делают туман».

Что верно, то верно. «Удачная авантюра» простояла в Трепасси почти неделю, и все это время мы не были уверены, светит ли еще солнце где-то в других краях или же оно погасло в результате какого-нибудь космического катаклизма. Мы жили в мире теней и расплывчатых очертаний, где все казалось не вполне реальным — все, за исключением рыбозавода. Уж он-то был абсолютно реален.

Этот завод работал побойчее, чем его собрат в Маддихоле. Гавань Трепасси, несмотря на ее мрачный и угрюмый вид, охотно посещалась рыбаками Большой банки вот уже более четырехсот лет. В далеком прошлом сюда заходили рыболовецкие флотилии басков, испанцев, португальцев, французов, а затем англичан. Да и в пору нашего визита в Трепасси еще вовсю кипела жизнь. Днем и ночью слышался глухой стук двигателей невидимых в тумане судов, сообщавший нам о прибытии и выходе в море многочисленных сейнеров, траулеров и судов помельче, зашедших сюда из дальних ньюфаундлендских портов, чтобы принять участие в летнем лове трески.

Наше пребывание в Трепасси не изобиловало приятными впечатлениями, но день отбытия Эноса был из ряда вон скверным. Записи, которые я вел в то время, дают о нем лишь весьма слабое представление.

> «Энос отбыл в 7 утра. Слышно, как он, уходя, в последний раз смачно плюет на палубу. Надеюсь, это только табачный сок и слюна, а не бекон. Джек близок к исступлению... В 8 утра заработала заводская система удаления отходов. Из трубы ударила струя длиной в десять футов, слегка задев палубу «У. а.». Основной заряд попал в грот-мачту и отрикошетировал в каюту. Залпы производятся каждый час. Похоже на обстрел Парижа из Большой Берты, с тою только разницей, что Париж нипочем бы не выдержал т а к о й бомбардировки... Кончился ром. Последняя бутылка, очевидно, исчезла... Отлив сменился приливом; чтобы снять нас с мели, вода должна была бы подняться на целый фут выше... Джек предложил «У. а.» местному рыбаку за полсотни долларов. Тот отказался... В полдень явился управляющий заводом, просил нас убраться. Сказал, что мы препятствуем сливу из сточной трубы. Джек предложил, чтобы управляющий вставил сточную трубу себе в... Тот отказался. Обнаружилось, что ближе чем в Сент-Джонсе рома не достанешь. Джек начинает с вожделением говорить о жизни книгоиздателя в Торонто... В 4 ч. 30 м. на борт поднялся мальчуган, предложивший Джеку языки трески в ржавой консервной банке за десять центов. Тот отказался... В каюте стоит такой смрад, что Джек открыл иллюминатор над своей койкой, забыв, что приближается момент очередного извержения. Не успел закрыть иллюминатор вовремя...»

То был ужасный день, но кульминационный его момент наступил вечером. Сразу после ужина, съеденного без всякого аппетита, Джек решил зажечь бензиновый фонарь. Мы редко им пользовались, довольствуясь тусклым светом двух керосиновых ламп, представлявших, на наш взгляд, меньшую пожарную опасность. Однако в тот вечер нам требовался большой светильник, который своим ярким сиянием, возможно, рассеял бы царившие вокруг мрак и уныние, а заодно согрел бы и хоть чуточку подсушил воздух в каюте, пропитанный промозглой сыростью, превращавшей наши спальные мешки и одежду в холодный, влажный саван.

Как правило, Джек из предосторожности зажигал фонарь на палубе или на берегу, но в тот вечер он был не совсем в себе. Не исключена даже возможность (хотя Джек и отрицает это), что в его подсознании теплилась смутная надежда на то, что эта штука взорвется и избавит нас от страданий. Как бы там ни было, он принялся зажигать фонарь на столе в каюте, причем, заправляя его, слишком

широко открыл и слишком долго не закрывал клапан. Когда он поднес зажженную спичку к горелке, пламя взвилось до самого потолка.

Если в глубинах сознания Джека и таилось стремление к самосожжению, оно явно уступало в силе его инстинкту самосохранения. Он схватил длинную деревянную ложку (которой я обычно размешивал похлебку из трески), просунул ее под ручку фонаря, бросился к трапу и нырнул в ночную тьму, размахивая своим пылающим факелом и благим матом крича: «Пожар!».

У пристани стояло в тот вечер великое множество мелких и крупных судов, в том числе три больших новых траулера, которые были оснащены самым современным оборудованием, и в частности — огнетушителями-пеногонами новейшей системы. Подстегиваемый мыслью, что пожар будет ликвидирован скорее, если он не станет дожидаться помощи, а сам доставит пламя к огнетушителю, Джек устремился прямо к этим траулерам. Путь его пролегал между несколькими рядами ярко-красных баков, каждый из которых содержал сорок пять галлонов бензина, предназначенного для двигателей малых рыболовных судов. Его отчаянные вопли и зрелище движущегося столба пламени переполошили экипажи пришвартованных к пристани судов, и к моменту, когда Джек приблизился к траулерам, он оказался в центре внимания обширной и оцепеневшей от ужаса аудитории.

Чем все это могло бы кончиться, одному богу известно. Возможно, Джеку удалось бы взобраться на борт одного из траулеров со своим пылающим подношением и там на него обрушили бы водопад углекислой пены, под которой он оказался бы заживо погребенным.

Действительность не была столь драматичной. Еще не достигнув ближайшего траулера, Джек обнаружил, что деревянная ложка загорелась и вот-вот обломится. Он понял, что до траулера ему не добежать. Молниеносно оценив обстановку (не зря ведь он славится быстротой своих реакций!), Джек ринулся к краю пристани и метнул ложку с фонарем в море. Полыхнули в последний раз остатки бензина, разлившиеся по поверхности воды, и снова все погрузилось во тьму.

К тому моменту, когда Джек на ощупь добрался до «Удачной авантюры» (яркий свет на какое-то время ослепил его), я зажег керосиновые лампы. Мы не обменялись ни единым словом — просто сидели и молчали. Через полчаса по нашей палубе тяжело загромыхали сапоги, и хриплый голос испросил разрешения войти. Разрешение было дано, и в каюту протиснулись четверо очень рослых и очень плечистых шкиперов-промысловиков.

Они сказали, что, как им довелось слышать, нам не удается снять лодку с мели. Они сказали далее, что сочли бы за честь для себя (правда, употребили они не совсем эти слова) протянуть нам руку помощи. Они также сказали, что их матросы уже закрепляют на носу нашего судна металлические тросы, идущие к главной лебедке самого большого траулера. И не будем ли мы так добры, спросили они, выйти на палубу и приготовиться отогнать нашу посудину, как только ее вытащат из грязи, на гораздо лучшую стоянку у пустующей государственной пристани, что находится по ту сторону гавани?

Я поблагодарил их, но заметил, что в тумане мне нипочем не найти эту пристань и я предпочел бы пришвартоваться на ночь к одному из траулеров.

Они сказали, что вполне меня понимают, но что двое из них почтут за счастье проводить нас через гавань. Нет, нет, для этого им вовсе не нужно подниматься на борт «Удачной авантюры» — они станут показывать нам путь с моторной лодки, на которой зажгут яркий фонарь и которая будет держаться в отдалении от нас.

Чтобы вполне оценить доброту ньюфаундлендских рыбаков, надо испытать ее на себе!

■

(Через несколько дней «Удачная авантюра» снова вышла в плавание. После многочасовых скитаний в тумане путешественники, услышавшие по радио предупреждение о надвигающемся урагане чудом нашли в наступившей темноте узкий заливчик между неприступных скал полуострова Бьюрин, бросили якорь и легли спать). [1]

Проснулся я в полдень, разбуженный неприятным сном. Мне снилось, что я капитан «Куин Мэри» и пытаюсь войти в Бьюринскую гавань. Все окна в рубке окрашены в черный цвет, у меня на носу черные очки, а снаружи кромешная ночная тьма, туман и...

Я открыл глаза — каюта была залита ослепительным солнечным светом. «Удачная авантюра» покачивалась на мелкой волне, плескавшейся о ее борта, то натягивая, то отпуская якорную цепь, и это порождало ощущение жизни и движения. Ветерок играл снастями и звучно хлестал фалом о мачту.

Сонно потягиваясь, я встал с койки, прошел в кормовое отделение и поработал часок у помпы, после чего с сознанием выполненного долга поднялся на палубу.

[1] Краткое содержание пропущенных глав дано переводчиком. *(Прим. ред.).*

День выдался просто изумительный — сияющий, яркий, бодрящий. Вверху, среди окружающих холмов, бушевал ураганный ветер, гнавший по лазурному небу клочья облаков, но здесь, внизу, в длинном, искрящемся на солнце рукаве залива дул лишь свежий бриз. От тумана не осталось и следа. И глазу открывалась картина уютной, налаженной жизни.

Мы бросили якорь совсем рядом с целой флотилией судов, состоящей из ловецких ботов, гребных шлюпок, морских плоскодонок и двух малых каботажных шхун. Один большой бот стоял на якоре в каких-нибудь двадцати ярдах позади нас. В четверти мили к востоку живописно расположилась на берегу деревушка с домами веселой окраски, опрятными причалами и сушильнями для рыбы, аккуратной деревянной церковью. На краю крохотной пристани сидели, купаясь в солнечных лучах, пять-шесть мальчуганов с удочками. По идущей берегом дороге между домами и церковью двигалась вереница нарядно одетых мужчин и женщин. И нигде не было видно рыбозавода!

Тут на палубу вышел Джек. Глаза у него были красные, лицо в грязных разводах, волосы всклокочены (как выглядел я сам— не знаю, поскольку зеркала мы на борту не держали). Вместе с ним мы приветствовали нашего первого гостя. Это был пожилой человек в праздничном костюме, медленно подгребавший к нам на плоскодонке. Поравнявшись с нами, он повернулся и внимательно оглядел все наше суденышко.

— Доброе утро, капитан,— сказал он наконец.— Пришли, когда был туман?

Я ответил утвердительно.

— Так-так,— произнес он и сплюнул в воду.— Значит, прибыли в самый туман? И частенько захаживали сюда раньше?

Я сказал, что мы ни разу не бывали в Бьюрин-фиорде. Тогда он сделал нам величайший комплимент:

— Отроду не видал такого густого и черного тумана. Вот уж не хотел бы я, чтобы мне когда-нибудь пришлось заходить сюда в такую темь!

В знак признательности мы пригласили его подняться к нам на борт, но он вежливо отказался. В свою очередь он пригласил нас сойти на берег, заверив, что его старуха будет рада накормить нас воскресным обедом. Когда же мы попытались отнекиваться, ссылаясь на то, что мы чумазы, грязны, что нам не во что переодеться, он и слышать ничего не хотел. Сказав, что вернется за нами через час, он, не оглядываясь, погреб к берегу.

Так встретили нас в Бьюрине, и это стало началом одной из самых душевных и самых отрадных дружеских связей с людьми во всей моей жизни. В нашем холодном мире радушные обитатели Бьюрина имеют мало равных себе.

К сожалению, Джек не мог воспользоваться их гостеприимством. В Бьюрин-Кове имелся телефон, и он совершил большую глупость, позвонив в Торонто. По тонюсенькой проволочке на него сразу же обрушился каскад неотложных дел. Джек, которого не сокрушил натиск стихий, сломился под натиском дел. Для него плавание закончилось.

Для меня же наступили невероятно спокойные, безмятежные и приятные дни. Я подружился с компанией мальчишек, которые всюду сопровождали меня. Почти все они носили фамилию Моултон и были, выражаясь на местном диалекте, «смышлеными мальцами». Когда я принимался за какое-нибудь дело — красил палубу, подновлял оснастку или чинил кожух гребного вала,— они всегда были рядом, готовые помочь. Нередко случалось, что они смыслили в работе больше, чем я, и тогда они делали ее за меня, превращая меня в бездельника, наблюдающего за ними со стороны.

Когда же я сталкивался с проблемами, справиться с которыми было не под силу ни мальчикам, ни мне, на выручку приходили мужчины. Один из них совершил трехчасовое путешествие на своей плоскодонке, чтобы раздобыть сварочный аппарат, понадобившийся для ремонта вышедшей из строя выхлопной трубы «Удачной авантюры». Другой — кстати, тоже Моултон,— заметив, что на шхуне нет клюза и что якорная цепь глубоко вгрызается в дерево поручней, по собственному почину откопал клюзовую трубу на чьем-то складе, принес ее на «Удачную авантюру» и с заправским мастерством оборудовал в борту клюз.

На второй день моего пребывания в Бьюрин-Кове ветер усилился и задул понизу, угрожая сорвать «Удачную авантюру» с якоря. И тогда к шхуне подгребли на лодке двое мужчин, которые, застенчиво поднявшись на борт, вызвались помочь мне отвести судно в Спун-Ков — бухточку по другую сторону залива, лучше защищенную от ветра. Вечером того же дня, после того как мы переправили «Удачную авантюру» на тот берег, из Бьюрин-Кова приплыл на лодке через залив, наморщинившийся волнами, десятилетний мальчонка, доставивший мне белье, которое его мамаша по доброте душевной взялась мне выстирать.

В момент отплытия из Маддихола «Удачная авантюра» имела грязноватый, недокрашенный, неопрятный и вообще постыдный вид. Трудное плавание отнюдь не улучшило ее внешности, но после нескольких дней, проведенных в Спун-Кове, она начала приобретать некое сходство с кораблем. Вся она заблистала свежей

краской. Ее каюта, вымытая и вычищенная, выглядела как новенькая и больше не источала запаха заброшенной скотобойни.

Покрашен был даже ее капризный двигатель, после того как в нем покопался дядюшка Джон Моултон, знавший о двигателях такого типа гораздо больше, чем их конструктор. Дядюшка Джон научил мотор заводиться, более того, уговорил его заводиться по первой же моей просьбе.

В Спун-Кове я растолстел. Похоже было, каждая семья в этой гостеприимной деревушке старалась залучить меня хотя бы на одну трапезу, а когда я зазнался и стал изобретать всякие благовидные предлоги, чтобы остаться в часы завтрака, обеда или ужина на борту, это не помогло. Робкий стук в стенку каюты оповещал меня о приходе девочки-подростка с покрытым салфеткой блюдом дымящейся рыбной тюри, свежезапеченной трески, вареной морошки или какого-нибудь другого деликатеса.

Вечерами на борт «Удачной авантюры» приходили потолковать о том о сем мужчины. Приходили по двое, по трое, рассаживались в тесной каютке и начинали неторопливую, с долгими паузами, беседу о своей жизни, о своем будущем. Они славно потрудились на своем веку. Умелые и удачливые рыболовы, они построили себе добротные дома, которые их жены содержали в образцовом порядке; дома, оборудованные водопроводом, ваннами и другими современными удобствами. У них были вместительные и удобные сараи для рыбы с большими чердаками для сетей, прочные, основательные причалы и хорошие, приспособленные к дальним морским плаваниям лодки, которые они собственными руками сделали из дерева, заготовленного ими в течение долгих зимних месяцев «в глубинке» — внутренних районах острова.

И при всем том в их голосе сквозило недоумение и даже страх. Политика нового (созданного после присоединения к конфедерации) правительства Ньюфаундленда, безуспешно пытавшегося перестроить экономику окруженного морем острова по образцу промышленной экономики материковой страны, обрекала на гибель рыбный промысел, который на протяжении пяти столетий обеспечивал ньюфаундлендцев средствами к существованию. Кормиться морем становилось с каждым годом все труднее. Мужчины постарше все еще держались рыбного промысла, но для молодежи, в том числе и для парнишек, взявших меня под свою опеку, не было теперь никакого будущего, кроме как эмигрировать в материковую Канаду.

Один из моих гостей вспоминал, как вскоре после своего прихода к власти тогдашний (и бессменный) ньюфаундлендский премьер-министр Джозеф Смоллвуд призвал жителей острова сжечь свои причалы, вытащить на берег лодки и выбросить снасти, потому что, заявил он, «вам никогда больше не придется выходить в море за рыбой. Для каждого из вас найдется работа на берегу».

— Десять лет прошло с тех пор,— раздумчиво говорил этот рыбак, лицо которого казалось в тусклом свете моей керосиновой лампы мрачным и сосредоточенным.— Десять лет прошло, и оказывается, обещанная работа — это мыльный пузырь. Слава богу, что мы его тогда не послушались, не то сидеть бы нам на пособии по безработице, подобно тысячам рыбаков в других поселках.

Мы, бьюринцы, догадались сохранить наши лодки да снасти и по сегодня берем улов не хуже, чем раньше. Штука в том, что теперь нам не дают за рыбу прежнюю цену.

— Вот-вот,— добавил другой рыбак.— Рыбы-то в море, ей-ей, не убавилось. Если бы Джой Смоллвуд вместо того, чтобы выбрасывать миллионы на каучуковые заводы и конфетные фабрики, израсходовал их на то, чтобы помочь нам, промысловикам, построить глубоководные суда, как у норвежцев, мы бы беды не знали!

— Работа!— с горечью сказал третий.— Джой подыскал для нас лишь одну работенку — копать самим себе могилы!

Было больно и грустно слушать этих людей и сознавать, что они обречены, что их удел — отчаяние. Однако в те дни промысловая жизнь в Спун-Кове еще не угасла, и мое существование там казалось мне идиллическим, я наслаждался каждым мгновением.

В один из тех прекрасных дней мы дубили паруса «Удачной авантюры». Дублением называют старинный процесс пропитывания сетей в кипящей смеси морской воды, рыбьего жира, дегтя и смолы. Дубление предохраняет сети от гниения под водой и от плесени при хранении на берегу; в прошлом дублению сплошь и рядом подвергались не только сети, но и паруса шхун. Продубленные по всем правилам паруса приобретают густой красновато-коричневый цвет и не боятся дождей и туманов.

Незадолго до моего появления в Спун-Кове рыбаки совместно дубили свои сети, и огромный железный котел для дубления емкостью больше сотни галлонов был еще полон пахучей дубильной жидкостью — «катчью». Мне предложили воспользоваться ею, и двое четырнадцатилетних подростков, Аллан и Джеральд Моултоны, вызвались помочь мне в этом деле.

На рассвете следующего дня меня разбудил просочившийся в каюту невероятно едкий запах. Первое, что я увидел, выйдя на палубу, была пелена черного

дыма, застилавшая берег, на котором уже вовсю кипела работа. Мальчики развели под дубильным котлом большой костер и охапками подбрасывали в него куски пришедших в негодность просмоленных сетей. Стоявшие в нескольких сотнях футов выше по склону две краснолицые возмущенные матроны пронзительно кричали на мальчишек. Был день стирки, и вывешенное ими чистое белье быстро чернело от сажи. Ребята не обращали на них никакого внимания, и матроны (а ньюфаундлендские матроны умеют вовремя признать свое поражение) сняли с веревок белье и ушли домой дожидаться более благоприятного часа.

Пока разогревалась «катчь», ватага ребятни лазила по судну, отвязывая паруса. Затем паруса были отнесены к большой сушильне для рыбы и разостланы там под горячим летним солнцем.

И тут началась потеха. Шестеро мальчуганов сновали туда и обратно между котлом и сушильней. Горячая, как кипяток, «катчь» ручьями лилась на паруса, и ее тут же энергично втирали в материю березовыми метлами. Через час все вокруг окрасилось в темно-красный цвет. Мальчики прямо на глазах перевоплотились в краснокожих индейцев племени беотаков — аборигенов Ньюфаундленда. Само море приобрело у берега ржаво-коричневый оттенок. Я сидел сложа руки поодаль и благоговейно наблюдал за мелькавшими в облаках пара красными фигурками, вопящими как оглашенные и работающими как черти.

День стоял знойный, и когда весь котел был опорожнен, ребята рады были перевести дух. Один из мальчиков, стесняясь, спросил, не хотел ли бы я пойти с ними купаться. Я сказал, что хотел бы, и вот мы все вместе отправились вверх по склону к их излюбленному озерку на взгорье. Мы совершили длинное путешествие через мелкие ельнички, голые кремнистые пространства и каменные россыпи прямо к вершине самого высокого холма. Озерцо было неглубокое, и вода в нем прогрелась на солнце до вполне приемлемой температуры. Мы разделись и всласть накупались, после чего Аллан и еще один паренек достали спрятанные в траве удочки из ивовых прутьев и занялись рыбной ловлей. Мне казалось, что удить здесь — чистое самообольщение, потому что менее подходящего для рыбалки места я в жизни не видывал. Однако удильщики тут же принялись вытаскивать довольно крупную пятнистую форель. Они называли ее «тинной форелью». Но как бы там она ни именовалась, вкус у нее был нежный, отменный, в чем я мог убедиться поздно вечером за ужином.

Я уже решил было провести в Спун-Ков остаток лета, а то и остаток своих дней, как мне пришлось снова пуститься в плавание по суровым седым волнам.

(Это плавание растянулось на годы. Сменялись места стоянок, окружение и обстоятельства, даже члены экипажа, но по-прежнему неизменным оставался строптивый, капризный нрав «Удачной авантюры». Однако, несмотря на все ее коварство, Моуэт повел свою шхуну поздним летом 1967 года в дальнее плавание от берегов Ньюфаундленда в Монреаль — на международную выставку Экспо-67. В Квебеке к Моуэту присоединились его жена Клэр и верный пес Альберт.)

Тем же вечером мы отплыли в Монреаль. Путешествие вверх по реке было по сравнению со всем предыдущим сплошным удовольствием. «Удачная авантюра» вела себя как ангел, которым она отнюдь не была. Здесь, вдали от моря, было по-летнему жарко, душно, почти безветренно. Единственное, что осложняло наше плавание,— это интенсивное судоходство. По мере того как фарватер сужался, крупных судов становилось все больше и больше. В одной особо узкой излучине сразу же за озером Сен-Пьер прямо на нас выплыл из-за поворота встречный танкер водоизмещением в двадцать тысяч тонн, тогда как сзади нас догонял зерновоз таких же гигантских размеров. Хотя ни один из этих колоссов не желал нам никакого зла, они просто не имели возможности изменить курс и оставить для нас свободное пространство. Нам пришлось самим позаботиться о собственном спасении. И мы поспешно свернули с судового хода на мелководье, где нас подхватила и совсем было вынесла на берег мощная волна от танкера. Минуту спустя волна от зерновоза, скатываясь с берега, смыла нас обратно в реку. Альберт решил, что это какая-то страшно забавная игра. Мы же с Клэр горько пожалели о том, что покинули пустынные свинцовые просторы Северной Атлантики.

После Труа-Ривьер, где полностью перестало ощущаться влияние приливов и отливов, мы вступили в новый мир — мир поистине кошмарный. То было царство прогулочных моторных судов. Беспардонные, кичащиеся сверхмощными движками, они заполняли весь фарватер и превращали в сущий ад жизнь таких тихоходных и глубоко сидящих в воде суденышек, как наше. Они стремительно проносились мимо на скорости двадцать узлов, толкая полреки впереди себя и утягивая полреки за собой, причем шума и беспокойства от них было много больше, чем от крупных грузовых судов. Мало того, что их владельцы почти поголовно были незнакомы с элементарными правилами вежливости, они не имели ни малейшего представления о правилах расхождения судов и плевать на них хотели.

Бесконечный поток этих тарахтящих претенциозных игрушек отравил нам последний день нашего речного путешествия. Немилосердно пекло солнце, и после почти безостановочного плавания от Труа-Ривьер мы были на грани полно-

го изнеможения. Бесконечно медленно тянулись часы, снова и снова «Удачная авантюра», как поплавок, раскачивалась на волнах от катеров с мощными моторами, и эта качка выматывала из нас всю душу. К тому времени, когда на фоне неба возникли малосимпатичные очертания нефтеочистительных заводов на восточной окраине Монреаля и в нос нам ударил едкий запах дыма, желтой пеленой ставшегося над рекой, мы едва держались на ногах.

Измученный жарой, липкий от пота, грязный и безмерно усталый, я понять не мог, зачем нам понадобилось с таким трудом тащить наше суденышко из мира прохлады и тихого покоя в это сернистое пекло. Недоумение не покинуло меня и тогда, когда мы, достигнув центра Монреаля, пытались отыскать сказочную страну Экспо — заветную цель нашего злополучного путешествия.

Гавань кишела судами. Перед самым нашим носом и прямо за кормой у нас реку пересекали паромы и речные трамвайчики. Со всех сторон нам гудели и свистели большие суда. Клэр, стоявшая у румпеля, совершенно измучилась и еле сдерживала слезы. Мне были видны башни, минареты и купола Экспо, но я ума не мог приложить, как туда добраться. В этот момент прямо на нас, как гиена на зазевавшегося сурка, устремилась еще одна моторная лодка.

И, о ужас, то был не просто моторный катер! Когда он в каскадах пены подлетел к нам, я разглядел на его полицейски-синем борту четкую надпись: «МР-43. Голубая цапля».

— Пропали! — в отчаянии крикнул я Клэр.— Это полиция!

— Зацапал-таки нас ее длинный коготок,— утешила меня Клэр.— Ну, посмотрим, капитан, как ты будешь выкручиваться на этот раз!

Дело было в том, что мы вопиющим образом нарушали многочисленные правила и постановления. Мало того, что вопреки морскому уставу на бортах у нас не было выведено название судна, мы, в нарушение строгих предписаний канадского Акта о судоходстве, даже не проставили на борту свой официальный номер. Но что еще хуже — на нашей грот-мачте не был вывешен соответствующий канадский флаг. Над головами у нас развевался старинный флаг Баскских провинций, а под ним — флажок с геральдической лилией, поднятый нами в знак уважения к Квебеку. Мне оставалось уповать на то, что на МР-43 не знают о наших контрабандистских подвигах и что нам удастся, обманув бдительность стражей порядка, вырваться на свободу.

Приблизившись к нам, «Голубая цапля» сбавила обороты. На ее мостик вышел полицейский в нарядной форме и с рупором в руке.

— Эй, на «Удачной авантюре», следуйте за нами!

После чего МР-43, лихо обогнув нашу корму, занял позицию перед нами.

На какой-то миг у меня возникло искушение броситься вниз, открыть кингстоны и поспешно покинуть борт моей злополучной шхуны, но у меня не хватило на это духу. Я был побежден и знал, что сопротивляться бесполезно.

«Голубая цапля» со скоростью похоронной процессии препроводила нас в глубь гавани к высоченному молу перед островами, на которых возвышались павильоны Экспо. Откуда-то появились быстроходные моторки и наперегонки помчались к нам. Люди, сидевшие в них, были одеты в непонятную для непосвященных форму и переговаривались через портативные приемопередатчики.

«Голубая цапля» сделала крутой разворот, набрала скорость и умчалась прочь, сдав нас под конвой четверке завывающих от собственной мощи моторок, которые, окружив «Удачную авантюру», с непреклонной решимостью повлекли ее к проему в дамбе.

Когда мы вошли в этот узкий проход, я вдруг с ужасом заметил, что на обоих пирсах взметнулись облачка голубоватого дыма. Воздух содрогнулся от оглушительных залпов.

— Ложитесь! Ради бога, ложитесь! — завопил я Клэр и Альберту.— Они же стреляют в нас!

Но Клэр — бесстрашная женщина! — не дрогнула. С неприступным видом стояла она на носу и глядела вперед, дерзко бросая вызов судьбе. Рядом с ней стоял Альберт, большой и неустрашимый. Такое зрелище наполняет сердце мужчины гордостью.

Когда смолкли последние отзвуки пальбы, зазвучал голосок Клэр.

— О-о-о-о-о, Фарли! — в восторге воскликнула она.— Это же нас встречают... Какая прелесть!

Не успела она произнести эти слова, как нас оглушила такая неистовая какофония гудков, сирен и свистков, что я выпустил из рук румпель и заткнул уши.

Мы вышли из прохода, и прямо перед нами открылся огромный искусственный водоем, в котором выстроилась целая армада шикарных дорогостоящих яхт. И все они гудели, дудели, ревели, свистели. Люди, толпившиеся на их палубах, размахивали стаканами, бутылками и флагами. Шум стоял невообразимый. Я оглянулся через плечо, ожидая увидеть позади нас королевскую яхту, но про-

ход был пуст. Только теперь до меня стало понемногу доходить, что вся эта вакханалия — невероятное дело! — устроена в нашу честь.

Моторки препроводили нас к причалу номер один, прямо напротив центральных зданий этого экзотического морского царства, и квартет молодых энтузиастов пришвартовал нашу лодку между двумя плавучими дворцами, каждый из которых стоил целое состояние. По сигналу боцманской дудки мы сошли на берег, где нас ожидала плотная группа официальных лиц. Один из них произнес краткую речь, в которой поздравил нас с прибытием в Монреаль и на Экспо-67. Затем из толпы вынырнуло знакомое лицо. Это был один из главных администраторов Экспо и старый наш друг. Я схватил его за руку:

— Послушай, что все это значит? У меня душа в пятки ушла!

Улыбаясь, он рассказал, в чем дело. Нам и в голову не могло прийти в далеком, отрезанном от внешнего мира ньюфаундлендском поселке Бергео, что этот внешний мир узнает о нашем путешествии и даже заинтересуется им. Оказывается, мы ошибались. Экспо знала, Экспо интересовалась. После того как мы миновали лоцманский пост на мысе Эскуминак, Экспо получала сообщения о нашем продвижении. Все это время мы находились под неусыпным надзором.

— Имейте в виду,— сказал нам наш друг,— никто здесь не верил, что вы действительно доплывете. Ставки пари были двадцать пять против одного за то, что вы потонете. Я и сам проспорил кучу денег. Ведь я уверен был, что вы пойдете ко дну еще на полпути к Квебеку. Подумать только — лодка, не желавшая плавать! Что вы с ней сделали? Набили доверху шариками для пинг-понга?

— Тише! — торопливо перебил его я.— Неровен час, она услышит.

Боюсь, она все-таки услышала.

В тот вечер мы достойно отметили завершение плавания длиною в тысячу четыреста миль, полного нелегкой борьбы со всеми препятствиями и невзгодами, которые только можно вообразить.

Назавтра мы проснулись поздно. Через широкий носовой иллюминатор струился в каюту яркий солнечный свет. Несколько минут я лежал неподвижно, предаваясь воспоминаниям о плавании. Потом повернул голову в сторону койки Клэр.

— Ну вот, радость моя, кончились наши мытарства. Хочешь кофе? Сейчас поставлю чайник.

Я опустил ноги с койки... и оказался по колено в холодной воде.

Она опять потекла.

В течение следующих пяти суток Экспо горько раскаивалась в том, что имела глупость оказать гостеприимство лодке, не желавшей плавать. «Удачная авантюра» потекла с такой силой, что нам удавалось удерживать ее на поверхности только лишь с помощью нескольких электрических помп, днем и ночью откачивавших воду; дурно пахнущие струи, которые они извергали на миллионерские яхты, стоявшие по обе стороны от нас, не вызвали энтузиазма. Официальные власти Экспо стали передвигать нас все дальше и дальше в глубь Морского царства. Мы больше ни разу не видели нашего друга-администратора, а он, наверное, проклинал тот день и час, когда познакомился с нами. Как мы ни старались забить течи, ничто не помогало, и вот, наконец, мы в полном отчаянии отплыли на нашем тонущем суденышке с территории выставки, держа курс на запад, в надежде найти, пока не поздно, какую-нибудь верфь.

Через два часа после того, как она покинула Экспо, «Удачная авантюра» перестала течь так же внезапно и необъяснимо, как и начала.

■

Весной 1969 года я навестил «Удачную авантюру» в корабельной верфи незадолго до ее спуска на воду. Как и всегда, на суше она имела довольно неказистый вид и выглядела белой вороной среди роскошных моторных катеров и крейсерских яхт из стекловолокна. Это было грустное, несчастное суденышко, и я вдруг почувствовал угрызения совести.

Ведь по-своему она была добра ко мне, подумал я, да и верна тоже. И как жестоко поступил я с ней, обрекая жить изгнанницей в этом краю пресной (и грязной) воды, лодок-игрушек и лодок-безделушек и молча гибнуть от тоски по родине. Неожиданно для себя, повинуясь какому-то безотчетному чувству, я заговорил с ней:

— Ничего, старушка. Вот что я тебе скажу. Настанет лето, и, если ты не начнешь тонуть и вообще будешь себя хорошо вести, я отведу тебя в твои родные места. Что ты на это скажешь?

Тогда она мне ничего не ответила, но в момент, когда я пишу эти строки, она уже целый месяц на плаву, ни капельки не течет и чувствует себя лучше, чем когда бы то ни было раньше. Это и есть ее ответ. Итак, в один прекрасный день все мы — Клэр, я, Альберт и «Удачная авантюра» — поплывем на восток, вниз по длинной-длинной реке, к соленым и живительно свежим морским просторам, в мир безмолвия и тумана, в родной мир моего кораблика. «Удачная авантюра» отправится в дорогу домой.

Изобразительное искусство за рубежом

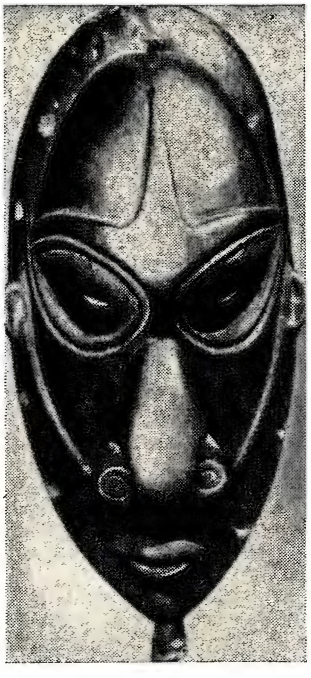
В. МИРИМАНОВ

ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ

(Искусство Меланезии)

К началу XX века, когда широкая публика впервые начала проявлять интерес к искусству Африки и Океании, традиции этого искусства уже повсеместно угасали, большая часть старой скульптуры погибла или была уничтожена миссионерами.

Усиление интереса к «примитивному» искусству только ускорило его гибель, так как, с одной стороны, из бывших колоний было вывезено почти все, что еще оставалось на местах, с другой — для удовлетворения возрастающего спроса со стороны туристов и торговых фирм стало налаживаться артельное и фабричное производство стандартных изделий художественной промышленности. Таким образом, скульптура, репродуцированная иллюстрациями данного номера, представляет давно уже ставшие уникальными памятники старого традиционного искусства Океании. Эти маски и статуэтки были созданы не позднее второй половины XIX века. В то время большинство племен, населявших Новую Гвинею, Соломоновы и Ново-Гебридские острова, еще сохраняло свой традиционный образ жизни, обычаи, древние способы изготовления утвари, украшений, культовых и бытовых предметов.



Маска. Дерево. Новая Гвинея.

Известно, что на ранних стадиях развития искусство различных народов не только выполняет близкие функции, но и обладает рядом общих формальных особенностей. Культовые маски и статуэтки, созданные американскими индейцами, африканцами или океанийцами, действительно имеют гораздо больше общего, чем произведения современных европейских художников, принадлежащих к разным направлениям. При этом искусство каждого ареала и каждой, даже самой небольшой, народности обладает своими особыми стилевыми чертами.

Искусство Меланезии

Живопись на древесной коре. Новая Гвинея.

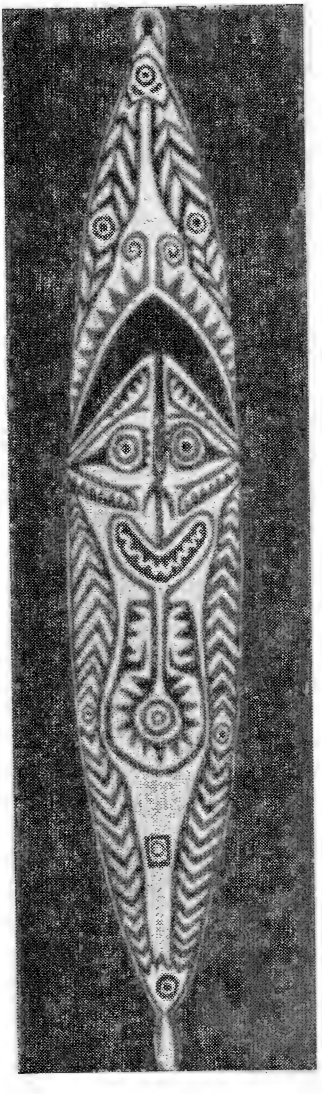
Архитектурная деталь (перемычка над дверью). Раскрашенный резной орнамент. Дерево. Новая Ирландия, Меланезия.

Маска. Раскрашенное дерево. Архипелаг Бисмарка, Меланезия.

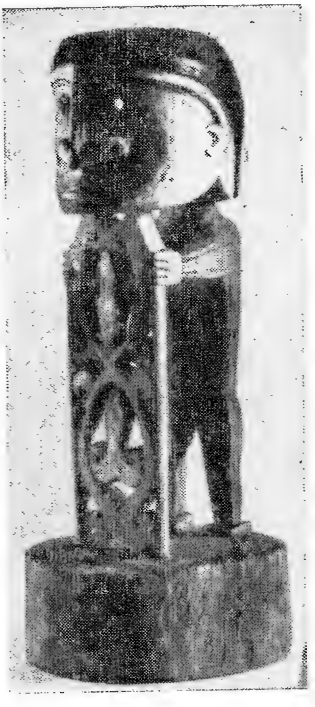
Культовые статуи. Раскрашенное дерево. Новая Ирландия, Меланезия.

**Маска из волокон коры и других мягких материалов.
Новая Ирландия, Меланезия.**

Деревянная маска, глаза инкрустированы перламутром. Новая Гвинея.



Деревянный щит, украшенный резным орнаментом. Новая Гвинея.



Культовая статуэтка. Раскрашенное дерево. Новая Гвинея.

Так, наиболее характерной стилевой особенностью искусства Океании в целом является преимущественное развитие орнаментальных форм. Причем в одной только Новой Гвинее существует множество различных стилей деревянной скульптуры, условно обозначаемых либо по названию места или народа, либо по типу изделий, как, например, стиль «корвар».

Статуэтки-корвары изготовлялись в большом количестве на северном побережье Новой Гвинеи. Эти скульптуры служат иногда своеобразными подставками для настоящего черепа умершего члена семьи. Отличительная особенность их композиции — поза сидящей человеческой фигуры, опирающейся локтями на колени.

Для искусства Новой Гвинеи характерен также стиль «сепик» (по названию реки на севере Новой Гвинеи). Наиболее четким признаком этого стиля является форма носа, изображаемого в виде клюва. Особенностью этого стиля являются вариации резного волнообразного орнамента, покрывающего всевозможные культовые и бытовые изделия из дерева, в том числе фигурки животных и статуи предков. Заметим, что внутри одного только стиля «сепик» ясно различаются шесть «подстилей».

В районе, примыкающем к заливу Астролейб, существует своя особая стилистическая манера, в которой выполнены многочисленные маски и строго фронтальные, лишенные шеи фигурки предков.

Среди других стилей Новой Гвинеи следует назвать стиль «тами» (по названию архипелага на северо-востоке Новой Гвинеи),— угловатые фигурки покрыты геометрическим вырезанным и раскрашенным орнаментом.

В Меланезии кроме очагов искусства Новой Гвинеи

Подголовник. Дерево.
Новая Гвинея.

Деревянная статуя.
Новая Гвинея.

Маска. Дерево. Новая Гвинея.

существует еще несколько районов, если не столь богатых, то не менее значительных и самобытных: в их числе знаменитое искусство Новых Гебридов и Новой Ирландии.

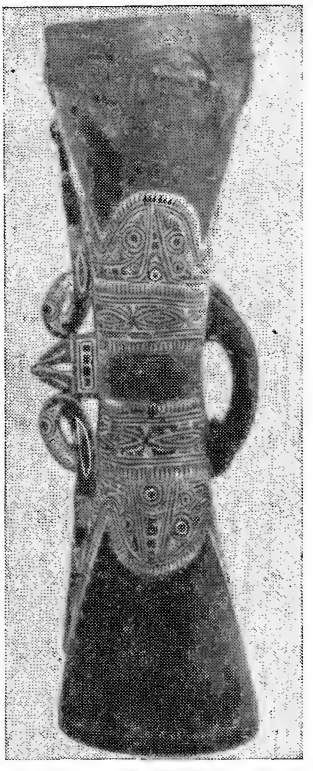
Своеобразной формой и техникой отличаются маски и статуи, изготовляемые на острове Малекула (Новогебридские острова). Каркас скульптуры конструируется из коры и бамбука и обтягивается различными гибкими материалами. Ярко расписанную фигуру часто увенчивают настоящим черепом, обмазанным глиной, с париком из естественных волос. Раскраска фигуры строго регламентирована и соответствует социальному положению умершего.

В северной части Меланезии на острове Новая Ирландия главная церемония культа предков, так же как и тип соответствующих ритуальных предметов, называется малангган. Малангганы — деревянные ажурные статуи, покрытые тонко разработанным цветным геометрическим орнаментом. Известны два типа

Культовая статуэтка. Дерево. Новая Гвинея.

искусства соответствует этой более древней устоявшейся культуре. Ко времени появления европейцев здесь уже существовали некоторые зачатки государственности и более развитые, чем у соседей, религиозные представления.

Не вдаваясь в детали, самые общие формальные признаки океанийской скульптуры можно условно определить как перевес декоративно - орнаментального начала над конструктивным. Как правило, океанийский художник стремится к достижению максимальной выразительности образа не столько собственно скульптурными средствами — построением объемов,— сколько графическими и живописными, оперируя линией и цветом, покрывая сложнейшими резными и полихромными узорами поверхности изделий, порой даже не обращая должного внимания на форму предмета. В результате орнаментальный декор нередко воздействует на зрителя более интенсивно, нежели пластические ритмы.



Барабан, украшенный скульптурными изображениями змей и резным орнаментом. Новая Гвинея.

Деревянная статуэтка. Символ Луны. Новая Гвинея.

маланггенов: вертикальные в форме столбов и прямоугольные горизонтальные. Малангганы хранятся в специальных хижинах, где они составляют сложные композиции, изображающие различные мифологические сцены.

В этой скульптуре ярко воплотились наиболее характерные черты меланезийского искусства: острая выразительность, тревожное напряжение, динамизм, страстность. Эта черта меланезийского искусства особенно заметна при сравнении его с искусством Полинезии. Ясный и спокойный характер полинезийского

В сравнении с монолитной африканской скульптурой океанийская пластика выглядит более детализованной, дробной и вместе с тем более легкой и изящной. Автор одной из работ, посвященных африканской скульптуре, сравнивал ее монументальность с массивностью и нерасчлененностью африканского континента. Продолжая это сравнение, можно сказать, что в характере пластики Океании словно запечатлена идея дробности и расчлененности ее территории.

Голова, украшающая деревянную рукоятку кинжала (лезвие кинжала из слоновой кости). Острова Адмиралтейства.

Среди книг

Издано в СССР

ПЕТЕФИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В 300 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Шандор Петефи. Стихотворения. Поэмы. Перевод с венгерского. Вступительная статья Пала Панди. Составление и примечания Агнессы Кун. Серия «Библиотека всемирной литературы». Москва, «Художественная литература», 1971. 622 стр.

Год Петефи — 1 января 1973 года мы отмечаем стопятидесятилетие со дня рождения поэта — во многих из нас пробуждает естественный интерес: какое внимание уделяет «благодарное потомство» за пределами наших границ герою и певцу «свободы мировой»? Сейчас еще более, чем прежде, нам не может быть безразличен отзвук, вызываемый поэзией Петефи. Мы знаем: последнее в его жизни новогоднее моление-предсказание исполнилось — о том, чтобы песня его вторилась эхом в «горных пиках времени — столетьях». Оглядываясь с первой такой вершины — столетия, минувшего со дня его смерти,— мы в самом деле имели возможность почувствовать, что значил для венгров этот исключительный гений. Ни одно имя — имя поэта — не разносилось по свету так быстро и широко, как имя Петефи.

И это утверждение я не стал бы сужать, относя только к поэтам венгерским: имя Петефи действительно самое известное в мире венгерское имя, за которым стоит вполне реальное содержание: ведь его стихи переводили чаще и на большее число языков, нежели стихи всех наших поэтов вместе взятых. Оно вторится, как эхо, как отзвук, и это уже немало. Но еще важней для нас то, что этот отзвук доносится к нам как будто уже и из будущего — со следующей вершины, вершины наступающего столетия. Современность (наскучив вздорностью псевдомодерна) все-таки открывает для себя, как видно, поэтов вечно и подлинно современных. В самом деле, популярность Петефи не только не уменьшается с течением времени, но, напротив, лишь возрастает. Сколько накапливается трогательных впечатлений, воспоминаний о встречах с ним повсюду, от джунглей и до полюса! Что ни говори, но реализм, когда он становится созидающей силой в руках гения, еще очень долго остается неувядаемо свежим, помогает выразить актуальное. Переводить же стихи Петефи, в сущности, можно так, что каждая новая языковая территория, литература каждой отдельной нации обогатится благодаря им существенно новым содержанием. Например, стихотворение «Степь зимой» все еще говорит очень много, и не только нам, венграм, но и миру о нас — на испанском, английском, русском и других языках.

В первые же дни нового года в руки мои попало, судя по всему, самое свежее издание стихотворений Петефи. Великолепный, набранный кириллицей том стал для меня своего рода увертюрой к году Петефи — первым его отголоском, первым и дивным эхом, отраженным, я бы сказал, от еще лишь близящейся вершины. И это эхо прозвучало по-русски, повторенное триста тысяч раз — ибо прекрасный сборник вышел не более не менее как в трехстах тысячах экземпляров, выпущенный московским издательством «Художественная литература», составленный Агнессой Кун, с предисловием Пала Панди.

300 000 экземпляров — цифра, на наш взгляд, ошеломительная и все-таки при этом вполне понятная. Антал Гидаш своей многократно переиздававшейся монографией о Петефи и прекрасными предисловиями к выходившим в разное время сборникам стихотворений Петефи хорошо подготовил почву для того, чтобы русский читатель на-

вечно полюбил нашего поэта и почувствовал его по-настоящему близким. Именно Гидаш, взяв на себя труд первопроходца, создал предпосылки для богатой и плодотворной работы над переводом стихов Петефи. С 1946 года стихи Петефи разошлись среди русских читателей, не считая еще этого последнего издания, более чем миллионным тиражом — стоит только подумать об этом, и уже невольно начинаешь считать чуть ли не естественным нынешний поистине необычайно высокий для переводного издания тираж. Что ж, там, где нашего поэта ощущают настолько своим,— не говоря уж о том, как нам лестна подобная его популярность,— там о нем и не забывают, это очевидно само собой.

Вновь и вновь перелистывая заботливо изданный сборник, который так приятно даже просто подержать в руках, я пытаюсь представить себе путь включенных в него трехсот пятидесяти стихотворений и поэм — путь от нашего поэта к русскому читателю. Пытаюсь представить, как по волшебному мановению пера мастеров слова венгерские поэтические строки превращаются в новый живой организм, в лирический «материал», излучающий смысл, красоту, поэзию даже для тех, кто венгерским языком не владеет. «Волшебное мановение» здесь, разумеется, следует понимать фигурально. Труд, вложенный в эту книгу, почти не сопоставим с обычным, каждодневным духовным трудом. Его вообще трудно соотнести с привычной работой над художественным переводом. Если мы хотим понять его подлинное значение, то сделать это можно с помощью лишь чего-то иного. Тот, кто знает русский язык лишь настолько, что его «нельзя продать», как говорят в народе, и что относится также и к автору этих строк, тот вряд ли возьмет на себя профессиональную оценку и критику переводов. Это вообще не наше дело, его с успехом выполнят те, кому и карты в руки. Но тем более по душе нам тот потрясающий факт, что выдающиеся русские поэты XX века, наши современники, с энтузиазмом взялись за освоение нашего национального гения, и результаты их усилий налицо. Вот по этому поводу и мы можем сказать кое-что, опираясь на нашу практику и опыт.

Прежде мы часто повторяли, то чуть-чуть льстя себе, то — чаще — сетуя, как много сил и даже крови своей отдала венгерская поэзия ради того, чтобы и на нашем языке ожили, заговорили поэтические шедевры мировой литературы. В самом деле, лишь с добровольным жертвованием крови можно сравнить ту щедрость, с какою делились с иностранными поэтами своими стихами и рифмами Арань, Бабич, Арпад Тот, Лёринц Сабо, Радноти, чтобы и по нашей земле, в нашей части Европы разливался без помехи всемирно-литературный поток. А сетования наши относились к тому, что наши создатели духовных ценностей, хотя бы в приблизительном соизмерении с их собственным значением, не получили в свой адрес ответного жеста. Много ли знают даже ближайшие наши соседи об Аране, Бабиче, Арпаде Тоте или Костолани — хотя бы только о великолепных их переводах, не говоря об оригинальном творчестве.

И все-таки сетования эти, мне кажется, напрасны. Выигрыш, который мы получили благодаря переводам, стоил того, чтобы наши мастера, которые названы выше, были бескорыстны. Да они такими и были в действительности: можно ли без волнения вспоминать, например, о трио Бабич — Арпад Тот — Лёринц Сабо, о том, как они, сидя втроем за столиком в «Централе» в начале двадцатых годов, соревновались увлеченно, создавая венгерского Бодлера?! Вот такого рода увлеченность и усердие мечталось увидеть и нам среди иностранных литераторов, воссоздающих у себя нашего гения.

А в один прекрасный день выяснилось вдруг, что все это есть — более того, было! Мы много и справедливо писали об огромном и успешном труде, предпринятом во Франции Ласло Гара. Но еще раньше и в ином месте уже был совершен подобный совместный поэтический подвиг, о котором мы очень мало знали, вернее, недостаточно рассказывали, не сделали его всеобщим достоянием. А между тем именно его результатом и явилось вот это последнее, трехсотысячное издание русского Петефи. Тому, с какой интенсивностью шла эта работа в Москве почти двадцать лет назад, я по случайности сам был свидетелем и очевидцем, так что могу рассказывать о ней с полной достоверностью — пахнущий типографской краской том оживил мои воспоминания.

Ранней весной 1954 года мы оказались в Москве, в составе возглавляемой Ференцем Эрдеи делегации. Помимо самого Эрдеи в делегации было еще два литератора: Бела Иллеш и я. (Когда наши гостеприимные хозяева предложили посетить Союз советских писателей, выбор пал на нас троих.) Нас ввели в зал, где собрались для беседы переводчики. И речь там велась о возможностях и значении работы по дальнейшему расширению перевода произведений Петефи.

Как раз тогда вышел из печати последний, четвертый том начатого в 1952 году собрания сочинений Петефи. Предприятие, не знающее себе равных, хотя это и не было полным собранием сочинений нашего поэта. Впрочем, в него не вошло лишь несколько стихотворных отрывков и некоторые прозаические произведения. Было очевидно, что дирижером, организатором, попросту говоря, душою этого издания была Агнесса Кун. Слушая выступавших поэтов, мы имели возможность понять и оценить ее неиссякаемое упорство, пылкость и любовь к тому делу, которое она воспринимала явно и буквально как национальную миссию,— к делу успешного перевода и издания наследия Петефи. И мы все гадали, как, какою ворожбой сумела она увлечь за собой сидевшую перед нами испытанную, состоявшую сплошь из самых крупных имен поэтическую гвардию.

Если память мне не изменяет, самым старшим из них был Маршак. Он рассказал гостям о проделанной работе, о формах со-

трудничества, о радостях и трудностях перевода. Я и сейчас словно вижу его перед собой, вижу, с каким вдохновением доказывает, объясняет он «сегодняшность» Петефи. Рядом сидел Тихонов — значительно моложе Маршака, но совсем седой в сравнении с ним,— затем молчаливый Пастернак, поэт, известный теперь всему миру; дальше — Мартынов с тревожными глазами, улыбчивый Чуковский (Николай), потом Исаковский... и все это — первая шеренга русской поэзии пятидесятых годов. Каждый, говоря о Петефи, непременно говорил тогда хотя бы несколько лестных слов о венгерской поэзии. Нельзя было не почувствовать, что они восхищены нашим поэтом. И так или иначе проникли в его суть. Это был период, когда мы часто твердили о совместной работе, о важности ознакомления с литературами друг друга, о взаимной пропаганде. А они в это время не на словах, на деле осуществляли и разрешали эту благородную задачу. И начали к тому же с самой большой высоты — с Петефи.

Думаю, что список имен переводчиков уже много говорит о качестве и уровне издания Петефи на русском языке, эти имена — золотой фонд, удостоверяющий и качество перевода. Даже тот, кто с трудом ориентируется в русском языке, с сильно бьющимся сердцем раскрывает эту книгу и разбирает, слово за слово, например, строки стихотворения «Лаци Араню», наслаждаясь русскими ритмами маршаковского перевода или пастернаковского «В конце сентября», поражаясь при этом, насколько верно и по содержанию и по форме большинство переводов. И сколько еще примеров, сколько потрясающих стихов мог бы я привести здесь для иллюстрации этих необыкновенных переводческих достижений!

Вот это и хотелось мне сказать о замечательном, в шестьсот страниц, издании стихотворений Шандора Петефи. Сто пятнадцать лет назад — в 1857 году — Бенедиктов впервые перевел стихотворение Петефи на русский язык: первое эхо, потом столько раз звучавшее в течение минувшего столетия, пока не появилось это последнее издание, сгустившее в себе предшествующий ему четырехтомник,— издание, которое мы можем считать уже отзвуком будущего — эхом, донесшимся с грядущей еще вершины.

г. Будапешт

ИШТВАН ШИМОН

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ю. Кузьменко. Мера истины. Москва, «Советский писатель», 1971. 343 стр.

«Мера истины» подкупает читателя самим своим тоном. В ней нет академической сухости, нет догматического поучения, нет журналистской лихости дурного тона. Автор приглашает читателя вместе с ним поразмыслить над очень сложными и трудными вопросами современной литературы.

В чем же оригинальность книги Ю. Кузьменко? Пожалуй, ее можно увидеть в своеобразной разомкнутости исследования. В самом деле, в центре внимания автора — закономерности развития русской советской литературы последних двух десятилетий. Причем разговор о русской советской литературе Ю. Кузьменко связывает с постановкой важнейших проблем зарубежной литературы, останавливаясь то на образах Гамлета и Дон Кихота, то на произведениях Шиллера или Бальзака, то на творчестве Золя и Джойса или Кафки и Беккета. Он обращается к отдельным моментам истории советской литературы 20—40-х годов, а от них — к истории становления социалистического реализма в творчестве Горького. В большинстве случаев это не историографические справки, а попытки выяснить закономерности развития тех или иных проблем. Пафос историзма пронизывает работу Ю. Кузьменко.

Вместе с тем автор этой книги постоянно обращается к большим проблемам теории литературы, к проблемам социалистического реализма, к спорам вокруг понимания реализма, к вопросам о взаимоотношении объективных и субъективных начал в художественном творчестве и т. д. Работа Ю. Кузьменко носит теоретико-историографический характер.

Такая разомкнутость исследования современной советской литературы и истории русской и зарубежной литературы не только углубляет ее понимание, но и раскрывает значимость происходящих в ней процессов.

Остановимся на некоторых вопросах теории, освещенных в книге Ю. Кузьменко.

Эта книга полемична, полемична вся, от первой страницы до последней. Автор избрал для своей полемики нелегкий путь. Он не ограничивается простым сопоставлением цитат из произведений критикуемых авторов с цитатами общепринятых у нас авторитетов для доказательства своей правоты. Нет, он показывает внутреннюю несостоятельность теорий своих идейных противников. Вот два примера.

В теории искусства существовали и существуют школы, которые считают искусство совершенно автономной областью, отгороженной от всех других видов духовной деятельности людей, управляемой только ей присущими имманентными законами. Так, например, структуралисты очень часто изучают только «структуру», «ткань» самого произведения, соотнесенность отдельных элементов его формы. Они оставляют за пределами своего внимания все, что находится *вне* самого произведения: действительность, в нем изображенную, художника, его создавшего, читателя или зрителя, его воспринимающего. Ю. Кузьменко справедливо полагает, что структуральный ана-

лиз может быть полезен на определенной ступени исследования, если он не претендует на роль единственной, универсальной искусствоведческой теории.

Другая, большая группа ученых буржуазного мира берет за основу проблему «произведение — художник». Для них единственно важное — личность творца, своеобразие его таланта, его мировосприятия. Этой точки зрения придерживаются неофрейдистские теории искусствознания, многочисленные разновидности школ интуитивистов.

Современные ревизионисты также строят свои теории на одностороннем преувеличении какой-то одной стороны искусства, которая изолируется от других его сторон. Так, Р. Гароди, например, противопоставляет познавательную (гносеологическую) сущность искусства — творческой. По его мнению, искусство прошлых эпох будто бы только пассивно отражало жизнь. Искусство социалистическое, по Гароди, должно перестраивать и творить жизнь. Еще дальше пошел Г. Маркузе. С одной стороны, он считает, что искусство не должно быть связано с политикой, ибо политика уничтожает искусство. С другой стороны, если искусство не может непосредственно радикально изменять базис, то оно должно быть отброшено, как средство буржуазной культуры.

Все эти теории, показывает Ю. Кузьменко, не в состоянии решить важнейшего вопроса эстетики — о влиянии реальной жизни на искусство и обратного влияния искусства на реальную жизнь.

Для решения этих сложных проблем Ю. Кузьменко обращается к классической немецкой философии, к трудам основоположников марксизма-ленинизма.

Гегель при построении своей эстетики берет за основу «состояние мира», судьбы человека, соотнесенность идеала и действительности. Он останавливается на двух этапах этого состояния — героическом и прозаическом. При героическом состоянии мира нет противоречий между общим и частным, законами и нравами. Вещи и общественные отношения не противостоят индивидам как отчужденные силы. У общества нет целей, противостоящих человеку. Мир находится в состоянии гармонии. Создаются идеальные условия для расцвета искусства. Прозаическое состояние мира — это эпоха разделенности и подавленности, эпоха отчуждения и зависимости. Индивид — в плену у внешних условий, труд и общественные учреждения гражданского общества тяготеют над ним. Человек теряет независимость и самостоятельность. В этих условиях искусство, по Гегелю, уже не может гармонически развиваться. Оно отходит на второй план. Среди форм общественного сознания на первое место выдвигается философия.

Опираясь на труды классиков марксизма, Ю. Кузьменко показывает, что Гегель под героическим состоянием мира понимает первоначальную цельность человека на ранних ступенях развития человечества, преимущественно в античном мире, а под прозаическим — ступень капиталистического разделения труда. Этот этап не вечен: Гегель ошибался, абсолютизируя его. Коммунизм, по Марксу, новая ступень развития человечества, которая опровергает гегелевские прогнозы о судьбах искусства, так как дает полный простор развитию и индивидуальности и общества.

Эти большие обобщения помогли Ю. Кузьменко перейти к рассмотрению более частных проблем теории и истории литературы. И здесь, мне думается, заслуживает пристального внимания попытка Ю. Кузьменко проследить, условно говоря, историческую смену эстетических координат в советском литературоведении на разных этапах его развития, проанализировать некоторые переломные моменты в процессе воссоздания советской литературой образа человека новой эпохи.

Исследователь показывает, что современная советская литература решает не только задачи дня сегодняшнего, но и подключается к решению больших проблем, имеющих долговременное значение. Среди страниц, посвященных этой теме, наибольший интерес представляют, на мой взгляд, страницы о Гамлете и Дон Кихоте. Это обращение к так называемым «вечным образам» в книге, где дается анализ советской литературы последних двух десятилетий, само по себе знаменательно.

Ю. Кузьменко напоминает читателю основные положения статьи И. С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». Он называет эту статью блестящей и говорит, что образы двух великих безумцев, созданные в самом начале XVII века, оказались дальними предвестниками некоторых героев и коллизий нового времени.

Тургенев увидел в этих образах две коренные противоположности человеческой природы: веру и сомнение, энтузиазм и ледяной анализ. Дон Кихот, по Тургеневу, весь предан идеалу, весь самопожертвование, он мало и плохо знает действительность. Гамлет же не верит в себя, он эгоистичен, его снедает дух анализа. По мнению Ю. Кузьменко, Тургенев проецировал эти характеры на историю русской литературы XIX века: Гамлет — это тип «лишнего человека», Дон Кихот — тип человека действия, героя с идеалом.

И вот оказалось, что образы принца Датского и рыцаря из Ламанчи помогают объяснить некоторые явления советской литературы 50-х годов.

В эти сложные годы образ Гамлета, отмечает Ю. Кузьменко, прошел по сценам театров, по экранам кино, нередко появлялся на эстраде. Гамлетовские сомнения, беспощадный анализ, стремление решить вопрос о своем месте в мире звучали и на страницах так называемой «молодой прозы», герои которой чаще больше рассуждали, замкнутые в узкий мирок личных переживаний, чем действовали.

Образ Дон Кихота был в те годы воспринят главным образом не с трагикомической, а с героической стороны. Мартынов из «Районных будней» В. Овечкина, Лобанов из «Искателей» Д. Гранина, Лопаткин из романа «Не хлебом единым» В. Дудинцева, Ба-

хирев из «Битвы в пути» Г. Николаевой. Бессребреники, одержимые высокой идеей, люди, презирающие житейскую мудрость обывателей, уверенные в силе правды, обладающие твердым характером, они шли вперед, ломая преграды на своем пути, не думая о собственном благополучии. Они могли погибнуть, но не могли уступить. Ю. Кузьменко даже полагает, ссылаясь на Гегеля, что люди подобного типа из «породы донкихотов» — ярко выраженные эпические характеры. Вероятно, это все же некоторое преувеличение, ибо, к сожалению, никто из советских писателей 50-х годов не создал эпических образов, имеющих мировое значение, но само сопоставление образов героев нашего времени с «вечными образами» представляется интересным и плодотворным.

Книга Ю. Кузьменко имеет подзаголовок «Эволюция литературного героя и общественно-историческая практика» (кстати, полагаю, что этот подзаголовок гораздо более точно определяет круг вопросов, поднятых в книге, чем заголовок «Мера истины», который требует от автора непомерно многого). Эту эволюцию литературного героя наиболее последовательно автор рассматривает на материале советской, преимущественно русской, литературы 50—60-х годов. Свое исследование он прослаивает этюдами теоретического характера, рассказами о дискуссиях, которые велись в это время, экскурсами в историю классической и зарубежной литературы, что, как уже отмечалось, углубляет исследование. О литературе 50—60-х годов у нас немало писали. Однако Ю. Кузьменко удалось сказать об этом периоде нечто новое. Он попытался установить внутренние закономерности процесса развития литературы этого периода, определяемые, с одной стороны, субъективными представлениями художников об особенностях развития жизни нашей страны, с другой — реальными социально-экономическими процессами. Поэтому в книге сопоставляются взгляды писателей того времени со взглядами социологов и критиков на взаимоотношения героя и общественно-исторической практики; сам же автор исследования, судящий об этих процессах с идейной высоты нашего времени, рассказывает о том, что происходило на самом деле.

Структура художественных образов литературы 20—30-х годов определялась полярным противопоставлением героев, представителей разных борющихся классов. Во многих послевоенных произведениях этот конфликт был заменен конфликтами между консерваторами и новаторами, между отсталыми руководителями и передовыми рабочими или инженерами, борьбой против технического прогресса и за технический прогресс. Разумеется, консерватор это уже не классовый враг, а отсталый человек. По этому принципу были построены характеры во многих очерках Овечкина. Даже в романе Г. Николаевой «Битва в пути» Бахирев убеждается, что в непорядках предприятия виноват больше всех Вальган. По мнению Ю. Кузьменко, этот конфликт лишен социальной основы, он опирается почти исключительно на субъективную сферу деятельности героев.

Социологическая и критическая мысль тех лет, показывает Ю. Кузьменко, не помогла художникам разобраться в сущности происходящих процессов.

Автор книги обращается не только к субъективным факторам, но прежде всего к факторам объективным. Он рассказывает о том, какие сложные проблемы встали в послевоенный период, когда начался новый этап развития нашей экономики, как зрела необходимость новой экономической реформы. Рядовой труженик должен быть заинтересован в делах предприятия и колхоза и иметь возможность реально влиять на ведение хозяйства. У него должно окрепнуть «чувство хозяина».

В 60-х годах, отмечает Ю. Кузьменко, начался и новый этап развития советской литературы. Автор анализирует некоторые произведения советских писателей — М. Рощина, М. Слуцкиса, Р. Ибрагимбекова, Ч. Айтматова, Е. Мальцева и др.— и показывает, какие сложные и благотворные процессы происходят в нашей жизни. Поскольку в ходе социальных преобразований последних лет индивидуальные интересы отдельного труженика сливаются с общими интересами, Ю. Кузьменко полагает, что советская литература, отображающая этот процесс, все более приближается к эпосу. Под этим углом зрения автор дает интересный анализ романа В. Тендрякова «Кончина». Оправдаются ли его прогнозы, покажет будущее.

Не все разделы книги одинаково удались автору. В ней есть недостаточно аргументированные положения, спорные заключения, есть островки описательности, порой он уделяет слишком много внимания общеизвестным фактам.

Некоторые важные процессы, происходящие в советской литературе, могли бы быть более ярко освещены, если бы они были рассмотрены в связи с развитием литературы зарубежной. Известно, например, какое значение имеет так называемая «ситуация выбора» в мировой литературе XX века. «С кем вы, «мастера культуры»?» — спрашивал Горький деятелей культуры мира еще в начале 30-х годов. Литераторы «потерянного поколения» отвечали: мы против тех, кто господствует в мире капитализма, но мы не верим и в возможности освободительной борьбы. Чтобы не потерять свою неповторимую индивидуальность, человек должен погрузиться в свое внутреннее бытие, в стихию бессознательности, отвергнув от себя безликую массу окружающих его людей, отвечают экзистенциалисты.

Положение изменилось в период социальных потрясений 40-х годов. Зарубежная проза стала громко говорить об ответственности человека перед лицом катастрофических событий. Эту проблему выбора пути и ответственности перед людьми и историей по-своему на разных этапах изображала и

советская литература, ведя борьбу за создание нового человека. Легко отметить и другие, лежащие на поверхности недостатки исследования. Но главное, как мне думается, в том, что книга Ю. Кузьменко заставляет читателя размышлять над трудными и сложными проблемами современной литературы.

А. МЯСНИКОВ

МНОГОЦВЕТНАЯ МОЗАИКА

Современная африканская новелла. Переводы с английского, французского, португальского. Составитель Г. Головнев. Предисловие Вл. Вавилова. Редактор А. Клышко. Москва, «Прогресс», 1972. 400 стр.

Когда перелистываешь последнюю страницу сборника «Современная африканская новелла», в первую очередь вспоминается новелла Питера Абрахамса «Пароль: «Свобода». Мальчику, работавшему мойщиком машин, подарили томик Шекспира. Он идет в школу и проходит программу трех лет за год, чтобы побыстрее научиться читать и прочесть прекрасные истории, которыми полна подаренная ему книжка, чтобы потом самому сочинять такие же истории. Рассказ будто пропущен сквозь романтический фильтр воспоминаний. Главное в нем не мерзкие стороны южноафриканской действительности, а идея — человек хочет стать творцом, хочет стать свободным и ради этой большой цели готов своротить горы.

Название сборника «Современная африканская новелла» не совсем точно: в книгу включены лишь произведения писателей Черной Африки. Обширно представлены в сборнике бывшие английские колонии — Гана, Кения и особенно Нигерия, где завоевание независимости привело к бурному развитию литературы. Новеллы писателей этих стран посвящены, как правило, сегодняшнему дню. Большинство из них лишено африканской «экзотики», а проблемы жизни человека в классовом обществе, так и не сбросившем с себя путы феодальных и родовых отношений, поставлены очень остро. Такова новелла ганского писателя Джорджа Авунор-Уильямса «Чтобы купить маиса». Больной ребенок угасает на руках у матери, а у нее нет денег, чтобы положить его в больницу, да и врачам она не очень верит. Произведение привлекает своим безыскусным реализмом, точным описанием деревенского быта (недаром оно переводится у нас вторично, другое его название по-русски — «Чего стоит хлеб»).

Большой драматической силы исполнена небольшая новелла «Мать» нигерийца Онуора Нзекву. Несколько лет назад издательство «Молодая гвардия» опубликовало первый роман этого молодого писателя — «Жезл Офо», рассказывающий о столкновении современного образа жизни с традиционными верованиями африканцев. В новелле «Мать» Нзекву увидел оборотную сторону того же конфликта: старая женщина требует от единственного сына, который стал католическим монахом, вернуться в дом, чтобы продолжать род, и проклинает его, когда тот отказывается.

Действующими лицами в большинстве произведений являются африканцы. Бывшие колонизаторы, а ныне «благодетели», «помогающие» молодым странам развиваться, появляются обычно в качестве персонажей сатирических. Квабена Аннан из Ганы высмеивает англичан из некоего «Комитета уполномоченных», собирающихся рыть колодцы там, где они совершенно не нужны. Другой ганский писатель, Э. Эссуман, разоблачает лжемиссионеров, которые под видом духовной помощи пытаются выкрасть драгоценности деревенского вождя (рассказ «Святые отцы»). Эти произведения показывают, что среди писателей, пишущих на английском языке, развито искусство сатирического рассказа. Кроме тех, о которых шла речь выше, назовем еще «Простаки и проходимцы» Гэбриела Окары. В нем, как это верно подмечено в предисловии, чувствуется влияние творчества О'Генри. Крупный нигерийский поэт, автор пропитанной фольклором романтической повести «Голос», опубликованной в 1967 году журналом «Иностранная литература», Окара предстает здесь в новом качестве. «Простаки и проходимцы» — не единственное произведение, в котором видно стремление взять лучшее у классической литературы. Читая новеллу еще одного известного нигерийского писателя, Чинуа Ачебе, «Мальчик и река», вспоминаешь главы из романов Диккенса, посвященные детям.

Среди переводов с французского, которые представлены в сборнике более скупо, выделяется новелла «Аукцион» одного из самых крупных литераторов Африки, Бернара Дадье. Сюжетная канва новеллы предельно проста: на распродаже старого хлама из-за ничего не стоящей безделушки разгорается торг престижа между европейцем и торговцем-арабом, потомком выходцев из древнего Леванта («Европеец, политический хозяин страны, делил с левантийцем свою экономическую власть»). Дадье язвительно рисует социальный портрет вымышленного океанского города Диуркена. Здесь «жизнь одних определяется кодексом Наполеона, а других — кораном», одни «говорят о миллионах с потрясающим равнодушием», а другие приходят после работы к витринам магазинов, «чтобы отдохнуть, разглядывая товары, обладать которыми им никогда не позволит их кошелек». В уродливом сочетании патриархального быта африканцев, пришедших из глубин материка, «пригнав с собой несколько истощенных баранов», и роскоши «вилл, утопающих в зелени вечнозеленых растений», человек, побывавший в Африке, без труда узнает любой крупный порт на ее западном побережье.

Народы, борющиеся против португальского колониализма, пока не создали столь развитой прозы, как другие народы Африки В

настоящее время, когда их духовная жизнь целиком подчинена задачам освободительной революции, в литературе господствует поэзия. Она эмоциональна, близка к фольклору, в котором едины слово, музыка и танец, а потому наиболее доступна народу.

Большинство новелл интересны лишь в этнографическом отношении. Но на одной стоит остановиться. Это новелла Нуно Бермудеса из Мозамбика, названная по имени героя «Гандана». Похожая на длинное стихотворение в прозе, она динамична, написана нервным, образным языком, заключает в себе одно действие, поглощающее все мысли и волю героя — уйти от преследования. Гандана гибнет, когда ему остается всего несколько сот метров до желанной свободы, гибнет, как «поверженный бог, который перестал сопротивляться лишь после того, как претерпел все выпавшие на его долю страдания». Когда перечитываешь «Гандану» еще раз, приходит мысль, что книги, которые напишут писатели Мозамбика, Анголы, островов Зеленого Мыса о великой битве за независимость, будут как эта новелла — в ней точно передано напряжение борьбы.

Венчают книгу произведения писателей ЮАР, где в тяжелейших условиях выросла значительная и интересная литература.

Крестьянин Чарли, первый раз в жизни попавший на политический митинг, умышленно садится на скамейку с надписью «Только для белых» (Ричард Рив, «Скамейка»). Обозленные смертью плантатора, полицейские убивают ни в чем не повинного человека, а потом угрожают его жене, которая требует расследования (Алан Пэйтон, «Жизнь за жизнь»). Алекс Ла Гума рассказывает о тайном свидании цветной девушки и белого юноши, не имеющих права открыто любить друг друга («Стакан вина»). О чем бы ни шла речь в произведениях писателей ЮАР — апартеид не смог уничтожить душу людей, не смог отучить их тонко чувствовать мир,— в них отражена тревожная атмосфера жизни угнетенного народа, ни на секунду не прекращающаяся борьба за человеческое достоинство.

Новые времена постепенно выживают из литературы ту таинственную языческую Африку, о которой писал Окара в повести «Голос». Писатели изображают сегодняшнюю жизнь своих стран и ворвавшийся в нее наш век. В сборник вошло только два произведения, написанных на материале народных поверий. Это «Мы снова отправляемся в путь» крупнейшего знатока нигерийского фольклора Амоса Тутуолы и «И пролился дождь...» Грейс А. Огот из Кении. Концовка рассказа кенийской писательницы выглядит символично: земная любовь юноши и девушки побеждает мистические представления о нерушимом законе предков.

Всего в книгу вошло сорок больших и малых новелл тридцати семи писателей из двенадцати стран. Разобраться в особенностях развития литературы этих стран помогает обстоятельное и интересное предисловие Вл. Вавилова. Среди авторов сборника читатель найдет многих известных писателей, чьи произведения переведены в нашей стране. Возможно, новеллы некоторых из них покажутся менее значительными, чем повести и романы, с которыми мы познакомились раньше, но каждая из новелл, собранных в этой книге, занимает свое место в мозаичной картине литературы современной Африки.

А. КАРЛОВ

Издано за рубежом

ЯРОСЛАВ ГАШЕК: МИФ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Radko Pytlík. Toulavé house (Zpráva o Jaroslavu Haškovi). Praha, Mladá fronta, 1971.

Радко Пытлик, автор новой биографии Гашека, много лет посвятил изучению его жизни и творчества. Им написано множество статей о Гашеке, проделан кропотливейший труд по составлению гашековской библиографии, в 1962 году вышла в свет его книга «Ярослав Гашек». Вместе с З. Анчиком и М. Янковичем он работает над изданием 19-томного собрания сочинений писателя.

Вокруг имени Гашека сложилось немало легенд и анекдотов. Весьма благоприятную почву для их возникновения создавали как его необычный образ жизни (вечные странствования, дружба с нищими и бродягами), так и многочисленные литературные и политические мистификации, в особенности же самая известная из них — создание пародийной Партии умеренного прогресса в рамках закона.

Не меньшее влияние на этот своеобразный «окологашековский фольклор» оказала и сама личность писателя. Самобытная, богато одаренная натура, Гашек поражал окружающих поистине сказочной легкостью, с какой он создавал свои юморески, блестящим даром импровизации, богатейшей фантазией, неисчерпаемым юмором и вместе с тем абсолютной беззаботностью по отношению к своей литературной карьере. Поражало в нем и противоречие между политической прозорливостью, зрелостью мысли, остротой обличения, присущими его сатире, и его совершенно мальчишескими выходками и проделками на улицах ночной Праги.

Нет, Гашек совсем не был похож на «солидного» писателя, имя которого с долж-

ным почтением произносилось бы пражской мещанской публикой. Поэтому и не приходится удивляться тому «легендо- и анекдототворчеству», которое сопровождало его на протяжении всей жизни и вылилось в создание своего рода «мифа о Гашеке» — «гуляке праздном», «стихийном юмористе» и пр.

Большая заслуга Радко Пытлика заключается в том, что он, тщательно сверяя с архивными данными каждое воспоминание, каждое свидетельство и сопоставляя их между собой, начисто отбросил множество такого рода легенд и просто вымыслов, расчистив тем самым почву для создания научной биографии писателя. В тех же случаях, когда автору не удалось проверить какие-то факты, он так и пишет или же строит свою гипотезу, честно предупреждая об этом читателя.

Р. Пытлик произвел также доскональное исследование еще одной очень важной стороны биографии Гашека — его путешествий.

Гашек пешком «исходил» все страны, бывшие тогда в составе Австро-Венгрии, «заглядывал» и в соседние государства — в Германию, Болгарию, Италию, Швейцарию, Россию. Не случайно его первыми литературными опытами были путевые очерки.

На основании этих очерков, воспоминаний друзей Гашека и его писем Пытлику удалось восстановить как карту его путешествий, так и их хронологию. Но здесь важно не столько точное воспроизведение бродяжнических маршрутов Гашека, сколько анализ того влияния, какое они оказали на его характер, образ жизни и творческую эволюцию. В конце концов бродяжничество вошло Гашеку в плоть и кровь. Даже будучи в Праге, он никогда не оставался на одном месте: то жил у приятелей, то перекочевывал в редакцию газеты, с которой был в данный момент связан, то ночевал в укромном уголке того ресторана или трактира, где провел вечер.

Эта черта характера и образ жизни Гашека нашли в книге очень выразительное воплощение. Ведь именно с ними связано и название книги, такое необычное для научной биографии,— «Бродячий гусенок». Так прозвали Гашека приятели, опираясь на детскую сказочку о гусенке, который потерял свою мать и все время бродит и ищет ее.

Пытлик вложил в это название некий символический смысл: бродяга Гашек вечно искал свой дом и лишь в конце жизни, когда уже не было сил на странствования, нашел его в моравских горах, в уютном городке Липнице, в маленьком домике у подножия полуразвалившегося замка.

Проходящая через всю книгу тема бродяжничества Гашека звучит здесь как своего рода лирический лейтмотив, объединяющий в единое целое (и в какой-то мере объясняющий) насыщенную событиями жизнь писателя. Возможно, что именно эти неустанные искания Гашека, непрерывные открытия все новых и новых граней действительности, стремление добраться до того, что скрывается под поверхностью явлений, и придают его характеру, поступкам, творчеству ту целостность, которая могла бы стать «ключом» к расшифровке этой сложной натуры.

Автор не снимает возможности такой трактовки Гашека, но для него она скорее нечто производное. Хотя пафос работы Пытлика действительно заключается в стремлении целостно представить образ Гашека-человека и Гашека-художника, разгадку противоречий в его натуре он видит в другом — в том, что «Гашек был ребенком и остался им до конца жизни».

Это, по замыслу автора, и представляет собой искомый ключ к объяснению личности писателя и его творчества. По Пытлику, жизнь Гашека была подобна игре, даже больше того — она вся была игрой, в которой повседневность переплеталась с фантазией.

Игрой было и творчество. «Литературное творчество для него—лишь легкая бесцельная активность, предлог к развлечению и освобождению от напряжения совершенно так же, как шутка или рассказывание анекдотов»,— пишет автор.

По его мнению, этим и определялась исключительность, особитость творческого облика Гашека: «Воспринимать мир, как ребенок, означает открыться ему полностью, без остатка, сосредоточить огромное количество духовной энергии на данном моменте без оглядки на цель или возможные последствия. Это дает возможность увидеть вещи в красочном освещении новизны и неповторимости, без шаблона и искажающих условностей, с ощущением непосредственной радости от жизни».

Аргументация Пытлика не может здесь не вызвать сомнения: не слишком ли абсолютизирует автор эту детскость Гашека? Ведь если все было игрой, лишь «интенсивным переживанием данного момента», тогда игрой было и его смелое выступление в защиту бастующих рабочих пражских трамваев в 1912 году, стоившее ему места в редакции «Чешского слова». Лишь игрой было бы тогда и его участие в легионерском движении, когда он еще верил в освободительную революционную миссию чехословацкого войска. И, наконец, неужели только игрой была его поистине самоотверженная работа в Красной Армии, получившая такую высокую оценку и признание со стороны всех, кто работал бок о бок с ним?

Бесспорно, Пытлику удалось установить какие-то глубинные пласты сложной натуры Гашека, но, абсолютизируя его «детскость», импульсивность и пр., он отстраняет факторы мировоззрения, убеждений, жизненного опыта и тем самым закрывает себе путь к объяснению эволюции писателя, в особенности же — переломных этапов в его биографии и его важнейших решений, когда для него действительно стоял вопрос о жизни и смерти (например, разрыв с легионами весной 1918 года и переход на сторону советской власти).

А между тем сама книга Пытлика предоставляет для этого богатый материал. Описав полное лишений детство писателя, его скитания, позволившие ему хорошо узнать жизнь общественных низов и как бы впитать в себя их страдания и протест, наконец его собственное существование нищего литератора, человека, выброшенного из рядов общества, автор убедительно показал, что́ формировало мировоззрение Гашека, его характер. симпатии и антипатии, что́ определяло его творческое лицо и какие цели он мог ставить перед собой как писатель, как сатирик. И уж конечно не детская беззаботность была причиной тех припадков меланхолии, о которых не раз упоминает автор.

В самом деле, откуда у этого беспечного «ребенка» Гашека такие трагические ноты, такая пронзительная боль за человека, изувеченного уродливым социальным строем, такая сила обличения, какие мы находим в его сатирах-гротесках «Служебное рвение Штепана Брыха, сборщика налогов на пражском мосту», «Удивительное происшествие с Франтишеком Махулкой» и др. или в суровых реалистических рассказах «Над озером Балатон», «Когда разрушали старые стены» и, конечно, в «Швейке»? Сатира Гашека явно разрывает рамки игры.

Тезис о творчестве-игре по существу оспаривается и самим автором, в особенности когда он говорит об ответственном отношении Гашека к своему литературному труду: «Богемная безответственность по отношению к себе самому и к окружающему миру, его наполовину фантастический и наполовину подлинный миф становятся выражением искренности, никем не предполагаемой ответственности по отношению к творчеству».

Стоит вспомнить и то, как проникновенно, не без большой дозы горечи писала об этом и его первая жена Ярмила: «Он принес в жертву себя, мать, жену, ребенка, друзей — возложил все, что у него было, на алтарь правды...»

Игра предполагает бесцельность, играют ради самой игры. У Я. Гашека же была цель — творчество. И если вначале бродяжничество, мистификации, творческие импровизации в веселой компании пражской богемы и были у него только игрой, позволявшей хоть на время забыть о нищете и обо всем том пошлом и подлом, что его окружало, то постепенно они становятся и творческим импульсом, и почвой, с которой он собирал «урожай» для своих рассказов, и возможностью для проявления какой-то общественной активности, поскольку в то время в Чехии именно трактиры и рестораны были центрами общественной жизни. И Пытлик это тоже показывает.

А припадки меланхолии и разочарования были вызваны не только ощущением Гашеком своей «выброшенности» из общества, как пишет автор. По-видимому, здесь играла большую роль и тоска Гашека по настоящему большому общественному делу. Ведь как только ему казалось, что он такое дело нашел, сразу исчезали и резиньяция и скепсис и Гашек превращался в необычайно энергичного, целеустремленного, самоотверженного энтузиаста, целиком отдающего свое творчество на службу этому делу. Так было на первых порах его увлечения анархистским движением, позднее — в легионах и наконец — в Красной Армии.

Все эти факты приведены в книге Пытлика. И все они очень мало похожи на игру. Так уже сам добросовестно привлеченный автором биографический материал вносит серьезные коррективы в авторскую концепцию жизни и творчества Гашека как игры и по-новому освещает как его характер, так и социальный смысл его творческой работы.

Может быть, в какой-то степени миф о Гашеке оказал воздействие и на Пытлика. Вероятно, чешским исследователям трудно перешагнуть через него: слишком он живуч, слишком глубоко повлиял на воспоминания современников и на сознание последующих поколений. Поэтому оценки Гашека и все попытки объяснить его оказываются в той или иной мере под влиянием этого мифа.

Советские же исследователи зачастую смотрят на Гашека прежде всего сквозь призму его работы в Красной Армии, и это не удивительно: о его преданности делу революции, организаторском таланте и исключительной работоспособности с величайшим уважением говорил каждый из его соратников по Пятой армии, кто написал о нем хотя бы самое краткое воспоминание (С. М. Бирюков, В. В. Сорокин и др.). О всеобщем признании заслуг Гашека перед советским народом писал и чешский писатель Иван Ольбрахт по возвращении из поездки в Советскую Россию весной 1920 года. Расспрашивая о Гашеке, он слышал в ответ самые восторженные отзывы. И был очень удивлен, когда на его вопрос, не пьет ли Гашек, ему отвечали: «Нет!» А советские работники удивлялись вопросу Ольбрахта и удивлялись его удивлению.

По-видимому, дальнейшее исследование творчества писателя должно будет опираться на глубокое изучение его эволюции и социально-исторической обстановки, в которой он вырос, уяснение того, что он жил на грани двух эпох — на пороге глубочайшего кризиса капиталистического мира и зарождения совершенно новых социальных отношений, новых исторических перспектив. И он, мятущийся отщепенец буржуазного общества, отразил в своих исканиях и противоречиях эту «переходность» эпохи. Когда же на короткий срок он стал борцом за новый мир и одним из его созидателей, его импульсивность, бьющая через край энергия, которая в довоенной Праге выливалась в скандалы и нелепые мальчишеские выходки, нашла достойное применение, потому что он обрел высокую цель жизни, потому что его стихийный протест одиночки слился с организованной револю-

ционной борьбой масс, потому что в него поверили и он сам поверил в то дело, за которое боролся.

Тогда исчезло у него и ощущение безнадежности и угнетающее чувство собственной беспомощности. А не эти ли ощущения мучили его во время припадков меланхолии и не они ли в значительной степени были причиной его пьянства?

Поэтому и хотелось бы найти в книге больше материала о пребывании Гашека в Советской России и о том влиянии, какое оно оказало на его творчество, и в частности на «Швейка». Ведь не случайно Гашек снова обратился к Швейку по возвращении из России, и не случайно только после России образ Швейка стал таким многогранным и многозначным, так резко отличающимся от двух первых вариантов, а само произведение о нем переросло рамки обычных гашековских коротких рассказов и вылилось в монументальную сатирическую эпопею. Русский опыт не прошел для Гашека бесследно: и понимание им характера первой мировой войны и роли народных масс в истории («незаметных героев», по его терминологии), да и сама способность создать нечто столь социально и эстетически значимое пришли к нему лишь после участия в бурных событиях революции и гражданской войны в России.

Несмотря на то, что монография Р. Пытлика, с нашей точки зрения, нуждается в некоторых дополнениях, она основательно продвигает вперед изучение жизни и творчества чешского сатирика. С выходом в свет этой талантливой, проникнутой глубочайшим уважением и любовью к писателю книги ни один исследователь Гашека уже не может пройти мимо нее, не может не учитывать приведенных там материалов, наблюдений и выводов автора.

С. ВОСТОКОВА

ПАРОДИИ УИЛЬЯМА КУПЕРА

William Cooper. You want the right frame of reference. London, Macmillan, 1971.

Два молодых офицера, демобилизованные после второй мировой войны, едут на машине из загородного дома, принадлежащего Уайтхоллу. В обстановке приятного уик-энда в этом доме только что окончился отбор кандидатов на государственную службу. Молодые люди шутят, обсуждая проведенные над ними тесты, и таким образом читатель знакомится с главным персонажем романа — Тимоти (или Тимом) Барнеби-Смитом, состоятельным человеком из семьи книгоиздателей, и Артуром Холденом, сыном небогатого коллекционера и знатока старинных картин.

Проходит неделя, и именно эти двое оказываются отобранными на службу в Уайтхолл. Тимоти — безоговорочно, Артур — с небольшой оговоркой: при всех своих достоинствах он обладает чувством юмора, вовсе не обязательным на государственной службе... Тем временем, однако, приятели уже успели решить свою судьбу по-другому: по предложению Тимоти Смита Артур становится его компаньоном, и они готовятся открыть небольшое издательское дело, финансируемое богатым дядюшкой Недом.

Так начинается новый сатирический роман Уильяма Купера «Необходим верный критерий». Написанный легко и изящно, он вполне способен своим сюжетом заинтересовать даже тех читателей, от которых ускользнет, быть может, полемический подтекст, ради которого написана книга.

Уильям Купер хорошо известен в Англии и как прозаик (в свое время, когда он выпустил роман «Сцены из провинциальной жизни», его даже называли предшественником «рассерженной молодежи»), и как критик-публицист. Сторонник реализма в искусстве, Купер много лет совместно с Чарльзом Сноу боролся против различных проявлений модернизма в английской литературе, исходя при этом как из эстетических, так и из политических соображений. В середине 60-х годов Купер выпустил острополемичный очерк «Век сенсаций», направленный против так называемого «общества вседозволенности».

Тот, кто знает и автора романов «Сцены из провинциальной жизни» (1950), «Сцены из семейной жизни» (1961), «Мемуары нового человека» (1966), написанных талантливым юмористом и сатириком, и критика, шедшего часто против течения в своих остроумных, смелых статьях, не может удивиться, прочитав «Необходим верный критерий» — самую язвительную и, пожалуй, самую удачно построенную и ярко написанную из всех книг того же автора. Он ощутит сатирическую направленность нового романа Купера и поймет, что занимательная фабула вырастает на сатирическом фундаменте и даже ему подчинена.

Сначала молодые издатели сидят в тесном помещении и за одним столом, потом помещение становится просторней и компаньоны уже имеют отдельные столы. Дела издательства налаживаются, когда Барнеби-Смит и Холден нащупывают сенсацию и начинают печатать... писателей «рассерженной молодежи». В романе, впрочем, они названы иначе. Это «rebel writers» — «писатели-бунтари». Псевдоним намеренно прозрачен, как и пародийная характеристика трех авторов: Рона Фиттлуорта (Кингсли Эмиса?), Хауарда Шеббира (Джона Уэйна?) и Ив Годсел (по-видимому, Айрис Мердок, которую в свое время тоже причисляли к «рассерженной молодежи» 50-х годов).

Можно соглашаться и не соглашаться с трактовкой ранних романов Эмиса и Уэйна, тем более Айрис Мердок, как и с той интонацией издевки, которая характерна для романа Купера в целом. Но все страницы романа, посвященные «рассерженным», смешны и остроумны. Вместе с тем откры-

тие «писателей-бунтарей» лишь начало «открытий» Тима Смита.

Тимоти не лишен ни ума, ни порядочности, но он заражен духом авантюризма, отчасти под влиянием своей жены Венеции — поэтессы авангардистского направления. Не желая заботиться ни о судьбе издательства, ни о судьбе друга, Тимоти заключает необдуманные договоры и довольно скоро пускает начатое дело под откос. Но в то же время он умело делает свою личную карьеру. Всегда «присутствуя на крестинах», он, по меткому выражению писательницы Клариссы Джонс, «никогда не является на похороны». Отказываясь от одних знаменитостей в пользу других — новых, он забывает об устаревшей сенсации, отыскивая еще одну.

...Когда «писатели-бунтари» перестают быть сенсацией, Тим берется за публикацию переводов французского «нового романа», потом за английские подражания французскому писателю Гарде Робу (это, конечно, Роб-Грийе!). Когда Тим остывает к «новому-новому роману» (к «новой-новой поэзии», создаваемой его женой, он с самого начала равнодушен), он (к тому времени консультант государственной Комиссии по искусству и вскоре примет назначение на пост ее председателя) увлекается постановками Королевского Единорога (The Royal Unicorn), о том, что речь идет о театре Роял Корт, нетрудно догадаться. Новая сенсация — Театр Тошноты, то есть театр абсурда, если вспомнить, что «Тошнота» — название одной из ранних повестей Сартра. Пьеса «Кусок дерева», поставленная в Королевском Единороге, прозрачная пародия на «Годо», отчасти на «Ленту Краппа» Беккета... Но вот, забыв думать о судьбе своего издательства, председатель Комиссии по искусству знакомит Лондон с абстрактной скульптурой США... Кларисса Джонс, ставшая министром культуры в лейбористском правительстве, приходит взглянуть на экспонаты выставки, но чуть не ломает ногу, споткнувшись о кусок ковра — экспонат абстракционистов,— и приходит в ярость, увидя другой экспонат, живо напоминающий лошадиный навоз...

А Тимоти тем временем горячо ратует за свободу печати и отмену каких-либо ограничений в употреблении так называемых «непечатных слов».

Как этапы увлечений Тимоти за двадцать пять лет (ему двадцать шесть в первой главе и только что исполнилось пятьдесят в последней) перед читателем проходят в нарочито кривом зеркале куперовской едкой насмешки—остроумной, но подчас гротескной — различные этапы культурной жизни страны. Эротическая, точнее порнографическая поэзия Венеции Смит, как и «новая музыка» Филис, жены Артура,— лишь штрихи, дополняющие картину, лишь нюансы на большом, порой очень злом полотне романа.

Разведясь с Венецией и успев уже начать новый захвативший его роман с девушкой по имени Среда, Тимоти ощущает себя на гребне успеха. «Его надо убрать из этой страны,— говорит Кларисса Джонс Артуру Холдену,— пока он не погубил окончательно наше национальное искусство!»

И Тиму помогают принять предложение крупного американского треста, покровительствующего «новым течениям» в искусстве. Здесь он может безбоязненно возглавить соответствующую комиссию: американские деньги тратятся легче английских...

Что ожидает Тимоти в Нью-Йорке, уже не так важно в замысле Купера. Важнее другая страница финала. Убрав из Англии Тимоти Смита, Кларисса Джонс отправляется с Артуром Холденом в Королевский Единорог, где только что была запрещена пьеса «Уоррингтон» — очевидно, подражание театру жестокости. Около здания театра происходит демонстрация протеста против запрещения спектакля.

«Разум долой! Разум долой!» — скандируют ценители «передового искусства», поведение которых напоминает приступ массовой истерии. Чем все это кончится, Купер предоставляет догадаться читателю.

«Необходим верный критерий» — новое выступление Купера в защиту реалистического искусства.

В романе есть просчеты, преувеличения (правда, чаще всего совершенно намеренные), сатирические передержки. Но он написан ярко, с большой силой убежденности.

И невозможно воздержаться от сопоставления: финал книги Купера — книги маститого мастера — почти дословно совпадает с финалом книги молодого прозаика Джулиана Митчела «Ненайденная страна» [1], где манускрипт самоубийцы, пришедшего в отчаяние от мира бессмыслицы и абсурда, заканчивается словами: «Черно, черно, черно, черно...» Западный мир, по мнению У. Купера, бьется в припадке безумия. Одним из проявлений этого безумия для него является крайний авангардизм в искусстве. Не предлагая рецептов для лечения болезни, он ограничивается энергичной констатацией ее наличия.

В. ИВАШЕВА

[1] См. статью В. Ивашевой «Три новых имени» в «Иностранной литературе» № 7, 1971 г.

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

О ДЕЛАХ ИЗДАТЕЛЬСКИХ

По сообщению газеты «Морнинг стар», представители английских издательских фирм, распространители книг и писатели собрались недавно в Зале конгрессов Британского совета профсоюзов, чтобы обсудить положение с изданием художественной литературы.

Суть проблемы заключается в том, что выпуск книг в Англии все больше и больше сосредоточивается в руках немногих крупных коммерческих издательств, которые фактически контролируют творчество писателей.

Протестуя против монополизации издательского дела, писатели Алан Бернс, Б. С. Джонсон и Ст. Баллард высказались за создание кооперативного издательства и писательского профсоюза. Работники издательств и авторы, заявили они, должны выступать единым фронтом в борьбе за справедливую оплату их труда. Ни для кого не секрет, сказал Б. С. Джонсон, что писатель в Англии не может существовать на свой литературный заработок.

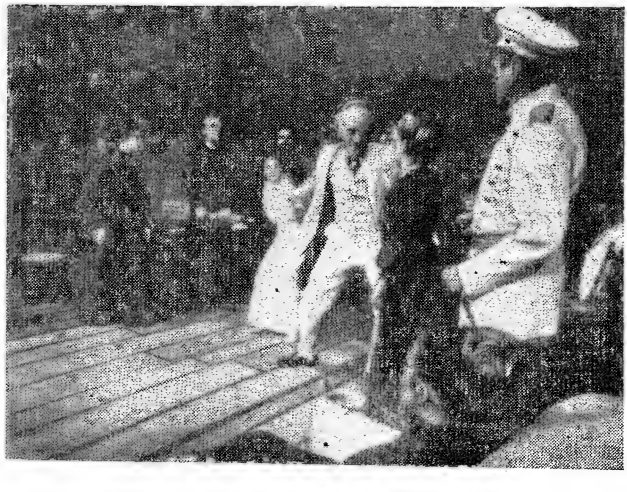
РОМАН ПЕПЕЛОНЫ МОРТИМЕР «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»

Уже первая книга молодой писательницы Пепелоны Мортимер «Тыквоед» привлекла внимание английской критики и читателей.

Недавно издательство Хатчинсона выпустило новый роман молодой писательницы «Семейный очаг», получивший отклики в прессе. Обозреватель «Таймс литерари саплмент» назвал эту книгу «мужественным романом об отчаянии», а газета «Трибюн» — «безжалостным портретом мира, управляемого мелкими, корыстными интересами».

В Лондонском театре «Олдвич» с большим успехом идет пьеса М. Горького «Враги».
«Это сильная, великолепная драматургия,— пишет театральный критик Мартин Эссмин,— пьеса полна напряженного действия, неожиданных сюжетных поворотов и ярких самобытных характеров». На снимке сцена из спектакля.

(Журнал «Плейз энд плейерз»)



КНИГА О СОБЫТИЯХ В БЕЛФАСТЕ

Книгу репортажей под названием «Белфаст, август 1971 — дело, подлежащее расследованию», о событиях в Белфасте, создали старший преподаватель Политехнического института в Лидсе Эрик Престон и преподаватель Бредфордского университета Дэнни Кеналли. Они были очевидцами репрессий английских войск против мирного населения Ольстера.

Авторы книги собрали много свидетельских показаний, заявлений, сделанных интернированными борцами за свободу Северной Ирландии. Они описывают, как ведут себя на этой земле распоясавшиеся английские каратели.

АЛЖИР

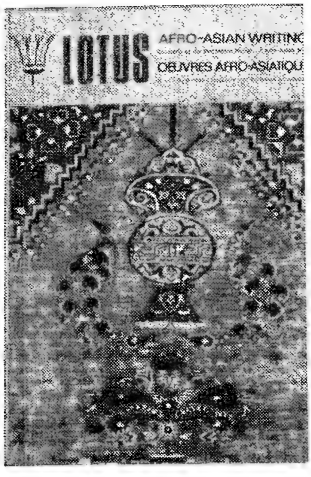
ИЗДАНИЕ РАБОТ АЛЖИРСКИХ УЧЕНЫХ

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», национальная компания по публикации и распространению книг в Алжире издала несколько новых работ алжирских ученых. Среди них — книга «Шейх Абд аль-Хамид Бен Бадис. Его философские взгляды и деятельность в области просвещения и образования» Турки Рабиха, «История периодической печати в Алжире» Збира Сейф аль-Ислама и «Научное мышление Ибн-Хальдуна» Бен Аммара ас-Сагира.

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ

«ЛОТОС», 9

Вышел в свет девятый номер ежеквартального журнала «Лотос». Издаваемый в Каире на арабском, английском и французском языках по решению Бейрутской конференции писателей стран Азии и Африки (1967 год), журнал ставит своей целью содействовать «широкому распространению литератур двух континентов, освобождению культуры из-под господства колониализма и неоколониализма, развитию афро-азиатской литературы, выявлению и поддержке всего, что в ней есть ценного и нового».



Обложка журнала «Лотос».

В номере широко представлены прозаики и поэты разных стран, среди них Фаиз Ахмад Фаиз (Пакистан), Абдель Ваххаб аль-Баяти (Ирак), Гэбриел Окара (Нигерия), Джеймс Нгуги (Кения), Николай Тихонов, Расул Рза, Мустай Карим (СССР) и другие.

Специальный раздел посвящен первым лауреатам премии «Лотос» — Махмуду Дервишу (Палестина), То Хоаю (Вьетнам), Алексу Ла Гуме (ЮАР), Зульфии (СССР), Агуштинью Нету (Ангола).

В номере помещены также материалы Делийской конференции писателей стран Азии и Африки: выступление премьер-министра Индии Индиры Ганди, доклад генерального секретаря афро-азиатской писательской организации Юсуфа ас-Сибаи и речь индийского писателя Мулка Раджа Ананда.

БОЛГАРИЯ

НОВЫЕ КНИГИ О ГЕОРГИИ ДИМИТРОВЕ

18 июня исполняется 90 лет со дня рождения Георгия Димитрова. Пловдивское издательство имени Хр. Г. Данова и парижское издательство «Сегер» осуществили совместный выпуск на болгарском и французском языках книги Камена Калчева «Георгий Димитров».

Писатель не в первый раз обращается к теме жизни и деятельности вождя болгарского народа, которому он посвятил роман «Сын рабочего класса» и повесть «Пути расходятся». Новая книга представляет собой биографический очерк, написанный К. Калчевым на строго документальной основе.

«Особенно ценно в книге К. Калчева,— пишет еженедельник «Литературен фронт»,— писательское умение одухотворять биографические данные, воссоздавая монументальный образ... Не будучи романом, книга Калчева о Георгии Димитрове читается с увлечением, как произведение, в котором обрисована исключительная историческая личность, имеющая мировую известность и значение».

Великое и необыкновенное в сочетании с человеческим, «будничным» в жизни и быте замечательного деятеля современности отражено, как отмечает «Литературен фронт», в книге воспоминаний П. Игнатова «Сердце, открытое всем». П. Игнатову посчастливилось быть рядом с Георгием Димитровым — сначала в его охране, а затем личным секретарем с 1948-го до трагического 2 июля 1949 года.

Не только читатели, но и писатели, подчеркивает газета, найдут в этой книге драгоценные детали, свидетельствующие о неподдельной скромности и человеческом обаянии того, кто может служить образцом коммуниста и современного героя.

ВЕНГРИЯ

«ОТКРЫТИЕ ВЕНГРИИ»

Венгерские ученые, литературоведы, критики придают сегодня огромное значение литературе факта и рассматривают ее как жанр художественной литературы, называя этот жанр художественной социографией.

Венгрия по праву считается одной из родоначальниц литературы факта. Тридцать пять лет прошло с тех пор, как известный венгерский поэт Дердь Шаркёзи, тогдашний литературный директор одного из крупнейших венгерских издательств «Атенеум», выдвинул идею создания серии «Открытие Венгрии» и стал ее основателем и редактором. Обращаясь к писателям, он говорил: «Изучение венгерской действительности происходит стихийно, пора наконец объединить наши силы».

Первая книга серии «Открытие Венгрии» вышла в 1937 году. Это был сборник художественных очерков социографического характера писателя Гезы Фея «Уголок бурь». Так называют юго-восточные районы Венгрии, славившиеся в прошлом особенно активными выступлениями сельскохозяйственного пролетариата против эксплуататоров. Книга Фея глубоко социальна, она рассказала читателю об ужасающей нищете трудящихся в этих районах. Книга подверглась резким нападкам со стороны властей, но в ее защиту выступила прогрессивная печать. В тех условиях издание книги было большим мужеством, открытым выступлением против террористического режима Хорти...

Прошло несколько десятилетий, но традиции этого издания свято хранят и современные писатели.

Издательство «Сепиродалми», выпускающее сегодня серию «Открытие Венгрии», планирует ежегодно издание двух-трех книг. Уже увидели свет и завоевали признание читателей такие книги, как «Горящее золото» Габора Мочара, которая рассказывает о трудных буднях мужественной профессии нефтяников; Варги Домокоша «Лесники», о верных друзьях леса — лесниках; Ференца Эрде «Город и провинция», дающая глубокий социологический анализ проблем, связанных с городом и деревней; и, наконец, только что вышла книга Дердя Молдовы «Мое почтение городу Комло» — о вчерашнем и сегодняшнем дне города венгерских шахтеров.

Готовятся в свет книги Антала Вега, Ференца Кунсабо, Тибора Зама, Шандора Ласло Бенчика.

Критик Балаж Лендьел в статье о литературе этого жанра отмечает: «Материалы в этих книгах переосмысливаются людьми, понимающими силу влияния искусства. Хорошо известно, что у познания есть два пути, принципиально отличающиеся друг от друга: научное познание и познание художественное. Как одно, так и другое раскрывают различные сферы действительности. Но также известно, что в области общественной жизни используются оба вида познания, и именно этот синтез свидетельствует о том, что искусство может обогащать науку, а наука — искусство».

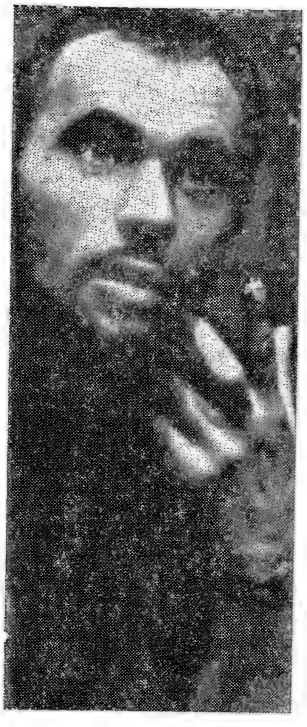
ЛАЙОШ ГАЛАМБОШ — ДРАМАТУРГ

Советским читателям хорошо известно творчество венгерского прозаика Лайоша Галамбоша. Его повесть «Терпкая лоза» была напечатана на страницах журнала «Иностранная литература». Издательство «Прогресс» выпустило его роман «Осенняя звезда», рассказы Л. Галамбоша публиковались в разных сборниках.

Недавно Лайош Галамбош выступил в жанре драмы: будапештский театр «Вигсинхаз» осуществил постановку его пьесы «Капитуляция». Новое произведение писателя рассказывает о революции 1848—1849 годов.

В беседе с главным режиссером театра Золтаном Варкони, опубликованной на страницах журнала «Фильм - синхаз - мюжика», Лайош Галамбош сказал:

«Моя пьеса воссоздает события прошлого, но она многими нитями связана с современностью. Главный герой, Имре Кенез, говорит в пьесе: «В жизни бывают революционеры и реакционеры. Стало быть, третьего пути нет...» Это,— подчеркивает Галамбош,— относится и к сегодняшнему дню...»



Актер Габор Конц в роли Имре Кенеза.
(Журнал «Фильм-синхаз-мюжика»).

ГДР

РАССКАЗЫ ЕНДРИШИКА

Недавно издательство «Хинсторф» выпустило второй сборник рассказов молодого писателя Манфреда Ендришика под названием «Факел и борода».

Манфред Ендришик известен советскому читателю по рассказам, опубликованным в «Иностранной литературе» (№ 10, 1965 г.).

В новом сборнике 33 рассказа. Он поделен на две самостоятельные части: «Письма о революции» и «Легенды о легендах».

Первая часть посвящена борцам-антифашистам, революционерам. Тут рассказы о Франце Обриоре, руководившем в двадцатых годах партийной ячейкой; о мастере—преподавателе ремесленного училища; о скромной женщине, сдающей комнаты внаем. Последний рассказ рецензенты особо отмечают: женщина, ведущая неприметную жизнь, кажется окружающим странной, а теплое молоко, которым она поит своих жильцов,— одной из ее причуд. Только случайно становится известным, что у этой женщины был убит сын-революционер, и она не может не заботиться о тех, кого считает продолжателями его дела.

Вторая часть сборника не связана с историей, она рассказывает о человеческих судьбах, о повседневной жизни, о горестях и радостях людей, которых писатель видит вокруг себя.

«Почему вы назвали свою новую книгу «Факел и борода»?» — спросил корреспондент еженедельника «Зонntаг» у писателя.

«Я использовал здесь афоризм известного писателя и мыслителя XVIII века Лихтенберга: «Нужно светить огнем истины, не поджигая своей бороды». Это символическое название, которое как бы дает мне возможность показать, как герои моих рассказов видят свет этой истины, как на них повлияло революционное прошлое и как влияет наша сегодняшняя жизнь на их психологию, на формирование их идеалов, словом, как общество влияет на человека.

Я принадлежу к поколению, родившемуся во время второй мировой войны, для меня те годы и первые годы после войны стали историей. Мне хотелось сказать что-то от имени этого поколения. Очень помогли мне в работе над рассказами старые коммунисты, с которыми я много встречался в последние годы. Что касается двух разных стилей моих рассказов, то я считаю, что они как бы дополняют друг друга. Ведь не только в событиях, связанных с историей и борьбой, могут создаваться конфликтные ситуации и выявляются характеры людей. Мне хотелось рассказать и о юноше, который впервые услышал соловья и задумался о прекрасном в жизни, и о зрелом человеке, который решает для себя вопрос о том, как ему жить дальше,—то есть рассказать о том, что, на мой взгляд, очень важно: о счастье человека, о развитии его личности.

Не знаю, насколько мне это удалось, но я старался в своей новой книге дать органическое, диалектическое единство этих, на первый взгляд таких разных, рассказов».

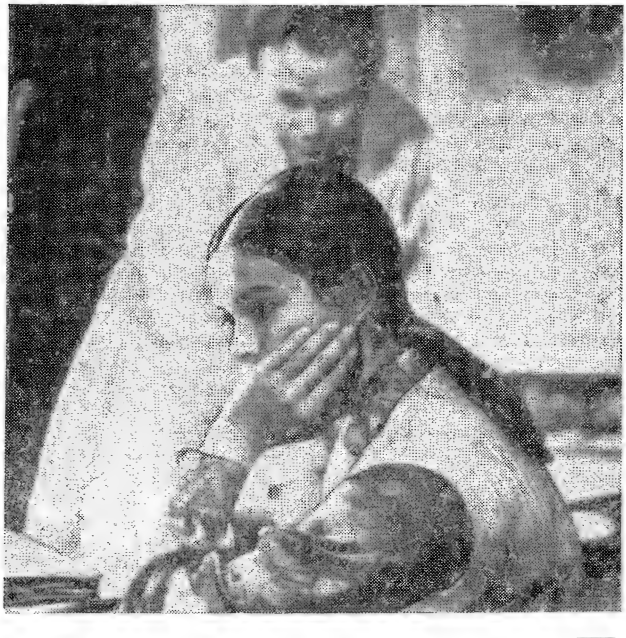
В рецензиях, помещенных в прессе ГДР, отмечается, что в новом сборнике Манфред Ендришик показал себя зрелым мастером, что «жизненные горизонты писателя стали шире, темы многообразнее, язык богаче и уверенней».

ПЬЕСА АРМИНА МЮЛЛЕРА

Семнадцатилетняя Франциска переживает первое жизненное испытание. Она полюбила молодого рабочего Хольгера, что привело к столкновению с окружающими. Сначала — с ее учителем Фиртхалером, считающим себя ответственным за воспитание молодежи. Ранняя любовь Франциски подрывает его представление о морали. Именно он, своей прямолинейностью, своими воспитательными методами, «сигнализируя о непорядках», приводит к разладу в семье Франциски. Измученная бестактностью и нечуткостью окружающих, девушка впадает в отчаяние и ссорится с Хольгером. Помощь является вовремя: в лице умного и тонкого человека. Это Хюбнер, он тоже учитель. Благодаря его умелому вмешательству

Росвита Маркс — в роли Франциски и Манфред Гейне — в роли Фиртхалера в спектакле «Франциска Лессер».

(Журнал «Театер дер цайт»)



Франциска возвращается к учебе и мирится с любимым человеком.

Таков краткий сюжет пьесы Армина Мюллера «Франциска Лессер», поставленной в Веймарском Национальном театре. Это — первая театральная пьеса драматурга, известного в Германской Демократической Республике своими радиопьесами, сценариями и поэтическими произведениями. Интересно поставленная режиссером Эккехардом Кизеветтером, который не в первый раз обращается к молодежной теме, пьеса Мюллера привлекла большое внимание и зрителей и прессы.

«Мюллер не просто поставил давний и вместе с тем вечно новый вопрос «отцов и детей». Его пьеса — об ответственности и честности, об умении понимать молодежь и о том, чтобы на трудные вопросы молодых старшие отвечали бы умно и тонко, не уходя от сложностей»,—пишет рецензент журнала «Театер дер цайт».

«Я считаю, что проблемы, волнующие молодежь, волнуют и старшее поколение,— сказал Армин Мюллер в беседе с сотрудницей журнала.— Поэтому на вопрос, который мне задают: на какого зрителя рассчитана моя пьеса, я могу ответить: на зрителей самого разного возраста».

ЮБИЛЕЙ «НДЯ»

Ведущий литературный журнал ГДР «Нойе дойче литератур» («НДЛ», орган Союза немецких писателей) отметил свое двадцатилетие.

В редакционной статье, которой открывается первый номер журнала «НДЛ» за 1972 год, отмечается, что за 20 лет вышло около 250 номеров журнала общим объемом в 50 000 печатных страниц. Журнал распространяется в 25 странах мира.

Как отмечается в статье, главное в работе журнала— пропаганда лучших произведений немецкой социалистической литературы.

Говоря о задачах, стоящих перед журналом, авторы статьи пишут: «Возможности творческого воздействия нашего журнала на читающую публику далеко не исчерпаны. Мы всемерно должны способствовать дальнейшему повышению активности наших читателей... Деятельность нашего журнала всегда служила и будет служить осуществлению гуманистической программы руководящей партии рабочего класса».

ГРЕЦИЯ

«ГИБКОСТЬ» ЦЕНЗУРЫ

Правительство «черных полковников» из кожи лезет вон, чтобы доказать недоказуемое: будто в стране существует свобода, демократия и человеческие права. Власти пошли даже на то, что официально отменили так называемый «индекс» — то есть список произведений греческих и зарубежных авторов, запрещенных в стране. Недавние события показали, что и это — не более чем уловка.

Как сообщает в разделе «Комментарии» английский еженедельник «Таймс литерари сапплмент», Генеральный директорат общественной безопасности Греции выпустил циркуляр, в котором перечислены книги и периодические издания, официально рассматриваемые как «коммунистические» и «антиправительственные». Всего в новом списке—124 названия книг. Здесь уже знакомые нашим читателям «Восемнадцать текстов» (см. сообщение в «ИЛ» № 3, 1971 г.), содержащие короткие рассказы о современной Греции. Нежелательными оказались также пьесы Бертольта Брехта, «поскольку их автор — немецкий коммунист», короткие рассказы А. П. Чехова, ввиду того, что они «намеренно повышают интерес к русской литературе», роман «Леопард» итальянского писателя Джузеппе ди Лампедузы, поскольку это «левая литература», «Пустое пространство» Питера Брука как произведение «социалистическое». Кроме того, в список попали Максим Горький, Петер Вейс, Анри Труайя и другие авторы.

ДАНИЯ

«ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН И ХЕЙБЕРГ»

Издательство «Политикен» выпустило в свет книгу Нильса Биргера Вамберга «Ханс Кристиан Андерсен и Хейберг». Рецензент «Ланд ог фольк» Ханс Сёренсен пишет в связи с этим:

«В 1840 году Копенгаген был маленьким городком с тысячей жителей. После Венского конгресса 1815 года Дания потеряла половину своей площади, а с утратой Норвегии — около трети населения. Но столица обнищавшего государства, «маленький городок» Копенгаген прославился на весь мир, потому что в нем жили и творили гениальные датчане — поэты, художники, философы, ученые. Имена Торвальдсена, Сёрена Кьеркегора, Грундтвига по сей день известны далеко за пределами Дании. Но, пожалуй, самое известное из всех — имя Ханса Кристиана Андерсена».

Книга рассказывает о жизни и творчестве Андерсена в 20—30-е годы прошлого столетия. В те времена путь к литературному признанию лежал через сцену, и знаменитый сказочник пытался осуществить свою недостижимую мечту — одержать победу в театре как драматург.

Подражательные трагедии и драмы Андерсена не имели успеха у публики, но писателю было трудно объективно судить о причинах своих творческих неудач в той атмосфере литературных раздоров, интриг, зависти и недоброжелательства, которые окружали его. Главным виновником своего неуспеха в театральном мире Андерсен был склонен считать цензора Королевского театра Иохана Хейберга. Отношениям этих двух людей посвящены основные главы книги. В ней

приводятся выдержки из переписки Хейберга с дирекцией театра, его высказывания о пьесах Андерсена.

Книга Вамберга сообщает много интересных сведений о литературной и театральной жизни в Дании первой половины прошлого века, дополняя тем самым биографию всемирно известного сказочника Ханса Кристиана Андерсена.

ПАМЯТНИК ЙОРГЕНУ ЙОРГЕНСЕНУ

В Копенгагене состоялась церемония открытия памятника-бюста выдающемуся датскому деятелю культуры, профессору института философии при Копенгагенском университете Йоргену Йоргенсену. Бюст создан скульптором Мортеном Нильсеном и приобретен университетом на средства давних почитателей Йоргена Йоргенсена, культурного фонда Копенгагенской коммуны и министерства культуры Дании.

В течение 15 лет Йорген Йоргенсен возглавлял Общество дружбы «Дания — СССР» и во многом способствовал укреплению дружеских и культурных связей между народами обеих стран. Об общественной деятельности профессора Йоргена Йоргенсена рассказал собравшимся на церемонии председатель Общества дружбы искусствовед и балетмейстер Аллан Фредерициа.

ИНДИЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СУРДАСА

Как сообщает журнал «Брадж бхарати», в городе Матхуре (штат Уттар-Прадеш) состоялось торжественное заседание «Ассоциации литературы на языке брадже», посвященное «Сур-джаянти» — дню рождения Сурдаса — одного из величайших поэтов Индии, жившего в XVI в. Монументальное произведение Сурдаса «Сур-сагар», воспевающее жизнь и деяния бога-пастуха Кришны, написано на брадже, который по традиции считается диалектом хинди. «Сур-джаянти» почитается как национальный праздник населения западных областей современного штата Уттар-Прадеш.

Заседание состоялось на открытой площадке в парке, примыкающем к «Библиотеке древних рукописей», под председательством известного общественного деятеля Рамешчандра Шармы. С сообщениями о жизни и творчестве Сурдаса выступили местные ученые д-р Бхагван Сахай Пачори, Сароджини Кульшрештх и д-р Васудэв Кришна Чатурведи. Свои стихи на брадже, посвященные памяти Сурдаса, прочли местные поэты Амритлал Чатурведи, Динанатх Суманеш и др., а известный певец Лакшман Чатурведи исполнил строфы из песен-гимнов Сурдаса.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В связи с изменениями в культурной политике правительства Индии национальный кинорынок избавился наконец от многолетнего засилия Голливуда, пишет в журнале «Линк» известный критик Хабиб Танвир. В этих условиях открывается широкое поле для проката кинокартин из стран Азии и Европы.

На современном этапе экономического и культурного развития национальное киноискусство Индии должно целиком и полностью освободиться от длительного пагубного влияния американского коммерческого кино. В этом направлении энергично работает группа молодых режиссеров бенгальского экрана, вносят свой вклад и молодые художники бомбейских студий. Часть из них ставит подлинно оригинальные фильмы на национальном материале.

Преодолевая трудности и выходя на самостоятельную дорогу, индийское кино сегодня, более чем когда-либо, нуждается, по мнению критика, в интернациональных связях. И среди тех, на чью помощь Индия может рассчитывать в первую очередь, Хабиб Танвир называет Советский Союз, связь с которым особенно важна, поскольку советские фильмы обладают большой художественной ценностью.

Советское кино достигло сегодня самого высокого уровня в мире, заявляет критик. Молодые советские режиссеры, блестяще овладев славными традициями национальной школы, основанной такими мастерами, как Пудовкин и Эйзенштейн, идут в первых рядах современного киноискусства и получают неизменное признание на международных фестивалях. Успешное развитие экономического и культурного сотрудничества между Индией и СССР открывает широкие возможности для индо-советского культурного обмена, в том числе в области кино, говорит в заключение критик.

ЮБИЛЕЙ «РАМАЯНЫ»

По сообщению журнала «Индиан ПЕН», в 1974 году вся Индия будет отмечать 400-летие эпической поэмы «Рамаяна», принадлежащей перу Тулси Даса, великого поэта индийского средневековья. В Дели создан юбилейный комитет во главе с премьер-министром Индии Индирой Ганди. В августе 1970 года Индира Ганди официально открыла юбилейные торжества, которые будут продолжаться четыре года.

Известно, что к созданию своей бессмертной поэмы Тулси Дас приступил, находясь в городе Айодхья (в современном штате Уттар-Прадеш) в день праздника Рам-навами в месяц чайтра 1631 года эры Викрамадитьи, то есть 30 марта 1574 года — по христианскому летосчислению, а закончил ее спустя несколько лет в Каши (ныне — Бенарес, или Варанаси). «Рамаяна» Тулси Даса написана на авадхи, который по традиции, идущей со времен английского господства над Индией, считается диалектом восточного хинди.

Ко дню рождения поэта 29 июня делийское издательство «Нэшнл бук траст»

опубликовало биографию Тулси Даса, подготовленную проф. Девендрой Сингхом.

ИТАЛИЯ

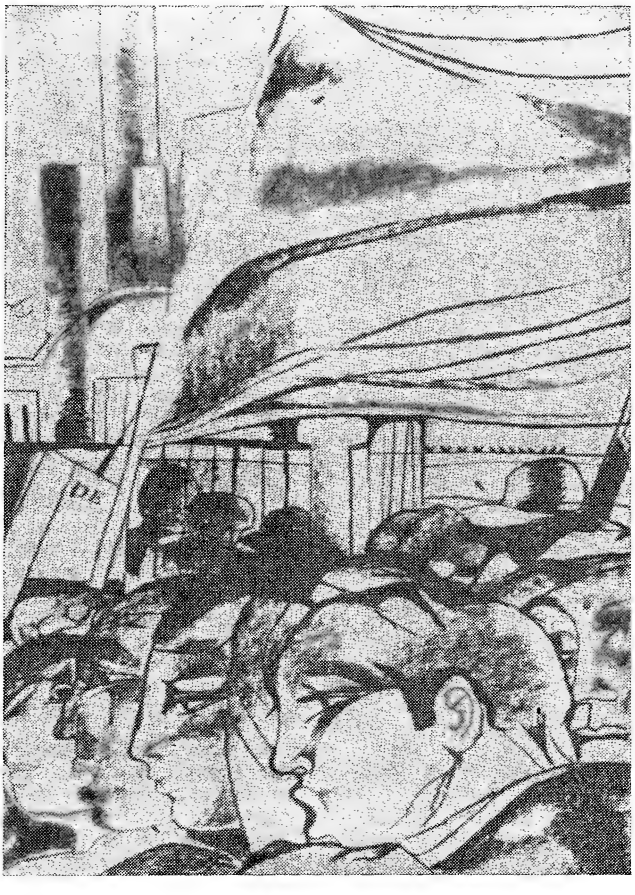
«8 СЕНТЯБРЯ»

Так называется новый спектакль, с которым гастролировал в итальянской столице Генуэзский драматический театр и который привлек широкое внимание как театральной критики, так и зрителей. 8 сентября — знаменательная дата в истории итальянского народа. В этот день в 1943 году капитулировала фашистская Италия и новое итальянское правительство, возглавляемое маршалом Бадольо, заявило о том, что становится союзником антигитлеровской коалиции в войне против нацистской Германии.

Пьеса—своеобразное произведение современного левого политического театра — написана тремя авторами: видным драматургом и режиссером Луиджи Скуарцина (советскому зрителю знакома его пьеса «Романьола», с успехом идущая на нашей сцене, а также другие спектакли, которые привозил в СССР на гастроли руководимый им Генуэзский театр), Энцо Де Бернартом и Руджеро Дзангранди. В основе ее — богатый документальный материал, собранный покойным историком и публицистом коммунистом Дзангранди.

Действие спектакля охватывает короткий, но насыщенный событиями период с 25 июля 1943 года — момента отставки и ареста Муссолини — до 8 сентября того же года, когда Италия, подписавшая перемирие с союзными державами, объявила войну гитлеровской Германии и сразу же подверглась оккупации гитлеровскими войсками. В этот переломный момент в истории Италии на борьбу с захватчиками поднялись все антифашистские и патриотические силы страны.

Число действующих лиц в пьесе весьма велико — 65.



«Забастовка». Картина известного итальянского художника Фернандо Фарулли из цикла работ, посвященных итальянским трудящимся.

(Газета «Паэзе сера»)

Среди них много исторических персонажей — от короля Виктора-Эммаиуила III и Муссолини до руководителей антифашистского и партизанского движения, деятелей политических партий тех лет.

Весьма волнующей была премьера в Риме: по залу театра «Ардженгина» ходил один из актеров и по очереди обращался к присутствовавшим в зале антифашистским политическим деятелям — подлинным участникам событий тех лет: Луиджи Лонго, Пьетро Ненни, Ферручо Парри, Риккардо Ломбарди и другим. По сети внутреннего телевидения изображения интервьюируемых проецировались на большой экран, находящийся на сцене, звучали их голоса. Затем на экране появились тексты документов тех лет, и после этого введения начался спектакль.

На пресс-конференции, устроенной в связи с премьерой в Риме (впервые спектакль был показан в Генуе в прошлом году), выступил Скуарцина. При подготовке к римской премьере, сказал он, были учтены некоторые критические замечания, весьма полезные особенно для такого рода спектаклей. Драматург-режиссер выразил надежду, что «8 сентября» заинтересует молодых

зрителей. «Ныне,— сказал он, — более чем когда-либо необходима работа по контринформации, ибо школьные учебники уделяют очень мало внимания столь важным проблемам итальянской истории, а если уделяют, то трактуют их цинично и необъективно». На вопрос о том, есть ли в пьесе «интрига», Скуарцина ответил: «Это елизаветинская драма, только в современных мундирах защитного цвета; это драма, которую пережили все итальянцы моего поколения». Пьеса шла на сцене римского театра «Арджентина» ежедневно в течение месяца.

КРАСНОРЕЧИВАЯ СТАТИСТИКА

Вопрос о кризисе книги в Италии явился темой обсуждения на совещании за «круглым столом», происходившим в Риме под девизом: «Проблемы итальянского издательского дела сегодня».

В совещании участвовали главы и представители крупнейших книгоиздательств, общественных и культурных организаций. В ходе обсуждения его участники согласились в том, что если объем книжной продукции в Италии, по мнению некоторых, является более или менее удовлетворительным, то потребление книг (покупка и пользование в библиотеках) несомненно остается чрезвычайно низким по сравнению с другими странами.

По оглашенным данным, в Италии на каждого жителя в год приходится две новые книги, а покупается в среднем полторы. Библиотекам требуется минимум 30 миллиардов лир, ассигнуется же только 12.

В 1970 году было издано 108,5 миллиона экземпляров книг; свыше 14 тысяч названий книг имеют в среднем тираж немногим более 7 тысяч. Выпуск школьных учебников сократился. Две трети выпускаемых книг — переиздания. Средняя цена книг остается высокой — 2 тысячи лир.

Весьма характерным явлением для книжного рынка Италии ныне стало «возрождение» старой приключенческой литературы, «розовых» и «черных» романов прошлого века и начала нашего столетия. Самой популярной писательницей среди определенного круга читателей (молодые девушки и домохозяйки) становится вновь итальянская писательница Каролина Инверницио, умершая в 1916 году. Ее душещипательные романы «Поцелуй покойницы», «Месть безумной», «Счастье—в преступлении», «Похитители чести», «Современная грешница» и тому подобные издаются большими тиражами и пользуются спросом, особенно в провинции. На издании подобного чтива специализируются главным образом католические и мелкие издательства.

Среди наиболее уважаемой «классики» — книги Дюма, Эжена Сю, Ксавье де Монтепена, Анны Рэдклиф, а из итальянских авторов — Гуидо да Верона. Вновь популярен итальянский писатель Дэлли (псевдоним двух авторов—брата и сестры, умерших в начале 50-х годов), писавший «розовые» романы «для барышень», сейчас выпущено 88 названий книг Дэлли в серии «Романы розы».

Из ныне здравствующих авторов «розовых» романов по-прежнему популярна Лиала Сорди-Негретти. Эта девяностолетняя писательница живет в провинциальной тиши и продолжает создавать свои низкопробные сентиментальные творения, которые выходят и отдельными книгами, и печатаются в женских журналах. Ныне переиздано 14 ее романов, а последний (1971 год) «Вернись, грусть» издан двадцатитысячным тиражом — цифра для Италии довольно редкая.

Издание «розовых» и «черных» романов стало столь выгодным и надежным делом, что, например, кинозвезда Джина Лоллобриджида на свои капиталы купила католическое издательство Салани, в свое время специализировавшееся на издании «книг для юношества», а именно — романов Инверницио, Дэлли и им подобных авторов.

Сообщая обо всем этом, римские газеты меланхолично добавляют, что классикам мировой литературы и серьезным современным писателям и не снились в Италии такие тиражи и такая популярность.

Паола Питагора, известная актриса театра и кино, в фильме молодого режиссера Эрипрандо Висконти «Истинное и ложное», разоблачающем судебный произвол.
(Газета «Унита»)

ИРАК

НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ

По сообщению журнала «Аль-Адиб», иракская исследовательница литературы Хая Шарара опубликовала книгу «Л. Толстой как художник». Книга, как указывается в сообщении, напечатана при содействии Багдадского университета.

«Аль-Адиб» пишет также о ряде других работ иракских авторов, намеченных к изданию или уже опубликованных.

Среди недавно опубликованных работ — «Ибн Баттута и его путешествие», книга о великом арабском путешественнике XIV столетия, написанная известным писателем Шакиром Хасбаком.

В числе готовящихся к изданию книг — «Болгарские рассказы» в переводе Кемаля Батты.

КЕНИЯ

«ПРОЦЕСС КРИСТОФЕРА ОКИГБО»

В серии «Африканские писатели» издательства Хейнемана, насчитывающей уже более 108 названий, вышла книга «Процесс Кристофера Окигбо». Ее автор — уроженец Кении, профессор Али Мазруи, ныне возглавляющий отделение политических наук Макерере колледжа в Кампале (Уганда). Мазруи — автор ряда книг: «Путь к «Pax Africana», «Насилие и мысль», «Протест и власть в Черной Африке» и др.

«Процесс Кристофера Окигбо» — своеобразная публицистика в форме фантастической повести. Действие происходит в «загробной Африке», куда попадают после смерти африканцы. Это мир, где власть аллаха не исключает довольно демократической власти выборных старейшин, мир, где не исчезли чувственные удовольствия земли (еда, женщины, развлечения, футбольные матчи).

Молодой нигерийский поэт Кристофер Окигбо, в 1967 году убитый в бою на стороне Биафры, подлежит суду в «загробной Африке», и этот суд — символ приговора истории, оценки потомками гражданской войны в Нигерии. Обвинитель вменяет в вину Окигбо, что он, выдающийся поэт, изменил искусству ради политики. Эту вину Окигбо суд счел недоказанной. Но в показаниях свидетелей-нигерийцев Мазруи подчеркнул жестокость и трагические итоги войны — гибель тысяч мирных жителей. Приговор суда: эти жители Биафры не виновны, они имели основания для страха. Но бойцы Биафры виновны, так как за годы войны погибло больше людей, чем за три недели погромов 1966 года на севере. Противники же Биафры невиновны, ибо, по мнению Мазруи, правы те, кто не хотел допустить распада единства Нигерии. А оно — «эмбрион единства Африки». Мазруи подчеркивает задачу — выковать единство африканских народов, исповедующих традиционные, мусульманскую и христианскую, религии. Личная симпатия Мазруи к погибшему талантливому поэту очевидна.

Но все же он считает, что Окигбо виновен, подчинив образ единой Нигерии идеалу Биафры. И поэтому он приговорен к тому, чтобы сквозь века пронести трагический вопрос: «Стоило ли?»

КНР

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ В КИТАЕ

Китайская печать широко рекламирует «успехи» в своей документальной кинематографии, поскольку художественных фильмов в стране не производится, за исключением фильмов-спектаклей по «образцовым» операм и балетам.

«Жэньминь жибао» уделила целую страницу откликам на документальные фильмы, выпущенные в конце 1971 года. Один фильм назван «С помощью идей Мао Цзэ-дуна прорвана «запретная зона» глухонемоты». В фильме рассказывается, как китайские врачи успешно лечат глухонемых, которые в результате запевают песню о Мао Цзэ-дуне. Создателей картины и китайскую пропаганду менее всего интересуют умение и мастерство врачей. Главным для успеха является то, что врачи постоянно зачитывают... цитаты из Мао Цзэ-дуна, и в этом — путь к исцелению.

КУБА

ПРЕМИИ «КАСА ДЕ ЛАС АМЕРИКАС»

На очередной латиноамериканский литературный конкурс «Каса де лас Америкас», проводимый в Гаване ежегодно, поступило в этом году 459 произведений из разных стран Латинской Америки.

Как сообщает газета «Гранма», первые премии «Каса де лас Америкас — 1972» присуждены следующим авторам: боливийцу Фернандо Медине Ферраде за роман «Мертвые с каждым днем становятся более непокорными», кубинцу Ноэлю Наварро за сборник рассказов «Отпечаток пальца», уругвайцу Антонио Ларрете за пьесу «Хуан Пальмиери», боливийскому поэту Педро Шимосе за сборник «Хочу писать, а выходит пена». В жанре эссе первая премия присуждена чилийскому автору Серхио Рамосу Кордове за труд «Чили: экономика переходного периода». Бывшему депутату бразильского парламента Марсио Морейре Алвесу присуждена первая премия за документальное произведение «Семя горчицы (пробуждение бразильской революции)».

Кроме того, жюри конкурса рекомендовало опубликовать, в частности, романы «Песнь пророка и бандит» аргентинца Эктора Тисоны, «Чужие смерти» колумбийца Мануэля Мехиа Вальехо, рассказы чилийца Мануэля Миранды Сальоренсо, мексиканца Рене Авилеса Фабилы, кубинца Рейнальдо Эрнандеса Савио, аргентинца Уго Мариани.

ЛИВАН

КНИГА О ТВОРЧЕСТВЕ ФАУЗИ АЛЬ-МААЛЮФА

В Бейруте вышла книга «Фаузи аль-Маалюф (1899—1930), его биография и литературное творчество», написанная молодым ливанским литературоведом Самуилом Абд аш-Шахидом. (В основу книги положена магистерская диссертация, которую этот ученый с успехом защитил в Бейруте.)

Фаузи аль-Маалюф, выходец из семьи известных ученых-просветителей (он был сыном историка и литератора Исы Искандера аль-Маа-

люфа), начал писать стихи и публицистические очерки еще в юном возрасте. Впоследствии он эмигрировал в Бразилию, где его дядя владел торговой фирмой по продаже шелка. Занимаясь торговыми делами, Фаузи аль-Маалюф находил время для поэзии и вскоре выдвинулся как один из ведущих поэтов сложившейся в эмиграции арабской романтической, так называемой «сиро-американской» школы.

В книге Абд аш-Шахида подробно рассматриваются поэзия, проза и драматургия Фаузи аль-Маалюфа, в особенности такие его произведения, как историческая пьеса «Ибн Хамид (падение Гранады)» и знаменитая лирико-философская поэма «На ковре ветра», написанная поэтом под впечатлением полета на самолете. Вскоре после опубликования эта поэма была переведена на испанский язык испанским поэтом Франсиско Виллаэспесой. В Бразилии вышел ее перевод на португальский.

В приложении к книге Абд аш-Шахидом помещены обнаруженные им стихотворения Фаузи аль-Маалюфа, которые не вошли в диван поэта.

В рецензии, опубликованной в журнале «Аль-Адиб», критик Насим Наср положительно оценивает книгу о Фаузи аль-Маалюфе.

ЛИВИЯ

РАССКАЗЫ МОЛОДОГО НОВЕЛЛИСТА ИЗ БЕНГАЗИ

Журнал «Аль-Адиб» опубликовал рецензию на сборник рассказов молодого ливийского писателя ас-Сенуси аль-Хуни «Прежде чем умереть», вышедший в Бенгази.

В сборнике напечатано около десяти рассказов. Одни из них представляют собой беглые зарисовки, другие по обстоятельности изложения приближаются к новелле, третьи можно причислить скорее к публицистическим очеркам. Герои большинства рассказов—молодые ливийцы. Аль-Хуни с симпатией рисует переживания своих героев, подчас наивные и трогательные, их мечты о счастье («Холод», «Мечты»). Он восстает против предрассудков, унаследованных Ливией от феодального и колониального прошлого, выступает в защиту достоинства ливийской женщины («Волки», «Прежде чем умереть», «Письмо девушки», «Ради твоей матери»).

По мнению автора рецензии египетского критика Ахмада Мухаммеда Атыйи, по своим художественным достоинствам рассказы не равноценны. У аль-Хуни чувствуется недостаток писательского опыта. Тем не менее, полагает критик, это «серьезные попытки на трудном пути создания современного ливийского рассказа».

МАЛЬТА

У ИСТОКОВ МАЛЬТИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

До последнего времени первым произведением художественной литературы на мальтийском языке считали оду, написанную около 1675 года известным мальтийским врачом и ученым-натуралистом Джо Франческо Бонамико (1639—1680). Эта ода, которую поэт посвятил тогдашнему великому магистру Мальтийского рыцарского ордена Николасу Коттонеру, предназначалась для торжественной декламации на центральной площади Ла-Валетты во время народного праздника Календимаджо, отмечавшегося в мае.

Однако мальтийские ученые недавно установили, что первые попытки писать на мальтийском предпринимались не менее чем за двести лет до Бонамико. В статье «Литература барокко на Мальте», опубликованной «Журналом факультета искусств», который издается университетом Мальты, литературовед Дж. Маджон пишет, что недавно была обнаружена кантилена, написанная на мальтийском диалектальном «койве» неким Петрусом из Кашаро (Petrus de Caxaro) и относящаяся к середине XV века (то есть к эпохе испанского господства на Мальте). Это стихотворение из 20 строк с кратким вступлением на латинском языке было воспроизведено в нотариальном акте XVI века. В нем поэт с простотой и непосредственностью чувства рассказывает о том, как оползень разрушил его бедное жилище, сравнивая судьбу, постигшую его дом, со своей несчастной, недолговечной любовью.

В статье Дж. Маджона приводится много других ценных сведений о раннем этапе развития мальтийской литературы, главным образом литературы XVII века, создававшейся по преимуществу на итальянском языке, который был тогда литературным языком Мальты.

Однако уже в то время в произведениях некоторых мальтийских авторов, таких как «отец мальтийской истории» Дж. Ф. Абела или Бонамико, находит отражение разговорный диалект мальтийцев, развившийся позднее в самостоятельный литературный язык.

МАРОККО

«УЧИТЕЛЬ АЛИ» АБД АЛЬ-КЕРИМА ГАЛЛАБА

В Бейруте вышел роман «Учитель Али» известного марокканского писателя и публициста, председателя Союза писателей Марокко Абд аль-Керима Галлаба.

Журнал «Аль-Адиб» называет новую книгу Галлаба «замечательным патриотическим произведением». До этого марокканский писатель опубликовал роман «Мы покончили с прошлым», который также был сочувственно встречен арабской прессой.

ПОЛЬША

КНИГА-ПРОЩАНИЕ

Вышло в свет монументальное издание поэзии Юлиана Пшибося. Книга эта была подготовлена к печати еще при жизни поэта и является как бы прощанием

автора с читателями. (Пшибось буквально в последние дни перед смертью прочел гранки и одобрил оформление издания.)

Читатель может ознакомиться не только с поэтическим творчеством Пшибося в целом, но и услышать в его исполнении — к изданию приложена пластинка — несколько стихотворений. В книге представлена поэзия с 20-х годов (Пшибось дебютировал в 1925 году сборником стихов «Винты») до последних лет.

«Поэзия Пшибося является, пожалуй, наиболее полным воплощением свойственного всему польскому поэтическому «авангарду» стремления к «математической» точности поэтических средств,— пишет рецензент журнала «Нове ксенжки»,— отказу от описательности, поклонению метафоре как главному элементу поэтического языка, отказу от украшательства, к замене его однородной, логически организованной конструкцией произведений».

Пшибось был известен и как теоретик литературы — все основные концепции понимания поэзии как особого, разнящегося от обыденного способа выражения мысли получили отражение в его очерках.

«Поэзия Пшибося,— пишет далее рецензент,— программно противопоставляется всевозможной «стихийности» и извержению фантазии, не подчиненной интеллекту. Она является прозрением и неожиданностью, но поражает точностью и меткостью мысли, а не только словесной бесцеремонностью. Это школа порядка и точности мышления. И трудно не поддаться впечатлению, что это, вероятно, одно из интереснейших явлений поэзии XX века, и не только польской».

«ЖЕМЧУЖИНА В КОРОНЕ»

В Польше вышел на экраны фильм Казимежа Кутца «Жемчужина в короне». Это второй фильм Кутца о Силезии, уроженцем которой он является и хорошо знает ее (первый фильм назывался «Соль земли черной», см. «ИЛ» № 11, 1971 г.). Обе картины, по отзывам польской критики, стали событиями в польской кинематографии.

В основу фильма «Жемчужина в короне» положено действительное событие — стачка шахтеров в 1934 году в одном из угольных бассейнов Силезии, когда на решение хозяев закрыть шахту рабочие ответили объявлением забастовки.

В фильме воссоздаются события тех лет. Показаны мужество, достоинство шахтеров, не позволивших обращаться с собой как с бессловесным скотом и стойко и бесстрашно боровшихся с хозяевами.

Идея фильма — рабочая солидарность — разрешена Кутцем психологически тонко и с большим мастерством.

Стачечный комитет предложил всем, кому не по силам борьба, покинуть шахту. Молодой рабочий Янек мучительно переживает разлуку с женой и детьми, события складываются так, что все, кто остается в шахте, могут погибнуть. Но Янек остается с товарищами.

Показывая судьбу Янека, автор фильма все время подчеркивает одну из основных линий фильма: настоящий рабочий человек не может быть ни трусом, ни предателем.

Ольгерд Лукашевич, играющий Янека и знакомый

Люция Коволик и Ольгерд Лукашевич в фильме «Жемчужина в короне».

(Журнал «Кино»)

советскому зрителю по картинам «Дансинг в ставке Гитлера» Яна Баторы и «Березняк» Анджея Вайды, прекрасно передает всю противоречивость ощущений своего героя. Роли Лукашевича, связанные с Силезией, не случайны (он играл Габриэля, юного силезского повстанца в фильме «Соль земли черной»). Как и Казимеж Кутц, он вырос в краю угля. «Фильмы Кутца,—говорит Лукашевич,— построены с такой точностью, что актеру остается только целиком довериться режиссеру и мобилизовать все свое умение на тот единственный короткий момент, когда актер появляется на экране».

Рецензент журнала «Кино» говорит о Казимеже Кутце, что он «мастер беспокойный, ищущий: самые простые вещи он видит по-новому, никогда не довольствуется достигнутым успехом, он все время ставит перед собой новые задачи, не поддается моде и старается найти собственную дорогу и в жизни, и в искусстве».

Последний фильм Кутца— большая творческая удача, это признает многочисленная пресса, которая отмечает, что Казимеж Кутц еще раз показал силу и нравственное величие рабочего класса, который является жемчужиной в короне Польши.

РУМЫНИЯ

ФИЛЬМ О МОЛОДЕЖИ

Среди фильмов, в последнее время вышедших на экраны, пресса отмечает фильм «Взлет», поставленный по сценарию К. Стойчу режиссером Т. Урсу.

Молодой пилот, отличник учебы Паул Бент мечтает стать мастером высшего пилотажа. Но ему предлагают всего-навсего должность «воздушного извозчика» — перевозить на вертолете людей, пострадавших от наводнения. Он ссорится с товарищами, самовольно оставляет машину и уезжает в Бухарест. Фильм кончается трагически: заменивший его пилот, которому запрещено летать из-за болезни сердца, погибает.

Моника Гьюца и Эмиль Хоссу в фильме «Взлет».
(Еженедельник «Контемпоранул»)

Это фильм об ответственности и долге.

В последнее время в Румынии все больше появляется фильмов о молодежи, посвященных этическим проблемам. Фильм «Взлет»— один из них.

СЕНЕГАЛ

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЖОРЖА САДУЛЯ — АБАБАКАРУ САМБЕ

В последнее время молодая кинематография Сенегала добилась целой серии признаний на международной арене. Вслед за Момаром Тьямом, который получил на кинофестивале франкоязычных стран в Динаре специальный приз жюри за фильм «Карим», лауреатом стал еще один фильм, «Коду» режиссера Абабакара Самбы. Он получил премию имени Жоржа Садуля.

Фильм «Коду» снят по мотивам новеллы сенегальской журналистки Аннетты М'Бай. В нем показано, как столкновение между традиционными представлениями африканцев и современным образом жизни доводит юную девушку, героиню этой картины, до потери рассудка.

Это вторая самостоятельная работа Абабакара Самбы. Его путь в кино был нелегким. Он был единственным африканцем среди учеников одной из театральных школ Парижа. Затем пробовал свои силы как театральный режиссер, снимался в кино (в частности, в известном нашему зрителю фильме «Таманго»). В 1959—1962 гг. работал в Экспериментальном центре кино в Риме, где получил диплом кинорежиссера. Потом около года был ассистентом режиссера на французском телевидении.

В 1964 году Самба возвращается на родину. А через год выпускает свою первую киноленту «А снега больше не было». Для Самбы этот 22-минутный фильм был и автобиографическим, и программным. Он рассказывает о молодом интеллигенте, который, получив образование в Европе, вернулся на родину и чувствует себя чужим. Однако Абабакар Самба в отличие от героя этой картины нашел свое место в африканской действительности, не испугался многочисленных финансовых и технических трудностей, которые тормозят развитие искусства кино в Африке. В 1968 году его вводят в состав жюри кинофестиваля в Мангейме. В 1970 году он получает приз за лучший киносценарий на фестивале франкоязычных стран в Динаре. И вот те-

Рабочий момент съемки фильма «Коду». *(Журнал «Жён Африк»)*

перь Самба стал лауреатом премии имени Жоржа Садуля.

Возвращаясь из Канады, где демонстрировался его фильм, Самба рассказал в беседе с корреспондентом журнала «Жён Африк»: «В «Коду» для меня было главным посмотреть на Африку глазами африканца. Меня очень обрадовало решение о присуждении фильму премии имени Жоржа Садуля. Теперь я хочу отойти от внешних проявлений африканизма и попытаться доказать, что человек, где бы он ни был, может сохранить свою национальную сущность в любых условиях».

США

РАССКАЗЫ ФЛЭННЕРИ О'КОННОР

В газете «Интернэшнл» опубликована рецензия Альфреда Кейзина на книгу Флэннери О'Коннор «Полное собрание рассказов».

Из тридцати девяти рассказов, помещенных в этом сборнике, двенадцать печатаются впервые.

«Флэннери О'Коннор, — говорит Альфред Кейзин,— знала людей с такой же определенностью, с какой, по ее утверждению, она знала расстояние между раем и адом.

Она,— продолжает рецензент,— была не просто лучшей женщиной-писательницей, ей удалось выразить нечто важное в американской жизни, называемое Югом... Юг был ее великой метафорой не для обозначения места, а для обозначения грехопадения человека».

Кейзин очень высоко оценивает мастерство писательницы: «Ее фразы абсолютно художественно точны». Он даже утверждает, что «они гораздо точнее хемингуэевских».

НОВЫЙ РОМАН ДЖОЗЕФА ХЕЛЛЕРА

Автор нашумевшего романа «Уловка-22» (1961) сообщил в интервью корреспонденту американского журнала «Интеллекчуэл дайджест», что сейчас он работает над новой книгой, которую назвал «Что-то случилось». Хеллер собирается закончить ее к весне 1972 года. На вопрос о теме романа писатель ответил:

— В своем новом романе я хотел изобразить наше общество не просто достоверно, но показать его заурядным и вместе с тем столь же пугающим, как рисовал мир Кафка. Мне хотелось показать, что образ жизни нашего общества символизирует природу этого общества, раскрыть всеобщее состояние запуганности, психологического паралича, рабства...

Герой книги — служащий средних лет. В начале романа ему предстоит произнести трехминутную речь на собрании руководителей фирмы, от которой во многом зависит его дальнейшая судьба. Размышления о содержании речи и своей жизни приводят его к горькой переоценке ценностей, заставляют сказать о себе: «Мне нечего ждать и некуда идти».

Хеллер говорит о том, что за десять лет, прошедших со времени выхода его первого романа, в американском обществе не произошло каких-либо разительных изменений, но отчуждение значительно усилилось, и он постарался передать это в своем новом романе. Он сказал, что умышленно выбрал героя средних лет, желая изобразить человека, который уже не ищет себя, а начинает сознавать бесперспективность своей жизни.

— В отличие от большинства людей, живущих приукрашенными представлениями о себе и своей жизни, мой герой сумел взглянуть на себя со стороны и сказать о себе: «Теперь я знаю, что не способен на решительные поступки, хотя дома — жене и детям и на работе — сослуживцам я стараюсь казаться человеком решительным». Он не любит свою работу, хотя место, которое он занимает, лучшее из того, на что он мог рассчитывать. Он недоволен своей благополучной жизнью:

«Мы все недовольны тем, как мы живем».

— Вы, наверное, использовали в романе ваш опыт работы служащим?

— Нет, как и в «Уловке-22», я использовал чисто внешние приметы. Тогда мне было тридцать, я был увлечен своей первой книгой и знал, что не буду служить всю жизнь. Все было у меня впереди. Кроме того, где бы я ни работал, мне всегда нравилась и сама работа, и люди. Вот если бы мне было тогда сорок, я бы чувствовал себя как мой герой.

Писатель говорит, что считает своего героя более других известных ему литературных персонажей достойным презрения.

— Поэтому,—шутит он,— на вопрос: «Автобиографичен ли роман?»—я отвечаю категорически: «Нет».

Сцена из спектакля, представленного филиппинской труппой.

(Журнал «Жён Африк»)

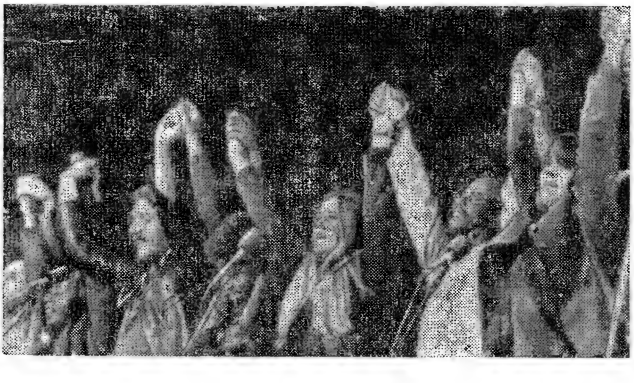
ДЖЕЙН ФОНДА В ОБОЗРЕНИИ «СВОБОДУ АРМИИ»

Молодые американские актеры — Джейн Фонда, Майкл Алаимо, Лен Чандлер, Памела Донеган, Рита Мартинсон, Поль Муни, Холли Неар и другие — выступают с новой антивоенной программой «Свободу армии», в которой они приветствуют и поддерживают отказ американских солдат от участия в грязных планах Пентагона. В конце прошлого года они выступали во многих городах США, в том числе в Нью-Йорке, а затем отправились в рождественское и новогоднее турне по Гавайским островам, Японии и Филиппинам.

В Японии труппа предполагала выступить перед американскими военнослужащими, но не получила на это разрешения. У японских зрителей она имела большой успех.

Джейн Фонда (первая справа) со своим ансамблем.

(Еженедельник «Уорлд мэгэзин»)



ФИЛИППИНЫ

ВСТРЕЧА РАБОТНИКОВ ТЕАТРА ЧЕТЫРЕХ КОНТИНЕНТОВ

В Маниле состоялся первый театральный конгресс и первый фестиваль театра стран Азии, Африки, Латинской Америки и Австралии. Большую роль в организации этого форума сыграл филиппинский режиссер, директор Ассоциации воспитательного театра Сесиль Гидот. В столице Филиппин собралось около пятидесяти театроведов и двадцать шесть театральных трупп из Индии, Индонезии, Малайзии, Израиля, Камбоджи, Японии, Кореи, Египта, Судана, Нигерии, Уганды, Пуэрто-Рико, Мексики и Австралии. В качестве наблюдателей присутствовало несколько представителей из стран Европы.

Участники конгресса, в течение пятнадцати дней обсуждавшие проблемы и тенденции развития театрального искусства, единодушно согласились, как пишет корреспондент журнала «Жён Африк», что «театр развивающихся стран должен способствовать пробуждению политического сознания народов».

Наиболее интересные спектакли были показаны филиппинской, камбоджийской и индонезийской труппами, которые использовали традиционные национальные формы.

ФРАНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

В Вениссьё, рабочем пригороде Лиона, вот уже второй сезон работает стационарный Театр сатиры, руководимый режиссером Бруно Карлуччи. Вдохновляемый идеями Ромена Роллана, выраженными в известной книге «Народный театр», он изучает режиссерский опыт Брехта, Пискатора, Мейерхольда.

Недавно театр поставил раннюю, редко исполняющуюся антибуржуазную пьесу-притчу Брехта «Исключение и правило». Спектакль получил высокую оценку в газете «Юманите»: «Стремясь как можно строже придерживаться авторского замысла Брехта, Карлуччи попал в точку. Без каких-либо намеков на современность коллектив театра сумел нам дать актуальный спектакль. Ибо реальность борьбы классов — это сюжет, который всегда хватает за живое. Чтобы убедиться в этом, достаточно было прислушаться после представления к разговорам, которые завязывались в публике, в большинстве своем молодой».

В репертуарном плане театра также пьеса Ж. Тибодо «Май 68 года во Франции» и публицистический спектакль «США», направленный против расового гнета и агрессии США во Вьетнаме.

ИОНЕСКО — «СОАВТОР» ШЕКСПИРА

Парижский Театр Левого берега поставил пьесу Эжена Ионеско «Макбетт». По отзывам французской прессы, новое произведение Ионеско отличается от шекспировской трагедии, как и следовало ожидать, не только наличием второй буквы «т» в написании имени главного героя. Значительно более существенные изменения претерпели все образы трагедии: центральным персонажем пьесы стала леди Дункан, которая выступает в трех ипостасях — жены короля, ведьмы и... леди Макбет.

Один из театральных обозревателей предположил, что Ионеско хотел показать, что именно женщина является олицетворением зла. Король Дункан изображен жалким трусом, все его приближенные — убийцами, солдат короля настигает смерть от инфаркта. Шекспировские ведьмы значительно омолодились и выступают в обличии прелестных гёрлс, занимающихся по ходу дела стриптизом.

Режиссер Жак Моклер, поставивший многие пьесы Ионеско, заявил, что «Макбетт» — веселая и здоровая пьеса, пьеса о борьбе против власти. Это новый Ионеско. Сам же драматург в ответ на вопрос корреспондента «Пари-матч», почему он решил писать пьесу на основе «Макбета», сказал: «Потому что «Макбет» — самое мелодраматическое произведение Шекспира, а мне хотелось написать мелодраму. Я выбрал «Макбета», так как уверен, что смягчу этим критиков. Они не смогут сказать, что это совсем уж плохо, поскольку там будет что-то от Шекспира».

Трудно определить, что от Шекспира осталось в новой пьесе Ионеско, но, вероятно, не лишено основания иронические замечание театрального обозревателя журнала «Экспресс» Робера Кантерса о том, что невольно «спрашиваешь себя, не лучше ли освещены все эти переплетения смерти и честолюбия в шекспировском «Макбете», с одним «т».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД КНИГИ ВО ФРАНЦИИ

Французская печать сообщает, что во Франции создан комитет содействия проведению Международного года книги. Предполагается провести многочисленные выставки, коллоквиумы и лекции. В Ницце будет проведен фестиваль книги, в Париже состоится съезд Международной ассоциации издателей, Международная лига европейских научно-исследовательских библиотек проведет коллоквиум.

Кампания, посвященная Международному году книги, будет проведена в печати, по радио и телевидению. Особые усилия будут предприняты для внедрения книги в широкие массы населения: на заводах и фабриках — с помощью профсоюзов, в деревнях—с помощью домов культуры и передвижных библиотек.

ЧИЛИ

БОЛЬШОЙ УСПЕХ

Режиссер Педро Ортусу поставил на сцене театра Государственного чилийского университета спектакль «Мать» — инсценировку, сделанную Бертольтом Брехтом по роману Максима Горького.

Чем же привлекла пьеса режиссера спектакля?

Тем, что события, о которых писал Горький, сейчас очень близки и понятны чилийским зрителям. Роман Горького повествует о том, почему и как рабочие, простые люди России полвека назад вступили в борьбу с ненавистным им эксплуататорским строем.

Авторы этого номера

АНДРЕЙ ГУЛЯШКИ (род. в 1914 г.).

Болгарского писателя Андрея Гуляшки советские читатели хорошо знают по переведенным на русский язык его романам «МТ-станция», «Ведрово», в которых он воссоздал жизнь села периода кооперирования, «Золотое руно», пьесе «Обещание», научно-фантастической повести «Драгоценный камень», сборнику повестей о смелом контрразведчике «Приключения Аввакума Захова» и др. произведениям.

А. Гуляшки начал печататься в 1931 году. Участвовал в антифашистской борьбе, работал редактором в газетах «Работническо дело» и «Литературен фронт», в журналах «Септември» и «Пламк». Ныне он заслуженный деятель культуры, дважды лауреат Димитровской премии.

В этом номере мы публикуем в журнальном варианте новую книгу писателя «Романтическая повесть» («Романтична повест»), вышедшую в 1970 году.

■

ЛУИС ПАСТОРИ — LUIS PASTORI (род. в 1921 г.).

Венесуэльский поэт, академик, автор более двадцати поэтических сборников, в том числе «Песни Беатрис» («Las canciones de Beatriz», 1948), «Слова былых лет» («Palabras de otros años», 1954), «Бесконечная элегия» («Elegia sin fin», 1962), «До этой поры» («Hasta la fecha», 1964).

Луис Пастори — лауреат ряда литературных премий, в частности Национальной премии по литературе. До недавнего времени был президентом Ассоциации венесуэльских писателей.

В этом номере поэт представлен стихами из книги «Домашние трофеи» («Trofeos de casa», 1969).

■

ДЖОН УЭЙН — JOHN WAIN (род. в 1925 г.).

Английский писатель, один из видных прозаиков Великобритании; принадлежал к литературному течению «сердитых молодых людей». Автор романов «Соперники» («The Contenders», 1958), «Убей отца» («Strike the Father Dead», 1962), автобиографической книги «Веселая суета» («Sprightly Running», 1962), повести «Меньшее небо» («The Smaller Sky», 1967) и др.

На русский язык переведен его роман «Спеши вниз».

Роман «Зимой в горах» («Winter in the Hills»), который мы предлагаем вниманию читателей в журнальном варианте, вышел в 1970 году.

■

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ — BERTOLT BRECHT (1898—1956).

Выдающийся немецкий (ГДР) драматург, поэт, прозаик, режиссер, создатель теории «эпического театра», оказавшей значительное влияние на театральную жизнь многих стран мира. Б. Брехтом в 1949 году был организован театр «Берлинер ансамбль», в котором он осуществлял свои сценические принципы.

Покинув Германию после прихода к власти фашизма, он жил в Швейцарии, Дании, Швеции, США. С 1948 года — в демократическом Берлине.

Творчество Б. Брехта получило широкое признание в нашей стране. На сцене советского театра поставлены его пьесы «Трехгрошовая опера», «Добрый человек

из Сезуана», «Карьера Артуро Уи», «Мамаша Кураж и ее дети», «Мать» (по мотивам романа М. Горького), «Жизнь Галилея», «Кавказский меловой круг», «Что тот солдат — что этот», «Страх и отчаяние в третьей империи» и др.

Неоднократно издавались на русском языке и произведения Б. Брехта других жанров.

В 1951 году Б. Брехт был удостоен Национальной премии первой степени ГДР, в 1954-м — Международной ленинской премии «За укрепление мира между народами».

■

ФАРЛИ МОУЭТ — FARLEY MOWAT (род. в 1921 г.).

Известный канадский писатель и общественный деятель. Автор около двадцати книг, преимущественно о севере Канады, написанных пером путешественника, биолога, этнографа и публициста.

На русский язык переведены его книги «Люди оленьего края», «Отчаявшийся народ», в которых писатель поведал о трагической судьбе эскимосского племени — ихалмютов. На русском вышли также его книги «Испытание льдом» и «Не кричи: волки!».

Фарли Моуэт дважды приезжал в нашу страну, побывал в городах и поселках Якутии, в Иркутске, Братске, Магадане, на Байкале и по возвращении написал книгу о советской Сибири, которая вызвала большой интерес у канадских читателей.

В этом номере под рубрикой «Очерки» мы публикуем главы из его книги «Лодка, не желавшая плавать» («The Boat who Wouldn't Float». 1969). Книга эта получила премию имени Стивена Ликока, которая с 1947 года присуждается ежегодно за лучшее юмористическое произведение.

■

ИШТВАН ШИМОН — SIMON ISTVAN (род. в 1926 г.).

Известный венгерский поэт, лауреат литературных премий имени Кошута и Аттилы Йожефа. Стихотворения его составили несколько сборников. Наибольшую популярность получили: «Недостаточно» («New elég», 1955), «Песни жаворонка» («Pacsirtaszó», 1958), «Яблони» («Almafák», 1962), «Плоды» («Gyümölcsolto», 1964), «Солнечное сияние» («Verofény», 1968).

Иштван Шимон часто выступает в печати как публицист и литературный критик. Ему принадлежат сборники статей и очерков: «Под сенью цветущих деревьев» («A virágfa arnyékaban», 1964), «Под горящим небосводом. Очерки о Вьетнаме, Египте и Кубе» («Forró égöv alatt. Utirajzok Vietnámból, Egyiptomból és Kubából», 1969), «О путях-дорогах в мир» («Gyalogútról a világba», 1970).

В настоящее время Иштван Шимон — секретарь Союза писателей ВНР.

Статья «Петефи на русском языке в 300 000 экземпляров» перепечатывается нами из венгерской газеты «Мадьяр немзет».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва, 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 02799. Сдано в производство 7/III 1972 г. Подписано к печати 7/IV 1972 г. Бумага 70×108$^{1}/_{16}$=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. листов 29,32. Зак. 868.
Журнал выходит один раз в месяц

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К сведению читателей

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПРЕДПОЛАГАЕТ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ ОПУБЛИКОВАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ:

ПИТ ВАН АКЕН (Бельгия)
Спящие собаки (повесть).

МАНИК БАНЕРДЖИ (Индия)
Марионетки (роман).

ЕЖИ БРОШКЕВИЧ (Польша)
Долго и счастливо (роман).

РОБЕР МЕРЛЬ (Франция)
За стеклом (роман).

ДЖОН О'ХАРА (США)
Дело Локвудов (роман).

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА (Венесуэла)
Когда хочется плакать, не плачу (роман).